Подснежник

ВАЛЕРИЙ ОСИПОВ

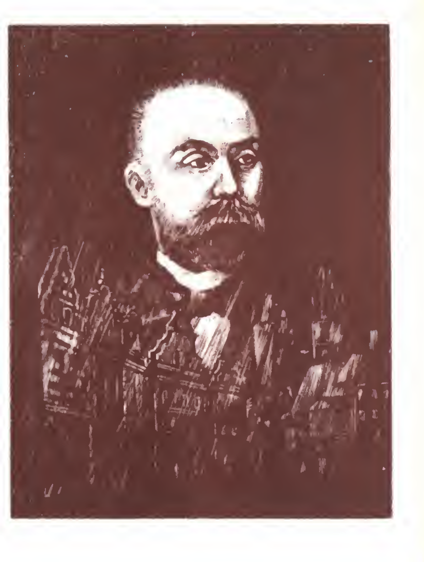








Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1982



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ ПР РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

Валерий Осипов

ПОДСНЕЖНИК

ПОВЕСТЬ
О ГЕОРГИИ ПЛЕХАНОВЕ

Р2
О-74

Валерий Осипов написал много книг, пьес и киносценариев на современные темы. Большой популярностью в свое время пользовалась его повесть «Неотправленное письмо», по которой был снят одноименный фильм, прошедший по экранам нашей страны и за рубежом. Другая повесть — «Рассказ в телеграммах» — была инсценирована и долгие годы не сходила со сцены. В серии «Пламенные революционеры» в 1971 году вышла повесть Валерия Осипова о старшем брате В. И. Ленина Александре Ульянове, которая была с интересом встречена читателями и прессой и в 1978 году выпущена вторым изданием.

Повесть «Подснежник» — первая в нашей литературе попытка художественного осмысления личности Г. В. Плеханова, выдающегося пропагандиста марксистских идей в России, руководителя группы «Освобождение труда», борца за научное материалистическое мировоззрение, сыгравшего значительную роль в духовном пробуждении России.

$О \frac{0202000000-006}{079(02)-82} 232-82$

Пролог

Брюссель. Июль 1903 года. Над островерхими крышами старинных средневековых домов, над пиками игольчатых готических храмов веет прохладой фламандское лето. Дыхание близкой Атлантики приносит на город порывистые быстрые ветры, короткие дожди, клочковатый туман. Рваные тучи тревожно плывут через низкое небо от горизонта к горизонту.

Иногда, словно обещание перемены к лучшему, над городом проглянет и тут же скроется веселое желтое солнце.

И снова натягивает с океана серую хмарь, моросит мелкий надоедливый дождик, серебристо пузырятся лужи на тротуарах и мостовых, одиноко вонзаются в свинцовое небо черные иглы готических храмов.

В июле 1903 года среди высших полицейских чинов Брюсселя утвердилось убеждение в том, что в городе готовится крупная террористическая акция. В районе гостиницы «Золотой петух» наблюдалось тайное скопление анархистов славянской наружности.

О, эти славяне! От них можно было ожидать всего. Двадцать два года назад в Санкт-Петербурге русские, например, ухлопали бомбой собственного царя. Очень мило, не правда ли? Повелевать огромной империей и

быть разорванным на куски в двух шагах от собственного дворца.

Наблюдение показывало, что подозрительные лица, группировавшиеся вокруг «Золотого петуха» — матерь божья! — были именно русскими. Теперь их насчитывалось уже около пятидесяти человек.

Что же они задумали на этот раз, для чего собираются? Лишить жизни ныне здравствующую коронованную особу бельгийского королевства? Или какое-нибудь свое, сугубо российское дело?

Брюссельская полиция напрягалась в розыскном усердии, терялась в догадках.

Вдруг русские анархисты, все, как один, одновременно, неожиданно исчезли из поля зрения бельгийского королевского сыска. (Не без помощи местных социалистов, как выяснилось в дальнейшем.) Во всех полицейских частях Брюсселя была объявлена тревога.

Однако предосудительные личности из «Золотого петуха» обнаружились весьма быстро — сидят себе в помещении бывшего мучного склада, занавесили окно красной материей, что-то обсуждают (и на анархистов вроде бы не похожи), иногда покрикивают друг на друга, но в общем-то все идет тихо-мирно, в рамках, так сказать, гарантированной конституцией свободы собраний.

Так что же все-таки там происходит, за этим подозрительно занавешенным окном старого мучного склада?

А за окном бывшего мучного склада происходило в это время событие, подлинный смысл и далекую перспективу которого не дано было, конечно, понять высшим чинам бельгийской королевской полиции.

Среднего роста, изящный, худощавый мужчина с густыми, подвижными черными бровями, из-под которых светились необыкновенно живые, пристальные, темно-

карие глаза, поднялся с места, провел рукой по небольшой, клинообразной бородке и стрельчатым вразлет усам, слегка насупился и обвел энергичным взглядом напряженно устремленные к нему лица.

— Товарищи! — торжественным, дрогнувшим от волнения голосом сказал он.— Организационный комитет поручил мне открыть второй очередной съезд Российской социал-демократической рабочей партии...

Это был Георгий Валентинович Плеханов.

Почетная миссия объявить начало работы съезда партии была доверена ему по праву.

Ровно двадцать лет назад, в 1883 году, в Женеве, в кафе на берегу Роны он провозгласил создание первой заграничной организации русских марксистов социал-демократической группы «Освобождение труда».

Тогда в Женеве их было всего пятеро — он сам, Вера Засулич, Павел Аксельрод, Лев Дейч, Василий Игнатов.

Теперь, в Брюсселе, перед ним сидело пятьдесят семь убежденных марксистов, делегатов съезда РСДРП, представлявших двадцать шесть действующих социал-демократических групп. Теперь партия насчитывала в своих рядах несколько тысяч активных членов и влияла идейно на сотни тысяч рабочих.

Много больших событий, навсегда вошедших в историю возникновения и развития марксизма в России, произошло в жизни Георгия Плеханова за эти двадцать лет.

В 1883 году в своей брошюре «Социализм и политическая борьба» он впервые нанес удар по идеологии народничества с его мелкобуржуазными утопическими теориями и первым в России высказал мысль о том, что русская революция победит, опираясь только на марксизм.

В 1884 году в книге «Наши разногласия», получившей высокую оцепку Фридриха Энгельса, он впервые доказал

неизбежность прихода капитализма в России и обосновал необходимость создания российской рабочей партии, как единственного средства разрешить все экономические и политические противоречия русской жизни.

В 1889 году, выступая на первом конгрессе II Интернационала в Париже, он впервые вывел русскую социал-демократию на международную арену, заявив, что революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих.

— Другого выхода у нас нет и быть не может! — сказал он, заканчивая свою речь.

Слова его были покрыты громом аплодисментов сотен делегатов конгресса Интернационала.

— Я объясняю себе эту великую честь,— продолжал Георгий Плеханов, открывая второй съезд РСДРП,— только тем, что в моем лице Организационный комитет хотел выразить свое товарищеское сочувствие той группе ветеранов русской социал-демократии, которая двадцать лет назад впервые начала пропаганду социал-демократических идей в русской революционной литературе. За это товарищеское сочувствие я от лица этих ветеранов приношу Организационному комитету искреннюю товарищескую благодарность. Мне хочется верить, что по крайней мере некоторым из нас суждено еще долгое время сражаться под красным знаменем, рука об руку с новыми, молодыми, все более и более многочисленными борцами...

Взгляд его упал на сидевшего неподалеку от него тридцатилетнего светловолосого мужчину. Восемь лет назад он впервые встретился с ним в Женеве в кафе Ландольта. Тогда ему передали, что приехавший из Петербурга молодой человек марксистского направления просит о свидании.

Тот разговор в кафе был коротким — сидевший за соседним столиком человек явно прислушивался к их словам.

Условились повторить встречу в Цюрихе. Прощаясь, он вспомнил: человек, устроивший их свидание, сказал, что молодой марксист — родной брат казненного народовольца Александра Ульянова.

Конечно, восемь лет назад ни в Женеве, ни в Цюрихе Георгий Плеханов не мог думать о том, что знакомством с Владимиром Ульяновым начнется новая эпоха его, плехановской, жизни.

Отбыв сибирскую ссылку, Ульянов появился в Швейцарии второй раз летом девятисотого года. Он привез с собой план издания общерусской социал-демократической газеты, твердо веря в то, что газета послужит основой создания российской марксистской рабочей партии.

И надежды Ульянова блестяще оправдались — «Искра» сыграла решающую роль в подготовке съезда партии.

За время издания газеты бывало всякое — разногласия, споры и даже размолвки. Последняя, наиболее серьезная, произошла год назад — по поводу аграрной программы. Тогда он высказал Ульянову, пожалуй, слишком резкие замечания. В ответ Ульянов заявил, что разрывает с ним все отношения.

Пауза длилась целый месяц. Она доставила много волнений им обоим и всем членам редакции «Искры».

Он первым не выдержал напряжения и написал Ульянову письмо, в котором предложил мир ради общего дела. Чрезвычайно дорожа сотрудничеством с ним, он сообщил, что глубоко уважает его и что они на три четверти ближе друг к другу, чем ко всем другим членам редакции «Искры», а разногласия в одну четверть следует забыть во имя втрое большего единомыслия.

Ульянов ответил сразу,— кажется, через три дня. Со свойственной ему непосредственностью выражения он писал, что большой камень свалился у него с плеч, что всем мыслям о «междоусобии» — конец и что при встрече они обязательно без обид поговорят обо всем этом, но не для того, чтобы «ковырять старое», а чтобы выяснить все до конца.

И вот теперь они пришли к съезду почти единомышленниками.

— Двадцать лет назад мы были ничто,— сказал Георгий Плеханов, заканчивая свое выступление на открытии второго съезда РСДРП,— теперь мы уже большая общественная сила... Мы должны дать этой стихийной силе сознательное выражение в нашей программе, в нашей тактике, в нашей организации. Это и есть задача нашего съезда, которому предстоит, как видите, много серьезной и трудной работы. Но я уверен, что эта серьезная и трудная работа будет счастливо приведена к концу и что этот съезд составит эпоху в истории нашей партии.

Все делегаты в едином порыве поднялись со своих мест. Торжественно и взволнованно под сводами бывшего мучного склада возникла мелодия «Интернационала».

Пели самозабвенно, горячо, страстно, у многих в глазах стояли слезы. Не в силах сдерживать чувства, обменивались счастливыми взглядами, сжимали друг другу руки. Сбывалось, сбывалось, сбывалось! Несмотря на преследования, гонения, тюрьмы и ссылки, партия поднималась, вставала на ноги, расправляла плечи, пробовала голос в могучих раскатах «Интернационала».

Особенно выделялся бас одного из самых моложавых на вид делегатов съезда — необыкновенно жизнерадост-

ного и подвижного молодого человека в студенческой тужурке и «пьербезуховских» очках с очень сильными линзами без оправы. Красная материя, которой было занавешено окно бывшего мучного склада, слегка колебалась и покачивалась, когда он брал низкие ноты.

А что же брюссельская полиция? Чины бельгийского королевского сыска, озабоченно прислушиваясь к пению, по-прежнему терялись в догадках относительно намерений собравшихся, продолжая в неведении своем называть их анархистами. Что же было в конце-то концов на уме у этих бесстрашных и беззаботных певцов? Взрывы, бомбы, выстрелы, покушения? О чем они, собственно говоря, поют? А может быть, и не поют, а молятся?

Дальнейшее наблюдение за русскими не давало ничего определенного в смысле выявления их конечных целей.

Зато о том, как проводят анархисты свое время по вечерам, брюссельские филеры могли бы рассказать много интересного.

Например, о веселом студенте в очках без оправы, обладателе красивого и сильного голоса.

Возвращаясь из мучного склада, «студент» (делегат съезда Сергей Гусев) любил выпить в буфете гостиницы «Золотой петух» рюмку коньяку, потом поднимался к себе в номер, распахивал окна и громогласно оглашал округу варварскими словами славянской песни непонятного содержания: «Нас венчали не в це-ркви!..»

Иногда ему аккомпанировал на скрипке еще один участник собраний (член президиума съезда Петр Красиков).

Оба русских оказались на редкость музыкально образованными людьми. От песен они переходили к оперным

ариям, и тогда под окнами собиралась каждый раз толпа местных жителей, шумно аплодировавшая после окончания каждой арии.

Однажды, когда импровизированный концерт начался не в номере «студента», а прямо в ресторане «Золотого петуха», несколько филеров рискнули войти в гостиницу. Взору их представилось необычное для европейского глаза зрелище.

Между столиками, зажав в зубах ножи и раскинув в стороны руки, метались в какой-то чудовищной, неистовой пляске два молодых человека восточного вида (делегаты съезда Кнунянц и Зурабов). Скрипка издавала пронзительные, огненные звуки. Посетители ресторана (все из «мучного склада»), сидя за столами, в такт музыке громко топали ногами и хлопали в ладони. Возбуждение было всеобщим.

Ножи в зубах — это, конечно, не случайно. Это подтверждало первоначальную догадку высших чинов брюссельской полиции о террористических планах русских анархистов.

Нужно было принимать меры. Тем более что русские уже обнаружили слежку за собой. И не только обнаружили, но и весьма ловко уходили от нее.

Например, идет агент за одним из посетителей мучного склада. Тот проходит мимо нескольких стоянок извозчиков, на которых полным-полно экипажей, и вдруг неожиданно вскакивает в одиноко стоящее на углу ландо. Непривычный к таким ситуациям, шпик растерянно выбегает на мостовую, пробует остановить какой-нибудь экипаж, чтобы преследовать русского революционера, но опытный русский, обернувшись в ландо, машет агенту шляпой, шлет воздушные поцелуи и благополучно скрывается в неизвестном направлении. (А «студент», зна-

ток оперных арий, проделывавший подобные штучки с брюссельскими филерами чаще других, еще и оглушительно хохотал при этом на всю улицу.)

Честь бельгийского королевского сыска была задета наисильнейшим образом. Высшие чины брюссельской полиции решили действовать.

Полиция нагрянула в «Золотой петух» ранним утром, перед самым выходом русских на их ежедневные собрания в мучном складе. Войдя в один из номеров, полицейские предложили его обитателям заполнить опросные листы — кто они? откуда приехали? с какой целью? (Прописки паспортов в Брюсселе не существовало.)

Русские анархисты, обменявшись на своем непонятном языке несколькими репликами, написали в опросных листах абсолютно одинаковые сведения — все они якобы являются шведскими студентами, приехавшими в Бельгию по своей надобности.

Однако доставленные в полицейский участок и допрошенные на шведском языке «шведские студенты» смогли неуверенно произнести всего лишь несколько шведских слов.

Все было ясно, обман зафиксирован документально. Начальник полиции Брюсселя принял решение — выслать российских анархистов за пределы Бельгийского королевства. Причем четверым из них (Гусеву, Зурабову, Кнунянцу и Землячке) предписывалось покинуть Бельгию в течение двадцати четырех часов.

Работу II съезда РСДРП перенесли в Лондон.

Избранный председателем президиума (двумя вице-председателями были Красиков и Ленин) Георгий Валентинович Плеханов по нескольку раз выступал на каждом заседании съезда.

В течение всего съезда Плеханов чувствовал глубокую идейную близость с Лениным. Яркие теоретические знания Владимира Ульянова, убедительность аргументации, ясное понимание задач партии и то особое, высокое наслаждение и упоение, с которыми он отдавался работе съезда, не считаясь ни с какими личными связями и симпатиями,— все это вызывало у Георгия Плеханова искреннее уважение к Ленину, рождало общность отношения почти ко всем обсуждавшимся на съезде вопросам, убеждало в необходимости твердо поддерживать линию искровцев большинства.

Его неоднократно пытались столкнуть и поссорить на съезде с Лениным. Отвечая одному из делегатов, сильнее других жаждавшему сделать это, Георгий Валентинович, посмеиваясь, сказал:

— У Наполеона была страстишка разводить своих маршалов с их женами. Иные маршалы уступали ему, хотя и любили своих жен. Некоторые товарищи в этом отношении похожи на Наполеона — они во что бы то ни стало хотят здесь развести меня с Лениным. Но я проявлю больше характера, чем наполеоновские маршалы; я не стану разводиться с Лениным и надеюсь, что и он не намерен разводиться со мной.

Горячие споры на съезде вызвал проект программы партии. В основе его лежали положения, совместно выдвинутые Лениным и Плехановым. Особым нападкам проект программы подвергся со стороны делегата Мартынова. Выступая против Ленина и Плеханова, он прибегнул к демагогическому приему: критиковал не программу, а книгу Ленина «Что делать?». Возражения Мартынова были нескончаемо длинны и утомительны. Он непрерывно цитировал в подлиннике английские, французские и немецкие источники.

Разноязыкие мартыновские «трели» вызвали у Георгия Валентиновича саркастическую усмешку.

— Наш интернациональный соловей рискует сорвать себе голос и произношение,— заметил Плеханов.

По праву председателя он сразу же взял слово после Мартынова и дал ему резкую и хорошо аргументированную отповедь.

— Товарищ Мартынов,— сказал Плеханов,— приводит слова Энгельса: «Современный социализм есть теоретическое выражение современного рабочего движения». Товарищ Ленин согласен с Энгельсом... Но ведь слова Энгельса — общее положение. Вопрос в том, кто же формулирует впервые это теоретическое выражение. Ленин писал не трактат по философии истории, а полемическую статью против экономистов, которые говорили: мы должны ждать, к чему придет рабочий класс сам, без помощи «революционной бациллы». Последней запрещено было говорить что-либо рабочим именно потому, что она «революционная бацилла», то есть что у нее есть теоретическое сознание. Но если вы устраните «бациллу», то останется одна бессознательная масса, в которую сознание должно быть внесено извне. Если бы вы хотели быть справедливыми к Ленину и внимательно прочитали всю его книгу, то вы увидели бы, что именно это он и говорит. Так, размышляя о профессиональной борьбе, Ленин развивает ту же самую мысль, что широкое социалистическое сознание может быть внесено только из-за пределов непосредственной борьбы за улучшение условий продажи рабочей силы.

Наверное, никто из делегатов, захваченных живыми перипетиями съездовской дискуссии, не обратил внимания на один тонкий нюанс в этом выступлении Плеханова против Мартынова. Но он, этот нюанс, несомненно, присутствует здесь.

Не осознавая тогда еще, может быть, в полной мере глубинного смысла своих слов, Георгий Валентинович Плеханов, следуя логике союза с Лениным, подсознательно увлекаемый возрастающей ролью его в развитии русской социал-демократии, ставит Ленина на следующую после Энгельса позицию.

Слова Энгельса — общее положение. Ленин же писал не общий трактат по философии истории, а «рабочую» полемическую статью.

Ситуацию (не переоценивая ее) трудно и недооценить. Георгий Плеханов, теоретически обосновавший русскую социал-демократию, невольно двигает фигуру Ленина (сильнейшего практика и теоретика русской социал-демократии последних лет) на новую ступень развития социал-демократии.

Плеханов ставит на съезде имя Ленина рядом с Энгельсом.

На четырнадцатом (первом лондонском) заседании съезда началось напряженное, жаркое обсуждение первого параграфа Устава партии. Делегаты, получив благодаря брюссельской полиции несколько дней отдыха, пересекли Ла-Манш, подышали морским воздухом и с новыми силами ринулись в бой.

Докладчик по первому параграфу — Владимир Ульянов. Его формула: членом РСДРП может быть всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций.

Доводы Мартова: членом РСДРП считается каждый, кто принимает ее программу и оказывает партии регулярное личное содействие под руководством одной из партийных организаций.

Слово за Георгием Валентиновичем Плехановым.

Авторитет Плеханова в партии необычайно высок. Годы, предшествовавшие съезду, были временем наибольшего расцвета его творческой личности как теоретика марксизма и деятеля международного рабочего движения.

Его заслуги перед русским освободительным движением признаны повсеместно. Двадцать семь лет назад, 6 декабря 1876 года, во время первой революционной демонстрации в России, произошедшей в Петербурге на площади Казанского собора, он впервые в России произнес публичную политическую речь, направленную против самодержавия.

С тех пор популярность его росла с каждым годом. Он написал первые русские марксистские книги. Переведя «Манифест Коммунистической партии», создал русскую марксистскую терминологию. Он был властителем дум целого поколения русских революционеров. В России не было более или менее прогрессивно настроенного общественного деятеля, который не уважал бы и не почитал Плеханова. А в социал-демократических кругах бывали порой времена, когда имя Плеханова боготворили — не только его мнение, но и каждая мимоходом брошенная фраза получала силу незыблемой закономерности.

— Я не имел предвзятого взгляда,— сказал Георгий Плеханов,— на обсуждаемый пункт Устава. Еще сегодня утром, слушая сторонников противоположных мнений, я находил, что «то сей, то опый набок гнется». Но чем больше говорилось об этом предмете и чем внимательнее вдумывался я в речи ораторов, тем прочнее складывалось во мне убеждение в том, что правда на стороне Ленина. Весь вопрос сводится к тому, какие элементы могут быть включены в нашу партию. По проекту Ленина, членом партии может считаться лишь человек, вошедший в ту или другую организацию. Противники этого проекта утверждают, что этим создаются какие-то излишние труд-

ности... Говорилось о лицах, которые не захотят или не смогут вступить в одну из наших организаций. Но почему не смогут? Как человек, сам участвовавший в русских революционных организациях, я скажу, что не допускаю существования объективных условий, составляющих непреодолимое препятствие для такого вступления. А что касается тех господ, которые не захотят, то их нам и не надо... Говорить же о контроле партии над людьми, стоящими вне организации, значит играть словами. Фактически такой контроль неосуществим, Аксельрод был неправ в своей ссылке на семидесятые годы. Тогда существовал хорошо организованный и прекрасно дисциплинированный центр, существовали вокруг него созданные им организации разных разрядов, а что было вне этих организаций, было хаосом, анархией. Составные элементы этого хаоса называли себя членами партии, но дело не выигрывало, а теряло от этого. Нам нужно не подражать анархии семидесятых годов, а избегать ее... Когда Желябов заявил на суде, что он не член Исполнительного комитета, а только его агент четвертой степени доверия, то это не умаляло, а увеличивало обаяние знаменитого комитета. То же будет и теперь. Если тот или иной подсудимый скажет, что он сочувствовал нашей партии, но не принадлежал к ней, потому что не мог удовлетворить всем ее требованиям, то авторитет партии только возрастет... Не понимаю я также, почему думают, что проект Ленина, будучи принят, закрыл бы двери нашей партии множеству рабочих. Рабочие, желающие вступить в партию, не побоятся войти в организацию. Им не страшна дисциплина. Побоятся войти в нее многие интеллигенты, насквозь пропитанные буржуазным индивидуализмом. Но это-то и хорошо. Эти буржуазные индивидуалисты являются обыкновенно также представителями всякого рода оппортунизма. Нам надо отдалять их от себя. Проект Ленина может служить оплотом против их втор-

жений в партию, и уже по одному этому за него должны голосовать все противники оппортунизма.

При голосовании первого параграфа Устава Плеханов поднял руку вместе с Лениным.

Вера Засулич и Павел Аксельрод высказывались за формулировку Мартова.

С этой минуты первой русской марксистской социал-демократической группы «Освобождение труда» как единого целого более не существовало. Она, правда, формально еще числилась среди отдельных организаций партии. Только на двадцать девятом заседании съезда Лев Дейч попросил слова и от имени старых товарищей по группе заявил, что «Освобождение труда» растворяется в общей партийной организации.

Но фактически группа перестала существовать в день голосования первого параграфа Устава. В тот день она раскололась на два враждебных лагеря. На глазах у всего съезда.

Это были тяжелые часы в жизни Георгия Валентиновича Плеханова. Двадцать лет он шел рука об руку с Верой Засулич и Павлом Аксельродом по тернистой дороге общей борьбы в суровых условиях жизни в эмиграции, полной невзгод и лишений. Двадцать долгих лет они были друг другу самыми верными товарищами, идейными и духовными друзьями, ближе которых, казалось, и быть не могло. В любую секунду каждый из них готов был прийти на помощь другому — сидеть у кровати больного, переписывать статьи, оказывать материальную поддержку. Вера Ивановна Засулич нянчила детей Георгия Валентиновича, ухаживала за ним самим в дни обострения его туберкулеза, была добрым ангелом семьи Плехановых.

И вот теперь пути их расходились.

На заключительных заседаниях съезда Георгий Плеханов был избран председателем Совета партии. Он был вместе с Лениным, но съезд распадался на две части. Зловещее слово «меньшевизм», из которого в дальнейшем вырастет трагедия судьбы Георгия Валентиновича, родилось на белый свет.

Съезд раскололся надвое. Плеханов сидел с Лениным на заседаниях искровцев большинства, а все его старые друзья по группе «Освобождение труда» — на собраниях другой части съезда во главе с Мартовым.

Терять старых друзей больно. Мрачные мысли одолевали Георгия Валентиновича.

На тридцать первом заседании съезда Плеханов на правах председателя пытается лишить слова Мартова. Вера Ивановна Засулич, вскочив с места, яростно кричит Плеханову совершенно немыслимые, чудовищные обвинения.

Слово просит Ленин. Плеханов властью председателя дает ему слово.

У Засулич начинается нечто вроде психического припадка. Она теряет контроль над собой. Рядом с ней Мартов и Троцкий. Их нервные крики не дают Ленину начать свое выступление.

Плеханов растерян. Он долго не может навести порядок. Голос Ленина почти не слышен за выкриками Мартова, Троцкого и Засулич.

В перерыве, глубоко удрученный всем происшедшим, Георгий Валентинович выходит в коридор. Навстречу ему медленно идет Засулич. Лицо ее пылает, глаза лихорадочно блестят.

Плеханов пытается успокоить Веру Ивановну (ведь это же Вера — друг, товарищ, самый близкий человек за два десятка лет, проведенных рядом в эмиграции), но Засулич, перебив его, снова кричит, срывается почти на визг, бросая в лицо ужаснейшие, несправедливейшие упреки, обвиняя в измене и предательстве.

Вокруг толпятся мартовцы. Они чего-то ждут от Плеханова. Чего же именно? Отказа от союза с Лениным?.. Ну уж нет! Никаких личных симпатий, никаких сентиментальных воспоминаний о прошлом!

— Вера Ивановна,— резко обрывает Плеханов Засулич,— вы что-то перепутали! Наверное, вам кажется, что перед вами стою не я, а генерал Трепов, в которого вы стреляли когда-то...

Шутка горька, тяжела и, пожалуй, неуместна. Засулич близка к обмороку. Она держится за сердце. Ей приносят воды.

Кляня себя за то, что не удержался от сомнительной остроты, Плеханов стремительно выходит из помещения.

Все последующие после столкновения с Засулич дни Плеханов не находит себе места. По ночам его мучает бессонница. Радость победы на съезде, достигнутой в союзе с Лениным, отравлена нелепой выходкой Засулич. Неужели она так ничего и не поняла? Неужели Вера не осознает неправильности своей позиции?

Но ведь она всегда верила мне, мучительно думает Георгий Валентинович. Значит, сейчас доверие потеряно. Из-за чего? Почему? Разве Засулич не понимает пагубности раскола именно в это время? Ведь партия создавалась с таким трудом, ведь столько сил ушло на подготовку съезда. Целых двадцать лет ждали они — Аксельрод, Засулич и он — того времени, когда можно будет уверенно сказать: российская социал-демократия существует не только теоретически, но и практически!

И вот теперь, когда эти слова можно было наконец произнести, старых друзей разделяет пропасть. Они, Вера и Павел, больше не верят ему, Жоржу. Они не хотят принять позиции Ленина.

Нет, он, Плеханов, не может разорвать союза с Лени-

ным ради старой дружбы с Аксельродом и Засулич. За Лениным — реальный смысл, практические дела партии. Он остается с Лениным, как бы тяжело ни пришлось осознавать полный разрыв со своим прошлым, со старыми соратниками и друзьями.

Лето 1903 года кончилось. В конце августа, когда над Темзой сгустились туманы, а солнечные лучи на башнях Тауэра и Вестминстерского аббатства играли все реже и реже, когда над городом зарядили первые унылые осенние дожди, участники второго съезда РСДРП начали разъезжаться из Лондона по местам.

Вернулся в Швейцарию и Георгий Валентинович Плеханов. На душе у него было тревожно и грустно. Тяжелые мысли теснили сердце. Было ясно, что происшедший раскол в самом скором времени обернется новыми испытаниями и сложностями в работе и жизни.

Еще выходила «Искра» под его общей редакцией с Лениным. Еще он писал статьи в газету, развивая и пропагандируя решения съезда. Но разногласия с меньшевиками камнем висели на душе. Энергия разума бесплодно расходовалась на тщетные попытки ликвидировать раскол. Несколько раз вместе с Лениным он участвовал в переговорах с мартовцами, которые не шли ни на какие компромиссы, игнорируя все решения съезда по организационным вопросам.

В октябре у Георгия Валентиновича возникла надежда исправить дело на съезде «Заграничной лиги русской революционной социал-демократии». Съезду лиги предшествовала сентябрьская встреча лидеров большевиков с лидерами меньшевиков. От большевиков присутствовали Ленин, Плеханов и Ленгник. От меньшевиков — Мартов, Засулич, Аксельрод, Потресов.

— Никакой, абсолютно никакой надежды на мир

больше нет,— сказал Плеханову Ленин, когда все разговоры были окончены.

Георгий Валентинович мрачно молчал.

— Война объявлена,— тяжело вздохнул Ленин.

Плеханов стоял насупившись, уткнув бороду и усы в воротник пальто. Глаза его, всегда живые и проницательные, сейчас светились тоской и печалью.

— Впереди у нас съезд лиги,— с трудом сказал он наконец.

— На котором решительно ничего не изменится! — быстро парировал Ленин и сделал исчерпывающий жест рукой.

— Но бой будет дан,— поднял голову Плеханов.

Он чувствовал раздражение против старых друзей. И в то же время ему было жалко их и обидно за них.

— Может быть, последний бой,— тихо добавил Георгий Валентинович.

На одном из заседаний съезда «Заграничной лиги русской революционной социал-демократии» Плеханов, поддерживая Ленина, обрушился на Мартова и Троцкого.

— Троцкий советует не злоупотреблять такими словами, как «анархизм» и «оппортунизм»,— сказал Георгий Валентинович.— Этот совет может быть плох или хорош, но, следуя ему, пришлось бы избегать и таких выражений, как «помпадурский централизм», «бюрократизм» и так далее. Скорее эти выражения неуместны, чем те, которые я употребил. Я не понимаю, почему «анархизм» не употреблять, а «бюрократизм» и «помпадурство» употреблять можно. Какие выражения хуже, резче? В данном случае невольно вспоминается тот дикарь, который на вопрос, хорошо ли съесть чью-нибудь жену, ответил: «Мою жену съесть плохо, а чужую — хорошо!»

Давая выход накопившемуся раздражению против

старых друзей, Плеханов резко высмеял Льва Дейча, как только тот позволил себе очередную нападку на Ленина.

— Я не сомневаюсь, что товарищ Дейч умеет читать, хотя он никогда не злоупотреблял этим умением,— усмехнулся Георгий Валентинович.— Но что он умеет читать в сердцах, я этого не знал. Во всяком случае данные, добытые таким путем, не поддаются проверке, и я не буду даже разбирать, прав он или нет. «Жоресизм» и «анархизм» употреблять неудобно, а «оскорбление величества» и «помпадурство» удобно... Единство должно существовать. Партия должна быть единой и нераздельной, и если эта мысль в моих устах удивляет товарища Дейча, то это свидетельствует о том, что он плохо читает в сердцах. Я настаиваю на принятии резолюции, дабы она еще раз подтвердила наше единство.

Плеханов посмотрел на старого друга. «Женька» (партийный псевдоним Дейча) сидел около Аксельрода и Засулич растерянный и удрученный, не поднимая головы. Весь скорбный вид его как бы говорил о том, что он никак не может понять — почему Жорж Плеханов выступает против него? Почему он не с ними — Засулич, Аксельродом, Дейчем, то есть с теми, с кем организовывал когда-то, двадцать лет назад, здесь же, в Женеве, в кафе на берегу Роны, первую русскую социал-демократическую группу «Освобождение труда»?

Постепенно становилось ясным, что меньшевики стремятся не к миру, а только к войне, что они хотят сделать «Заграничную лигу» центром фракционной войны против большевиков.

Особенно накалилась атмосфера после выступления Мартова.

— Вы переносите принципиальный спор на почву подозрений и намеков,— сказал от имени большевиков

Ленгник, обращаясь к оппозиции.— Вы выработали свой устав, который превращает лигу в независимую от партии организацию. Вы хотите самостоятельно издавать свою литературу и транспортировать ее в Россию без нашего ведома. Ваша цель ясна — вывести лигу из-под контроля партии.

Как член Центрального Комитета, избранного вторым съездом РСДРП, Ленгник объявил съезд «Заграничной лиги русской революционной социал-демократии» незаконным.

Большевики покинули съезд лиги.

Вместе с ними ушел и Плеханов.

Это был последний шаг, сделанный Георгием Валентиновичем после второго съезда РСДРП, вместе с большевиками, вместе с Лениным.

Октябрьским вечером 1903 года в Женеве, в кафе Ландольта, собрались большевики, покинувшие заседание «Заграничной лиги русской революционной социал-демократии». Ждали Плеханова.

Он вошел, необычно взволнованный, бледный, непохожий на самого себя. Все тревожно смотрели на него: почувствовали, что Георгий Валентинович находится в каком-то совершенно новом и незнакомом для них состоянии.

Плеханов оглядел собравшихся. Ленин. Бауман. Бонч-Бруевич. Лиза Кнунянц.

Он вздохнул, откинул назад голову. В черных усах и бороде сверкнула седина.

— Что с вами, Георгий Валентинович? — с тревогой спросил Ленин.

— Надо мириться,— ответил Плеханов.— Необходимо ввести в редакцию «Искры» Засулич, Аксельрода... Я больше не могу стрелять по своим.

Ленин побледнел.

— Но ведь мы же предлагали кооптацию,— тихо сказал он,— они отказались.

— Нужно соглашаться на все их условия,— мрачно сказал Плеханов.— Это лучший способ успокоить и обезвредить мартовцев.

— Вы предлагаете отменить решения съезда партии? — спросил Ленин.

— Если мое предложение не будет принято, я ухожу в отставку,— сказал Плеханов.

Так началась драма судьбы — трагедия политической и общественной биографии Георгия Валентиновича Плеханова.

Ленин, как всегда, энергично, коротко и ярко дает характеристику эволюции Плеханова в то время:

1903, август — большевик;

1903, ноябрь (№ 52 «Искры») — за мир с «оппортунистами» — меньшевиками;

1903, декабрь — меньшевик, и ярый...

В последние месяцы и дни 1903 года Георгий Валентинович много думал о переменах, происшедших в его политической позиции, в его положении в русской социал-демократии.

Иногда перед ним возникала вся его жизнь — длинная череда событий, встреч, городов, стран, человеческих лиц. Ему вспоминалась Россия, от которой он был оторван вот уже целых двадцать три года, далекий городок Липецк и отцовская деревня Гудаловка, в которой он родился...

Воронеж, где прошла его юность в военной гимназии...

Петербург и Горный институт, первые сходки рабочих и студентов на его квартире, с которых все началось.

Потом были кружки, Казанская демонстрация, хождение в народ, Воронежский съезд, разрыв с народовольцами, эмиграция, приход к марксизму...

Собственно говоря, один раз в его жизни события уже сплетались в неимоверно тугой узел, подобный теперешнему. Тогда, более двадцати лет назад, он, молодой и непримиримый, явился из России в Европу, чтобы спустя некоторое время в своих книгах «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия» навсегда порвать с народничеством и перейти на твердые позиции марксизма.

Тогда он четко размежевался в своих новых взглядах с позицией Лаврова, одного из апостолов народничества. Все было высказано предельно ясно и определенно — русское освободительное движение в лице только что созданной группы «Освобождение труда» выходило на новую историческую дорогу. (Ему запомнился взгляд, который бросил однажды Петр Лаврович Лавров на него, на Плеханова, во время одного из самых горячих их споров. Взгляд старого человека, провожающего в дальнюю дорогу нетерпеливую молодежь,— усталые, слезившиеся глаза Лаврова смотрели поверх очков растерянно и тоскливо.)

Теперь ситуация как бы повторялась. Ленин и ленинцы — молоды и непримиримы. А он и старые друзья (Засулич, Дейч, Аксельрод) уже, к сожалению, совсем немолоды. Да и не только в возрасте было дело. Новая революционная Россия лежала далеко. За двадцать с лишним лет эмиграции все они, «освободители труда», как называл их когда-то Лавров, привыкли в Европе к иной, западной практике социал-демократического строительства в относительно мирных, легальных условиях.

А Россия полыхала отблесками новой, близкой революционной бури. Он, Плеханов, понимал это и хотел бы идти вместе с ленинцами, но как же быть с теми, кто

годами стоял рядом, чью поддержку и помощь он всегда ощущал? «Мадам История» склонна к тому, чтобы двигать жизнь вперед по спирали. Конечно, нельзя говорить о том, что эта капризная «мадам» сейчас поставила его в то же самое положение, в которое некогда был поставлен Лавров. Но что-то общее есть. Диалектика. Все течет, все изменяется. Все имеет свой конец. И то, что когда-то было молодо, теперь устарело. Но что же делать с человеческой природой, которой свойственно упорно сопротивляться времени и порой не замечать его неумолимого движения вперед?

Двадцать девятого ноября 1903 года Георгию Валентиновичу Плеханову исполнилось сорок семь лет.

В тот день, нарушив свою издавна заведенную в эмиграции привычку работать каждый день с самого раннего утра, он долго сидел один у себя в кабинете за письменным столом, разглядывая фотографии отца и матери.

С фотографии отца смотрел на него суровый тамбовский дворянин с внешностью николаевского офицера. К петлице старого сюртука прикреплен «Георгий» — за храбрость. Окладистая седая борода, усы пиками, взгляд — напряженный, непокорный, самостоятельный. Пожалуй, чересчур самостоятельный и даже дерзкий, булавочно колкий. Во всем облике ощущается нечто не вполне русское, отдаленно восточное — некая затаенная азиатчина (то самое, что по устной традиции называлось у них в семье «пле-ханство» и уходило корнями в семейные предания и легенды о татаро-монгольских предках по отцовской линии).

А на лице у мамы — мудрое, кроткое, доброе выражение милой русской барыни, которая хотя и осознает себя помещицей, хозяйкой имения, тем не менее твердо знает, что она в своем имении — всего лишь мать своих детей,

и не больше, что ее человеческие возможности дальше маленького женского мирка не распространяются, что она, по сути дела, такая же собственность своего грозного, неукротимого мужа, как и его крепостные. И поэтому глаза мамы светятся лаской и пониманием необходимости прощать человеку несовершенство его характера (в первую очередь собственному мужу). И еще веет от ее лица теплом великой сердечной щедрости русской женщины, для которой все грешные люди — всегда ее безгрешные дети.

В тот день, двадцать девятого ноября 1903 года, когда ему исполнилось сорок семь лет, он так и не начал работать, хотя дел было много. Напряженная ситуация в партии, кризис отношений с Лениным — все это требовало писать статьи, письма, объяснять, растолковывать, находить теоретические обоснования.

Но не работалось. Он оделся и вышел на улицу.

Сорок семь лет прожил человек на земле. Что там ни говори, какими иллюзиями ни утешай себя — главное уже позади. Стрелка судьбы закончила свой восходящий путь и теперь неуклонно движется вниз, к тому пределу, за которым у всех, как любил говорить Герцен, вход в минерально-химическое царство.

Правда, время еще есть, да и забот хватает. Многое начато и не завершено, многое предстоит сделать в связи с последними событиями. Нужно думать, нужно бороться, нужно напряженно искать выход из создавшегося положения.

И все-таки — сорок семь. Из них половина проведена в изгнании, на чужбине. Подумать только — двадцать три года прожил он в чужих странах и городах. Швейцария, Франция, Англия, Бельгия... Чужая речь, чужие вывески, чужие озера, реки, леса, равнины...

Он снова вспомнил фотографии отца и матери, оставшиеся стоять на его письменном столе. Два эти человека давно уже лежат в могиле, в сырой земле, а он бесконечно далек от этой родной русской земли, он лишен даже возможности прийти на могилу своих предков и дать волю такому необходимому, такому естественному для каждого человека чувству благодарности людям, чей союз вызвал его появление на свет, чьи черты и наклонности он унаследовал.

И с неожиданной глухой болью он вдруг почувствовал огромную неутолимую сердечную тоску по России, по далекой своей и почти уже забытой родине, по ее желтым пшеничным полям и кудрявым лесам, по белой березе своей юности, зеленой долине отрочества, по реке своего детства, неторопливо журчащей на светлых песчаных перекатах.

И он увидел себя — маленького русского мальчика, идущего через сад от родительского дома по мокрой утренней траве...

Он остановился, закрыл глаза, замер, прислушиваясь к тяжелым ударам сердца...

И Россия, родина, детство неудержимо двинулись к нему навстречу из всех далеких уголков памяти, будто огромное красное солнце взошло над горизонтом его жизни...

Глава первая

1

За окном тихий свист.

— Жоржа! Спишь ай нет?

Жорж Плеханов, десятилетний сын тамбовского помещика Валентина Петровича Плеханова, вскакивает с

кровати в своей маленькой комнате на первом этаже в летней пристройке к главному, зимнему господскому дому в селе Гудаловка и открывает окно. Яркие лучи веселого летнего солнца ослепляют его на мгновение, он жмурит глаза, бросает в разные стороны руки, сладко потягивается и, только проделав все это, смотрит вниз, где под густыми кустами старого, примыкающего к помещичьему дому парка стоит неразлучная деревенская троица — Васятка, Гунявый и Никуля. Все трое — русоголовые, нечесаные, в заплатанных штанах и ситцевых рубашонках без единой пуговицы, босые ноги нетерпеливо переступают на еще мокрой от утренней росы траве.

— Ну, что вам? — снисходительно спрашивает молодой барин.

— Брухтаться идешь али спать дальше будешь? — спрашивает Никуля, сын настырного и въедливого гудаловского мужика Сысоя Никулина.

«Брухтаться» — по-местному — купаться, барахтаться в поросшей ивняком извилистой речушке Бесалуке, призывно желтеющей песчаными отмелями и косами неподалеку от поместья и парка.

— Иду, конечно,— усмехается Жорж,— когда это я дольше вас спал?

— Пистоль с собой бери да пистонов поболе,— говорит, шмыгая носом, Гунявый.— А мы тебе за это «бабки» дадим. У нас много.

И он достает из-за пазухи целую кучу козлиных, овечьих и лошадиных мослов, отполированных почти до блеска от долгой и лихой уличной игры.

— Возьму, не беспокойся,— отвечает Жорж.

Он быстро стелит кровать, натягивает штаны и куртку, надевает башмаки и, сунув в карман коробку с пистонами и игрушечный пистолет-хлопушку, привезенный из города батюшкой, прыгает с подоконника в парк.

— Давайте «бабки»,— протягивает Жорж руку.

— Сперва стрелить дай,— прячет Гунявый «бабки» обратно за пазуху.— А то тебе дашь, а ты обманешь.

— Я обману? — строго сдвигает Жорж брови.— Ты что мелешь, дурак? Зачем мне тебя обманывать, когда я и так могу взять. Вот скажу старосте Тимофею, и он сегодня же отберет все твои «бабки».

— Будя вам,— примирительно говорит круглолицый увалень Васятка, самый маленький ростом изо всей деревенской компании.— Зачем вам сейчас-то пистоны? Все равно здесь стрелить нельзя. Барин услышит, заругается.

— Правильно,— соглашается Никуля,— айдате на речку, там и стрелим.

Жорж бросает на Гунявого сердитый взгляд и произносит вполголоса слова, которые любит иногда говорить в сердцах матушка — «анфан террибль»!

— Чаво, чаво? — придвигается Гунявый.— Ты чего обзываешься?

— Ха-ха-ха! — смеется Жорж.— Разве ты понял? Это же по-французски!

Гунявый молча сопит, Васятка щербато улыбается, Никуля смотрит на барчука, с любопытством склонив набок голову.

— Пошли! — коротко приказывает Жорж и, пригнувшись, ныряет под кусты. Деревенские, подтянув штаны, устремляются за ним.

К реке идут через парк. Старые липы шумят над головами мальчиков первыми свежими ветерками. На ветках пробуют голоса птицы. Мычит где-то вдалеке стадо, щелкает кнут пастуха, играет рожок.

Вот и река блеснула между деревьями.

— Наперегонки! Наперегонки! — кричит Жорж.— Кто первый окунется, тот первый и стреляет!

Вся ватага, радостно гогоча и сбивая с кустов росу, несется под уклон. Жорж, хотя по возрасту он младше

всех, первым выбегает на берег (сказываются гимнастические упражнения, которыми каждый день заставляет заниматься своих сыновей суровый Валентин Петрович), но ведь не прыгать же в воду одетым? И пока молодой барин стягивает с себя господскую одежду — куртку, чулки, башмаки,— поотставшие было деревенские его приятели, сбрасывая на ходу портки и рубахи, почти все сразу скатываются с невысокого обрыва в речку и, тут же вынырнув, кричат в один голос:

— Жоржа! Я первый мырнул!

— Жоржа! Гля-кося, я глыбже всех стою!

— Жоржа! На первую руку мне пистоль, я быстрее!

Но «Жоржа» как бы и не слышит все эти крики. Сконфуженный своим долгим и неловким раздеванием, он делает вид, будто специально не торопился в воду, аккуратно складывает в стороне одежду, выпрямляется, разводит в сторону руки — вдох, выдох, наклон, приседание, вдох, выдох, наклон, приседание...

Никуля, Васятка и Гунявый, разинув от удивления рты и блестя круглыми животами, неподвижно стоят в реке и молча смотрят на своего барина.

— Жоржа, ты чегой-то? — сглотнув слюну, спрашивает наконец Васятка.

— Лихоманка его забирает! — «догадывается» Гунявый.— А может, сам родимец. Гля, как закручивает.

Вся троица осеняет себя крестным знамением, чтобы «отогнать родимца», но тот «засел», видно, в барчуке крепко-накрепко: «Жоржа» кидается в полосатых своих исподниках оземь и, лежа на спине, начинает мелко дрыгать ногами, а потом и вовсе загибает их назад и в таком положении застывает.

Деревенские мальцы холодеют от страха.

— Никак, помер? — испуганно говорит Васятка.

Все трое выходят на берег и боязливо, с опаской приближаются к «покойнику».

— Преставился,— хлюпает носом Васятка,— царство небесное...

— Теперича постреляем вволю,— ощеривается Гунявый и тянет руку к господским штанам,— теперича пистоль наша...

И вдруг «Жоржа» резко вскакивает на ноги и заливается счастливым смехом:

— Дурачье! Это же гимнастика!

— Ну, Жоржа! Ну, испужал! — басит Васятка на радостях, что молодой барин остался живой.

А Никуля, склонив по привычке своей голову набок, смотрит на барина с любопытством и с большим-большим интересом.

Насладившись столь неожиданно проявившейся властью над деревенскими приятелями, Жорж подходит к обрывчику и по всем правилам, как учили старшие братья, прыгает в воду «рыбкой» — головой вниз.

— Важно! — восхищенно говорит Васятка.

— Старшие барчуки еще ловчее мыряют, я сам видел,— бурчит всегда недовольный и во всем сомневающийся Гунявый.

Никуля молчит. Дождавшись, пока барин вынырнет, он становится на обрывчике на то же самое место, где только что стоял «Жоржа», и, стараясь повторять все его движения, бросается в реку, отчаянно вытянув вперед руки.

Но прыжок не получается — Никуля звонко шлепается о воду животом. Фонтан брызг поднимается над речушкой.

— Гы-гы-гы! — потешается на берегу Гунявый.— Никуля-Акуля, лягушка-квакушка, поймай комара!

Улыбается и Васятка.

И только Жорж, стоя в воде, строго смотрит на несчастного Никулю, который, согнувшись и потирая руками ушибленный живот, вылезает на берег.

— Перестань сейчас же,— обрывает Жорж Гунявого.— Сперва сам научись, а потом будешь над другими смеяться.

Подбадриваемый барином, Никуля медленно отводит руки назад и прыгает в речку. Уже получилось лучше — брызг меньше. Характер у Никули упрямый, да и очень хочется ему научиться у барина делать все быстро и ловко, и он настырно повторяет прыжки один за другим. Васятка ревниво наблюдает за Никулей, а Гунявый тревожится — ему уже ясно, что теперь первым «стрелить» достанется не ему.

Так оно и получается.

— Молодец! — кричит наконец Жорж после очередной, самой удачной попытки и, достав из кармана штанов хлопушку-пистоль и коробку с пистонами, протягивает их Никуле: — Стреляй!

Никуля прижмуривает один глаз, наводит хлопушку двумя руками на дальний лес и нажимает курок: ба-бах!

— У-ух-ты! — делает круглые глаза от восторга Васятка.— Важно стрелил!

— В кого попал? — усмехается Гунявый.— В зайца али в медведя?

— В хромого лешего! — радостно кричит Васятка.

Никуля молчит. Он снова старательно целится в кого-то, только ему одному видимого: ба-бах! ба-бах!! ба-бах!!!

— Жоржа, дай мне скоренча! — прыгает на одной ноге Васятка.— Мочи нет больше терпеть, как стрелить хочется!

Жорж, бросив на Гунявого выразительный взгляд, протягивает пистоль. Лицо у Гунявого вытягивается от обиды.

Васятка счастлив. Закрыв оба глаза, он стреляет — ба-бах! — и от полноты чувств роняет пугач на землю.

Гунявый не выдерживает и, нагнувшись, быстро поднимает пистоль.

— Моя, что ль, теперь очередь? — хмуро спрашивает он.

— «Бабки» давай! — требовательно говорит Жорж.

Гунявый протягивает барину горсть «бабок». Потом, заложив в пугач сразу несколько пистонов, неожиданно наводит его прямо на Васятку.

Васятка пятится от него.

— Не смей! — кричит Жорж.— Не смей в человека целиться!

Гунявый злорадно ощеривается и спускает курок. Трах-рах!! Тарарах!!! Слишком много пистонов оказалось одновременно в пугаче. Сверкнуло пламя, и пистоль разлетается на куски. Обожженный слегка Васятка испуганно приседает на траву.

В два прыжка подскакивает Жорж к Гунявому и обеими руками сильно толкает его в грудь. Гунявый валится на Васятку и в страхе закрывает лицо. Он знает — в драке с «Жоржей» лучше не связываться. Все барчуки в драке на руку дерзки и быстры, а «Жоржа» особенно.

— Как ты посмел в него стрелять? — сжимает Жорж кулаки.— Как ты посмел?

— Она же не взаправдашняя, пистоль-то,— хнычет Гунявый.— Не гневайся, барин...

Жорж вытаскивает из кармана «бабки» и швыряет их Гунявому.

— Вот тебе все твои «бабки»! — задыхаясь от гнева, говорит он.— И не смей больше являться на усадьбу, слышишь? Не смей!

Потом он поворачивается к Никуле и Васятке:

— А вы приходите сегодня после обеда. Я у батюшки денег на жалейку попрошу и дам вам, как обещал.

— А мы тебе, барин, кнут принесем,— улыбается Васятка, обрадованный, что не попал под барскую немилость.— Помнишь, ты кнут вчерась просил тебе сделать?

2

На завтрак Жорж, конечно, опаздывает. Вся семья уже в сборе.

— Где был? — строго сдвинув брови, спрашивает сидящий во главе стола Валентин Петрович.

— Купался,— коротко объясняет Жорж, хотя это и так всем ясно: мокрые, непричесанные волосы торчат у него на макушке в разные стороны.

— А почему в окно вылез, а не через дверь прошел? — хмурится Валентин Петрович.

— Через окно быстрее,— дерзко объясняет Жорж.

— Егор, не паясничай! — сердится Валентин Петрович.

Сидящая рядом с ним Мария Федоровна мягко кладет свою руку на руку мужа, потом переводит взгляд на сына. Жорж виновато опускает голову. Смягчается и Валентин Петрович.

— Садись, и чтобы это было в последний раз,— меняет гнев на милость строгий отец.

Жорж идет на свое место, садится, придвигает к себе тарелку, берет нож и вилку. Мария Федоровна с улыбкой смотрит на сына и, когда он поднимает на нее глаза, чуть заметным кивком головы дает ему понять, что он сделал совершенно правильно, не вступив в пререкания с раздраженным какими-то хозяйственными неурядицами Валентином Петровичем.

И как всегда в таких случаях, когда гневную вспышку неуравновешенного мужниного характера ей удавалось потушить в самом начале, она вспоминала давнюю историю, произошедшую несколько лет назад вот в этой же комнате вот за этим же столом между пятилетним Жоржем и Валентином Петровичем.

...Как-то за обедом маленький Жорж, не знавший тогда еще вкуса горчицы, попросил ее у отца. Валентин

Петрович, усмехнувшись, зачерпнул полную чайную ложку и протянул сыну (в воспитательных целях, как объяснил он потом жене). Жорж отправил ложку в рот, обжегся и покраснел. На глазах выступили слезы. Но не желая показывать всем, что попал впросак, зажмурился, сделал усилие и проглотил горчицу.

— Вкусно? — спросил Валентин Петрович.

— Вкусно,— еле ворочая языком, ответил сын.

— Хочешь еще?

За столом наступила тишина.

Жорж исподлобья взглянул на отца.

— Хочу,— упрямо ответил он.

Валентин Петрович зачерпнул еще одну полную ложку, но тут вмешалась Мария Федоровна и отняла у мужа горчицу.

— Маша! — загремел Валентин Петрович.— Не вмешивайся! Пусть ест, если сам напросился!

Мария Федоровна положила руку на плечо мужа, и он сразу остыл.

— А? Видали? — захохотал Валентин Петрович, откинувшись на спинку стула.— Видали, какой характер? Слопал, подлец, целую ложку и молчит. Молодец, ей-богу, молодец!

...После завтрака Валентин Петрович отправился по хозяйственным делам, а Мария Федоровна, позвав с собой Жоржа, перешла в гостиную. Дав сыну французскую книжку, она взяла себе вязание и села в кресло напротив. Жорж листал книгу, а Мария Федоровна, бросая время от времени короткие взгляды на своего первенца, предалась воспоминаниям, разбуженным в памяти историей с горчицей.

Вот видит она маленького Жоржа в детской комнате на руках у няни. В комнату, прихрамывая, входит рыжий кот Мишка (это Валентин Петрович дал коту имя родного братца Миши). Нога у кота перевязана красной

тряпкой. Егорушка (тогда он еще не был Жоржем), увидев хромающего кота, начинает плакать.

— Нянюшка, возьми Мишку на руки,— просит Егорушка,— ему больно, у него лапка болит.

А вот видит Мария Федоровна себя в открытой коляске вместе с детьми. Маленький Жорж с сыновьями Валентина Петровича от первого брака Николенькой и Гришей сидит рядом с кучером. Они возвращаются в Гудаловку из Липецка.

На подъеме лошади идут медленно, тяжело опуская вниз, в такт шагам, головы. Кучер шевелит вожжами, постегивает по лошадиным спинам кнутом.

И вдруг Жорж ни с того ни с сего выпрыгивает из коляски.

— Вылезайте! — кричит он на старших братьев.— Вылезайте сейчас же!

— Зачем? — резко спрашивает Николенька, сверкая черными, угольно горящими глазами (не то маленький черкес, не то цыганенок).— Что ты еще выдумал?

— Вылазь! — не вдаваясь в объяснения, повелительно кричит Жорж.

Кучер натягивает вожжи, останавливается, поворачивается к барыне.

— Что случилось? — спрашивает Мария Федоровна у сына.

— Маменька, вы можете не выходить,— объясняет Жорж.— Пускай Коля с Гришей вылезают и Маркел.— (Маркел — это кучер.) — Мы пешком пойдем в гору. Лошади устали.

Маркел первым спускается с облучка. За ним прыгают и Николенька с Гришей.

— Правильно, барин,— одобрительно говорит Маркел,— лошадям в гору завсегда роздых нужно давать. Они потом тебе в три раза бойчее отработают.

Он дергает вожжи, облегченная коляска легко трога-

ется с места. Мария Федоровна, сидя в коляске на заднем сиденье, с улыбкой смотрит на своего первенца и удивленно думает о его добром сердце.

...Жорж, расположившись напротив матери, читает французскую книжку, а Мария Федоровна вяжет и вспоминает, вспоминает, и волны памяти несут к ней все новые и новые картины.

Вот огромный сторожевой пес Полкан медленно подходит к младшей дочери Варецьке, вышедшей без присмотра во двор. Мария Федоровна видит это из окна дома и в ужасе кричит:

— Помогите! Помогите!

Варенька, услышав голос мамы, спотыкается и падает. В это время из-за амбаров выскакивает маленький Егорушка. В руках у него ничего нет, но он смело бросается на собаку. Полкан, взъерошив шерсть и оскалив зубы, рычит, пятится. Жорж, воспользовавшись этим, подхватывает сестренку на руки и бежит с ней к дому навстречу высыпавшей на крыльцо дворне. Полкан, увидев бегущего, бросается с лаем вслед, но уже поздно — дворовые отгоняют его, Варенька спасена, а Егорушка, вбежав в комнату, где Мария Федоровна мелкими глотками пьет из стакана воду, с разбегу падает перед матерью на колени, обхватывает руками ее ноги, захлебывается в слезах:

— Маменька, голубушка, прости, пожалуйста, прости, это я Полкана отвязал!

Мария Федоровна нежно гладит Жоржа по голове и еще крепче прижимает его к себе.

А совсем недавно, два месяца назад, к Марии Федоровне приехали из Линецка две знакомые дамы. Гости сидели в этой же комнате, когда вошел Жорж, поздоровался и, увидев, что мать занята, молча сел в углу на диван.

— Тебе что-нибудь нужно? — спросила Мария Федоровна.

— Нет, ничего не нужно,— ответил сын.

— Тогда принеси, пожалуйста, еще один стул,— попросила Мария Федоровна,— будем пить чай.

— Я не могу принести стул,— ответил Жорж и встал.

— Не можешь? — нахмурилась Мария Федоровна.— Почему?

— Я вывихнул руку,— тихо сказал Жорж.

Мать быстро подошла к сыну. Лицо у него было бледное, рука неестественно вывернута локтем вовнутрь.

— Сними куртку,— попросила Мария Федоровна.

— Не могу,— сквозь зубы сказал Жорж,— больно.

Приезжие дамы помогли хозяйке раздеть сына. Вывих был настолько серьезный, что гости вызвались сейчас же, в своем экипаже, везти Жоржа в город, к врачу. За всю дорогу до Липецка (семнадцать километров) Жорж не проронил ни одного слова. Молчал он и у врача, пока вправляли локтевой сустав.

Когда все было кончено, врач выразительно посмотрел на пациента и сказал:

— Молодцом, молодой человек, просто молодцом. Не всякий взрослый смог бы вытерпеть такую боль.

И только тут Мария Федоровна увидела, что губы у сына искусаны в кровь.

...Дверь гостиной скрипнула.

— Кто там? — подняла Мария Федоровна голову от вязания.

В дверь просунулась голова старостихи.

— Барыня, матушка, выдь на час,— попросила старостиха.

Мария Федоровна поднялась из кресла. В коридоре, повязанные по самые брови белыми платками, стояли две босые бабы из деревни — Лукерья и Авдотья. Концы платков бабы прижимали к глазам.

— Что случилось? — нахмурилась Мария Федоровна.

— Барин лютует,— шепотом заговорила старостиха.— Оне лошадей своих пасли,— кивнула на Авдотью и Лукерью,— да приморились и уснули. А лошади возьми и зайди на господский луг. А тут барин мимо ехал... Как увидел, так лошадей сразу отобрал и велел на усадьбу гнать. А куды ж оне теперь без лошадей пойдут. Их свои мужики за это до смерти забьют.

— А что же вы от меня хотите?

— Пособи, матушка! — запричитали в один голос Авдотья и Лукерья.— Упроси барина отдать лошадок. Куды сейчас без лошадей денешься? Лето на дворе, работы много...

— Но вы же знаете, что барин сам хозяйством занимается. Меня он не послушает.

— А ты молодого барина к нему подпусти,— хитро улыбнулась старостиха и кивнула на дверь, за которой сидел в гостиной с французской книжкой Жорж.— Старый барин на энтого барчука уж больно отходчивый. Али сама не знаешь?

— Хорошо, я попробую,— пообещала Мария Федоровна.

3

Валентин Петрович, закрывшись у себя в кабинете, с мрачным видом сидел за письменным столом. Дела по хозяйству шли из рук вон плохо. Земли не хватало. По теперешним временам сеять нужно было в пять, в десять, в двадцать раз больше, чем это делал он. Но земли не было, и покупать ее было не на что. А долг по закладным в дворянских банках Тамбова и Липецка увеличивался. В сердцах, хватанув иногда лишнюю рюмку в буфете губернского собрания, Валентин Петрович ругательски ругал царя-освободителя, ныне здравствующего императора Александра Николаевича.

— Нет, господа, вы как хотите! — кричал Валентин Петрович двум-трем знакомым помещикам в клетчатых картузах, сидевшим вместе с ним в летнем буфете.— Вы как хотите, а я ему отмены крепостного положения не прощу до конца своих дней!

Он поворачивался к стойке, над которой висел саженный портрет государя в полный рост, и грозил царю кулаком. (Татарин-трактирщик обмирал душой за стойкой от этих проклятий.)

— Никогда не прощу! — продолжал бушевать Валентин Петрович.— Пускай черти ему на том свете служат, а я служить не буду-с!

Знакомые помещики спешили допивать свои рюмки и разъезжались от греха подальше.

...В открытом окне кабинета показалась голова Жоржа.

— В чем дело? — строго спросил Валентин Петрович.— Опять в окно?

— Я пробовал через дверь, папенька, там заперто.

— Тебе я открою,— сказал Валентин Петрович,— иди.

Войдя в отцовский кабинет, Жорж сел в кресло и огляделся по сторонам. Здесь все было ему хорошо знакомо — золотые корешки книг за стеклянными дверцами шкафов, оленьи рога над дверью, седло с набивной чеканкой (и две скрещенные сабли под ним) на стене.

— Ты хотел что-нибудь сказать мне? — спросил Валентин Петрович.

— Да, папенька,— посмотрел отцу прямо в глаза Жорж.

— Говори.

Наблюдая за сыном, Валентин Петрович чувствовал, как пасмурное его настроение постепенно начинает развеиваться. Жорж всегда умиротворяюще действовал на Валентина Петровича. Он был главным наследником гу-

даловского имения (дом и земля в Козловском уезде были записаны на детей первой жены). И поэтому Валентин Петрович, стараясь внешне не выделять его среди своих детей, все-таки отдавал Жоржу предпочтение.

Однажды он вынес маленького Егорушку через заднее крыльцо во двор и посадил верхом на дряхлого мерина Габоя. Старая кавалерийская примета была такая: не упадет,— значит, родился настоящий мужчина, упадет — и жалеть нечего... Габой, качая сивой гривой, медленно сделал круг по двору и вернулся обратно. Это уже была не просто хорошая примета: древнее степное предание подтверждало — если посадить маленького сына на лошадь и та обойдет вокруг юрты, сделает полный круг, значит, жизненный путь сына полностью воплотит в себе свое предназначение.

Спустя несколько лет произошел еще один случай, укрепивший Валентина Петровича в его мыслях относительно будущей судьбы сына. Как-то, сидя рядом с кучером Маркелом на облучке по дороге из Липецка в Гудаловку, маленький Жорж попросил у Маркела подержать вожжи. Почувствовав чужую, а тем более детскую, неопытную руку, кони пошли быстрее, а потом и вовсе понесли. Кучер, побледнев, хотел вырвать у барчука вожжи, но Жорж не выпускал их из рук. И только тогда, когда лошади, сбежав с пригорка, остановились, молодой барин отдал вожжи Маркелу.

— Хвалю,— коротко сказал сыну Валентин Петрович, когда узнал об этом эпизоде,— но в будущем знай: из чужих рук вожжей никогда не бери. А если уж взял, не выпускай до конца.

...Жорж уже несколько минут сидел в кресле перед отцом, разглядывая золотые корешки книг за стеклянными дверцами книжных шкафов, и молчал.

— Ну, так что же ты мне все-таки хотел сказать? — еще раз спросил Валентин Петрович.

— Папенька, дайте мне, пожалуйста, три копейки,— попросил Жорж.

— Три копейки? — поднял вверх густые брови Валентин Петрович.— Зачем они тебе понадобились?

— Я деревенским жалейку обещался купить.

— А у тебя были эти три копейки, когда ты обещался?

— Нет, папенька, не были.

— Зачем же тогда обещался?

Жорж молчал.

— Хорошо, я дам тебе три копейки. Но впредь запомни: деньги можно обещать только тогда, когда они у тебя уже есть в кармане.

Жорж вылез из кресла и подошел к столу. Отец протянул ему монетку. Жорж три копейки взял, но от стола не отходил.

— Ну, что еще? — нахмурился Валентин Петрович.

— Папенька, у мужиков лошадей отобрали...

— Что, что? — повысил голос отец.— Тебе какое дело, что лошадей отобрали?

— Авдотья и Лукерья пришли, плачут,— потупился Жорж.— Отдайте им лошадей, папенька.

— Нет, это черт знает что такое! — зашумел Валентин Петрович, поднимаясь из-за стола.

Дверь кабинета бесшумно отворилась, и на пороге выросла фигура Марии Федоровны. Подойдя к сыну, притянула его к себе.

— Я присоединяюсь к просьбе Жоржа,— тихо сказала Мария Федоровна.

Валентин Петрович схватил со стола тяжелое пресс-папье и в сердцах швырнул его в угол. Потом распахнул окно и крикнул во двор:

— Тимоха! Отдай лошадей этим дурам! Да скажи, чтобы в следующий раз не попадались... Выпорю!!

Он сел за стол и, не глядя на жену и сына, сказал:

— Ты, Жорж, можешь идти. А ты, Маша, останься.

Жорж пошел было к дверям, но голос отца остановил его:

— И больше никогда с такими глупостями ко мне не обращайся! Тебе о гимназии надо думать, а не о дурацких бабьих просьбах. Осень скоро, в гимназию надо готовиться, а ты шляешься где-то с утра пораньше вместо того, чтобы за книгами сидеть. Иди!

Жорж вышел.

Мария Федоровна подошла к мужу, обняла его сзади за плечи, поцеловала в голову.

— Спасибо,— тихо сказала Мария Федоровна.

— Портишь ты мне детей, Маша,— устало вздохнул Валентин Петрович.— Портишь ты мне и детей, и людей...

Глава вторая

1

В мае 1873 года в Липецке умер Валентин Петрович Плеханов.

Тело его отпевали в Соборной церкви, а похороны состоялись на Евдокиевском кладбище.

Через несколько недель после смерти отца старший сын Валентина Петровича от второго брака Георгий окончил Воронежскую военную гимназию и получил назначение в Петербург — во второе юнкерское артиллерийское Константиновское училище.

Учеба в артиллерийском училище продолжалась недолго. В конце 1873 года юнкер Плеханов подает рапорт на имя наследника престола и получает разрешение оставить военную службу.

В декабре он возвращается в имение отца и начинает готовиться к поступлению в Горный институт.

...Март 1874 года в Гудаловке выдался ветреный. Ранним пасхальным утром во дворе господской усадьбы раздался истошный крик:

— Горим!

Шапка искр взметнулась над кровлей помещичьего дома. Из печной трубы на крыше вырвался столб пламени.

Молодой барин, занимавшийся, как обычно, с утра в кабинете покойного отца, выскочил во двор без пальто и шапки. Хмельной с ночи соседский поп, въехавший во двор на тарантасе и увидевший огонь, взревел басом:

— Воды!

И бросился с полупьяну на крышу, крестясь на ходу.

— Стойте, батюшка! — крикнул молодой барин.— Сгорите!

— Воды, воды! — вопил поп.— Одним ведром все потушу!

На крики выбежала из дома барыня, метнулась к сыну, прижала к груди.

— Уйдем, Егорушка, уйдем!

— Маменька, дом же горит!

— Дом старый! — плакала барыня.— Мне твоя жизнь дороже!

Поп, сбитый пламенем, скатился с крыши с обожженной бородой и усами. На пожар сбегались мужики.

— Вещи спасайте! — кричал поп на мужиков.

Мария Федоровна, не распорядившись ни о чем, увела Жоржа в дальний конец двора. Мужики тащили из огня что попало. Вскоре рухнула кровля, и в пламени погибла вся библиотека Валентина Петровича.

— Вон оно как получается,— сказал приехавший на пожар в собственной бричке бывший гудаловский староста Тимофей Уханов по прозвищу Одноглаз.— Помер старый барин, и гнездо его сгорело. Года не прошло.

С помощью Тимофея, одолжив у него денег, Мария

Федоровна (после того, как были растасканы головешки с пожарища) приспособила для проживания семьи в деревне несколько хозяйственных построек. Но жить в них было неудобно, а главное — стыдно. И пришлось всем перебираться в Липецк, во флигель городского дома. Дом этот был куплен Валентином Петровичем шесть лет назад, но так получилось, что сами хозяева, круглый год обитая в Гудаловке, почти не жили в нем, сдавая все пять комнат внаем, а когда случалось приезжать в город, останавливались во флигеле.

Перед самым отъездом в Липецк к барыне Марии Федоровне пригожаловал Тимофей Ухапов, предложил выгодную сделку: на месте пепелища он, Тимофей, ставит новый барский дом (конечно, не такой, как при старом барине, но ничего — жить будет можно, а то ведь как теперь господа живут? — в кладовых да подклетях, одна срамота).

— А что ты хочешь взамен? — прищурившись при слове «срамота», спросил сидевший рядом с Марией Федоровной Жорж.

Тимофей разгладил усы.

— Взамен мне, барин, ваша землица нужна,— сказал он и, не удержавшись, улыбнулся.

— Это как же понимать? — нахмурился Жорж.— За сто десятин всего один дом?

— Ты хочешь купить у нас землю? — удивилась Мария Федоровна.— Все сто десятин?

— Купить сто десятин, я, пожалуй, еще не потяну,— озабоченно сказал Тимофей.— А вот взять в аренду на долгий срок — это по мне. Причем плата моя вам за землю будет высокая, а ваш процент мне за дом — умеренный.

— Постой, постой,— перебил его Жорж,— ты, как всегда, все запутал. Ну-ка, объясни еще раз свои условия.

— Условия мои, барин, самые простые. Я вам новый дом ставлю. Какой он будет по размеру — это мы опосля обговорим. Во сколько денег этот дом встанет — это ваш долг мне. Скажем, даю я вам его на десять лет. И каждый год вы будете выплачивать мне одну десятую часть, да к этому шесть процентов годовых. Это по-божески, барин, совсем по-божески.

— Из каких же средств мы будем выплачивать этот долг? — спросила Мария Федоровна.

— А вот из каких. Свою землю вы даете в аренду мне али наследникам моим тоже на десять лет. И платить я вам буду за нее в два раза поболее, чем вы теперича за нее получаете. Из этой моей оплаты за аренду вы мне свой долг за дом и возвернете.

— Понятно,— усмехнулся Жорж.

— А можно так все закруглить,— снова заулыбался Тимофей,— что и денег-то нам совать из рук в руки не придется. Вы, скажем, называете свою сумму за землю на все десять лет, а я вам на всю эту сумму огромадный дом и отгрохаю. Еще получше старого, сгоревшего. И будет у вас снова и дом свой, и через десять лет все сто десятин обратно вернутся.

— Тимофей,— спросила Мария Федоровна,— а как же будут мужики?

— Какие мужики? — насторожился Одноглаз.

— Ну те, которые сейчас у нас землю арендуют.

Тимофей посмотрел на барыню кислым взглядом:

— Барыня, матушка, ну сколь они вам сейчас платят, мужики-то? Копейки! А я удвоить цену предлагаю!

— Я не о цене говорю...

— А об чем же?

— Мужикам-то ведь кормиться надо. Где они еще землю возьмут? А наша у них под боком.

— Кормиться! Да нешто они голодные? Им и своих наделов хватает.

— Если бы хватало,— вмешался Жорж,— не арендовали бы у нас.

Тимофей заерзал на табуретке, заговорил удивленно, обиженно, разводя в стороны руки:

— Да какие такие мужики? Откудова они взялись? Сколь их есть, чтобы землицу дробить? Зачем вам, барыня, с ими мелочиться? Одно беспокойство для господ с кажным сиволапым счеты вести, кажную весну и осень себя утруждать...

— Какие мужики? — прищурился Жорж.— А все твои бывшие друзья. Аверьян Козлов, например, севастопольский ратник. Или Парамоп с дальнего конца.

— Аверька Козел? — усмехнулся Тимофей.— Да какой же он арендовщик? Ему разве земля нужна? Ему бы только языком чесать, про походы свои рассказывать...

— Земля останется за мужиками,— неожиданно твердо сказал Жорж, вставая.— И всем разговорам об этом конец.

— Да, да, Тимофей,— поспешила подтвердить слова сына Мария Федоровна,— пусть земля за мужиками останется. Она им все-таки нужнее, чем тебе. Ты уж не обижайся.

Одноглаз тоже встал, помял в руках шапку.

— Ну, что ж,— вздохнув, сказал он,— дело, конечно, хозяйское. Но только так вам скажу, барыня. Много вы на этом деле потеряете, много неудобства себе наживете. И об моих словах еще жалеть будете. А мужики землю вам запустят, бурьяном землица зарастет. И тогда уже цена на нее будет другая, совсем другая.

Он пошел было к дверям, но на пороге остановился:

— А напоследок будут вам такие мои слова. Ежели землицу вы все же мужикам отдадите, мне ее у них перекупать придется. Земля ваша после старого барина еще хорошая стоит, ухоженная. А мужики вам ее загадят, ежели такие хозяева, как Аверька Козел, на ей

управляться станут. Такого дела никак дозволять нельзя, перекупать придется.

И он шагнул за порог.

— Одну минуту, маменька,— сказал Жорж и пошел за бывшим старостой.

Он догнал его уже во дворе.

— Послушай, Тимофей,— сказал молодой барин,— если ты перекупишь аренду у мужиков, я все твои амбары с хлебом сожгу!

— Это как же понимать? — нахмурился Одноглаз.

— А вот так и понимай, как слышишь. Я тебе мужиков разорять не позволю! Рано ты начинаешь со своих же деревенских шкуру драть.

— Ну и ну,— покрутил головой Тимофей.— «Сожгу»! Это что же такое? Это разбой...

— А то́, чем занимаешься ты, разве не разбой?

— Ладно, перекупать не буду,— усмехнулся староста.— А жалко.

Он надел шапку.

— Может, все же уступишь землицу, барин? В одни руки попадет, уход за ней будет справный.

— Нет,— твердо ответил Жорж,— маменька правильно рассудила: мужикам земля нужнее, чем тебе. Они с нее жить будут, а ты — наживаться.

Выгодная сделка не состоялась.

2

Восемнадцатилетний Георгий Плеханов в первый год своего обучения в Горном институте жил в Петербурге аскетом. Занятия, лекции, книги, лаборатории. В редкие свободные часы любил в одиночестве бродить по городу, иногда навещал сестру Сашу, учившуюся в Елизаветинском институте.

Однажды, зайдя на квартиру к знакомому студенту за книгой, он застал человека, который, увидев Жоржа, быстро встал из-за стола и вышел в соседнюю комнату.

Плеханов с удивлением посмотрел на хозяина.

— Кто это? — спросил он.

— Тихо, никаких вопросов,— ответил хозяин,— ты здесь никого не видел.

Жорж пожал плечами и, взяв книгу, ушел.

Через неделю, возвращая книгу, Плеханов опять увидел в комнате того же человека. Незнакомец стоял у окна и с интересом поглядывал на вошедшего.

— Я никого не вижу,— усмехнулся Жорж,— здесь никого нет.

Незнакомец улыбнулся:

— На этот раз есть.

И, подойдя, протянул руку:

— Митрофанов.

Плеханов назвал себя.

— Почему же не убегаете, как в прошлый раз? — спросил Жорж у Митрофанова.

— Тогда я не знал, кто вы, а теперь знаю,— просто объяснил Митрофанов.

— Ну и как? — смерил Жорж нового знакомого насмешливым взглядом.— Дополнительные сведения обо мне успокоили вас? Теперь вы уже не находите в моей внешности признаков полицейского сыщика?

— Полицейского? — переспросил Митрофанов.— А зачем нам полицейские? Мы сами по себе.

— Но ведь в прошлый раз, едва завидев меня и еще ничего не зная обо мне, вы сразу же вышли. Как же тут было не понять, что вы, во-первых, скрываетесь от полиции, а во-вторых, увидели в моей внешности что-то опасное для себя.

— Мудрено рассуждаете, господин студент. Давайте-

ка лучше посидим, поговорим по душам, а хозяин нам пока чайку соберет.

Они сели за стол.

— Внешность у вас и в самом деле приметная,— сказал Митрофанов.— Из татар, что ли, будете или из азиатов?

— Прямой наследник хана Батыя.

— А если серьезно?

— Серьезно как-нибудь в другой раз. Про себя лучше расскажите. Вам обо мне, по-видимому, здесь уже кое-что объяснили, а вот о вас я пока ничего не знаю.

— Про себя тоже как-нибудь в другой раз. Если он будет, этот другой раз. У меня к вам есть один вопрос. Вы что же, и в самом деле сродственник Чернышевскому?

— О, господи! — рассмеялся Жорж.

В комнату вошел с самоваром хозяин квартиры.

— Это ты меня родственником Чернышевского сделал? — спросил Плеханов.

— Не Чернышевского, а Белинского,— поправил хозяин.

Тут уже рассмеялся Митрофанов.

— Извинения просим,— сказал он, пощипывая бороду,— малость оговорился. Бывает со мной такое, другой раз путаюсь с именами.

Знакомый студент расставлял на столе стаканы и блюдца.

— Ну, а насчет Белинского? Так оно и есть? — допытывался Митрофанов.— Сродствие имеется?

— Весьма и весьма отдаленное по линии матери.

Митрофанов с уважением посмотрел на собеседника.

— Замечательные произведения ваш сродственник писал. За душу берут... Очень правильные слова говорил про помещиков и господ, и особенно про подневольный народ, про крестьянство. Такие писатели, как Белинский

да Чернышевский, и заставили царя волю подписать.

— А вы,— засмеялся Жорж,— разве вы, как бы это правильнее сказать, знакомы с книгами Белинского и Чернышевского?

— Статьи ихние в журналах встречались,— прихлебывал чай Митрофанов.

— А вы и журналы читаете?

— Ну, а почему нет?

— Собственно говоря, ничего странного в этом, конечно, нет, но...

— Выговор мой неправильный вас, что ли, удивляет? Это от прошлой темной жизни осталось. Я ведь из фабричных. А в город из деревни пришел.

— Из фабричных? То есть вы хотите сказать, что вы... рабочий?

— Был рабочим, пока полиция не стала за мной гоняться.

— И что же, будучи рабочим, вы читали в журналах статьи Белинского и Чернышевского?

— И не только их статьи. Мы и Бакунина читали, и Лаврова.

— И как относитесь к их сочинениям?

— Хорошо отношусь. На правильную дорогу людей зовут. Но только не всегда громко. А надо бы громчее, чтобы каждый подневольный русский человек услышал и голову поднял.

— Простите за нескромный вопрос, а чем вы сейчас занимаетесь?

— Распространяться об этом, конечно, не желательно, но поскольку друзья ваши хорошо об вас отзываются и как вы есть родственник Белинского, то скажу. К бунту народ готовим.

— К бунту? Против кого?

Жорж повернулся к хозяину квартиры. Тот, загадочно улыбаясь, помешивал в стакане ложкой.

— Против властей,— твердо сказал Митрофанов,— против бар и господ.
— А кто же будет бунтовать?
— Народ, крестьянство.
— Но ведь для того, чтобы бунтовать, нужны руководители бунта.
— Они будут.
— Кто же ими будет?
— Революционеры.
— И вы себя присоединяете к их числу?
— Немного есть.
— Каким же способом вы собираетесь поднять народ, и в частности крестьянство, на бунт?
— Способов много. Один из главных — идти в народ, объяснить ему, что воля дадена царем неправильно, без земли. Нужно пустить в крестьянство пропаганду, чтобы мужики требовали волю вместе с землей.
— И мужики послушаются вас?
— А как же? Мужик сейчас зол. Он много лет господ кормил, землю и волю долго ждал, надеялся, что и ему за верную его службу барину все по справедливости будет дадено. А что получилось? Обман.
— Мужики тоже разные бывают...
— Сейчас обида на господ всех равняет.
Плеханов откинулся на спинку стула, внимательно посмотрел на Митрофанова.
— Как странно,— задумчиво сказал Жорж,— когда я увидел вас, я понял, что вы человек из народа. И мне захотелось поговорить с вами, но я решительно не знал, в каких выражениях вести этот разговор. Я думал, что в разговоре с вами я должен употреблять те самые «переряженные» слова, которыми написаны брошюры для простолюдинов. Но оказалось, что вы, человек из народа, решительно не укладываетесь в рамки моего представления о народе. Я вырос в деревне, и мне всегда каза-

лось, что я прекрасно знаю народ. Но вот я познакомился с вами, фабричным человеком, рабочим, и выясняется, что мои представления о народе до неприличия узки и ограниченны...

— Хорошо говорите,— накрыл Митрофанов широкой ладонью лежавшую на столе руку Жоржа,— и человек вы, видать, честный...

— Мой отец был помещиком, небогатым, но все-таки помещиком. Он был человеком, что называется, старого закала, с крепостными своими обращался весьма сурово и даже жестоко, и у меня еще в детстве много раз возникал этакий мальчишеский протест против него, но это все-таки был отец...

— Вы очень искренно сейчас говорили,— сказал Митрофанов, пристально глядя на Жоржа.

— Да наболело, знаете ли, на душе. Сидишь все время один за книгами. Зачем, думаешь иногда, все это? Для будущей карьеры?.. Знания, конечно, дело хорошее, но порой пустота какая-то возникает внутри...

— И ваше желание быть с народом тоже очень похвально. Но рабочие — это не народ. Они развращены городской жизнью и проникнуты буржуазным духом.

— Но вы же сами рабочий!

— Я бывший рабочий, сейчас я революционер. А единственный настоящий народ — это крестьянство. Крестьянство, и только оно одно, может быть интересно для революционной работы. Поэтому надо идти в деревню и там вести пропаганду, там готовить народ к бунту. А что касается рабочих, так я вам сам все о них расскажу. Я эту публику насквозь знаю.

...Жорж возвращался домой в недоумении после всего того, что Митрофанов рассказал ему о себе. Митрофанов, сам рабочий, говорит, что рабочие развращены городом и проникнуты буржуазным духом.

Загадки, загадки...

3

На масленицу один из приятелей — однокурсников Жоржа по институту, работавший в студенческих кружках,— спросил у него, нельзя ли будет провести в его квартире очередное занятие кружка.

— Отчего же нельзя? Конечно можно,— ответил Жорж.— Много ли будет народу?

— Человек пятнадцать — двадцать, не больше. Хочу только предупредить тебя, что помимо наших студентов будут еще фабричные.

— Фабричные? — с сомнением переспросил Жорж, помня нелестные отзывы Митрофанова о рабочих.— А разве они вас интересуют?

— Нас интересуют, а тебя нет?

— Да как сказать...

— Среди них занятные людишки встречаются. Тебе будет любопытно на них посмотреть. А то сидишь все время в лабораториях...

«Ладно, пускай приходят,— подумал про себя Жорж.— В конце концов, когда-то и самому надо узнать, что это такое — городские рабочие».

В назначенное время в большую комнату Плеханова, которую он снимал на Петербургской стороне, начали собираться участники кружка. Все пришедшие были интеллигентного вида молодые люди (своих, из Горного института, было всего двое, и когда Жорж спросил у них, будет ли сам устроитель занятия, те ответили, что нет, мол, не будет — он сегодня занят в другом месте).

Потом большой группой пришли фабричные, разделись и все так же, группой, сели в углу.

Интеллигентные молодые люди (никто из них ни разу не представился ни по имени, ни по фамилии — соблюдалась конспирация) называли себя «бунтарями-народниками». Выступая один за другим и обращаясь непосред-

ственно к фабричным, они говорили о том, что сейчас все основные силы русской социалистической партии должны быть направлены на «агитацию на почве существующих народных требований». А за пропаганду, мол, стоят только «лавристы» — люди, как известно, совершенно бездеятельные и поэтому в революционной среде никакой популярностью и никаким влиянием не пользующиеся. (Очень скоро Жорж понял, что все интеллигентные молодые люди принадлежат к какой-то реально существующей революционной организации или, во всяком случае, к какому-то хорошо поставленному революционному кружку, конкретного названия которого они не открывают.)

«Бунтари-народники» упорно склоняли фабричных встать именно на их путь — на путь агитации, а не на ошибочный, «лавристский» путь бесперспективной, по их мнению, пропаганды.

Фабричные пока отмалчивались. Было ясно (по их лицам, неопределенным жестам и коротким, вопросительным репликам друг другу), что отличительные признаки между агитацией и пропагандой они пока улавливают очень слабо, но понять хотят, напряженно вслушиваясь в каждое выступление.

Наконец фабричные заговорили. И Жорж сразу понял, что у него в комнате собрались очень опытные, надежные и влиятельные люди из среды петербургских рабочих. Почти все они, как это было видно из их слов, уже подвергались арестам, сидели в тюрьмах, читали там революционную литературу и теперь, вернувшись на волю, готовы продолжать революционную работу.

И тем не менее Жорж все отчетливее и отчетливее уяснял для себя, что на революционные рабочие кружки фабричные смотрят прежде всего как на кружки самообразования.

«Бунтари» горячились, доказывали, разъясняли свои

взгляды, старались втолковать рабочим свою мысль о том, что образование не имеет никакого революционного значения.

— Да как вам не стыдно говорить нам все это! — вдруг с жаром воскликнул, вскочив со своего места, пожилой мастеровой.— Каждого из вас в пяти школах учили, в семи водах мыли, а иной рабочий не знает, как отворяются двери школы! Вам не нужно больше учиться, вы и так много знаете, а рабочим без этого нельзя!

— Да ведь мы не против самообразования! — так же горячо запротестовал один из «бунтарей».— Мы против пропаганды! Мы за агитацию и вас призываем к этому!

— Ну уж нет! — упрямо наклонил голову мастеровой.— Пропаганда — это и есть образование. Вы нас не сбивайте! Я только что из Дома предварительного заключения вышел, по делу «чайковцев» сидел, так что все ваши слова знаю!

— Вы просто не понимаете разницы между этими двумя словами,— вступил в разговор другой «бунтарь».— Ведь это же два совершенно разных слова — «пропаганда» и «образование».

— А вот вы и поучите нас, чтобы мы понимали,— сказал еще один фабричный.— У нас на Васильевском патронном заводе не одна тыща рабочих, а спроси у любого, какая тут разница,— никто не ответит.

В углу поднялся молодой, красивый, стройный парень с густой пшеничной шевелюрой, в синей косоворотке с длинным рядом мелких белых пуговиц, в ярких хромовых сапогах. Он поднял руку, требуя тишины, и все разом замолчали.

— Не страшно пропасть за дело, когда понимаешь его,— сказал парень тихим и приятным грудным голосом.— А когда пропадаешь неизвестно за что, вот это уже плохо. Мало вы полезного добьетесь, господа хорошие, от такого рабочего, который ничего не знает.

— Да ведь каждый рабочий — революционер уже по самому своему положению! — снова загорячился первый «бунтарь».— Разве рабочий не видит и не понимает, что хозяин наживается за его счет?

— Понимает, да плохо,— ответил парень в косоворотке,— видит, да не так, как следует. Другому кажется, что иначе и быть не может, что так уж богу угодно, чтобы терпел всю жизнь рабочий человек. А вы покажите ему, что может быть иначе. Разъясните ему это яснее ясного. Тогда он станет настоящим революционером.

Спор затянулся надолго. Постепенно обе стороны начали понемногу уступать друг другу — решено было не пренебрегать пропагандой и самообразованием, но в то же время не упускать удобных случаев и для агитации. Жорж, слушая спорящих, уже полностью был уверен в том, что для фабричных так и осталось неясным — какой именно агитации добиваются от них «бунтари». Да и у самих «бунтарей», по-видимому, соединялось с этим злополучным словом (как понял это в тот вечер Жорж) весьма смутное представление.

Но, как бы там ни было, споры в конце концов прекратились и кружок закончился. «Бунтари» оделись, пожали всем руки и разошлись. Ушли вместе с ними и знакомые студенты-однокурсники. А фабричные, посмеиваясь и подмигивая друг другу, почему-то и не думали расходиться.

— Хозяин,— обратился к Жоржу парень в синей косоворотке,— разрешишь пива у тебя выпить? Мы сейчас мигом слетаем. А то какая же сходка без веселья?

— Надо бы промочить глотки,— заулыбались рабочие,— а то все пересохло от этой ругани.

Жорж согласился. Двое фабричных взяли кошелки, сходили в портерную на угол и тут же вернулись с двумя дюжинами пива.

Засиделись за полночь, и, когда расходились, все уже

были на «ты» с хозяином комнаты, многие дали свои адреса и просили запросто заходить в гости.

Мрачные отзывы Митрофанова о городских рабочих совершенно не подтверждались. Люди были совсем не пропитанные буржуазным духом, сравнительно развитые и разговаривать с ними было так же интересно, как и со знакомыми друзьями-студентами.

Глава третья

1

Еще в первый год своей петербургской жизни Жорж Плеханов был поражен размахом антиправительственных настроений, которые господствовали в столице. По сравнению с тихим провинциальным Липецком, где, конечно, тоже иногда поругивали в тряпочку начальство (губернатора — за сожительство с вице-губернаторской женой, полицмейстера — за пристрастие к мздоимству, преосвященного еще за какие-то грехи), Петербург выглядел просто «кипящим котлом»: на каждом шагу можно было услышать нелестные слова о царе и его министрах, ловко «провернувших» крестьянскую реформу, посуливших обществу разнообразные свободы, а на деле не сделавших почти ничего для реального изменения жизни отсталой страны, позорно проученной на севастопольских бастионах просвещенной Европой. Вокруг бурлили студенческие кружки и сходки, повсюду шли разговоры о хождении в народ, поговаривали о том, что где-то на тайных конспиративных квартирах создается настоящая революционная организация.

Слово «народ» было у всех на устах. Народ надо было освобождать, народ надо было просвещать, долг образованных слоев общества перед народом требовал от каждого каких-то решительных действий.

Но что это было такое — народ? Гудаловские мужики, рядом с которыми Жорж вырос, или что-то совершенно другое?

Встреча с Митрофановым, который несомненно был народом, показала, что народ существует в каком-то ином обличии, чем ему это раньше было известно. Но нелегальный, скрывающийся от властей Митрофанов был, безусловно, исключением из общих правил, единичным явлением. Теперь же, после встречи «интеллигентов» с фабричными, стало ясно, что таких исключений много, что существует еще одна широкая разновидность «народа», не прятавшаяся от полиции, спокойно себе работающая на своих заводах и в мастерских, но тем не менее представляющая большой интерес для таких, скажем, людей, как «бунтари-народники».

«Народ» был рядом, «народ» жил в соседних переулках и улицах, «народ», расходясь со сходки в его комнате, оставил ему свои адреса и фамилии, просил заходить в гости, и в общем-то с этим «народом» ему было легко и просто говорить по душам. Расстояние до «народа», которое раньше казалось ему очень далеким, теперь предельно сократилось, и дело сближения с ним, пугавшее его до этого своими кажущимися трудностями, сейчас уже представлялось совсем незамысловатым.

Да, надо было сближаться с «народом» (это была потребность времени — дань, мода, атмосфера эпохи), надо было поддержать завязавшиеся отношения с новыми знакомыми (с «бунтарями» невольно приходилось встречаться каждый день в институте), и вскоре после сходки Жорж отправился в гости к литейщику Перфилию Голованову, жившему тут же на Петербургской стороне, почти по-соседству.

Это первое, сознательное посещение «народа» (городское, «малое хождение в народ», но предпринятое уже сугубо по личной инициативе) произвело на Жоржа глу-

бокое впечатление, дало ход многим будущим мыслям и настроениям, заставило крепко задуматься над окружающей и своей собственной жизнью.

Прежде всего Перфилий так же, как и Митрофанов, совершенно не укладывался в его, Жоржа, рамки представлений о «народе» и не имел в своем характере и образе жизни ни одной черты, которые любила приписывать «народу» интеллигенция. Это был очень самобытный человек. Несмотря на то, что когда-то он пришел в город из деревни, теперь в нем не было совершенно никакой крестьянской простодушности, никакой деревенской склонности к тому, чтобы жить и думать так, как раньше жили и думали его сельские предки. При очень скромных умственных способностях Перфилий отличался необыкновенной жаждой знаний и поистине удивительной энергией в их приобретении. На своем заводе он работал ежедневно по десять-одиннадцать часов. (После первого посещения Жорж зачастил к Голованову.) Придя после смены домой, Перфилий сразу же садился за книги и просиживал над ними иногда до двух-трех часов ночи. Читал он очень медленно, многого сразу не понимал, потом требовал объяснений чуть ли не по каждой странице, по нескольку раз переспрашивая значение впервые встретившихся слов, но то, что усваивал, запоминал основательно и навсегда.

Невысокого роста, сутулый, с землистым лицом, впалой грудью, покатыми плечами и сильными длинными руками, доходившими ему чуть ли не до колен, с большой головой и относительно маленьким по сравнению с этой головой туловищем, он был похож иногда на сказочного гнома, на карлика, которого неведомый волшебник заколдовал какой-то загадочной силой, сдавил со всех сторон, пригнул к земле. Казалось, что ему все время хочется избавиться от своей сутулости, распрямиться, вздохнуть всей грудью. Он часто проводил по лицу и глазам огром-

ной, будто расплющенной ладонью (похожей на рачью клешню), несоизмеримо большой по сравнению со всей рукой, словно хотел освободиться от какого-то недомогания, от внутреннего жара, запекшегося в нем раз и навсегда.

Жил Голованов один, в крошечной, тесной комнатке, в которой стояли кровать, стул и стол, вечно заваленный книгами. Познакомившись с ним, Жорж был поражен обилием и разнообразием чисто теоретических вопросов, волновавших Перфилия. Чем только не интересовался этот маленький, сутулый человек, в детстве едва научившийся грамоте! Политическая экономия, химия, социальные науки, теория Дарвина — все это занимало его в равной степени, все одинаково привлекало внимание, возбуждало жадный интерес, и, казалось, нужны были долгие годы, чтобы когда-нибудь этот интерес был хотя бы частично удовлетворен.

Иногда во время разговоров Перфилий, проведя по лицу рукой, подолгу смотрел на Жоржа, объяснявшего ему в это время какую-нибудь замысловатую проблему, своими маленькими, острыми, глубоко посаженными глазами, и тогда изо всех морщин на его немолодом лице, из землистых складок около рта, из траурных бороздок на лбу, забитых цепко въевшимися в кожу металлическими крошками и копотью, как бы возникал некий странный и недоуменный вопрос, который, казалось, вовсе и не соответствовал мудреной теме их разговора, а был рожден чем-то совершенно иным, лежавшим вне книг, исходившим не из сложных теорий и далеких эмпирий, а из простой, происходившей рядом жизни, обступавшей его, Перфилия, со всех сторон и давившей на него всеми своими неразгаданными загадками.

В такие минуты Жорж замолкал, силясь проникнуть в тайну внутреннего состояния своего собеседника, в глубину неожиданно посетившего его скорбного настроения,

но тайна эта и глубина были, конечно, для него за семью печатями, и он только молча смотрел на Перфилия, и Голованов тоже некоторое время молча смотрел на своего озадаченного молодого друга, а потом, как бы спохватившись, вздохнув и усмехнувшись, надевал свои синие очки, и прерванный разговор возобновлялся.

2

Вместе с Головановым Жорж побывал в гостях и у других рабочих и на одной из квартир встретился с тем самым своим однокурсником, который, организовав сходку, исчез потом из института на долгое время.

— Где ж ты пропадал? — радостно спросил Жорж, увидев товарища.

— Революционная тайна,— подмигнул однокурсник.

— Ты бы хоть сказал заранее, какие люди придут ко мне,— упрекнул приятеля Жорж.— Я весь вечер просидел дурак дураком, а разговор был интересный.

— Заранее ничего нельзя было говорить. Ты же не посвящен был до этого в наши отношения с фабричными. Вот мы по старому революционному обычаю и оберегали тебя, чтобы не произошла какая-нибудь неожиданность.

— А какая могла бы произойти неожиданность?

— Ну, мало ли что... Теперь уже многие в нашей среде знают твою фамилию. Так что, если придет ночевать какой-нибудь незнакомый гость, скрывающийся от полиции, ты уж, будь любезен, не отказывай.

— Конечно, не откажу.

— Я вижу, ты заинтересовался фабричными... Может быть, проведешь с ними несколько занятий?

— Попробовать можно.

— Но для этого тебе и самому нужно будет немного подковаться. Вот адресок и записка к некоему Фесенко.

Он ведет кружок повышенной трудности, только для студентов. Особое внимание обращает па политическую экономию. Тебе это будет и самому интересно, и полезно для нашего дела. Походишь туда несколько месяцев, а потом я тебе дам адреса рабочих кружков, где занятия надо будет вести уже самостоятельно. Договорились?

— Договорились.

— Ну, поздравляю со вступлением па славный путь служения народному делу.

3

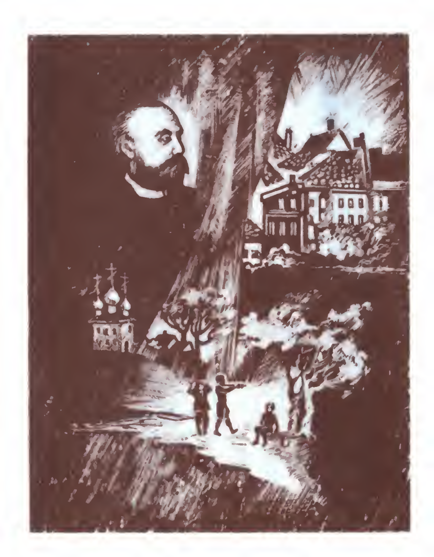
Мастеровой, требовавший па сходке с «бунтарями» уделять в рабочих кружках главное внимание самообразованию, жил на Васильевском острове в хорошо меблированной комнате, которую он нанимал у хозяев вместе с одним старым знакомым — тем самым красивым и стройным молодым рабочим, который пришел на сходку в косоворотке и ярко начищенных сапогах.

Когда Жорж в один из воскресных дней вошел в их комнату, оба фабричных сидели за покрытым скатертью столом и закусывали. Увидев студента, оба встали и чинно поздоровались. На обоих были хорошо сшитые черные чесучовые тройки, свежие сорочки, модные ботинки. Никаких сапог и косовороток и в помине не было. Жорж в своей подпоясанной шнурком сатиновой блузе выглядел рядом с ними бедным родственником.

Его пригласили сесть.

— Я, может быть, не ко времени? — смущенно спросил Жорж.

— Самое ко времени,— успокоил его молодой.— Вон мы Павла Егорыча, можно сказать, сватать вечером идем, праздник у нас сегодня, так что все в порядке, милости просим.





(«Вот и они, несомненно, тоже «народ»,— подумал Жорж,— но как они опять же не подходят под мои сентиментальные представления о «народе»! И может быть, все это и есть то самое буржуазное влияние города, о котором говорил Митрофанов?»)

Разговорились. Павел Егорович и Семен рассказали о себе. Работают столярами на Новой Бумагопрядильне. Заработки хорошие — до двух рублей в день. Но хозяин, конечно,— сволочь, душит нормой и штрафами. Почему тянутся к студентам? Грамоты не хватает, хотелось бы от ученых людей понабраться ума-разума, чтобы в обиду себя не давать. В прошлом случалось бывать под арестом, хлебнули и тюремных щей, теперь держат себя аккуратнее, внешпе — осторожнее, но революционному делу попрежнему верны, в случае чего — всегда придут на подмогу хорошим людям. Книг читают много — вон они везде лежат, на окне да на шкафу. Слишком заботятся об своей наружности, фасонисто одеваются, выглядят щеголями? Ну, это особый разговор. Каждый человек об своей наружности по-своему заботится. Взять «антиллигентов», к примеру. «Антиллигенты» чего любят? Они любят под простой народ принарядиться. Оденет какую-никакую засаленную рубаху — и каждому рабочему человеку уже брат. А рабочий человек в этой засаленной рубахе целый день вертится у себя па фабричонке, она ему до смерти надоела, все глаза намозолила. «Антиллигент», который в нашу рубаху влез, против своих, значит, бунтует, которые во фраках да в мехах ходят. А рабочий человек пришел домой, вымылся, надел хорошую одежу — так, может быть, он этим тоже бунтует, по против такой жизни, которая вынуждает его целый день в грязных лохмотьях ходить у себя на фабрике. Так что тут бабушка еще надвое сказала, кто как об себе заботится. (Жорж про себя подивился зрелости этой мысли, которую горячо высказал и так логично обосновал Павел

Егорович. Семен во всем поддакивал старшему товарищу или молча соглашался с его доводами.)

Потом Жорж спросил, как они относятся к той мысли «народников-бунтарей», по которой выходило, что «спропагандированные» городские рабочие должны идти в деревню и там действовать в духе той или иной революционной программы.

— В деревню мы идти, конечно, не отказываемся,— неопределенно и как-то очень неохотно сказал Павел Егорович.— Ежели надо для революционного дела, мы в деревню пойдем. Деревня — для нас дело знакомое, поскольку мы там родились и родители наши там, слава богу, пока проживают. Но только так тебе скажу, милый человек: в деревне нам делать нечего.

— Не уживемся мы теперь с нашими деревенскими после городской жизни,— подтвердил Семен.— Привычка не та стала. Оно ведь как получается? Который человек в городе поживет, он на деревенских сверху вниз смотрит. Хотя, конечно, жалко их, серых, да что поделаешь — не та привычка. Но если студенты говорят — мы поедем...

«Они не любят деревню,— отметил про себя Жорж,— а Митрофанов не любит город. А ведь все трое в прошлом деревенские. Загадки, загадки... Хотя в общем-то коечто уже становится яснее. Митрофанов по своей нелегальности долго жил среди революционеров-интеллигентов и совершенно проникся их чувствами — перенял у них нелюбовь к городу и тягу в деревню, чтобы поднимать на бунт мужиков... На взгляды этих двоих народнические идеи революционной интеллигенции тоже наложили свой отпечаток, но изменить свои привычки Павел Егорович и Семен уже не могут, они просто не в силах этого сделать. Их городское положение и хорошие заработки уже сильнее, чем взгляды, которые им хотят привить наши интеллигенты».

4

Чем ближе знакомился Жорж с жизнью фабричных, тем лучше он понимал, что слово «фабричные», которым в студенческой среде было принято называть вообще всех городских рабочих, не совсем правильно и точно передает положение рабочих как по отношению друг к другу, так и по отношению к тем заводам и фабрикам, на которых они работали. Условно, для себя, Жорж разделил их на две большие категории: фабричные и заводские. Мерилом этого разделения было разное экономическое положение этих двух категорий, то есть разный характер труда, которым занимались рабочие.

Заводскими можно было называть тех рабочих, которые имели такие специальности, как токарь, слесарь, столяр, плотник, фабричными — работающих на прядильных, ткацких, кирпичных, сахарных фабриках. Рабочий день у фабричных продолжался дольше, чем у заводских, а зарабатывали фабричные наполовину меньше заводских. Фабричные почти везде жили в общих, артельных помещениях, заводские снимали квартиры. Заводские (как Павел Егорович и Семен) одевались настоящими буржуями, и порой кто-нибудь из них выглядел «барином» гораздо больше, чем любой из студентов. Фабричные же даже в праздники все подряд носили ситцевые рубашки и длиннополые поддевки, чем и вызывали язвительные насмешки щеголеватых заводских.

У фабричных было больше связей с деревней, чем у заводских. Пребывание в городе казалось им временной и очень неприятной необходимостью. Почти все твердо верили, что рано или поздно им удастся вернуться в свои родные деревни («вот только деньжонок скопить бы немного, да с этим капиталом и встать заново на хозяйство»). Но мало-помалу настроения эти у фабричных ослабевали и связи с деревней обрывались. Городская

жизнь подчиняла их своему влиянию, и они незаметно для себя приобретали новые привычки и взгляды. Многие фабричные, начавшие уже в своем развитии движение к более высокой, заводской категории и вынужденные по каким-то причинам (чаще всего по семейным) временно вернуться в деревню, ехали туда как в ссылку и, как правило, довольно быстро возвращались обратно теперь уже решительными врагами всякой «деревенщины». Происходило это, как постепенно выяснял для себя Жорж из разговора с рабочими, по очень простой причине — деревенские нравы и порядки становились невыносимыми для человека, личность которого начинала хоть немного развиваться.

Деревенская нужда и необходимость платить подати, часто во много раз превышавшие крестьянские наделы, ежегодно «выгоняли» из деревень великое множество людей, и все они, естественно, устремлялись в ряды фабричных, своим соперничеством сильно снижая заработную плату уже ранее пришедших в город. На заводах же этот наплыв был меньше, так как туда редко удавалось попасть человеку без ремесла.

Замечал Жорж также в своих встречах и разговорах с рабочими и то, что в заводской среде гораздо сильнее, чем между фабричными, была развита тяга к общению друг с другом. Примером этому могли служить субботние и воскресные публичные чтения, которые устраивались в школах так называемого Технического общества. Фабричные этих чтений почти не посещали, зато заводские приходили нередко целыми семьями и после окончания подолгу не расходились, беседовали друг с другом, обсуждали только что услышанное, трогательно благодарили учителей общества за их заботу о простом народе.

Активные «спропагандированные» рабочие видели в отношении к этому глубокий смысл: если не ходит человек на чтения, значит, для общего дела он не годится,

а если ходит, если книгой интересуется, то со временем выйдет из него надежный помощник.

Некоторые интересующиеся книгой заводские и сами не прочь были взяться за перо. На Василеостровском патронном заводе, например, рабочие вели рукописный сатирический журнал — своеобразную летопись заводской жизни. Доставалось в нем, конечно, все больше заводскому начальству, но иногда делались намеки и повыше. Так, в одной безымянной заметке Жорж прочитал, что в правительственных сферах обсуждается проект закона, по которому особые награды будут получать те предприниматели, которые в течение года изувечили наибольшее количество рабочих на заводах и фабриках («награды будут соразмерны количеству оторванных пальцев, рук и носов»).

5

Много узнал Жорж и в том самом кружке повышенной трудности для студентов (кружке Фесенко), куда его рекомендовал знакомый однокурсник. Здесь в основном велись занятия по политической экономии. Несколько лекций Фесенко посвятил разбору сочинения немецкого ученого Карла Маркса под интригующим и запоминающимся названием «Капитал». К сожалению, Фесенко скоро уехал из Петербурга, и политическая экономия в кружке была заброшена, а на занятиях на первый план вышли сообщения о русской истории, и в частности — рассказы о восстаниях Степана Разина, Пугачева и Булавина. Это уже было менее интересно, так как все эти сведения можно было почерпнуть из книг в публичной библиотеке, и Жорж постепенно от кружка Фесенко отошел.

К тому времени знакомый однокурсник, как и обещал, поручил ему вести самостоятельные занятия в неко-

торых рабочих кружках. По принятой тогда моде Жорж всего больше говорил на этих занятиях об учении Бакунина, главным смыслом которого был всеобщий крестьянский бунт.

Рабочие на занятия приходили с самой разной степенью подготовленности, но к абстрактным «бакунистическим призывам» девятнадцатилетнего лектора-«бунтаря» почти все относились одинаково — сдержанно, а кое-кто и с откровенной улыбкой. Зато было много насущных вопросов, и в частности многих интересовала проблема своих личных «отношений» с богом. Абсолютное большинство в бога уже не верило, но продолжало ходить в церковь — по привычке. «Дайте что-нибудь почитать, чтобы с попами развязаться»,— просили рабочие. Жорж раздавал участникам кружка брошюры, полученные от «бунтарей» («Сказка о копейке», «Сказка о четырех братьях», «Мудрица Наумовна»), специально предназначавшиеся революционной интеллигенцией для «народа», но рабочие, особенно заводские, чаще всего быстро возвращали эти брошюры обратно.

— Это для серых,— с усмешкой говорили они.

Однажды один из участников кружка, Иван Егоров, работавший на Василеостровском патронном молотобойцем (высокий, плечистый парень, уроженец Архангельской губернии), пришел на кружок со «своей» книгой. Жорж спросил, как она называется. Егоров показал. Это были «Основания биологии» Герберта Спенсера.

— Ну и сколько вы уже прочитали? — поинтересовался Плеханов.

— Половину,— последовал ответ.

— И много поняли?

— Что надо, все понял,— ответил Егоров.

— Для вас это слишком трудное чтение,— сказал Жорж.— Нужно взять что-нибудь полегче.

— Зачем полегче? — обиделся рабочий.— Что уж вы думаете, что мы все подряд дураки?

Жорж поспешил заверить Егорова, что совершенно так не думает, иначе зачем бы он приходил сюда и вел занятия?

6

Теперь Жорж находился в самом центре народнических кружков Петербурга. Горный институт был оставлен навсегда, и Жорж с головой погрузился в революционные дела и хлопоты.

В эти дни почти каждую ночь у него в комнате ночевал кто-нибудь из нелегальных. Стук в дверь раздавался всегда за полночь. Хозяин открывал, и на пороге вырастала незнакомая фигура в низко, на самые глаза, надвинутой широкополой шляпе.

— Вы Плеханов?

— Да.

— Я от Павла Аксельрода. Необходимо переночевать.

— Милости просим. Вот сюда, пожалуйста, на диван. Я сейчас постелю.

— Нет, нет, никаких постелей. Лягу на полу. Раздеваться не буду. Уйду рано утром.

Утром незнакомец исчезал так же, как и появлялся,— не называл себя. Короткое «благодарю» — и все. Таковы были правила конспирации.

Проходило еще несколько дней, и снова в полночь стук в дверь.

— Вы Плеханов?

— Он самый.

— Я от Льва Дейча. Переночевать не откажете?

— Милости просим.

Визитер укладывался в углу на пол, положив под голову стопку книг, и утром, поблагодарив, уходил.

Однажды ночевать явился молодой человек, в повадках которого все выдавало бывшего военного — выправка, разворот плеч, четкие движения и жесты. Оглядевшись, молодой человек вытащил из кармана револьвер и положил его на стол. Потом достал второй и положил рядом.

— Ого! — удивился Жорж.— Носите с собой целый арсенал?

— Люблю оружие,— сказал молодой человек.— С ним как-то спокойнее чувствуешь себя в этом городе. Не страшна никакая полицейская сволочь.

— Вы офицер?

— В прошлом. А вы, насколько я знаю, тоже из военных?

— Юнкер в отставке. Служил царю и отечеству всего четыре месяца. Больше не выдержал. Правда, до этого пять лет в кадетах.

— Это хорошо. Нашему движению нужны люди, знакомые с военной службой.

Жорж предложил чаю. За самоваром засиделись чуть ли не до рассвета. Говорили о многом.

— Все наши кружки необходимо объединить в организацию,— убежденно сказал молодой человек.— Движению нужен новый этап. Хождение в народ принесло свою ощутимую пользу — мы узнали настроения крестьян. По всей вероятности, сейчас мужик еще не готов к бунту, и нам следует свести наши программы к реально осуществимым народным чаяниям. Земля и воля. Вот чего мы должны добиваться. Переход всей земли к крестьянству и равномерное распределение ее между теми, кто обрабатывает землю своим трудом.

Утром, забрав свои пистолеты, молодой человек ушел. Позже Жорж узнал, что в ту ночь у него был Сергей Кравчинский — будущий исполнитель приговора над шефом жандармов Мезенцовым.

...Как-то Жоржу сообщили, что завтра состоятся похороны убитого в тюрьме студента Чернышева.

— Вы придете?

— Непременно! — ответил, не раздумывая, Жорж.

Похороны Чернышева, начавшиеся как обычная процессия, постепенно превратились в демонстрацию. Гроб несли посередине улицы, слышались глухие рыдания, чей-то молодой голос несколько раз выкрикнул проклятия царю и самодержавной власти. Появилась полиция, произошло столкновение. Выкрики усиливались — слышно уже было несколько голосов. Раздались свистки — полиция попыталась отсечь толпу от гроба, но городовых смяли и оттеснили в сторону.

В похоронах участвовали в основном студенты. Только около самых кладбищенских ворот Жорж увидел Перфилия Голованова. В своих синих очках, в длинном драповом пальто и накинутом на плечи клетчатом пледе он тоже был похож на студента.

— Вы один? — спросил Жорж у Перфилия.

— Павел Егорович и Семен хотели прийти,— ответил Голованов,— да, видно, не смогли. Будний день сегодня, все работают.

С кладбища возвращались вместе. Остановившись около своего дома и зябко кутаясь в плед, Перфилий сказал Жоржу:

— Сильно запомнятся эти похороны. Жалко, совсем не было нашего брата, фабричных. А нам бы тоже такую заваруху с городовыми устроить, чтобы дружнее ребята держались и от полиции не пятились.

— Вы хотите организовать рабочую демонстрацию?

— А почему бы нет! У нас бы городовые, если бы поперек дороги нам встали, так просто не отделались. Мы им усы-то намяли бы.

Жорж улыбнулся. Он вспомнил руки Перфилия — сильные, длинные, перевитые жгутами вен, похожие на

рачьи клешни, раздавленные ежедневным общением с тяжелым литейным металлическим инструментом. Да, пожалуй, не сладко бы пришлось городовому, которого бы коснулась такая рука, сжатая в кулак.

— Это действительно было бы просто замечательно,— задумчиво проговорил Жорж.

Он уже видел ее — эту огромную рабочую демонстрацию на Невском проспекте и себя вместе с Перфилием, идущего в первых рядах. Весь Петербург был бы действительно потрясен этим грандиозным шествием. А сколько бы дала она делу объединения всех революционных кружков? Сколько настоящего революционного порыва вызвала бы в передовом обществе!.. Да, значение такой рабочей демонстрации трудно переоценить, если бы она состоялась.

7

В конце лета 1876 года Жорж Плеханов вместе с приятелем, студентом-медиком Костей Солярским приехал в Липецк.

Это был последний приезд Жоржа на родину, и, словно чувствуя это, он был особенно ласков, чуток и предупредителен с матерью и младшими сестрами.

— Что же так поздно, Егорушка? — спрашивала Мария Федоровна, вглядываясь в сильно изменившееся за прошедший год лицо сына.— Мы ждали тебя в июне.

— Никак не мог раньше, маменька,— смущенно отвечал Жорж,— очень много было занятий.

На самом деле он не имел возможности выехать из Петербурга потому, что его «чистыми» документами пользовался в это время нелегальный революционер (Лев Дейч), и, чтобы не подвергать его опасности, Жорж почти не выходил из дома

Теперь, после вынужденного затворничества, он с младшими сестрами и Солярским много гулял по городу и его окрестностям, поднимался на живописные липецкие холмы, катался на лодке по извилистой речушке Воронеж, ходил в хвойные леса, подолгу сидел на берегах озер и прудов, собирал лесные ягоды и грибы, слушал пение птиц, а выйдя из леса на широкие заливные луга, ложился на копны сена и, вдыхая аромат скошенных трав, вспоминал детство, Гудаловку, отца.

Однажды во время одной из таких прогулок вся компания забрела на ярмарку, раскинувшую свои яркие, разноцветные шатры и павильоны прямо на берегу Воронежа. Покатались на карусели, купили два арбуза у бойкого астраханского купца.

— Чего ж такими неспелыми торгуешь? — спросил Жорж, разрезав арбуз и увидев, что он внутри белый.

— Хорошую цену дают, вот и торгую,— объяснил купец.— В нашем деле что главное? Свои денежки назад получить.

— Чтобы на эти денежки снова купить еще больше незрелых арбузов,— подмигнул купцу Костя Солярский,— и снова сбыть их втридорога?

— Это уж как получится,— засмеялся купец.— Торговля она что? Она оборот любит.

— Уроки Фесенко,— сказал Жорж,— закон рынка в открытом виде.

— Во всем своем отвратительном открытом виде,— добавил Солярский,— Товар — деньги — товар — плюс плутовская ловкость российского купчишки-пройдохи.

— Обижаешь, барин,— нахмурился торговец арбузами.— Мы свой товар никому не навязываем, у нас без всяких плюсов. Хошь бери, ешь, а не хошь — отходи в сторону, другим не мешай.

Пошли по ярмарке дальше. На самом краю увидели кирпичный сарай, возле которого несколько мужиков в

закатанных выше колен холщовых портках месили ногами глину. Внутри сарая еще двое мужиков в клеенчатых фартуках сажали сырые кирпичи в печь.

— А вот и промышленное производство товара,— усмехнулся Жорж.— Не ярмарка, а просто учебник политэкономии.

В сарай вбежал разбитного вида малый в сапогах гармошкой, жилетке и рубашке в горошек навыпуск — приказчик.

— Господа! — предупредительно изогнулся приказчик.— Кирпичиками интересуетесь? В каком количестве желаете приобрести? Куда отправить? Доставка производится исключительно за счет фирмы и исключительно в лучшем виде! Кирпич — отборный, штучный, прима! Глина — первых сортов, формовка — отменная! Не кирпич, а калач — так и съел бы! Сам городской голова приобрел вчерась полторы тыщи, не побрезговали сюды пожаловать, взглянуть на обжиг. Оплату принимаем наличными, в рассрочку, в кредит... Как прикажете?

— Мы не покупаем,— за всех ответил Жорж,— мы просто так.

Приказчик мгновенно исчез, и уже снаружи сарая слышался его голос: «Кирпич отборный, штучный — калач, а не кирпич!..»

Жорж и Костя Солярский остались посмотреть на обжиг. Яркое пламя сильно гудело в поду печи, длинные языки огня рвались вверх.

— Да, это уже не арбузы,— медленно проговорил Жорж.— Здесь уже давно все созрело, все в спелом виде. Производство, сбыт и даже доставка потребителю — все в одних руках. И кроме того, кредит и рассрочка. Функция капитала обнажается до откровенной финансовой агрессии. Вот тебе и кирпичики!

— Наших бы мудрецов из кружка Фесенко сюда,— усмехнулся Костя.— И не надо было бы никаких

дебатов и особых доказательств. Все перед глазами.

Один из работавших около печи мужиков обернулся и задержал на Жорже взгляд. Чем-то знакомым повеяло на Жоржа от этого взгляда. Он всмотрелся в мужика — длинные волосы, закрывавшие наполовину его лицо, были перехвачены вокруг головы бечевкой, как у индейца. Длинные, перевитые жгутами вен руки, с засученными по локоть рукавами, свисали к коленам. Рубаха и заправленные в сапоги штаны были прожжены в нескольких местах. Мужик придурковато скособочился, весь как-то изломался, скривился, присел. Огонь из печи лизал отблесками пламени его неестественно изогнутую фигуру, зловеще освещал голые, будто вывернутые руки со вздувшимися, натруженными венами, бросал тени на впалые, скуластые щеки, морщины на лбу, остро блестевшие глаза. Какой-то немой, неизреченный вопрос исходил от всей нелепой позы этого человека, стоявшего около дышащей огнем печи.

Жоржу вдруг показалось, что перед ним Перфилий Голованов...

Мужик отвел руками волосы с лица назад.

— Жоржа,— тихо позвал он,— али не признал?..

— Васятка!..— выдохнул Жорж.

— Он самый,— выпрямился мужик.

Жорж не верил своим глазам. Васятка, деревенский друг его детских лет, бывший всего-то на три-четыре года старше его, и этот незнакомый человек с суровым, изможденным лицом были совершенно разными людьми. Что же могло соединить в одной человеческой оболочке (всего лишь десять лет не виделся он с Васяткой) того русоголового, синеглазого, похожего на полевой василек мальчика и этого «обугленного» работой и, по всей вероятности, нелегкой жизнью мужика?

— А Гунявого помнишь? — спросил Васятка, подходя ближе.

— Помню, конечно...
— Помер Гунявый. Жилу порвал и помер.
— А Никуля?
— Никуля в лавке у Тимохи Уханова сидит, торгует. Тимоху-то помнишь, бывшего старосту?
Второй мужик отошел от печи и приблизился к ним.
— А меня, барин, припоминаешь? — спросил он.— Я тоже гудаловский, Козлов Аверьян, севастопольский ратник, Козел по-уличному.
Козел постарел меньше, но что-то неизгладимо изменилось и в нем, какими-то другими, тяжелыми стали глаза, блестевшие в полутьме сарая огромными белками.
— Вы что же,— с трудом перевел дыхание Жорж, стараясь справиться с внезапно охватившим его волнением,— не на земле теперь?
— А ну ее к лешему, землю! — зло махнул рукой Аверьян.— Она теперь не кормит, а сама просит...
— Как просит? — не понял сначала Жорж, но тут же догадался: — Да, да, понимаю — доход с надела меньше подати, да?
Аверьян и Васятка промолчали.
— Оно видишь, как вышло,— начал наконец Аверьян.— Воля — она и есть воля. Тут ничего не скажешь. Были мы, как говорится, подневольные холопы — стали вольные молодцы, сами себе хозяева. Хотишь жениться — женись, не хотишь — как хотишь. Царь-батюшка, слава богу, нас от господ отпустил — и на том спасибо. Ладно... Теперича что дальше? Как поворачиваться? Стал мужик вольным человеком, а душа-то у него заячья. Сам собой он распоряжаться не привык, за него барин думал. А тут поступай как знаешь, иди свободно на все четыре стороны... Конечно, который мужик кубышку с копейкой в землю до времени закопал, тому воля — как ложка к христову дню. Взять Тимофея Уханова нашего. Ему

одному воля ко двору и пришлась. Он хоша и об одном глазу всю жизнь прожил, а наворовал у твоего отца крепко. А который мужик ничего не закопал? У которого в кармане вошь на аркане? Только две свои руки, да и те кривые, а? Тому чего с волей делать? С какой стороны от нее откусывать?.. На своем наделе как ни крутись, а все одно к Тимохе на поклон с голодухи пойти хочется: дяденька Тимофей, отсыпь, мол, хлебушка до весны, я отработаю... А весной он тебя хуже барина к земле пригнет, потому как свой мужик, деревенский, все наши дела крестьянские наскрозь знает. И что же тогда получается? Воля хуже неволи... Теперь берем надел. Его выкуплять надо. А на какие шиши? Обратно, мужик, в хомут полезай и горбаться до красного пота. Дык я тебя спрашиваю, господин хороший! На какой хрен такая воля нужна, когда она как решето — вся в дырках, а?.. Вот мужик сзади у себя между ушей чешет и думает: ай да царь-батюшка, ай да молодец, какую волю мужику придумал. Раньше оброк за неволю платили, а теперь тот же оброк за волю несем, землицу у барина выкупляем. Вот тебе и весь сказ про землю да про волю. Пропади она пропадом такая воля. Я вон лучше к печи встану кирпичи обжигать, зато живыми деньгами сразу на руки получу за свои мозоли. А земелька моя — она пущай пустая пока гуляет, пущай ветер по ней рыщет, как серый волк в поле. Вот так-то оно, барин, и получается.

...Когда Жорж и Костя Солярский вышли из сарая, Жорж зажмурился от яркого дневного света и долго стоял с закрытыми глазами.

— Кто эти люди? — спросил рядом голос Солярского.

— Это бывшие крепостные моего отца, а теперь наемные рабочие его величества капитала.

— Да,— вздохнул Костя,— урок политической экономии оказался слишком наглядным.

— К черту всю политическую экономию! — вспыхнул Жорж.— К черту эту наглядность! Я с одним из этих мужиков в детстве в «бабки» в деревне играл, купаться на речку бегал!.. А что он теперь? Развалина! А ведь ему тридцати лет еще нету.

Барышень Плехановых они нашли на берегу реки. Жорж постоял немного около сестер и вдруг неожиданно спросил, ни к кому конкретно не обращаясь:

— Почему мы не замечаем, как земля вращается?

— Потому что земля движется очень медленно,— ответила Клава Плеханова.

— Наоборот,— усмехнулся Жорж,— она вращается очень быстро. Быстрее, чем надо. Быстрее, чем возникают наши представления о законах ее вращения. Очень и очень быстро движется наша земля и вокруг своей оси, и в мировом пространстве.

...Прощание с маменькой вышло тяжелым.

— Береги себя, Егорушка,— сказала, всплакнув, Мария Федоровна и перекрестила Жоржа на дорогу.

— Хорошо, маменька, постараюсь,— послушно ответил сын.

В тот день ни мать, ни сын не могли знать о том, что больше уже никогда не увидят друг друга.

8

В Петербурге в революционных кругах только и разговоров было, что о смелом побеге бывшего члена кружка «чайковцев» князя Петра Кропоткина из арестантского отделения Николаевского военного госпиталя.

Действовать! Действовать! Активно вмешиваться в действительность! Ежедневно вести борьбу!

...Подготовка к рабочей демонстрации в разгаре. С утра до ночи бегает Жорж по рабочим кварталам, участвует в занятиях кружков, и везде разговор идет об одном и том же: демонстрация должна состояться как можно скорее.

Четвертого декабря на конспиративном собрании представителей рабочих кружков и революционной интеллигенции принимается решение, демонстрация состоится послезавтра, шестого декабря, в царский день, на Невском, около Казанского собора.

Предлагается во время демонстрации поднять над рядами участников красное знамя с вышитыми на нем словами: «Земля и воля».

— Красное знамя? — удивленно спрашивает кузнец с Василеостровского патронного Иван Егоров.— Это зачем же такое?

— Красное знамя — цвет крови угнетенного народа, которую он пролил за свое освобождение!

— У Парижской коммуны было красное знамя!

— Понятно,— солидно соглашается Иван Егоров,— теперь понятно.

Но смысл вышитых на знамени слов доходит еще не до всех.

— Стой! — встает с места слесарь с Новой Бумагопрядильни Василий Андреев.— Слова на знамени неправильные. Почему «Земля и воля»? «Земля» — это верно, землю мужику надо дать. А «воля» зачем? Воля мужику уже дадена.

— Нет, не «дадена»! — громко говорит Жорж и, поднявшись, подходит к столу.— Мужику дали волю от крепостной зависимости, его освободили от рабских цепей, которыми он был прикован к своему барину. Мужик теперь может жениться без господского согласия... Но одновременно его освободили и от земли, на которой он прожил всю свою жизнь. Мужик должен выкупить свою зем-

лю, а для этого он должен продавать свою рабочую силу, чтобы на заработанные деньги кормить себя и выплачивать за надел. Его только что обретенная воля сразу же заменена неволей от тех, кто покупает у него его рабочие руки. У мужика нет ни земли, ни воли, и поэтому слова на знамени — правильны!

— Верно! — вскочил сидевший около стола Митрофанов.— Все верно про мужика! Об этом и на демонстрации надо сказать, чтоб все знали, что мы хотим. Земли и воли!

Собрание представителей рабочих кружков и революционной интеллигенции поручает студенту Горного института Георгию Плеханову произнести на демонстрации у Казанского собора революционную речь.

9

6 декабря 1876 года в столице Российской империи Санкт-Петербурге произошла первая в истории России социально-революционная демонстрация.

Известия о предполагаемом скоплении предосудительных лиц распространились по городу задолго до демонстрации. Весь ноябрь ходили слухи о том, что беспорядки должны произойти в один из воскресных дней возле Исаакиевского собора. Но воскресенье сменялось воскресеньем, а обещанного скопления не происходило. Интерес был подогрет. И поэтому, когда в широкие студенческие круги проникли сведения о том, что демонстрация произойдет около Казанского собора, многие решили, что это и есть те самые беспорядки, которых ждали возле Исаакия. Утром шестого декабря революционная молодежь, давно жаждущая сильных впечатлений, отовсюду начала стекаться к Казанскому собору.

Накануне Жорж и товарищи по кружку еще раз обошли несколько рабочих кварталов. Везде было получено

подтверждение — фабричные, затронутые «бунтарской» народнической пропагандой, примут участие в демонстрации.

Первой на место сбора явилась группа рабочих из гавани. Их было около сорока человек. Постепенно подтягивался народ с заводов и фабрик. Пришли металлисты и текстильщики. Всего к началу событий собралось не менее трех сотен фабричных. Студентов и всякой другой пестрой публики было раза в три больше.

Организаторы демонстрации решили подождать еще немного, пока подойдут свои. Текстильщики и металлисты разошлись по ближайшим трактирам, оставив на паперти группы дозорных.

Между тем учащейся молодежи с каждой минутой все прибавлялось и прибавлялось. Некоторые заходили в церковь. Жорж и еще несколько человек из распорядительного совета демонстрации, чтобы предотвратить преждевременную вспышку страстей, тоже вошли в собор. За ними двинулись Митрофанов, Андреев и Головапов.

В соборе шло богослужение. Немногие молящиеся с удивлением оглядывались на необычных богомольцев, заполнявших храм. По их возбужденному виду никак нельзя было подумать о том, что они пришли сюда с желанием смиренно обратиться к богу. Никто ни разу не перекрестился. Появившийся церковный староста с тревогой поглядывал на студентов и рабочих.

Обедня кончилась. Странные богомольцы не расходились. Староста подошел к группе, в которой стояли Жорж и студент-медик Сентянин.

— Что вам угодно, господа? — спросил староста.

Жорж оглянулся. Народ с паперти продолжал прибывать. В основном это по-прежнему были студенты. Число рабочих не увеличивалось.

«Надо выиграть время»,— решил Жорж.

— Так что же вам угодно, господа? — повторил свой вопрос церковный староста.

— Хотим отслужить панихиду,— сказал Жорж.

— В чью же память?

— Раба божьего Николая.

— Сегодня панихиду служить нельзя,— ответил староста,— царский день.

— Насколько я знаю,— прищурился Жорж,— сегодня Николин день, не правда ли?

— Да, это так,— согласился староста.

— Так почему же в Николин день нельзя отслужить панихиду в память раба божьего Николая?

— Панихиду все равно нельзя,— объяснил староста,— можете заказать частный молебен.

Староста отошел.

— Что вы выдумываете? — зашептал Жоржу Сентянин.— Какого еще раба божьего Николая?

— Раба божьего Николая Чернышевского,— улыбнулся Жорж,— и всех других мучеников за народное дело.

— Но ведь Николай Гаврилович еще жив,— удивился Сентянин.

— Как вы не понимаете! — обернулся к нему Жорж.— Это же вынужденная мера. Нужно подождать, пока рабочих станет больше, и тогда начнем!

Митрофанов, Перфилий и Андреев восторженно смотрели на Плеханова.

— Хорошо, я закажу молебен,— согласился Сентянин.

— Вот вам три рубля,— протянул Жорж деньги.— Заплатите попам. И постарайтесь, чтобы молебен прошел по всем правилам.

Сентянин быстро нашел священника, и литургия началась. Служитель зажег новые трескучие свечи. Буйноволосый дьякон, подпевая вполголоса благочинному, позвякивал кадилом. Слабые клубы ладана потянулись к позлащенным окладам икон и хоругвям. В том месте молитвы,

где священник сладкоголосо забормотал «за упокой души раба божьего Николая», Жорж неожиданно для всех стоявших рядом вдруг звеняще крикнул:

— Не за упокой, а во здравие!

Благочинный удивленно посмотрел на него.

— Во здравие! — громко и твердо повторил Плеханов.

Весть о том, что в соборе идет служба во здравие Николая Гавриловича Чернышевского, быстро обошла собравшихся на паперти. Толпа заволновалась. Многие стали подтягивать долетавшему из церкви пению, двинулись вовнутрь. Дозорные, остававшиеся около храма, побежали в трактиры за разошедшимися фабричными. Рабочие хлынули к собору.

...Жорж, стоявший у алтаря вместе с Митрофановым, Андреевым и Головановым, увидев, что народ входит в церковь, быстро оценил ситуацию.

— Пошли! — решительно сказал он.— Пока они тут поют, пора действовать. Где знамя?

— У Яшки Потапова,— ответил Митрофанов.

— Потапова? — удивился Жорж.— Да ведь он совсем еще молодой. Сколько ему лет?

— Семнадцать.

— Ну, я же и говорю — мальчишка!

— Мальчишка, да крепкий! — засмеялся Перфилий Голованов.— А ты сам — старик, что ли?

Жорж усмехнулся. Да, стариком его было назвать действительно трудно — через неделю исполнялось двадцать лет. Ну что ж, пускай первая революционная демонстрация в России, как и само их движение, будет делом совсем молодых. Вперед без страха и сомнений!

...Он вышел на ступени собора и остановился. Перед ним колыхалось море голов.

Плеханов поднял руку. Толпа затихла.

— Друзья! — громко, во всю силу легких, крикнул Жорж и почувствовал, как холодок отваги и решимости

«зажегся» где-то под сердцем.— Мы только что отслужили молебен во здравие Николая Гавриловича Чернышевского и всех других мучеников за народное дело!.. Вам, собравшимся здесь, давно пора знать, кто такой Чернышевский!.. Это писатель, сосланный двенадцать лет назад на каторгу в Сибирь за то, что волю, данную царем, он назвал обманом!.. Не свободен тот народ, говорил Чернышевский, которому за дорогую цену отдали пески и болота, невыгодные помещикам!.. Не свободен тот народ, который за эти болота отдает царю и барину больше, чем сам зарабатывает, у которого розгами высекают тяжелые подати, который продает последнюю корову, лошадь, избу, у которого лучших работников забирают в солдатскую службу!.. Нельзя назвать вольным и городского рабочего, который, как вол, работает на хозяина, который отдает ему все свои силы, здоровье, свой ум, свою плоть и кровь, а от него получает сырой и холодный угол да несколько грошей!.. За эту святую истину Николай Гаврилович Чернышевский сослан в каторгу и мучится там и до сих пор!.. Таких людей не один Чернышевский, их было и есть много!.. Это декабристы, петрашевцы, нечаевцы, долгушинцы и все наши мученики последних лет!..

Раздались свистки городовых. Плеханов повернулся в ту сторону, откуда доносились свистки. Перфилий, Септянин и Митрофанов придвинулись вплотную к нему. Вася Андреев, спустившись со ступеней, искал в толпе мальца, Яшку Потапова, который сразу после окончания речи должен был выкинуть над головами знамя. Иван Егоров, закрывая оратора своими широкими плечами молотобойца, стоял перед Жоржем на две ступеньки ниже.

— Говори! Говори! — выдохнула толпа.— Пускай говорит!

Жорж взглянул в толпу и прямо перед собой увидел старых знакомцев — Семена и Павла Егоровича, прихо-

дивших к нему на квартиру в ту памятную, самую первую, встречу с фабричными.

— Давай крой дальше, не боись! — крикнул Семен.— Обороним!

— Друзья! — снова обернулся Жорж к толпе.— Все наши мученики стояли и стоят за народное дело!.. Я говорю народное, потому что его начал и продолжает сам народ!.. Вспомните Степана Разина, Емельяна Пугачева, Антона Петрова!.. Им всем одна судьба, одна участь — тюрьма, каторга, казнь!.. Но чем больше они выстрадали, тем больше слава и память в народном сердце!.. Да здравствуют мученики за народное дело!.. Мы собрались здесь, чтобы перед всем Петербургом, перед всей Россией заявить нашу полную солидарность с этими людьми!.. Их знамя — наше знамя!.. Вот оно!.. На нем написано: «Земля и воля крестьянину и рабочему!..» Да здравствует «Земля и воля»!..

— Ура-а! — закричали снизу Семен и Павел Егорович.— Ура-а-а!!!

— Да здравствует социальная революция! —кричали в толпе.— Да здравствует земля и воля!

Из толпы вынырнул Яшка Потапов — лицо красное, картуз на затылке. Взмахнул руками, и красное полотнище с двумя словами «Земля и воля» заполоскалось над головами.

— Ура-а!! — надсаживаясь, заорал Иван Егоров.

— Ура-а!! — закричали рядом Сентянин, Перфилий и Митрофанов.

— Ура-а-а!! — кричали текстильщики и металлисты. Студенты захлопали. Рукоплескания были сильные, дружные, громкие. Несколько человек подняло на руках над толпой Яшку Потапова со знаменем в руках. Жорж почувствовал, как все внутри у него восторженно сжалось, вспыхнуло пронзительной молнией счастья. Вот оно! — то желанное мгновение борьбы за народное дело!

Вот она! — та прекрасная и высокая минута полной растворенности в деянии для народа, в жизни для народа — для Митрофанова, Перфилия, Семена, Ивана Егорова, Васятки, Аверьяна! Вот он! — возврат народу неоплатного долга всех его дворянских предков — отца, дяди, деда, прадеда,— десятками лет безнаказанно терзавших народ.

Ему захотелось говорить еще, он поднял руку, прося тишины, но в это время стоявший рядом Митрофанов сдернул с него студенческую фуражку, сунул ее к себе в карман, а вместо фуражки надел ему на голову какой-то огромный, потертый меховой треух.

— Откуда он у тебя? — удивился Жорж.

— Заранее припасено! — возбужденно крикнул Митрофанов.

Он выхватил из-за пазухи башлык и начал закутывать им голову Жоржа.

— Зачем, зачем? — недоумевал Жорж.

— Ты уши-то не развешивай! — обозлился Митрофанов.— Видишь, городовые на углу собираются? Это все по твою душу. Пошли!

Почти все участники кружков — студенты и рабочие, разбившись по предварительной договоренности на две большие группы (одна — вокруг оратора, вторая — вокруг знамени), двинулись от Казанского собора по Невскому в разные стороны. Но навстречу им уже шли отряды городовых и околоточных. Полиция, получив подкрепление, бросилась на демонстрантов. Началась свалка.

— Ребята, тесней держись, не выдавай! — закричал Митрофанов, загораживая спиной Жоржа.— Не подпускай бударей близко!

Полиция хватала шедших в задних рядах, валила на землю, била ногами. Жорж увидел, как Иван Егоров размахнулся и ахнул по виску огромного городового. Обливаясь кровью, полицейский упал на тротуар. Двое околоточных кинулись на Егорова.

— Эх, где наша не пропадала! — крикнул Василий Андреев и головой ударил околоточного в живот.

Тот рухнул на землю. Второго околоточного не менее молодецким ударом, чем в первый раз, свалил сам Иван. Рука у кузнеца действовала, как молот. Городовые шарахались от него в стороны, будто карлики от великана.

— Православные, студенты бунтуют! — взывала о помощи теснимая демонстрантами полиция.— Подсобите, православные!

Жорж, вспомнив деревенские драки в Гудаловке, тоже было полез в общую кучу сражающихся, но Митрофанов тут же оттащил его:

— Стой, нельзя тебе!

— Другим можно, а мне нельзя?

— Дура, приметили тебя! Другим по малости дадут, а тебя сразу в крепость усадят!

Перфилий Голованов подбежал к ним, яростно закричал Митрофанову:

— Тащи его в переулок — и на извозчика!

Семен и Павел Егорович в располосованных пальто и без шапок кинулись на подмогу Перфилию, расчистили проход в переулок. Отплевываясь кровью, к ним присоединился Вася Андреев. Митрофанов, увлекая за собой Жоржа, побежал к переулку. Человек десять дворников и сыскных, поняв, что человек в башлыке — главный, что именно его хотят вывести из драки, кинулись за Жоржем.

— Бей продажную кость! — гаркнул, появляясь откуда-то сбоку, огромный малый в бараньем полушубке.

Он так страшно ударил в лицо дворнику, уже схватившему было Жоржа за воротник, что остальные нападавшие в ужасе отшатнулись, а малый в бараньем полушубке (Жорж сразу узнал в нем студента университета Богоявленского, человека небывалой физической силы, сына новгородского дьякона) сокрушающими ударами с обеих рук сшибал с ног одного городового за другим.

— Сюда! Сюда! — кричали сыскные.— Самый главный здеся!

Орава околоточных ворвалась в переулок. За ними со своим грозным кастетом бежал в переулок и кузнец Ваня Егоров. На углу отбивался от наседавших дворников Перфилий. Семена и Павла Егоровича со скрученными руками тащили на Невский.

— Извозчик! Извозчик! — надрывался Митрофанов.

Перфилий на углу упал. На него навалились. Освободившиеся городовые побежали к Митрофанову и Жоржу. Но дорогу им преградили Егоров и Богоявленский.

— Уводи его, уводи! — крикнул Егоров Митрофанову.— Нас им не взять!

Митрофанов вытащил упирающегося Жоржа (он попытался еще раз влезть в побоище, когда увидел, что Перфилий упал) на перекресток. И — о чудо! — в двух шагах от них горбился на козлах «ванька».

Застоявшийся жеребец взял с места как на скачках. Вылетели на мост. Несколько минут бешеной езды, и они уже на Васильевском острове. Митрофанов командовал — направо, налево, стой!

Возле деревянного одноэтажного дома Митрофанов, оглянувшись, постучал.

— Кто там? — спросили за дверью.

— Свои,— ответил Митрофанов.— Оратора с Казанской площади привез.

Так впервые было произнесено это слово — «Оратор», ставшее на несколько лет революционным псевдонимом Жоржа Плеханова.

В маленькой комнате (кровать, стол, стул) Митрофанов сказал:

— Здесь подождешь меня до вечера. Место надежное. На улицу выходить нельзя — ты свое, видать, отгулял. Придется переходить в нелегальные.

10

Только на третий день в «Правительственном вестнике» появилось сообщение о беспорядках возле Казанского собора. Газета квалифицировала демонстрацию как «заурядную кабацкую драку». Однако уже через неделю в других газетах начали мелькать иные выражения: «преступное сходбище», «дерзостное порицание установленного законами образа правления», «сопротивление чинам полиции», «протест против окружающих стеснений».

Митрофанов (теперь они уже перешли на другую квартиру) каждый день приносил новости: арестовано около тридцати человек, из них — одиннадцать курсисток, остальные — рабочие и студенты. По всему городу ищут блондина с бородкой, который произнес шестого декабря речь.

— Теперь понял, почему башлык был нужен? — спрашивал Митрофанов.

— Понял,— посмеивался Жорж,— мы люди понятливые.

Постепенно сведения уточнялись (Митрофанов добывал их каким-то своим путем): арестованы рабочие и студенты Архип Боголюбов, Александр Бибергаль, Михаил Чернавский, Евгений Бочаров, Григорий Громов, Илья Попов, Николай Фалин, а также курсистки — Лидия Николаевская, Софья Иванова, Варвара Ильяшенко.

— Ну, а наши-то,— допытывался Жорж,— Перфилий, Семен, Вася Андреев?

— Наши все целые,— рассказывал Митрофанов,— Ванька Егоров и тот здоровый студент в полушубке всех наших у полиции отбили.

— А Яков Потапов?

— Яшку заарестовали. Но ведет себя геройски, в участке не сказал ни слова и теперь в камере тоже молчит.

Выяснилось, что увести Яшку с площади пытались сестры Вера и Женя Фигнер, но переодетые сыскные якобы следили за ним и схватили его на углу Большой Садовой. Когда Потапова вели мимо Аничкова дворца, он, вырвавшись из рук городовых, закричал: «Да здравствует свобода!»

— Молодец! — восхищенно сказал Жорж.

— Молодец, конечно,— покачал головой Митрофанов,— но за это конвойный городовой его рукояткой шашки по башке... Но Яшка все равно молчит.

Выяснилось также еще и то, что многим участникам распорядительного собрания четвертого декабря (Преснякову, Хазову, Моисеенко, Натансону) тоже удалось избежать ареста. Они находятся на свободе и настоятельно просят Жоржа нигде не показываться. В революционных кругах Петербурга шестое декабря считается днем, когда новая русская народная партия впервые открыто заявила о себе и он, Жорж, впервые публично провозгласил лозунг — «Земля и воля».

Вскоре состоялся суд над участниками событий возле Казанского собора. Митрофанову удалось узнать, что в зале заседания особого присутствия правительствующего сената, где судили «казанцев», прокурор в своей речи якобы сказал такие слова: «Что же это за связь между Потаповым и молодежью, называющей себя учащейся?»

— Так прямо и сказал?! — обрадованно воскликнул Жорж.— Ты понимаешь, что это означает?

— Пока нет. Но ты объясни и буду понимать.

— Это означает, что цель нашей демонстрации достигнута! Даже царский чиновник понял, что около Казанского собора произошло нечто новое — рабочие соединились с петербургскими студентами, с революционной интеллигенцией!..

— Так мы давно уже с интеллигентами соединились...

— Но шестого декабря это произошло открыто, публично, в прямой акции против правительства. Рабочие оказали сопротивление полиции — газеты это признали. А это означает начало сознательного участия русского рабочего в жизни страны. Рабочие пришли на Казанскую площадь не стихийно, а как организованная революционная сила. Петербургский рабочий выходит из младенческого возраста, он встает с четверенек, он поднимается на ноги. И правительство почуяло это. Прокурор прекрасно сформулировал начало нового этапа нашего движения — какая связь между Потаповым и учащейся молодежью? Прямая, самая прямая, господин прокурор! Это начало активного вмешательства нового, необыкновенно важного элемента в ход политической жизни России — рабочего класса!

Глава четвертая

1

В Москве он сделал пересадку. Неожиданно на вокзале почувствовал внимание к себе жандарма, скользнувшего взглядом по его лицу и задержавшегося на нем. Дерзкая мысль родилась, как всегда, внезапно.

Выпрямившись и отведя назад плечи, Жорж в упор, «барином», посмотрел на жандарма. Тот не сводил с него настороженных глаз.

— Эй, любезный,— повелительно и надменно позвал Жорж,— подойди-ка сюда!

Жандарм вздрогнул, заморгал, сделал несколько шагов навстречу.

— На-ка вот, снеси багаж в вагон,— протянул Жорж чемодан,— да получи на водку двадцать копеек!

Жандарм, как загипнотизированный, молча взял че-

модан и пошел к вагону. Жорж, поправляя манжеты, незаметно огляделся. Филеров и сыскных (или субъектов, дающих повод для опасения) поблизости не было. «Значит, случайно зацепил меня,— подумал Жорж.— Впрочем, почему же случайно? Ведь в полиции есть моя фотография».

Медленно двинулся к вагону. Жандарм, уже доставивший багаж на место, торопливо вышел из тамбура и, увидев приближающегося строгого молодого человека с военной выправкой, взял под козырек.

Жорж вошел в вагон. Сел у окна. Раздался свисток кондуктора. Поезд тронулся. Жандарм стоял на перроне, и на лице его было сложное выражение — смесь недоумения и благостного ощущения в кармане столь неожиданно приобретенного двугривенного, который не терпелось сразу же после ухода поезда употребить в станционном буфете по назначению.

Про себя Жорж рассмеялся, но тут же решил: больше таких рискованных экспериментов не производить — может плохо кончиться. Устроившись поудобнее, он начал смотреть в окно, и мысли, прерванные почти комическим эпизодом, снова вернулись в прошлое.

...Тогда, два года назад, приехав в Петербург из-за границы от Лаврова, он, несмотря на то что полиция по-прежнему усиленно разыскивала «студента Жоржа» (блондин среднего роста, с бородкой), произнесшего во время беспорядков в столице около Казанского собора крамольную речь с «дерзостным порицанием установленного законом образа правления»,— он, несмотря на все это, сразу же с головой окунулся в прежнюю революционную работу. В те времена со всех концов России члены общества «Земля и воля», еще цельного в своей программе, двинулись в Поволжье для устройства «поселений» интеллигенции в народе. Пространство от Нижнего Новгорода до Астрахани было принято землевольцами за

основной операционный базис, от которого должны были идти народнические поселения по обе стороны Волги. В одном селе устраивалась ферма, в другом — кузница, в третьем член общества должен был поселиться под видом волостного писаря, в четвертом — в качестве лавочника.

Встречи со старыми друзьями по революционным кружкам, рабочими и студентами, быстро вернули Жоржа к его прежним взглядам и убеждениям. «Густая» российская действительность сразу же заслонила собой «западные» впечатления. Сомнения в правильности народнической программы исчезли. Реальная практика землевольцев — переход от «бродячей», «летучей» пропаганды в деревне к оседлым поселениям революционеров в народе — отодвинула на задний план мысли о теории. Нужно было действовать, и Жорж, имевший богатый опыт пропаганды среди рабочих Петербурга, отправляется вместе со всеми в Поволжье.

В июле 1877 года он приехал в Саратов. Здесь уже находился Александр Михайлов — давний знакомый по петербургским кружкам. Михайлов устроился на жительство в раскольничьей семье, рассчитывая пустить корни именно в этой патриархальной среде, слиться привычками с нравами раскольников и уже отсюда, имея надежный и твердый тыл, приступать к революционной пропаганде. Жорж начал работать вместе с Михайловым. После Берлина и Парижа, после открытых митингов и собраний немецких и французских рабочих, на которых свободно критиковалась политика правительства, жизнь на саратовской окраине была похожа на возвращение в первобытную эпоху. Дремучий православный уклад требовал максимального напряжения. Спать в раскольничьем семействе ложились рано — после шести вечера ни одна свеча не должна была беспокоить дух божий. Обитатели дома по вечерам двигались и сидели в потемках, как в

пещере. Вставали с петухами и сразу же начиналось — молитвы, вздохи, двуперстное сложение и причитания о близком конце мира, чтение священных книг, пространные рассуждения о скором пришествии Ильи и Еноха... Потом появлялся аналой, зажигалась свеча и по старинным книгам, «от писания», начинали славить «древнее благочестие».

«Тыл» был, что и говорить, «крепкий», но ни о какой пропаганде здесь, конечно, нечего было и думать. Жорж начал было поговаривать об отъезде из Саратова в какие-нибудь казачьи районы, где могла еще быть жива память о Пугачеве и Разине, где мужики еще не махнули окончательно рукой на свое будущее, но Михайлов возражал.

— Вы недооцениваете самой сути раскольников,— говорил он.— Что такое раскольник с точки зрения оппозиционной общественной силы? Это прежде всего человек, страдающий за свои убеждения, привыкший к полуподпольной жизни, к запрещенным книгам. Все раскольники по направлению своего ума — искатели истины. Их не удовлетворяет догма. Они гонимы, они способны к инакомыслию, в их среде чрезвычайно развито сострадание к политическому преступлению, к жертвам противоборства с верхами и официальными властями. Они постоянно ищут правды, и здесь у нас может быть очень богатое поле деятельности.

— Да вы посмотрите на них,— не соглашался Жорж,— они же задавлены своей обрядностью, своим буквоедством, своей тягой к небесному блаженству. Какая же тут может быть земная оппозиция? Это оппозиция наоборот!

Жорж был абсолютно убежден в том, что здесь толку не будет никакого. Другое дело рабочие. По своему петербургскому опыту он помнил, как быстро и действенно реагировали они на пропаганду. Но в Саратове ни завод-





ских, ни фабричных рабочих почти не было. Здесь преобладали мелкие ремесленники.

— Начинайте работать среди ремесленников,— предлагал Михайлов,— если раскольники не по душе. Пригодятся и саратовские ремесленники, когда поднимется все поволжское крестьянство.

— Нет, я лучше уеду куда-нибудь,— протестовал Жорж.

Узнав о том, что на Дону происходят волнения из-за введения на казачьих землях земских учреждений, Плеханов, простившись с Михайловым и пожелав ему успехов в его действиях среди раскольников, отправился в Ростов.

2

Славный южный русский город Ростов-на-Дону гудел набатом: на базаре полицейские «замели» подгулявшего мастерового и, не жалея, как водится в таких случаях, тычков в «нюх», поволокли его в участок!

— Братцы, заступитесь! — закричал мастеровой.— Изувечат!

Несколько человек фабричного вида пошли следом за городовым, прося отпустить задержанного. «Будари» не отвечали, продолжая награждать мастерового пинками и зуботычинами.

К части подошла уже целая толпа. Арестованного ввели вовнутрь, послышался шум, возня, удары, грохот опрокинутой мебели, и вдруг до слуха толпы долетел звериный вой убиваемого насмерть человека.

— Да что же это, братцы? — дрогнувшим голосом сказал кто-то.— За что человека беспричинно жизни лишают?

Кто-то поднял и бросил в закрытые ворота участка камень. Из ворот выскочил околоточный.

— А ну, р-разойдись! — рявкнул околоточный.— Кому плетей захотелось?!

— Ты не ори на нас, чучело! — закричали фабричные.— Пошто человека без суда калечите?

Околоточный выхватил из кобуры револьвер, выстрелил в воздух. Толпа дрогнула, отступила, но тут же снова придвинулась.

— Так ты стрелять, сволочь! А ну, врежьте ему, ребята!

Полицейский попятился к воротам. Из окон участка доносились вопли истязаемого мастерового. Околоточный дернул из ножен шашку.

— Зар-рублю! — махнул над головой сверкнувшим клинком.

Увесистый камень, брошенный из задних рядов, «тюкнул» воинственного «фараона» прямо в темечко. Полицейский, выронив шашку, упал, в страхе пополз к воротам, его быстро втащили уже стоявшие там городовые, захлопнули ворота, загремел засов.

— Расходитесь, стрелять будем! — крикнули из-за ворот.

И два выстрела бухнули одновременно один за другим. Пули просвистели над головами фабричных.

— Ну, дожили! — загалдели в толпе.— В людей, как в скотину, стреляют!

А вопли мастерового в участке становились все невыносимее и невыносимее.

— Эх, ребята, однова живем! — закричало сразу несколько бойких голосов.— Неужто стерпим? Неужто овцы мы, а не люди?

Через забор в окна участка полетели камни. Рядом на дороге валялось бревно. Фабричные подхватили его и, действуя как тараном, высадили ворота, ворвались в

часть. Городовые кинулись наискосок через двор и, перелезши через забор, разбежались кто куда. Народ бросился громить ненавистное полицейское гнездо. В одной из комнат нашли на полу в луже крови полуживого мастерового.

— Православные! — закричали все те же бойкие голоса.— Айдате и вторую часть разнесем, чтобы замах не пропадал!

Кинулись на соседнюю улицу, в щепу разнесли еще один участок, потом побежали к третьему и его «раскатали по бревнышку»: выбили стекла, выломали полы, сорвали двери и притолоки, разрушили печи и дымоходы, проломили крышу, посшибали трубы, обрушили перекрытия, искромсали мебель, в клочья разорвали все полицейские бумаги.

Всего было разрушено в тот день в Ростове семь (из девяти) полицейских частей. Заодно, под горячую руку, разнесли и квартиры полицмейстера и нескольких квартальных. Нигде никому не было оказано никакого сопротивления. Все полицейские — городовые, приставы, околоточные — кто как сумел покинули город. Городские власти, потрясенные невиданным взрывом негодования простого народа, не знали, что и делать. Опасались, что не удастся отстоять банк и острог, в котором сидело несколько политических. Полетели срочные телеграммы в Новочеркасск и Таганрог с просьбами выслать казачьи и воинские соединения, а пока...

А пока город целый день был в руках «бунтовщиков».

Жорж Плеханов, случайно оказавшийся свидетелем однодневной ростовской «революции» (так потом окрестили эти события), был поражен всем увиденным. После «сонной» жизни в Саратове ростовское «разнесение полиции» было похоже на весенние события в Париже во времена франко-прусской войны, о которых он столько слышал, когда был в Париже у Лаврова.

«А может быть, прав был Александр Михайлов,— думал Жорж, глядя на один из разрушенных полицейских участков,— когда говорил мне о том, что не надо пренебрегать пропагандой среди саратовских ремесленников? Если крестьяне начнут революционное выступление, рабочие города всегда окажут им поддержку. Да еще какую! Ведь у них уже есть опыт «разнесения полиции». Значит, сейчас все дело в том, чтобы, несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие жертвы, продолжать социалистическую пропаганду в деревне, готовить мужика к противоборству с правительством и властями».

Когда прибывшая в Ростов специальная комиссия министерства внутренних дел по расследованию «однодневных беспорядков» начала широкую полосу арестов среди местной радикальной интеллигенции, Жорж со своими подложными документами поспешил скрыться из города.

Путь его лежал в казачьи станицы.

3

Через несколько дней он пришел в станицу Луганская, где по дошедшим до землевольческих кругов слухам, происходили самые острые столкновения казаков с земскими начальниками. (В Ростове надежные люди дали ему адрес к местному учителю — народнику.) Пожив немного в доме учителя, Жорж попросил созвать вечером наиболее готовых к агитации казаков. Пришли три человека. Сели вместе с учителем в горнице, завернули каждый по толстой «козьей ноге», задымили самосадом, обсуждая хозяйственные дела, изредка задавая вопросы «вообще» о жизни.

Жорж вошел из соседней комнаты как бы случайно. Поздоровался. Хозяин представил его как земляка, даль-

него родственника. Казаки хмуро из-под вислых чубов оглядели «родственника», промолчали.

— Не помешаю? — спросил Жорж, присаживаясь к столу.

— Садитесь, садитесь,— улыбнулся учитель,— не помешаете. Все свои.

— Это хорошо, когда все свои,— улыбнулся в ответ Жорж.— Всем бы людям так надо жить, как свои со своими.

Казаки, окутываясь клубами дыма, смотрели на него выжидающе.

— Про беспорядки в Ростове слыхали, станишники? — спросил Жорж.

— Маленько слыхали,— ответил самый старший казак (фамилия его была, как выяснилось в дальнейшем, Кандыбин).— Говорят, полицию малость тряханули.

Жорж подробно рассказал обо всем, что видел сам. Казаки слушали с интересом, качали чубатыми головами.

— Чего же теперь будет энтим, которых заарестовали? — спросил второй казак, все называли его Филатыч.

— Сибирь будет, чего же еще,— уверенно сказал Кандыбин.— Царь таких шуток не любит.

— Особливо когда казенное имущество разграбляют,— вступил в разговор третий казак (его звали Кирьян).— Раз руку на казенное поднял, готово дело — полезай в хомут. Да не в ременный, а в железный.

— А ведь у вас в станице, кажется, тоже руку на казенное подняли? — поинтересовался Жорж.— И вроде бы обошлось — никого в Сибирь не отправили.

— А почему не отправили? — прищурился Филатыч.— А потому, что слабину мы дали. Отдали лес казне, голову промеж ног схоронили, вот нас и помиловали.

— Да как же его было не отдать, лес энтот? — возвысил голос Кандыбин.— К ногтю прижали, тридцать душ казаков в острог засадили, куда же ты денешься?

Лес — он хоть кормит, да там одни пеньки да деревья. А тут все же люди за решеткой сидят, кумовья, да сватья, да шабры, да племянники — родная все же кровь, как ее не пожалеть? Вот и отдали лес — пропади он пропадом! — подписались против самих себя в пользу дяденьки.

— А вы не могли бы рассказать поподробнее, как все дело было? — попросил Жорж.

— Дело было очень просто,— начал было учитель, но Жорж знаком руки остановил его, как бы давая понять, что хочет услышать всю историю о лесе от самих казаков.

— Оно как было,— наморщил лоб Кандыбин,— приезжает, значит, из города землемер, то есть таксатор, собирает весь народ на площади около церкви и объявляет: весь ваш лес, господа станишники, по царскому указу, то есть по леформе, будет теперь разделенный на тридцать равных участков. Каждый год рубить можно только на одном участке — на остальные не моги ступить ногой. Скотину пасти в лесу нельзя. Бабам по ягоды ходить нельзя. Кому сколько надо дерев повалить, иди к атаману, спрашивай дозволения...

— А раньше рази так было? — вмешался Кирьян.— Раньше свободно было. Куда топор и пила ходили, туда и казак за ими шел и рубил сколько душа пожелает, сколько для хозяйства надобно.

— А скотину куда девать? — вступил в разговор Филатыч.— У нас кругом леса, к самим базам подступают, сам видел небось. В поле гнать скотину — каждый день пятнадцать верст туда да пятнадцать обратно,— рази это по-хозяйски?

— Мы ить как живем? — неожиданно злобно и громко выкрикнул Кирьян, вытаращив глаза.— Вышла свинья за ворота — она уже в лесу! Вот те и потрава, плати штраф казне, потому как в лесу пасти нельзя!

— Погодь, Кирьян, погодь — не встревай,— помор-

щился Кандыбин,— дай по порядку все обсказать... Одно слово, объявил нам все это таксатор, что леса у нас в пользу казны отымают,— с тем и ушел к атаману водку пить. А напоследок наказал выставить ему завтрашний день тридцать человек казаков, чтобы, значит, вести через лес тридцать просек, делить лес на тридцать делянок... Одно слово, ушли они с атаманом, а станишники, конечно, не расходятся. Стоят — головы чешут. Вот те раз, говорят, сегодня лес отымают, а завтра озеро отымут — рыбки уж не половишь без спросу. А послезавтра чего? Ложись и помирай...

— Ты не совсем правильно объяснил, Кандыбин,— вмешался учитель, хозяин дома.— Лес не отнимали совсем, а делили на тридцать частей. И каждый год можно было пользоваться только одной тридцатой частью...

— Да как же не отымали?! — снова закричал горячий Кирьян.— Как же не отымали?.. Значит, топчись вся станица цельный год на одной деляне, а остальные двадцать девять не моги трогать, так? Ими казна цельный год владеть будет — так или не так?

— Ну, так,— согласился учитель.

— Вот и выходит, значит! — кричал Кирьян.— Вот и выходит, значит, что каждый год у нас казна двадцать девять делян и отымала!

Кандыбин, дымя самокруткой, ждал, когда Кирьян накричится и уймется. Филатыч сидел около стола молча.

— Ну, значит, дальше дело так пошло,— продолжал Кандыбин.— Нарядил атаман с утра тридцать дворов просеки рубить, а казаки в лес не идут. Мы промеж себя решили — не отдавать лес, и вся недолга!.. Таксатор этот по станице забегал, как таракан на печи. «Станишники,— говорит,— ну чего вы заздря бунтуете. Весь округ, все хутора уже подписали леса делить, а вы уперлись, как бык на базу». А мы ему говорим: «Так это которые хутора подписали? Которые на песках живут. Они лесов-то

никогда и в глаза не видели. Им что лес на тридцать делян делить, что небо над головой. А мы совсем другое дело, мы с лесу живем. Так что ты нас, господин хороший, в одну кучу, как навоз, не складывай». Землемер попрыгал, попрыгал да и в город подался жаловаться на нас. Вертается с начальством, да еще с ними какой-то генерал приехал — очень важный из себя на вид будет. Собрали сход. «Казаки! — кричит генерал.— Я еще в шестьдесят первом году усмирял крестьян, которые вздумали бунтовать против воли, дарованной им царем-освободителем!» А наши казаки возьми и крикни ему в ответ: «Мы тебе, ваше превосходительство, не мужики! Нас просто так не усмиришь!..» Генерал красный стал, как помидор. «Урядники! — кричит.— Переписать всех крикунов и немедля засадить в холодную!» Урядники пошли было промеж казаков и пишут на бумагу кого не лень — и кто кричал, и кто молчал, и кто от рождения глухой да немой... Но не тут-то было! Кинулись на них наши бабы, казачки то есть. Как пошли лупцевать тех урядников, как начали кулаками по сусалам их охаживать, так урядники все бумаги побросали и бегом обратно к генералу. Начинается следствие по делу об драке с урядниками. Генерал нас допрашивает по одному: кто бил, какие фамилии? Казаки стеной за баб встали: «Все били, пиши сразу всю станицу». Генерал спрашивает: «Поедете лес делить?» «Нет,— говорим,— ваше превосходительство, не поедем, нам лес делить без надобности». Опять собирают сход. Генерал и атаман взошли в церкву, помолились, выходят на паперть. А народ уже от всей этой заварухи так озлился, что удержу нет. Окружили их и кричат атаману: «Складывай с себя звание, отдавай булаву — мы тебя выбрали на атаманство, мы тебя и сымаем! Какой из тебя, к лешему, атаман, когда ты народ удоволить не можешь? А не отдашь булаву, так мы тебе голову напрочь оторвем!» Атаман, конечно,

перепужался, кинул булаву на землю и убег. Генерал тоже куда-то убрался, а казаки прямо от церквы идут на квартиру, где землемер стоял, и шумят ему: уезжай отсюдова, черт не нашего бога! Но землемер, конечно, гордый был, не уехал. Тогда ночью ктой-то ему из ружья в окно ба-бах! Чтоб, значит, знал, что казацкое слово твердое. Ежели сказали уезжай, значит, уезжай, мы шутить не любим...

— Ну, конечно, переполох после энтого выстрела начался огромадный,— продолжал Кандыбин.— Землемер вскинулся в ночи на тарантас и в город. За ним и генерал на фаэтоне скачет — полные штаны наложил, вояка чертов, который мужиков-то в шестьдесят первом году усмирял. Через два дня является в соседнюю от нас Митякинскую станицу войсковой трибунал и открывается дело о покушении на жизнь таксатора в Луганской станице. А сам трибунал сидит в Митякинской станице — к нам сунуться боятся...

— А вот так всегда и было бы,— вставил Филатыч.— Начальство само по себе, а мы сами по себе.

— Заарестовал трибунал одного казака,— продолжал Кандыбин,— будто бы он в окно стрелял. А казак этот всю ту неделю в ночном за двадцать верст от станицы находился. Выпускают его и требуют тогда, чтобы тридцать дворов, которых просеки рубить назначили, своим ходом явились бы на суд, то есть добровольно. Мы собираем свой сход, без атамана и постановляем: пущай трибунал сам к нам едет, ежели за ним правда. Трибунал, конечно, не едет. Ну и мы не едем. А тем временем узнали казаки в других станицах, что мы, то есть луганцы, таксатора своего прогнали, и говорят промеж себя: а мы чего терпим? Давайте и мы своих землемеров прогоним. Мы-де энти места, в которых проживаем, своей кровью завоевали. Кто у нас может наши леса отнять? Какое еще такое земство? Откудова оно взялось?..

И началась везде кутерьма. В Урюпинской станице, в Усть-Медведицкой и Раскольницкой посадили всех таксаторов на телеги и отправили восвояси...

— А в Слонской станице землемер не послухался и сам в лес поехал,— перебил Кирьян,— так казаки шашки наточили и за ним в лес. Еле ноги унес таксатор ихний.

— Одно слово, осмелел народ,— продолжал Кандыбин.— Наши тридцать дворов, которых трибунал к себе призывал, собрались и промеж себя порешили: ехать смело в Митякинскую, дело наше верное — сам царь, когда па Дону был, обещал казакам, что все у их останется по-старому. Приезжают, стало быть, а трибунал их раз! — и в железо. И повезли в Каменский острог. Тогда наши станишники говорят: ежели такое дело, совсем казне подати платить не будем. Начальство нам объявляет: ежели платить не будете, пошлем на вас войско, солдат то есть, с антиллерией. Давай, давай, говорим мы, посылайте войско — мы его в пики примем, нам воевать не привыкать. Тем временем узнаем, что тридцать наших казаков в Каменской держатся крепко. «Мы ни в чем не виноватые,— говорят наши на допросах,— бунтовали не мы одни, а вся станица. А будете нас дальше в тюрьме держать, так мы пока потерпим. Но до времени. Казаки — не мужики. У казаков оружие имеется. Весь Дон поднимется». Начальство видит — круто дело поворачивается. Прибывает к нам еще один генерал, с ним две карательные сотни и антиллерия, как узнаем, на подходе. Генерал энтот сурьезный оказался. Собрал сход и говорит: ежели вы бумагу об лесе не подписываете, будет у вас заарестовано еще сто пятьдесят казаков — вот список, которых казаков возьмут в железо. И будет им всем Сибирь, а энтим, которые в остроге сидят,— каторга. И всю вашу станицу из пушек сровняют с землей. Это-де приказ самого царя, который про ваши дела узнал и сильно осерчал. Даю вам сроку, говорит сурьезный гене-

рал, три дня. Думайте. Ничего не надумаете — я через три дня приступаю к боевым действиям. А чтоб, говорит, не очень обидно вам было ту бумагу подписывать, так вот как порешил Наказной атаман: посколь вы с леса кормитесь, делить ваш лес не на тридцать делян, а только на двадцать. Чтоб, значит, не по-вашему было и не по-нашему, а по-божески. С тем и ускакал. Мы думать начали. Перво-наперво посылаем, конечно, гонцов в другие станицы — будем восставать али нет? А там уже все угомонились — нет, отвечают, не будем, против всей России не попрешь. Ну и заскучали наши казаки. Кому в Сибирь идти охота? Да и тех, которые в остроге сидят в Каменской, жалко стало. А бабы, а ребятишки? Они-то чем виноваты, как спасаться будут, когда по станице из пушек зачнут стрелять? Да и саму станицу жалковать начали — отцы, деды жили... А тут еще старики шепчут: соглашайтесь подписывать, начальство нам уступку сделало — сперва тридцать делян было, а теперь двадцать. Пущай на бумаге будет, как атаман хочет, а на самом деле мы по-своему лесом пользоваться будем, как раньше... Ну, мы плюнули да подписали.

— Казак — он как бык,— сказал Кирьян.— На него сразу ярмо надень — он взбесится. А постепенно будешь к упряжи приучать, так он и привыкнет.

— Скажите,— спросил Жорж,— а острожников из Каменской станицы вернули?

— Вернули,— вздохнул Филатыч,— через два дня обратно припожаловали.

Учитель, хозяин дома, угрюмо молчавший во время долгого рассказа Кандыбина, посмотрел на Жоржа, как бы спрашивая: удовлетворен ли он подробностями «Луганского бунта»? Жорж кивнул — да, удовлетворен. Учитель повернулся к казакам.

— Мы уже говорили,— сказал он,— о том, какие выводы можно сделать из этих событий. Во-первых, для

того чтобы успешно бороться против правительственных притеснений, нужно действовать дружно и последовательно. Сказал «а», значит, надо говорить и «б», да не одному, а всем вместе. Теперь второе — казаки могут действовать сообща против властей на всей территории Войска Донского, так как причины недовольства одинаковые во всем войске. Сейчас земство отобрало лес, потом замахнется на озеро и реку...

— На мельницу уже пошлину положили,— вмешался Филатыч.— Хошь не хошь, а плати денежки, ежели молоть привез. А как не повезешь, когда без мельницы не прожить. Не бабу же заставлять в ступе зерно толочь. Пущай бы эти умники земские вместе с бабами нашими у печи постояли, тогда бы не стали везде пос свой совать!

— А соль? — как всегда азартно, вскинулся Кирьян.— Раньше соль добывали вольно, а теперича земство акцизный налог на соль наладило брать. Это где же такое видано, чтобы за соль налог брать?

— Скажите,— обратился Жорж к Филатычу,— а какова величина земельного надела?

— Душевой надел здесь везде считается в тридцать десятин,— ответил за Филатыча учитель,— с него и платится душевая подать. Но цифра эта написана вилами на воде. Количество удобной для обработки земли не превышает пяти — восьми десятин.

— Про оружию еще сказать надо,— мрачно заметил Кандыбин.

— Да, да,— согласился учитель,— обязательно надо рассказать про оружие. Казаки крайне недовольны тем, что при возвращении с войны у них начали отбирать оружие, которое по закону является их собственностью. Наша местность по боевому расписанию составляет так называемый третий полк Орлова. Так вот, в Киеве, когда казаки пришли из Балканского похода, у полка неожи-

данно отобрали пушки, а когда пришли в Черкасск, наказные власти вдруг потребовали сдать все винтовки. А какой же казак без винтовки?

«Этот худой, невзрачный человек в очках а ля Чернышевский,— подумал Жорж про себя, глядя на учителя,— живет здесь всего полтора года, а как много сделал. Ведь в этом «Луганском бунте», безусловно, есть и его доля участия. Какой замечательной силой обладает социалистическая пропаганда в народе, если даже в таком воинственном и верном трону сословии, как казачество, которое является опорой самодержавия, проклюнулись такие сильные ростки недовольства властью! И этот учитель, живущий здесь один, ежедневно рискующий быть арестованным и сосланным в каторгу, уже сильнее всех урядников, атаманов и генералов, потому что казаки слушают его, идут за ним, оказывают сопротивление правительственным чиновникам под влиянием его агитации. А что будет дальше? Надо обязательно составить прокламацию о событиях в Луганской станице и прочитать эту прокламацию казакам».

— У нас в полку за Балканский поход крестов поболе, чем у всех земских,— хвастливо подбоченясь, сказал Кирьян,— а они у нас леса отбирают. За что же мы тогда кровь против турка не жалели, за что головы свои в чужих землях клали?

...На следующий день Жорж снова попросил учителя собрать казаков в своем доме.

— Господа станишники,— сказал Жорж, внимательно оглядывая Кандыбина, Филатыча и Кирьяна,— по вашим рассказам и по рассказам других казаков, которых мне довелось встречать, я написал обращение ко всему казачьему войску — Донскому, Кубанскому, Уральскому, Терскому, Амурскому, Яицкому и всем остальным. Эта листовка будет напечатана в Петербурге на типографском станке и распространена по всем казацким

войскам — у вас, на Дону, на Кубани, на Урале, на Тереке...

— Подметная грамота, что ли? — прищурившись, спросил Филатыч.— Опять царя нового ставить?

— Погодь, не встревай,— толкнул его локтем Кандыбин,— дай послушать...

— «Братья казаки! — начал читать Жорж.— Хорошо и привольно жилось вам в старину па ваших землях, которые кровью своею отвоевали вы у неприятеля. Не было у вас ни благородных, ни черни, сами вы выбирали своих атаманов, и никто не стеснял вас службою: вы служили сколько могли и хотели, и за эту службу получали вы грамоты на свои земли, чтобы владеть ими вечно со всеми лугами, лесами, озерами и рыбными ловлями. О теперешних налогах и тяготах не было и слуху... Так жили вы когда-то, храброе и славное войско казацкое, но уже давно начали вас оттеснять понемногу. Стали назначать вам Наказного атамана из Петербурга, а теперь вопреки царским грамотам вводят у вас земство, и оно отбирает у вас леса, облагает землю податями, а потом и вовсе сравняет вас с крестьянами. Давно старики предсказывали, что лишат казаков всех прав, что будут стеснять их и наступит большая смута в казацких землях. Вы сами знаете, что их предсказание сбылось. Везде были смуты. Уральцев, за то, что они не хотели подчиниться новому положению, целыми сотнями ссылали в Сибирь и Туркестан; в Черноморье волновалась Полтавская станица; на Дону луганцев таскали по острогам и грозили Сибирью за то, что не хотели отдать земству лесов, которые по царским грамотам должны принадлежать казакам. Братья казаки! Было время, когда ваши отцы и деды присягали служить царю и отечеству только тогда, когда получали за это вольные грамоты. Требуйте и теперь таких грамот, чтобы остались за вами все ваши права, и земли, и поля, и леса, и реки, и озера; чтобы

управляли вы собою сами; чтобы сами выбирали Наказного атамана; чтобы землю давали всем поровну — и офицерам, и казакам; чтобы не надо было платить за нее налогов; чтобы не вводили у вас земства; чтобы всех казаков уравняли в правах и не было бы, как теперь, черни и благородных, а службу всем справлять поровну и по силе возможности. Деды ваши знали, как поступить, и вам не мешает припомнить старинный казацкий обычай. Не дадут вам вольной грамоты — не давайте присяги на службу! А будут заставлять силой — так неужели славное войско казацкое не сумеет отстоять своих прав?! Далеко гремит слава казацкая. Знают казацкую храбрость и немцы, и французы, и венгры, и турки, и англичане. Вы заслужили эту славу своею удалью, вы заплатили за нее кровью своею и головами своих братьев. Неужели же струсит казацкое войско, неужели не сумеет вытребовать себе тех прав, по которым жили и служили ваши предки. Вы казаки — не мужики! Вас не надо учить владеть ружьем, пикой и шашкой, не надо учить победам над неприятелем. Опозорит себя на века казачество, если не вернет теперь прежних вольностей! То, что добыли кровью деды, не должны отдавать без боя внуки!»

4

Поезд остановился в Туле. Повинуясь какому-то неосознанному желанию (а скорее привычке, выработанной за два года жизни на нелегальном положении), Жорж взял чемодан и вышел из вагона.

— Никак сходите, молодой человек? — спросил стоящий в тамбуре кондуктор.— Билетик у вас вроде подальше был.

— Да вот тетеньку решил проведать,— улыбнулся Жорж.— Торговлю здесь содержит. Надо помочь старушке счетные книги привести в порядок.

Поезд ушел. Жорж огляделся — перрон был пустой. Он вышел на площадь. Нагнулся над чемоданом — еще раз огляделся. Вроде бы чисто. Это правило — проверять несколько раз в день, нет ли слежки,— он усвоил для себя твердо.

Потом взял извозчика и поехал в центр города. Остановился около меблированных комнат. Оставив чемодан в пролетке, вошел в номера, снял комнату на два дня, заплатил вперед. Если по дороге на Воронежский съезд за ним следует какой-нибудь опытный филер, который пока никак не обнаружил себя, то плата вперед, безусловно, убедит филера в том, что он, Жорж, задержится в Туле на два дня — сыскные верят в деньги.

Потом вернулся к извозчику, велел ехать к Тульскому Кремлю. Сошел около одного входа, приказав вознице ждать около другого, быстро пересек кремлевский двор, оглянулся — никого. Вышел из Кремля через сводчатые ворота в старинной башне, извозчик уже ждал его, попросил как можно скорее гнать на вокзал, обещав на водку. Сидя в пролетке, лихорадочно думал: может ли он притащить за собой на Воронежский съезд жандармский хвост? С таким же успехом могут привезти за собой полицейское наблюдение все будущие участники Воронежского съезда — и Александр Михайлов, и Николай Морозов, и Вера Фигнер, и Тихомиров, и Фроленко, и Перовская, и Желябов, и многие другие. Впрочем, все они люди опытные, осторожные, прошедшие огонь и воду, умеющие замечать за собой слежку. Каждый отдал уже не один год революционной борьбе, каждый предан делу до конца. И тем не менее дороги их сейчас, кажется, расходятся в разные стороны. Почти все они за террор, за политические убийства. И только, пожалуй, он, Пле-

ханов, да еще несколько человек стоят на прежних народнических позициях, исповедуя не террор, а продолжение социалистической пропаганды и агитации в деревне и в городе.

Он вошел на перрон за пять минут до отхода поезда. Послал кондуктора взять билет. Вошел в полупустой вагон, открыл дверь в пустое купе, закинул чемодан в сетку, задвинул дверь, сел, откинулся на спинку дивана, закрыл глаза... И волны воспоминаний снова понесли его в напряженный хаос минувших событий в поисках ответа на вопрос, не дававший покоя ни днем ни ночью,— когда и с чего началось все то, что теперь привело их всех, членов общества «Земля и воля», к ясному пониманию, что пути их расходятся, что на съезде в Воронеже неизбежно должен произойти раскол и размежевание.

...Возвратившись зимой с Дона с твердым желанием скорее напечатать свою прокламацию «К славному войску Донскому», вернуться обратно в станицу Луганскую и распространить воззвание среди казаков, он нашел в Петербурге страшный разгром всего руководящего ядра «Земли и воли». Аресты шли каждый день, с огромным трудом удавалось сохранять еще подпольную типографию, то и дело перенося ее с места на место. Каждый человек, каждые свободные руки были на вес золота, и он, Плеханов, с его конспираторским опытом пришелся тогда как нельзя кстати, оказался в самом центре событий, помогая товарищам скрываться от полиции, доставать новые документы, налаживать заново печатные издания землевольцев. Он был в те дни одним из немногих основателей общества, оставшихся на свободе. Через него шли все связи между кружками, в которых аресты вызвали ожесточенные споры о формах и методах дальнейшей революционной работы. О возвращении на Дон нечего было и думать.

5

Девушку звали Роза. Была она невысокого роста, с ясными и твердыми чертами лица, с уверенной манерой держаться, веселая, остроумная, без традиционных женских слабостей — капризов, частой смены настроений, повышенной экзальтации и вспыльчивой придирчивости. Она имела строгий и очень уравновешенный характер, была натурой цельной, прямой, беззаветно преданной революционному делу, что тоже сыграло не последнюю роль в их духовном сближении. Скитальческую, полную опасностей жизнь Жоржа не осуждала, а, наоборот, восторгалась ею. Словом, личная жизнь обещала что-то надежное и счастливое. Учась на высших медико-хирургических курсах, Роза к своей будущей докторской профессии уже сейчас относилась очень серьезно. Она была врачом по призванию, по своей пристальной заинтересованности в людях, по какому-то особому эмоциональному складу души, внимательному и заботливому, постоянно расположенному принять участие в чужих недугах и бедах.

...Умер Некрасов. Оставшиеся на свободе члены общества «Земля и воля» решили принять участие в похоронах поэта. Был приготовлен венок. Речь на похоронах от революционной молодежи было поручено произнести Оратору — кличка эта после Казанской демонстрации прочно закрепилась за Жоржем Плехановым. Несколько землевольцев, вооруженных револьверами, должны были обеспечить безопасность выступления и в случае попытки полиции захватить венок отбить его вооруженным вмешательством.

Народу на кладбище было много. Сильный декабрьский мороз седым инеем оседал на непокрытых голо-

вах огромной толпы, собравшейся около раскрытой могилы Некрасова. После нескольких официальных речей вперед вышел Достоевский. Страстная его речь вызвала рыдания. По изможденному, бледному лицу писателя пробегала судорога близкого нервического припадка. Потом говорил кто-то еще — от радикального студенчества, от либеральной профессуры. «Пора»,— шепнули сзади Жоржу, стоявшему в двух шагах от гроба и находившемуся в сильном волнении после речи Достоевского.

Жорж шагнул к могиле.

Два молодых человека в наглухо застегнутых пальто поставили рядом с ним венок, расправили ленту. «От социалистов»,— прочло сразу несколько голосов. Толпа ахнула, придвинулась ближе. Такая надпись здесь, на Новодевичьем кладбище, на официальных похоронах, была равносильна взрыву бомбы.

Два молодых человека выпрямились около венка, один из них достал револьвер и, опустив глаза, замер, держа револьвер дулом вниз. (Он был виден только стоящим около самой могилы.) Толпа замерла.

— Господа! — громко начал Жорж.— Сегодня мы хороним великого поэта земли русской... В чьем сердце горькой болью за порабощенный и униженный русский народ не отзовется знаменитое стихотворение Некрасова? Кто в юности, однажды прочитав эти стихи, не давал себе клятвы посвятить жизнь борьбе за народное дело?.. Сегодня мы прощаемся с великим писателем, славой и гордостью отечественной литературы, который впервые в легальной русской печати воспел декабристов — предшественников революционного движения наших дней, предшественников петрашевцев и всех остальных мучеников за освобождение народа!

Краем глаза он увидел, как вздрогнул при слове «петрашевцы» Достоевский, как вскинул он на говорившего обжигающий взгляд своих серых, пронзительных глаз.

В толпе шевельнулась личность филерского вида, сделала попытку протиснуться вперед, но те, кто пришел с Оратором, вышли к могиле — руки в карманах сжимают оружие, в глазах твердое выражение дать отпор любому насилию.

— Вечная память Некрасову! — крикнул Жорж.— Вечная память поэту, чья муза была великим примером служения будущему счастью народному!

...Тогда же, в декабре, взрыв пороха на Васильеостровском патронном заводе убил на месте четырех рабочих, страшно искалечил еще полтора десятка человек (двое из них умерли на следующий день). Сильный революционный кружок лавристского направления, существовавший на заводе уже целый год и поддерживавший постоянную связь с землевольцами, решил превратить похороны товарищей в демонстрацию протеста.

Это уже была чисто рабочая демонстрация — первая в Петербурге. Рабочие все сделали сами — оповестили народ, написали воззвание, в котором случай на заводе ставили в связь с общим положением всех петербургских рабочих. Листовка была передана в центральный кружок «Земли и воли» и в тайной типографии, которую удалось сохранить от недавнего разгрома, напечатана за одни сутки.

В назначенный день к девяти часам утра возле здания Васильеостровского патронного завода собралось около двух тысяч рабочих (вовремя напечатанная и распространенная листовка сделала свое дело). Жорж Плеханов, Валериан Осинский и Степан Халтурин подошли к членам заводского кружка. Большинство из них Жорж знал очень хорошо. Впереди всех стоял огромный, плечистый кузнец Ваня Егоров — старый товарищ еще по «Казанке», знакомство с которым началось с разговора о книге Герберта Спенсера «Основания биологии». («Ты уж не думай, господин студент, что все рабочие такие дураки,—

сказал ему тогда Иван,— что в биологии разобраться не смогут».) Рядом с Егоровым топтался такой же плечистый, но пониже ростом парень с большой рыжей бородой. (В плечах он был, пожалуй, даже мощнее Егорова,— как говорится, поперек себя шире.)

— Ну как, Ваня,— спросил, здороваясь, Жорж,— разобрался в биологии Спенсера?

— Разбираемся постепенно,— улыбнулся Иван.— Насчет Спенсера точно не скажу, а вот с полицейскими черепушками тогда на Невском разобрались хорошо — целый месяц костяшки на пальцах болели.

Он познакомил Жоржа с рыжебородым парнем — звали того Тимофеем.

— Одной волости со мной будет,— сказал Егоров.— В Архангельске на верфях клепалой работал, теперь вот сюда, в Петербург, прибег. К грамоте очень охочий, книжки, как семечки, щелкает. Говорить может о чем хошь — от зубов отскакивает. И к начальству злой — во время взрыва самому бороду обожгло. А ежели сказать ему чего надо, кричи громче в самое ухо, он наполовину глухой.

Рыжебородый Тимофей посматривал на Жоржа изучающе, хитровато прищурившись.

— Сейчас подойдет еще одна наша группа,— сказал Егорову Осинский,— человек десять. Все вооружены. Если полиция попробует вмешиваться, будем стрелять. Как ваши, готовы к этому?

— Тоже кое-чего с собой прихватили на всякий случай,— сказал Иван.— У нас народ к оружию привычный, сами его делаем.

— Вот только не нравится мне,— заметил Осинский,— что фабричные опять на похороны вырядились, как на праздник.

— Рабочему человеку только и праздник, что похороны,— горько усмехнулся стоявший рядом Степан Халтурин.— Куда же еще наряжаться? Все остальные дни в рванье замасленном ходим.

— Верна-а! — неожиданным густым басом зычно поддержал Халтурина рыжий Тимофей.— Наши праздники все на кладбище. Других начальство не придумало.

— Ты, Тимоха, больно широко пасть-то не разевай,— одернул земляка Иван Егоров.— Холодно сегодня, кишки простудишь. Да и городовые тебя по глотке твоей медвежьей приметят раньше времени и заметут без всякого дела.

Валериан Осипский взял Халтурина под руку, отвел в сторону.

— Ты неправильно меня понял,— сказал он тихо.— Я не в упрек сказал, что ребята слишком чисто оделись. Ведь мы же хотим не просто похороны провести, а устроить демонстрацию протеста. А у всех фабричных действительно какое-то пасхальное праздничное настроение. Никакой активности не будет.

— А ты наперед не загадывай,— сказал Халтурип.— Насчет активности бабушка еще надвое сказала. Листовку читали, внутри — оно там у всех копится.

Жорж, слышавший этот разговор, был на стороне Осинского. Рабочие по привычке своей одевать на люди все самое лучшее выглядели совсем не траурпо. Все оживленно переговарпвались, некоторые даже улыбались, шутили.

Но вот вынесли гробы, и все разговоры разом стихли. Двухтысячная толпа как по команде сняла шапки. У Жоржа защемило сердце — в этом мгновенном перепаде от владевшей всеми оживленности к растерянной и молчаливой скорби огромной, празднично одетой толпы было что-то жуткое, что-то младенчески незащищенное, безропотное, доверчивое, и шесть гробов, плывущих на руках над головами, были зрительным выражением, страшным символом этой незащищенности всей большой человеческой массы перед какой-то незримой, зловещей силой.

Что же надо сделать, чтобы хоть как-то обуздать эту чудовищную силу, чтобы хоть как-то уменьшить ее втягивающую, всасывающую гробовую силу, чтобы хоть как-то защитить от нее всех этих покладистых и доверчивых — и тем-то и незащищенных — людей? Что можно противопоставить этой силе?

Похоронная процессия растянулась на несколько кварталов. Большинство провожавших сразу же, как отошли от завода, надели шапки — мороз усиливался с каждой минутой. «Бунтари» из боевой дружины Валериана Осинского, одетые очень легко, шли сзади Жоржа, растирая носы и уши, похлопывая себя по бокам и плечам. До слуха долетела брошенная кем-то из них фраза:

— Нет, господа, революцию надо делать летом — в такой холод никого не расшевелишь...

Вот и Смоленское кладбище. В дальнем углу, наискосок от входа, выдолблено в мерзлой земле шесть ям, шесть деревянных крестов прислонено к железной ограде. Полиция, сопровождавшая шествие от самого завода, усиленная отрядом городовых, ожидавших около ворот, окружила могилы. Священник пропел последнюю молитву, забили крышки, подвели веревки, начали опускать гробы в ямы, застучали комья земли по дереву. Двухтысячная толпа, заполнившая кладбище, молча слушала эти звуки. Да, пожалуй, Осинский был прав: сначала все были слишком оживлены, потом замерзли — демонстрации протеста не получалось. Все были как-то угнетены, подавлены видом городовых, кольцом обступивших могилы.

Все кончено. Насыпаны холмики, укреплены кресты. Пора было расходиться, но толпа, несмотря на мороз, неподвижно стояла на кладбище. Чего-то ждали.

Жорж понимал: кто-то вот-вот должен начать говорить, больше молчать нельзя. Но неизвестный этот «кто-то» пока не объявлялся. Может быть, робел, смущался,

опасался полиции? Может быть, начать ему? Ведь он же Оратор. Надо бросить искру, надо зажечь революционным словом это заснеженное кладбище, эти опущенные, покрытые инеем головы. Надо поднять эти головы!

Он взглянул на Халтурина. Степан стоял, низко опустив голову. Рядом с ним, так же опустив голову, стоял Ваня Егоров. И все рабочие завода, кого только мог видеть Жорж, стояли в таких же позах — без шапок, опустив руки, склонив головы. Все прощались с только что зарытыми в землю, навсегда ушедшими товарищами.

Жорж посмотрел на дружинников Осинского. «Интеллигенты-бунтари», сгрудившись тесной группой, пристально следили за городовыми.

Городовые начали шушукаться, поглядывать по сторонам. Нечего было даже и думать, чтобы предпринять какие-либо действия против такой массы людей. Старший полицейский чин, околоточный надзиратель, растерянно озирался.

«Надо начинать говорить»,— решился Жорж.

И вдруг в толпе произошло резкое движение — к могилам вышел рыжебородый Тимофей.

— Братцы! — густым и звонким на морозе басом закричал Тимофей.— Только что, сей минут, закопали мы в землю шестеро невинно погубленных душ!.. А убили их не турки на войне, их убило наше заводское начальство, которому столько раз было говорено, что нельзя порох в таком тесном чулане хранить...

Околоточный, выхватив свисток, пронзительно засвистел. Руки городовых потянулись к Тимофею, схватили его за отвороты полушубка, но Тимофей — даром, что ли, был поперек себя шире — тряхнул круглыми плечами судового «клепалы», и городовые посыпались в стороны.

И неожиданно толпа, еще секунду назад безнадежно

неподвижная и аморфная, ожила, заворочалась, преобразилась, пришла в движение как единый организм, прихлынула к могилам. Околоточного оттолкнули в сторону, городовых оттеснили от Тимофея. Мгновенно забыв о том, что на них надето самое лучшее, праздничное, рабочие кинулись по истоптанному в грязь снегу вперед и, обрывая пуговицы, полезли на ограду и деревья, закричали десятками переполненных яростью и ненавистью голосов:

— Не тронь рыжего!.. Пущай говорит!.. Ребята, рой приставу яму рядом с нашими!.. Гони бударей в господа, в душу, в святые хоругвы!

Иван Егоров, выскочив к Тимофею, заслонил его собой. Валериан Осинский, напряженно держа руку за бортом студенческой шинели, где у него лежал тяжелый револьвер, не сводил глаз с околоточного. Все «бунтари», готовые открыть стрельбу по первому знаку, с наиболее разъярившимися рабочими теснили от могил городовых. Степан Халтурин, обхватив сзади какого-то расхристанного малого, выломавшего кол из забора и рвущегося к полицейским, с трудом удерживал его.

— Говори, Тимофей! — не вытерпев, крикнул Жорж.— Продолжай, не молчи!

— Жарь, Тимоха! — гаркнул Ваня Егоров.

— Сколько раз говорено было начальству нашему,— закричал снова упрямый Тимофей, продолжая с того места, па котором его оборвали,— что нельзя было порох в таком тесном чулане держать!.. Одна дверь из чулана в мастерскую — и никто из нее целый не вышел!.. Когда точим мы порох на станках, пыль от него вокруг нас падает, станки покрывает, на стены ложится! Одной искры хватило, чтоб все загорелось!.. Сколько раз мы сами малые пожары тушили, сколько раз жаловались, а начальство все на бога надеялось, все ждало чегой-то и дождалось!.. Вот они, шесть крестов стоят, а сколь еще вста-

нет, пока пыль пороховую мести не станут!.. Шестеро вдовых баб возле этих могил стоит, у кажной ребятишки, а сколь отвалили хозяева за кажного кормильца? По сорок рублей за голову — курам на смех! А проедят они эти сорок рублей — чего дальше делать будут? На паперть просить пойдут, руку протягивать?.. Так турки не поступают, как начальство наше над нами измывается!.. Нас жгут живьем в мастерских, а тех, кто живой остался, оштрафовали по полтора целковых!.. За что?.. За то, что обжоги мы получили?.. Хватит руку лизать, которая нас душит, пора за ум браться!.. Чего ждать?.. Других крестов рядом с этими?.. Мужик в деревне ждал от барина помощи, земли ждал, а чего дождался? Песков, да болот, да недоимков сильнее прежних!.. Набили мужику новый хомут на шею теснее старого — он и воет!.. А не будь дураком, не жди от барина милости, не дождешься!..

Жорж с восторгом смотрел на Тимофея. Вот они — слова из уст простого фабричного! Социалистическая агитация дошла до сердца и до ума рабочего человека, и то, о чем раньше говорили ему они, пропагандисты, теперь говорит он сам, рабочий! Значит, он проснулся, пробудился, воспламенился, рабочий народ! Значит, он готов теперь к бунту и поддержит любое крестьянское движение, если он объединяет свое положение с положением обманутого реформой крестьянства.

На фоне белых, заснеженных кладбищенских деревьев большая рыжая борода Тимофея и такая же рыжая всклокоченная шевелюра (шапку он потерял) горели ярким, огненным пятном. Дружинники Валериана Осинского, взяв Тимофея в кольцо, вели его через кладбище к выходу. Огромная, тысячная толпа разгоряченных рабочих, окружив их со всех сторон, двигалась вместе с ними к воротам. Другая толпа фабричных, прижав полицейских к ограде, не пускала их к той группе, в которой шел Тимофей.

— Пропустите меня! — кричал околоточный надзиратель.— Я отвечаю за беспорядки на кладбище перед начальством!

— А вот мы сейчас вздуем тебе бока! — кричали рабочие.— Вот и будет тебе начальство! Стой смирно, ваше благородие, и не рыпайся, пока цел.

— Я этого так не оставлю! — шумел полицейский.— Вы будете отвечать!

— А чего ты нам сделаешь? — смеялись рабочие.— Гляди, сколько нас, а твоих бударей — раз, два и обчелся. И подмоги неоткуда ждать, самая окраина здесь.

Надзиратель все-таки прорвался к воротам. В это время Иван Егоров уже сажал Тимофея на извозчика. Около входа на кладбище стояло еще несколько «ванек», но их лошадей держали под уздцы дружинники Осинского, чтобы никто из переодетых сыскных, окажись они около ворот, не увязался бы следом за Тимофеем и Егоровым.

Надзиратель вытащил из кармана свисток и поднес его было ко рту, но кто-то из рабочих толкнул его в спину. Свисток упал в сугроб.

— Что же это вы делаете, господа фабричные? — дрожащим голосом забормотал полицейский.— Ведь это же бунт!..

— А ты как думал? — смеялись ему в лицо рабочие.— Шутки с тобой шутить будем? Хватит, дошутились до крестов!

Жорж протиснулся к Тимофею и Ивану Егорову.

— Сбрей ему сегодня же бороду,— шепнул Жорж Ивану, кивая на Тимофея (уроки Митрофанова после Казанской демонстрации были живы в памяти).— И постриги наголо. Одежду достань какую-нибудь другую. На квартиру свою больше не приходите и на завод не являйтесь. Переждите где-нибудь ночь, а завтра я вас найду и устрою на надежную квартиру.

— Трогай! — закричал Степан Халтурин извозчику, и сани понесли Тимофея и Егорова наискосок через площадь.

— Вам это так не пройдет! — грозился околоточный.— Найдется на вас управа. Прошлый год на Невском около Казанского собора тоже бунтовали — все в Сибирь пошли.

— А вот и не все! — подбоченился Халтурин.

— А ты, никак, там был? — вглядывался надзиратель в лицо Степана.

— Обязательно был, ваше благородие!

— То-то, я смотрю, личность мне твоя знакомая.

— И мне твоя личность знакомая,— не унимался Халтурин, потешаясь над околоточным.

К надзирателю подошел Валериан Осинский.

— А теперь марш за ворота, обратно на кладбище!— приказал Валериан полицейскому.

— Да как ты смеешь так разговаривать со мной! — набычился околоточный.

Осинский молча потянул из-за бортов шинели свой тяжелый револьвер-медвежатник. Вплотную к нему придвинулась боевая дружина «бунтарей».

Надзиратель выругался и пошел за ворота, обратно на кладбище, где стояли сбитые с толку, давно уже переставшие что-либо понимать городовые. Ясно было одно — против огромной густой толпы рабочих не попрешь. Тут не помогло бы никакое оружие. Да и как его было применять, оружие, когда вон эти, длинноволосые в очках, все подряд с револьверами. Тут бы душу христианскую только спасти. Чего и говорить, умыли их сегодня фабричные, как пить дать умыли.

Дружинники-«бунтари» закрыли кладбищенские ворота на засов, навесили замок.

— Будете стоять здесь, за воротами, тридцать минут,— сказал Осинский полицейским. — С места никому

не двигаться, свистков не вынимать, оружие не лапать — иначе перестреляем всех, как куропаток.

Потом он повернулся к рабочим.

— Братцы! — крикнул Валериан. — Спокойно расходитесь по домам, никто вас тронуть не посмеет!.. Мы будем следить за бударями и прикроем вас!.. Спасибо вам, братцы, за сегодняшний день!.. Это была наша общая победа!.. Еще раз спасибо!

— Тебе спасибо, мил человек,— все разом заговорили рабочие. — Приструнили вы сегодня бударей, будут помнить!

Жорж Плеханов уезжал со Смоленского кладбища в одних санях с Валерианом Осинским и Степаном Халтуриным, с которыми утром вместе пришел к Патронному заводу. Тогда он еще не мог знать, что всего через несколько лет Халтурина по приговору военно-окружного суда повесят в Одессе, а Валериан кончит свою жизнь на виселице в Киеве и того раньше. Ему, пережившему их обоих почти на сорок лет, в тот день казалось, что все трое они будут жить и вместе бороться за народное дело еще долго-долго.

Глава пятая

1

На Обводном канале, на Новой Бумагопрядильне, началась забастовка. Хозяева ввели «новые правила», которые фабричные читали, читали, да так толком ничего и не разобрали. Две руки раньше стоили, к примеру, полтора целковых в день, а теперь будто бы, по «новым правилам», целую полтину с этих полутора целковых снимают. А куда же она девается? Две руки вроде бы остаются, а цена им уже другая. Дела-а...

Иван Егоров и рыжий Тимофей (на Патронный завод по совету Жоржа они больше не явились, Степан Халтурин устроил их на Бумагопрядильню) кинулись на подпольную квартиру, расположенную в двух кварталах от фабрики, где собирался местный рабочий кружок. Хозяином квартиры был отставной унтер-офицер Гоббст. Он находился на нелегальном положении и усердно разыскивался полицией по делу о пропаганде среди войск Одесского округа. Под фамилией Сорокина Гоббст содержал около Прядильни сапожную мастерскую.

— Жоржу надо искать! — крикнул Егоров с порога Сорокину.— Хозяева опять руку на горло положили!

— Затягивают петлю-то, затягивают,— качал головой Тимофей (бороды он больше не носил, голову брил наголо). — Это надо же — цельную полтину из кармана выхватывают. Ах, сукины дети!

Сразу же за ними пришло еще несколько ткачей вместе с Василием Андреевым («бабьим агитатором» звали его рабочие между собой за попытку организовать женский кружок среди работниц табачной фабрики Шапшала).

— Совсем рехнулись наши хозяева, рубаху с плеч сымают, жрать скоро станет нечего,— вразнобой заговорили мастеровые, рассаживаясь по углам мастерской.— И так баба дома в голос воет, копейки считает, а теперя что будет? Ложись да помирай.

— Погоди помирать-то, — закуривая, сказал Василий Андреев,— помереть всегда успеем. Сперва хозяевам острастку надо дать за ихние великие к нам милости.

— Степана бы Халтурина сейчас сюда,— добавил он через минуту,— или Жоржу, чтоб обмозговать вместе, чего дальше делать.

Сорокин оделся и пошел к знакомому студенту — узнать, где можно найти Халтурина или Жоржа.

— К приставу надо идти жаловаться,— сказал один

из фабричных, работавший на Бумагопрядильне всего несколько месяцев. — Нешто управы на них нету, на мастеров?

— А ты, серый, до сих пор думаешь, что мастера тебе полтинник срубили? — спросил Андреев.

— Иди, иди — жалься,— усмехнулся Тимофей.— Он тебя удоволит, пристав... Хозяева с тебя шкуру дерут, а пристав всю мясу соскоблит дочиста и кости обглодает, не поперхнется.

— Что ж он, совсем разбойник, пристав-то? — удивился «серый».

— Не к приставу надо идти, а к самому градоначальнику,— сказал сидевший за верстаком хозяина квартиры мастеровой. — Пущай переговорит с управляющим насчет новых правил. Разве это правила? Чистый грабеж, а не правила.

— Разбойничать ноне никому не велено,— не унимался «серый».

— А чего там к градоначальнику,— прищурился Вася Андреев.— При сразу выше!

— Это куда же выше?

— К наследнику!

— Али к самому царю! — вступил в разговор Иван Егоров.— Он самовар поставит, чайком тебя угостит, про житье-бытье расспросит: как тебе спится на нарах, лапти не жмут ли?

— Но, но, ты царя не замай,— насупился «серый». — Посуду бей, а самовар не трогай!

— Эх, дурачье же вы горькое! — вскочил с места рыжий Тимофей. — Неужто думаете, что царю, да наследнику, да градоначальнику с приставом до вас дело есть? Они нас за насекомых считают, от которых одно беспокойство. Придавить бы к ногтю, да и дело с концом — вот какое им до нас дело.

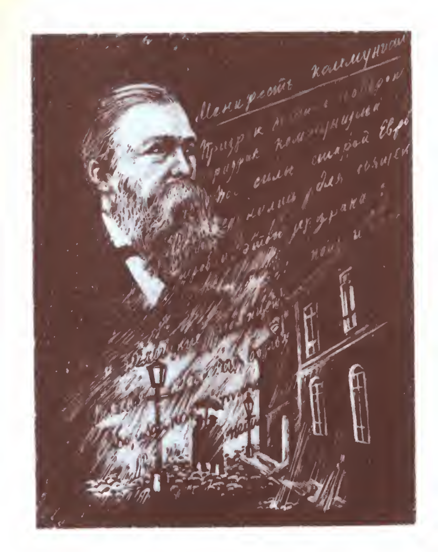
— Ладно, погодь, не шуми,— поднял руку мастеровой

за верстаком. — Ну хорошо, придут твои Жоржа со Степкой Халтуриным,— чего делать будем?

— А вот придут, тогда и рассудим.

...Жорж Плеханов сидел в городской Публичной библиотеке, в читальном зале, обложенный книгами и конспектами. Совсем недавно его, Оратора, уже много раз четко формулировавшего программу и цели народнического движения в своих устных публичных выступлениях, автора нескольких листовок и прокламаций, ввели в редакцию подпольного издания «Земля и воля». Его считали теоретиком движения и неоднократно говорили ему о том, что он со своей эрудицией, стремлением к научной работе, знанием социалистической литературы (как отечественной, так и европейской), умением логически точно и доходчиво излагать сложные общественные вопросы,— что он, обладая всеми этими качествами, не может больше уклоняться от участия в печатных органах «Земли и воли». Ему необходимо принять личное участие в теоретическом обосновании целей народничества и от листовок и прокламаций перейти к большим программным статьям. «По всей вероятности,— пошутил Жорж,— вы хотите, чтобы моя старая кличка Оратор была бы заменена новой кличкой — Теоретик». Товарищи посмеялись вместе с ним, и он был избран одним из редакторов журнала «Земля и воля».

Ну что ж, думал Жорж, начиная работать над первой статьей для журнала («Закон экономического развития общества и задачи социализма в России»), если раньше я был Оратором, кстати одним из немногих в нашей студенческой бунтарской среде, то теперь и среди рабочих появилось много прекрасных ораторов — Степан Халтурин, например, или тот же Тимофей. Пора, может быть, действительно попробовать свои силы в теории. Пора, наконец, оправдать давнее предположение многих о том, что я унаследовал от Виссариона Григорьевича Белинско-





го склонность к литературе. Пора осмыслить накопленный опыт и жизненные впечатления. Разве сейчас, наблюдая, как активность рабочих иногда опережает бакунинскую формулу о всеобщем крестьянском бунте, можно забыть о том, что, собственно говоря, именно из сочинений Бакунина впервые было вынесено величайшее уважение к материалистическому пониманию истории? Нет, забывать этого решительно нельзя! Бакунин-то был первый, чье влияние наполнило жизнь смыслом и помогло прийти в революцию.

Начав работать над статьей, он прежде всего хотел найти новые доводы к обоснованию деятельности народников в среде фабричных и заводских рабочих, делал для себя самого многочисленные выписки о том, что рабочие — недавние выходцы из деревенской среды — проникнуты в первую очередь крестьянскими идеалами, и поэтому деятельность в их среде революционеров-народников является продолжением пропаганды в деревне.

Вот и теперь, сидя в Публичной библиотеке, он набрасывал на отдельных листках бумаги (и тут же прятал их в карманы) свои размышления о законах экономического развития общества и задачах социализма в России. «У автора «Капитала» социализм является сам собою из хода экономического развития западноевропейских обществ,— писал Жорж. — Маркс указывает нам, как сама жизнь намечает необходимые реформы общественной кооперации страны, как сама форма производства предрасполагает умы масс к принятию социалистических учений, которые до тех пор, пока не существовало этой необходимой подготовки, были бессильны не только совершить переворот, но и создать более или менее значительную партию. Он показывает нам, когда, в каких формах и в каких пределах социалистическая пропаганда может считаться производительною тратою сил. «Когда какое-нибудь общество напало на след естественного закона

своего развития,— говорит он,— оно не в состоянии ни перескочить через естественные формы своего развития, ни отменить их при помощи декрета; но оно может облегчить и сократить мучения родов». Влиянию пропаганды он указывает таким образом пределы в экономической истории общества. Дюринг, признавая вполне влияние личностей на ход общественного развития, прибавляет, что деятельность личности должна иметь «широкую подкладку в настроении масс...».

«...Было время, когда творить социальные перевороты считалось делом сравнительно нетрудным. Стоило устроить заговор, захватить в свои руки власть и затем обрушиться на головы своих подданных рядом благодетельных декретов. Человечество считали способным «познать по приказанию начальства» и провести в жизнь любую истину. Такое воззрение свойственно было, впрочем, не одним революционерам... Когда убедились, что история создается взаимодействием народа и правительства, причем за народом остается гораздо большая доля влияния,— большинство революционеров перестало мечтать о захвате власти. Они поняли, что перевороты бывают гораздо более прочными, когда они идут снизу...»

Жорж задумался. Может быть, в этом и заключается смысл крестьянской реформы 1861 года в России? Была ли она взаимодействием народа и правительства? Народ волновался и бунтовал, сотни крестьянских выступлений накануне реформы, расправа с ненавистными помещиками — все это толкало Александра II на подписание манифеста об отмене крепостного права. Но ведь манифест — это и был типичный переворот сверху, буржуазный переворот. Следовательно, непрочность этого переворота исторически обусловлена?.. Нет, нет, обратимся-ка лучше к Марксу.

Перо опять заскользило по бумаге. «Посмотрим же, к чему обязывает нас учение Маркса... Общество не мо-

жет перескочить через естественные фазы «своего развития, *когда оно напало на след естественного закона этого развития*»,— говорит Маркс. Значит, покуда общество не нападало еще на след этого закона, обусловливаемая этим последним смена экономических фазисов для него не обязательна. Естественно возникает вопрос: когда же западно-европейские общества,— служившие объектом наблюдения для Маркса,— напали на этот роковой след? Нам кажется, что это случилось именно тогда, когда пала западно-европейская община...»

Он снова остановился и задумался. А Россия? Взять тех же донских казаков. У них земля находится во владении отдельных общин, но каждый член их считается в то же время членом всей казацкой области. Он может переходить из общины в общину, в каждой из них имея право на надел... Итак, в принципе первобытной общины, как она существует, положим, в России, мы не видим никаких противоречий, которые осуждали бы ее на гибель.

Следовательно? Пока за земельную общину держится большинство нашего крестьянства,— быстро записал Жорж,— мы не можем считать наше отечество ступившим на путь того закона, по которому капиталистическая продукция была бы необходимою станциею на пути его прогресса... Итак, мы не видим основательности в тех соображениях, в силу которых заключают, что Россия *не может* миновать капиталистической продукции.

Поэтому социалистическую агитацию в России мы не можем считать преждевременной. Напротив, мы думаем, что теперь она своевременнее, чем когда-либо, только ее исходная точка и практические задачи не те, что на Западе. Основания для этой разницы в революционных приемах при поверхностном взгляде могут показаться не заслуживающими особенно внимания, но мы думаем, что много «разочарований» было бы избегнуто, много напрасно затраченных сил получило бы должное приложение,

если бы это различие в задачах русских и западноевропейских социалистов было выяснено раньше. В чем же дело? Задачи социально-революционной партии не могут быть тождественны в двух обществах, экономическая история и современные формы общественных отношений которых представляют очень резкую разницу... Россия — страна, в которой земледельческое население составляет громадное большинство. Промышленных рабочих в ней едва ли можно насчитать даже один миллион, да и из этого сравнительно ничтожного числа большинство — земледельцы по симпатиям и положению... Таким образом, мы пришли к тем же практическим задачам, которые ставили перед собой титаны народно-революционной обороны: Болотников, Булавин, Разин, Пугачев и другие. Мы пришли к «Земле и воле». Но тем самым центр тяжести нашей деятельности переносится из сферы пропаганды лучших идеалов общественности на создание боевой народно-революционной организации для осуществления народно-революционного переворота в возможно недалеком будущем... Ипполит Мышкин перед особым присутствием правительствующего сената сказал: «Наша практическая задача должна состоять в сплочении, в объединении революционных сил и революционных стремлений, в слиянии двух главных революционных потоков: одного, недавно возникшего и проявившего уже достаточную силу,— в интеллигенции, и другого, более глубокого и более широкого, никогда не иссякавшего потока — народно-революционного».

...Кто-то остановился около его стола. Плеханов поднял голову. Это был Гоббст-Сорокин. (Он нашел Жоржа по «цепочке», переходя с одной студенческой квартиры на другую.) Гоббст сделал едва уловимое движение головой и двинулся к выходу. Жорж встал, спрятал в карман бумаги и пошел за ним.

В курительной комнате никого не было.

— На Новой Бумагопрядильне понизили штучную оплату,— тихо сказал Сорокин,— ввели новые правила. Рабочие бросили работу. Сейчас у меня сидит человек десять, самые активные из кружка.

— Немедленно иду,— так же тихо, но четко ответил Жорж.

— А где сейчас можно найти Степана?

— Вы Петра Моисеенко знаете?

— Знаю.

— Халтурин сегодня должен быть у него.

2

Подойдя к сапожной мастерской (она располагалась на первом этаже ветхого двухэтажного деревянного дома на набережной Обводного канала и состояла всего из двух комнат — большой, где Гоббст принимал клиентов и чинил ботинки, и маленькой, в которой он спал), Жорж оглянулся и, убедившись, что слежки не было, вошел в квартиру.

— Ну, наконец-то! — радостно вырвалось у Ивана Егорова.— А то мы ждали, ждали, да и ждать устали, чуть было не переругались все друг с дружкой.

Жорж быстро поздоровался со всеми мастеровыми за руку, сел на маленькую табуретку хозяина около окна и, обведя всех пристальным взглядом, спросил:

— Ну, что тут произошло, рассказывайте.

— Полтину цельную хозяева из нашего кармана хапанули, вот что произошло! — горячо выкрикнул Иван Егоров.— За шестнадцать вершков платить, говорит, теперь будем тридцать пять копеек вместо сорока...

— Кто говорит?

— Как кто? Мастер из ткацкого отделения.

— А в прядильной мастер по десяти копеечек с пудика скинул! — крикнул Тимофей.

— И загодя не упредили. Становись, мол, сразу к машине и работай дешевле, чем вчера.

— А по правилам фабричных за две недели должны упреждать.

— Так, ну и что же дальше?

— Ну мы, конечно, машину остановили и на двор пошли,— рассказывал Иван Егоров.— Все шумят, руками размахивают, начальство требуют. Приходит управляющий и говорит — идите обратно, в обед мы все объясним.

— И что же в обед?

— А ничего. Вывешивают правила. Новые. А чего в их нового? Прижим новый.

— У кого-нибудь есть эти правила?

— У меня есть,— протянул Жоржу бумагу молодой фабричный (тот самый, которого называли «серый»).

Жорж взял бумагу. Типографским шрифтом на ней было напечатано: «С 27 февраля сего года вводятся новые расценки по ткацкому отделению. Расчет впредь будет производиться по следующей таксе: за кусок миткаля шириною в восемнадцать вершков — тридцать семь копеек...»

Жорж посмотрел на мастеровых, быстро спросил:

— А раньше сколько платили?

— Сорок три!

— «Шириною в двадцать вершков,— вслух прочитал Жорж,— тридцать девять копеек...»

— А раньше сорок четыре было!

— «Двадцать два вершка — сорок одна копейка».

— А было сорок шесть.

— «Двадцать четыре — сорок три копейки».

— Вместо сорока восьми!

— «Двадцать шесть,— прочитал Жорж,— пятьдесят девять копеек...» А было, вероятно, шестьдесят четыре?

— Правильно!

— Ну и, естественно, за двадцать восемь вершков —

по шестьдесят одной копейке за кусок против шестидесяти шести прежних, не так ли?

— А ведь верно,— заулыбался рыжий Тимофей,— откудова ты догадался?

— Здесь все очень просто,— объяснил Жорж,— увеличивая ширину куска, хозяева каждые два новых вершка удешевляют на пять копеек.

— Ну, Жоржа, голова! — восхищенно сказал Тимофей.— Важно рассудил.

— Одну минуту,— поднял Жорж руку.— Это только на первый взгляд так выглядит, что с каждого куска у вас отбирают пять копеек. А на самом деле вы теряете пять копеек только на первом куске, шириною в шестнадцать вершков. На всех же остальных кусках вы теряете гораздо больше. И чем больше ширина, тем больше вы теряете!

Мастеровые притихли.

— Это почему же больше? — спросил Иван Егоров.

— Сейчас объясню.

Жорж встал и вышел на середину сапожной мастерской.

— Вот вы утром приходите на фабрику,— начал он,— разводите пары, включаете машину... Во сколько у вас рабочий день начинается?

— В пять утра.

— А кончается?

— В восемь вечера.

— Пятнадцать часов, значит...

— Час с четвертью клади на обед.

— Почти четырнадцать часов. Да-а... Ну, ладно, займемся анализом... Итак, вы включаете машину и начинаете работу. Через четыре с половиной часа готовы первые шестнадцать вершков, вы заработали свои сорок копеек. Еще через четыре с половиною — еще шестнадцать вершков, восемьдесят копеек. Девять часов простояли вы

у машины. Теперь вопрос: успеете ли вы за оставшиеся до конца смены четыре с половиной часа соткать еще шестнадцать вершков?

— Оно как управляться...

— Чего там говорить,— конечно, не успеем. К концу смены глаза всегда слабже делаются.

— И рука уже не та...

— Вот, вот, как раз об этом я и хочу спросить: когда легче работать — утром или вечером?

— Знамо дело, утром.

— Вечор намотаешься вокруг машины, еле на ногах стоишь, а она, то есть машина, все ткет и ткет, ткет и ткет...

— Таким образом, что же получается? — обвел Жорж взглядом мастеровых.— Утром вы продаете хозяину только две руки. Голова у вас со сна еще свежая, глаза не устали. А к вечеру только двумя руками уже не обойдешься — надо напрягать зрение, увеличивать усилия всего организма, чтобы успеть до конца смены выполнить норму. Следовательно, каждый последующий час рабочего дня стоит вам, рабочим, гораздо дороже, чем предыдущий. Вы, рабочие, продаете хозяину свою рабочую силу, а при смене в четырнадцать часов вы в конце дня достигаете предела выносливости человеческой натуры — никаких сил у вас уже не остается. Но вы продолжаете стоять у ткацкого станка через силу, расходуя свое здоровье, укорачивая свой век. На каждый новый вершок ткани вы тратите неодинаковое количество усилий, вы тратите все больше и больше своих сил на каждый новый вершок. А хозяин прибавляет вам за каждый вершок одинаковое количество денег — только пять копеек. А он должен прибавлять на каждый новый вершок уже не пять, а семь копеек — в соответствии с израсходованными вами усилиями, в соответствии с потраченной вами рабочей силой, в соответствии с купленной у вас рабочей силой. А он этого не

делает. Он покупает у вас больше рабочей силы, чем платит за нее. Купил на девяносто копеек, а заплатил вам только шестьдесят. Куда же делись тридцать копеек? Хозяин положил их к себе в карман.

Мастеровые напряженно молчали. «Серый», сидевший на кусках кожи ближе всех к Жоржу, смотрел на него снизу вверх, открыв рот. Струйка слюны стекала у него по подбородку — «серый» не замечал ее.

— Итак, что же получается? — отошел Жорж к окну.— Вводя новые правила, то есть новые расценки на ваш труд, хозяин стремится удешевить ту рабочую силу, которую вы ему продаете. Хозяин старается понизить стоимость двух ваших рабочих рук, ваших глаз и вообще всего вашего организма. Вводя новые правила, он усиливает эксплуатацию вашей рабочей силы. Он, как барышник на ярмарке, снижает вам цену. Но в данном случае он торгует не лошадьми, а людьми!

Жорж повернулся к Ивану Егорову и Тимофею.

— А что было на Патронном заводе? Там хозяин, не желая тратиться на уборку пороховой мастерской, не желая улучшать условия труда рабочих, то есть усиливая тем самым эксплуатацию рабочих, довел дело до того, что от взрыва погибло шесть человек. Хозяин патронного завода не отнимал здоровье у рабочих постепенно, не укорачивал их век день ото дня, а просто взял сразу и отнял у них жизнь, просто взял и проглотил сразу шесть человеческих душ. Это было самое настоящее убийство! Прямое душегубство! И он совершил это убийство, твердо зная, что наказать его будет некому. И не ошибся, потому что высшее начальство ни в грош не ставит рабочих интересов, для него жизнь рабочего дешевле собачьей жизни! Оно даже и не подумало наказывать виновников гибели шестерых человек. Они, как волы, по пятнадцать часов в сутки, как и вы, работали в этой мастерской на хозяина, и за это он их изжарил живыми!.. А сам продолжает во-

ровать у рабочих сотни тысяч рублей, бросая рабочим копейки!.. Тогда на патронном заводе не забастовали, сил не хватило на стачку. Теперь настала ваша очередь, теперь руку запустили к вам в карман... Так неужели вы согласитесь с этими новыми грабительскими правилами? Неужели по-прежнему будете стоять по четырнадцать часов у станков, дожидаясь, пока кто-нибудь свалится от усталости в паровую машину и ему оторвет голову приводными ремнями?

Мастеровые молчали. «Серый», закрыв рот, утерся кулаком. Тимофей нервно перебирал инструменты на хозяйском верстаке. Вася Андреев что-то сказал Ивану Егорову — тот кивнул головой, выпрямился во весь рост.

— Про стоимость... ну, эту самую, прибавочную, надо еще обсказать,— с натугой произнес Иван,— про главное воровство, которое хозяева у нас производят.

Все разом повернулись к нему. Слова «главное воровство» укололи всех, как электрическим током.

— Давай, Жоржа, объясни про стоимость,— попросил Егоров,— чтобы уж до конца знали все, сколько хозяева у нас воруют.

— А ты сам можешь объяснить? — спросил Жорж и неожиданно вспомнил, как упорно читал Иван когда-то «Основания биологии» Герберта Спенсера.

— Смочь-то смогу, да не ладно получится,— застеснялся Егоров.

— Давай, как получится,— загудели мастеровые,— чего надо поймем, не все «серые».

— Оно, значит, так получается, ребята,— начал Иван.— Сделали мы хозяину, наприклад, миллион штук сукна. Он нам отвалил миллион рублей, то есть расчет произвел за работу за все годы, пока мы этот миллион ему ткали. Еще один миллион за товар отдал, из которого сукно вышло, то есть за шерсть, за пряжу. Еще один миллион за фабрику заплатил,— чтоб, значит, машины

крутились, мастерам, управляющему, всей конторе за все годы... Теперь идем дальше. Выкинул хозяин миллион штук сукна на рынок и взял за каждую штуку по пяти рублев. Потратил три миллиона, а выручил пять. Два миллиона чистыми к своему капиталу прибавил. А почему? А потому, что махнул я, скажем, молотком — хозяин мне три копейки платит. А сделал я тем молотком за один удар работу на пять копеек. Вот хозяин наш со всех нас за все годы по две копеечки собрал, и вышло ему два миллиона прибавочной стоимости, то есть барыша.

Жорж улыбнулся, но рабочие как зачарованные смотрели на Ивана, и Жорж понял, что Егоров поразил их счетом «на миллионы». «Ну, что ж,— подумал он,— пускай сначала будет такое объяснение — оно убедительно, а потом разберемся глубже».

С улицы засвистели. Это был условный знак — приближался кто-то из своих.

Дверь открылась, и в квартиру вошли Гоббст-Сорокин, Степан Халтурин и Петр Моисеенко.

— Бунтуете? — поздоровавшись, спросил Халтурин.— Кончилось терпение? То-то и оно. Терпеливые теперь не в почете. Терпеливых теперь на Смоленское кладбище относят и под крестом зарывают.

Он быстро нашел себе место, усевшись прямо на пол, дождался, пока разместятся Моисеенко и Гоббст, и так же, как и Жорж, но более обстоятельно (как свой брат мастеровой) начал расспрашивать все подробности — с чего началось, как было дальше, на чем порешили пока хозяева. Когда разговор дошел до того, что расценки снизили без предварительного оповещения, Халтурин резко поднял голову.

— Не упредили, говоришь, загодя о сбавке? — спросил он.

— Не упредили,— подтвердил Тимофей.

— Тогда, значит, управляющий первым нарушил за-

кон, то есть фабричные правила,— радостно заметил Степан.

— Ну и что теперь, ежели первый? — спросил Вася Андреев.— Нам с этого какая польза?

— Во, во,— заговорили все разом,— нам какая с этого корысть?

— А вот какая,— вступил в разговор Моисеенко.— Если фабричное правление первое нарушает закон, то рабочие могут считать себя больше не связанными прежними условиями с фабрикой.

— Ну и чего?

— А того, что теперь за каждый день забастовки хозяева должны заплатить вам среднюю задельную* плату, так как закон первыми нарушили не вы.

— Важно! — пробасил Тимофей.— Вот это важно!

Халтурин о чем-то сосредоточенно думал.

— Слышь, Василий,— спросил он у Андреева,— какие у вас штрафы за поломку инструмента берут?

— За щетку — четвертак,— ответил Василий,— за иголку — тоже четвертак, за валки — по пятнадцать копеек за каждый.

— А за неуважение штрафуют?

— Обязательно. Восемь гривен. Не поздоровался со старшим мастером — рупь отдай без двадцати копеек.

— А за плохое поведение?

— Тоже рупь без двугривенного.

— За прогулы?

— День прогулял — плати за два.

Халтурин поднялся с пола, подошел к верстаку.

— Бумагу надо писать,— решительно сказал он.— А название такое: «Наши требования по общему согласию со всеми рабочими». Кто у вас тут самый грамотный?

Все головы повернулись к Жоржу.

* Сдельную

— Я и без вас знаю, что он самый грамотный,— поморщился Степан.— Да ведь он из интеллигентов, из дворян, надо, чтобы было написано фабричной, рабочей рукой... Жорж, не обижайся!

Плеханов кивнул головой.

— Нету, что ли, грамотных? — еще раз спросил Халтурин.

— Все вроде грамотные,— неуверенно сказал Тимофей,— а вот чтобы писать...

— Ладно, давай я...— сел к верстаку Петр Моисеенко.— Бумага, чернила есть?

Гоббст-Сорокин принес бумагу и чернила. Все сгрудились вокруг верстака.

— Значит, первое,— начал Халтурин.— Рабочие фабрики Новая Бумагопрядильня не согласны работать не только на новых условиях, предъявленных им администрацией, но и на старых, грабительских. Рабочие выйдут па работу только тогда, когда будут удовлетворены следующие их требования...

— Справедливые требования,— добавил Жорж.

— Правильно! — подхватил Моисеенко.— Справедливые требования!

— Верно, верно,— зашумели мастеровые,— чтобы все по-божески было.

— Согласен,— кивнул Халтурин.— Второе: рабочий день сокращается с четырнадцати часов до двенадцати. Не с пяти утра до восьми вечера, а с шести утра до семи вечера.

— А может, десять часов попросим? — вмешался Иван Егоров.— Волы и те в ярме больше не ходят, в борозду ложатся. А мы что, хуже волов? Воевать так воевать!

— Хозяева на это никогда не пойдут,— возразил Моисеенко.— Надо реальные требования выставлять.

— Пиши двенадцать,— сказал Василий Андреев.— Хоть бы на это согласились. Ведь никаких силов нету по

четырнадцать часов около машины стоять. Самые сильные мужики и те к вечеру с ног валятся, а сколько баб да ребятишек на фабрике работает?

— Дальше,— продолжал Халтурин.— Поштучная плата для ткачей остается прежняя, а длина кусков миткаля уменьшается так, чтобы ежедневный заработок, несмотря па сокращение рабочих часов, остался без изменения. Если же длина кусков не может быть уменьшена, то поштучная плата должна быть соответственно увеличена.

— Верно,— заговорили мастеровые,— вот это верно. Чтобы все, значит, по справедливости было.

— Все виды штрафов отменяются,— предложил Моисеенко,— в том числе и за поломку инструментов. Штрафы за прогульные дни уменьшаются: за прогул одного дня берется штраф в размере не более цены одного рабочего дня.

— Неужто так будет? — заблестел глазами Тимофей.

— Должно быть,— уверенно сказал Степан Халтурин.

— Про кипяток бы не забыть,— вставил слово «серый».— А то что делают? По копейке в день с человека за кипяток вычитают.

— Про кипяток надо,— поддержали все.— Да и воду пущай на кипяток берут не вонючую, не с Обводного канала, а с Невы.

— Значит, так и пишу,— сказал Моисеенко.

Рабочие кучей стояли вокруг верстака и все время заглядывали через плечо Петра Моисеенко.

— А которые копейки с нас шесть лет за кипяток брали, пущай назад возвернут,— неожиданно подал голос мастеровой, предлагавший в самом начале сходки идти жаловаться не к приставу, как хотел того «серый», а к самому градоначальнику.— Их ведь много, копеечек-то наших кровных, за эти годы поднакопилось.

— Каждый год — три рубля. За шесть лет считай восемнадцать рублев с человека за тухлую воду слупили,—

послышались голоса со всех сторон.— Да и всегда ли она кипятком-то была? Сделают теплую — и ладно. А мы животами маялись. Пущай возвертают восемнадцать рублев каждому за то, что брюхо страдало. Об этом тоже записать надо.

. — Запишу, запишу,— пообещал Моисеенко,— обязательно запишу.

«Все идет так, как хотел Халтурин,— думал Жорж, внимательно наблюдавший за фабричными во время обсуждения требований.— Все главные пункты сформулированы рабочим, Степаном Халтуриным. Сами требования записываются «фабричной» рукой — рабочего Петра Моисеенко в привычных, очевидно, для фабричной среды выражениях, с характерными для нее словами. Может быть, это и есть реальное осуществление формулы Маркса — освобождение рабочего класса должно стать делом рук самого рабочего класса? Может быть, прав Степан, который в последнее время все больше и больше начинает говорить о своем желании создать в Петербурге революционную организацию, состоящую только из одних рабочих?»

Наконец требования были готовы. Моисеенко сказал, что возьмет их с собой, набело перепишет и утром принесет на фабрику. С тем и начали расходиться из квартиры сапожника Гоббста, на которой произошло первое собрание руководителей забастовки на фабрике Новая Бумагопрядильня.

3

Прошло несколько дней. Однажды утром в Публичную библиотеку, где Плеханов старался по возможности заниматься теперь каждый день, пришел незнакомый рабочий — посыльный от Петра Моисеенко.

— Что случилось? — спросил Жорж, выйдя за посыльным в коридор.

— Петруха велел передать,— сказал рабочий,— чтобы скорее быть на Прядильне. Вчерашний день у сапожника на квартире бумагу какую-то новую читали. Вроде бы к наследнику идти собираются. Петруха и Степка Халтурин супротив, конечно, были, да они не слушаются их. «Серых» больно много на фабрике развелось, а они как телята — их гонят в закут, они и бегут.

«Значит, к наследнику,— думал Жорж, шагая вместе с посыльным на Обводный канал. — Ну, что ж, видно, вера в царя будет разрушаться все-таки не словами, а опытом».

Во дворе Новой Бумагопрядильни стояла огромная толпа рабочих. Кто-то, забравшись на кучу угля, читал прошение на имя наследника, цесаревича Александра. Дребезжащий голос слабо долетал до задних рядов толпы, где остановился Жорж.

— «Мы, обманутые рабочие бумагопрядильной фабрики, обращаемся к вашему высочеству с жалобой на притеснения со стороны наших хозяев и полиции. Вашему императорскому высочеству должно быть известно, какие плохие наделы были отведены нам и как сильно страдаем мы от малоземелья...»

— Верно, верно! — зашумели в толпе. — Одно только звание, что земля, а пользы от нее никакой нету!

— «Вашему императорскому высочеству должно быть также известно,— продолжал читавший,— что за эти плохие наделы мы платим тяжелые подати...»

— И это верно! — крикнули в толпе. — Совсем вздохнуть не дают с податями!

— «Вашему императорскому высочеству должно быть известно, наконец, с какой жестокостью с нас взыскивают эти тяжелые подати, и поэтому нужда гонит нас на заработки в город, а здесь нас на каждом шагу притесня-

ют фабриканты и полиция. Нам объявили новые расценки, которые сильно снижали нашу и без того низкую плату. Мы не согласились на эти расценки и от себя, по полному согласию всех рабочих между собой, выставили вполне справедливые требования. Управляющий нашей мануфактурой обещал выполнить эти требования и просил дать ему для роздыху несколько дней, чтобы уладить дело с акционерами, а пока просил всех встать на работу. В том же клялся нам и помощник градоначальника генерал Козлов. «Наплюйте мне на эполеты,— говорил Козлов,— если я обману вас. Тогда всю вину можете свалить на полицию. Принимайтесь за работу! До этих пор вы были правы, но если завтра не встанете к станкам, все будете виноватые». И мы решили проверить правдивость обещаний полицейского генерала. Мы вышли на работу по новым хозяйским расценкам. И вот прошли обещанные дни, и что же получилось? Хозяева вывесили свои уступки, которые нам нисколько не подходят. Нам уступили в мелочах, а в главном нас обманули. Хозяева не приняли наши требования о сокращении рабочего дня. Он остается длинным, в целых четырнадцать часов, и это будет убивать наше здоровье, так как никому не по силам целый день проводить на ногах. С нас по-прежнему собираются брать штрафы. Выходит, полицейский генерал господин помощник градоначальника Козлов тоже обманул нас. Что же нам остается делать? Плевать ему на погоны?.. Ваше императорское высочество, мы слезно просим вас заступиться за нас и употребить все ваше влияние на то, чтобы наши условия были приняты. Если понадобится создать комиссию для расследования дела, то мы просим позвать в нее выборных от рабочих... Мы обращаемся к вам, как дети к отцу, не видя больше ниоткуда защиты. Если же наши справедливые требования не будут удовлетворены, то мы будем знать, что нам не на кого надеяться, что никто не заступится за

пас, и нам тогда остается положиться только на самих себя да на свои собственные руки».

— Хор-рошая бумага! — крикнули в толпе. — Должон наследник пособить! Куды же от такой бумаги денешься?

— А ну как не пособит? — спросил кто-то рядом.

— Ну, уж если не пособит, тогда самим надо будет как-нибудь поправляться.

Жоржа тронули сзади за рукав. Он обернулся. Около него стояли Халтурин и Моисеенко.

— Ну, как бумага? — спросил Степан.

— Кто составлял? — поинтересовался Плеханов.

— Студенты какие-то из радикалов приходили. Университет или Технологический — точно не знаю.

— Упускаем мы забастовку из своих рук,— нахмурился Жорж.

— За всем сразу не уследишь,— посетовал Халтурин. — Сейчас по всему городу либералы да радикалы деньги на эту стачку собирают. Адвокаты услуги свои предлагают, чтобы защищать фабричных от властей. Вчера двоих из ткацкого отделения затащили к какому-то профессору, вином, говорят, угощали, целый вечер разглядывали, как диковины какие-то.

— Что будем делать? — спросил Жорж.

— Пускай пока идут к наследнику,— сказал Халтурин. — Теперь их уже не удержишь. Пускай на опыте изживают веру в царские милости.

Жорж незаметно пожал Халтурину руку.

— Я тоже так думал, когда шел сюда,— тихо сказал он.

— Мы вот для чего за тобой посылали,— встал рядом с Плехановым Моисеенко. — Листовку надо написать, обращение к другим заводам. Чтобы собрали денег для семейных. Пускай ребята знают, что помощь не только от интеллигенции идет, но и от своего брата, от рабочих.

Нужно, чтобы здесь поддержку от других фабрик почувствовали. Тогда и писем таких читать не будут, и к наследнику не пойдут.

— Аресты среди рабочих есть? — спросил Плеханов.

— Несколько человек в кутузку посадили,— сказал Моисеенко,— но скоро выпустили.

— Фискалы вокруг фабрики так и шныряют,— усмехнулся Халтурин. — Во всех портерных переодетые сыскные сидят. Нам осторожно надо ходить. Не ровен час загребут, тогда они тут и вовсе царю в ноги повалятся.

...Вечером того же дня Жорж пришел на квартиру к Халтурину. Степан и Петр Моисеенко уже ждали его.

— Готово? — спросил Халтурин.

— Написал,— ответил Плеханов.

— Давай читай,— с нетерпением попросил Моисеенко.

— «К рабочим всех заводов и фабрик,— начал Жорж, достав из кармана написанную в Публичной библиотеке прокламацию. — Братья рабочие! Горькая нужда и тяжелые подати гонят вас из деревень на фабрики и заводы. Вы ищете в городе работы, чтобы удоволить из своих городских заработков деревенского старшину и сельского станового, которые с розгами требуют от ваших семей податей. И вот, когда вы поступаете к хозяевам, они мало того, что выдумывают безбожные штрафы, мало того, что вычитают за каждую поломку в станке, они что ни дальше, то все меньше и меньше норовят платить и постоянно уменьшают заработную плату. Рабочему человеку защиты искать негде. Полиция всегда заступается за хозяина, а рабочего чуть что — волокут в кутузку! Хозяева рады, что рабочие недружно стоят друг за дружку: нынче прибавили плату на одной фабрике, завтра убавят на другой — вот дело хозяйское и в шляпе! Покуда рабочие не поймут, что они должны помогать друг другу, покуда они будут действовать врозь, до тех пор они будут в кабале у хозяев. А когда они будут стоять друг за

дружку, когда во время стачки на одной фабрике рабочие других фабрик станут помогать им, тогда не страшен им будет ни хозяин, ни полиция. Вместе вы — сила, а в одиночку вас обидит каждый городовой...»

— Очень хорошо! — возбужденно сказал Моисеенко. — В самую точку попал, в самую середку!

— Вот оно, Петро, дворянское воспитание,— усмехнулся Халтурин,— не Жорж, а чистый Маркс. Все слова на месте стоят, как гвоздями сколоченные. Так и надо писать для рабочих — просто и сильно, чтобы за душу брало.

— Так ведь он родственник Чернышевского,— улыбнулся Моисеенко,— ему и карты в руки.

— Не Чернышевского, а Белинского,— засмеялся Плеханов.

— А мы писать начинаем,— покачал головой Степан,— все слова в разные стороны топорщатся, уползают куда-то...

— У меня в военной гимназии хороший учитель русского языка был, — сказал Жорж.

— А меня столяр топорищем по хребтине учил,— вздохнул Степан. — Спасибо студентам в Вятке, вовремя книгу в руки дали, а то до сих пор в темноте бы сидел.

— Вот видишь,— подхватил Жорж,— студенты тебя к книге приобщили, а ты интеллигенцию не любишь.

— Да люблю я интеллигенцию, люблю! — махнул рукой Халтурин. — Но только мудрено вы в своих журналах да газетах пишете. О программах своих все время спорите, о долге образованных классов народу. Нет, ваши журналы не для нас... Ну, скажи, зачем рабочему знать все это?

— Таким рабочим, как ты и Петро, это знать надо,— убежденно сказал Плеханов.

— Давай, читай дальше,— попросил Моисеенко,— время теряем.

— «Братья рабочие! — продолжал Жорж. — Вот теперь рабочие с Новой Бумагопрядильни стакнулись и держатся все время дружно. Вам нужно поддержать их. Ведь их кругом обманули: сам Козлов божился уважить их требования, а вместо того вышло, что их только заманивали. Никаких уступок им не объявили, а вывесили старые правила, которые они уже восемь лет знают. Неужели давать издеваться над рабочими всякому жулику? Нет, вы соберете в их пользу деньги — нынче вы им поможете, а завтра они вам. Ведь и вы не в раю живете, и вам, может быть, придется считаться с хозяином. Двугривенный — небольшие деньги, а им между тем, если побольше таких двугривенных соберете, большая польза будет, особливо семейным, у кого дети. Всякий, кто не продает своего брата рабочего за деньги, должен помочь стачечникам. Устройте у себя сборы (чтобы только фискалов-то поменьше вокруг терлось, покуда будете собирать) и отправьте собранное на Новую Бумагопрядильню с тем, чтобы и ткачи когда-нибудь отдали эти деньги, когда случится стачка у вас, либо на какой другой фабрике. Так и помогайте друг дружке — на миру и смерть красна!»

Он положил черновик прокламации на стол и устало опустился на стул.

— Когда можно будет напечатать листовку? — спросил Халтурин.

— Дня через два, — ответил Жорж, — не раньше.

— Не задержаться бы, — с опаской сказал Степан. — Ее ведь надо будет по заводам и фабрикам раскидать, чтобы как можно больше людей узнало о забастовке.

— О забастовке узнают из газет, — сказал Жорж.

— Каким образом?

— Кроме прокламации я написал сегодня еще две статьи в «Начало» и в «Новости» и через верных людей уже передал их в редакции.

— Вот это молодец! — сжал руку Плеханова Халтурин.— Вот за это спасибо! Газетенки известные: народ прочтет!

— За всех рабочих спасибо! — поблагодарил Жоржа и Моисеенко.

— Признаешь теперь,— улыбаясь, посмотрел Жорж на Степана,— что интеллигенция — и даже из дворянских детей — может быть полезной для рабочих?

— Да как уж тут не признать,— развел руками Халтурин. — Кабы все интеллигенты были такие, как ты, мы бы тогда, мастеровые, и забот никаких не знали.

— А если бы все рабочие были такие, как вы с Петром,— в тон ему ответил Плеханов,— мы, интеллигенты, и подавно ни о чем бы не беспокоились.

4

А еще через несколько дней у Жоржа произошла любопытная встреча. По делам тайной типографии «Земли и воли» он договорился увидеться со знакомым студентом на квартире одного либерального петербургского адвоката. Войдя в прихожую, Плеханов заметил, что комнаты переполнены молодыми людьми нигилистического толка, курсистками, либеральными дамами.

— Что это у вас столько народу сегодня? — спросил Плеханов у хозяина.

— На необычных гостей пожаловали,— с заговорщицким видом сказал адвокат и сделал многозначительное лицо.

— Кто же такие?

— Забастовщики с Обводного канала.

— Забастовщики? — искренне изумился Жорж. — А разве на Обводном канале забастовка?

— Так вы ничего не знаете? — удивленно поднял брови адвокат (Плеханов был представлен ему под чужой фамилией).— Огромнейшая стачка на Новой Бумагопрядильне! Бастуют две тысячи ткачей. Побросали свои станки, устраивают митинги, грозятся полиции. Весь Петербург только об этом и говорит. Один мой знакомый встретил их в студенческом кружке и потом притащил ко мне. Я сразу же послал горничную и кучера ко всем интересующимся движениями в народе, живущим неподалеку.

— Ну и как они, забастовщики? Что говорят?

— Прелюбопытнейшие экземпляры! Совершенно новая порода простолюдинов. Дерзкие, смелые, обо всем имеют свои суждения. Это какая-то абсолютно новая, неизвестная нам общественная категория. Впрочем, что же мы здесь стоим — пожалуйте в залу, там как раз сейчас идет дискуссия.

— Нет, нет, мне некогда, я ведь по делу пришел.

— Да вот что-то нету еще вашего знакомого.

— Если разрешите, я из коридора посмотрю и послушаю.

— Сделайте одолжение.

Хозяин умчался в залу, а Жорж, подойдя к дверям гостиной, увидел в центре комнаты большую группу людей вокруг двух мягких кресел, в которых несколько небрежно, но в то же время и с достоинством восседали... Иван Егоров и рыжий Тимофей. (Жорж прямо-таки ахнул про себя, увидев их в этой квартире, заполненной завзятыми петербургскими говорунами и нигилиствующими молодыми людьми.)

Либеральные дамы лорнировали фабричных, курсистки смотрели с немым обожанием, нигилисты разглядывали в упор, хозяин квартиры, адвокат, стоял возле кресел в позе робкого провинциала, принимающего знатных иностранцев, а Иван и Тимофей, нимало не смущаясь непривычной обстановкой, бойко отвечали на сыпавшиеся на

них со всех сторон вопросы. По всему было видно, что они уже пообвыклись в роли героев дня. (Жорж невольно сделал шаг за портьеру. «Не хватало только того, чтобы они увидели меня здесь и узнали», — подумал он с тревогой.)

— Так позвольте все-таки посоветоваться насчет стачки,— выступил вперед из общей толпы пожилой, профессорского вида господин в очках с золотой оправой. — По всей вероятности, вы хотите, чтобы ваша забастовка сохранила совершенно мирный характер?

— Конечно, мирный,— сказал Иван Егоров. — Нам что ж? Нам пусть только новые правила отменят да условия наши примут, а больше нам ничего не надо.

— Ваши рабочие, кажется, ходили к наследнику?

— Было дело, я сам ходил. Прошение подали. Наследник около окошка стоял, смотрел на нас. Потом рукой помахал.

— И все было спокойно?

— Вполне.

— Никаких беспорядков вы, разумеется, производить не хотели? — вопрошал профессор.

— Да зачем же нам производить беспорядки? — солидно рассуждал Иван. — Какой в них толк?

— И с полицией у вас никаких осложнений не возникало?

— А чего нам полиция? Мы их не трогаем. Они к нам хоть и вяжутся иногда, покрикивают, но мы их не трогаем.

— Но ведь был же какой-то инцидент с приставом, не так ли?

— Было малость. Он, пристав-то, приехал из части в первый день, послушал нас и говорит: вы правы, вас обижают. А потом зашел к управляющему, выходит и говорит: вы бунтовщики, ступайте работать.

— Но вы же не бунтовщики?

— Нет, мы не бунтовщики, мы за правду стоим.

— Ну вот и прекрасно, так поступать и нужно,— удовлетворился профессор и, повернувшись к зрителям, сказал: — Господа, я считаю, что все совершенно ясно. Наши гости настроены вполне миролюбиво. Я сегодня же сообщу в заинтересованных кругах, что сам говорил с рабочими, предостерег от возможных вспышек и нахожу поведение забастовщиков весьма разумным.

Но, видно, не всем все было ясно. Молодой человек в сапогах и декоративной холщовой блузе спросил профессора:

— Так вы прочно уверены, что никаких вспышек не будет?

— Абсолютно уверен.

— А вот я не уверен! События у Казанского собора помните?

— Ну, это было совершенно в другом роде.

— В том же самом!

«Холщовая блуза» повернулась к Ивану Егорову:

— Вам знаком такой лозунг — «Земля и воля»?

— Первый раз слышу,— прищурился Егоров.

— Не притворяйтесь! Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. У меня нет никаких сомнений — на Обводном канале, безусловно, орудуют самые настоящие бакунисты. Именно под их влиянием дело и кончится кровавой вспышкой!

— Слышь, барин,— вдруг обратился к «холщовой блузе» Тимофей,— а мне вот про «Землю и волю» слыхать приходилось.

Видно, надоело Тимофею, что все обращаются с вопросами только к Егорову, а его вроде как бы и не замечают.

— Вот видите! — взмахнул рукой молодой человек, обращаясь к нигилистам.

— Да, приходилось,— невозмутимо сказал Тимофей.—

Но только к нам они не ходят, мы их и в глаза-то никогда не видели. Мы сами по себе.

Молодой человек впился взглядом в лицо Тимофея.

— Не-ет, не ходят,— уверенно повторил Тимофей. — Пользуемся слухом, что они все больше по деревням действуют, мужиков к бунтам подбивают.

«Молодец, рыжий! — подумал про себя Жорж. — Отвлекает внимание от нашего кружка».

«Холщовая блуза» теперь полностью переключилась на Тимофея.

— Скажите,— строго спросил нигилист,— как лично вы оцениваете положение на фабрике?

— Да что ж оценивать-то,— усмехнулся Тимофей. — Мы на своем стоим, а управляющий — на своем.

— Не уступит, как думаете?

— Пока крепко держится, леший его задери! Похоже, что и не уступит совсем!

Общество заулыбалось, закивало головами — манера разговора Тимофея и его откровенность импонировала публике.

— Так и вы не уступайте! — неожиданно закричал второй нигилист. — Неужели сами за себя постоять не можете? Его, подлеца, управляющего вашего, проучить надо как следует, чтобы он детям своим заказал притеснять рабочих!

— Да уж само собой — не поддадимся, ваше благородие! — рявкнул Тимофей, сделав притворно страшные глаза и вскакивая из кресла. — Мы ему, дьяволу упрямому, и фабрику-то разнесем вдрызг, ежели он не отступит, и машины все разломаем! Вот он и считай тогда барыши!

Ужасный шум начался вокруг Тимофея: все громко высказывались, жестикулировали, одни одобряли его «разрушительные» намерения, другие возмущались,— а Тимофей стоял в самом центре толпы либеральных и

нигилиствующих петербургских господ и был, вероятно, весьма польщен всеобщим вниманием интеллигентной публики к своей «бунтующей» особе.

Жорж, понимая, что Тимофей валяет «дурочку» (похоже, допекли его советы всех этих сытых и благополучных баричей и барынек, и он не смог отказать себе в удовольствии позлить и подурачить их), вышел из-за портьеры в коридор. В прихожую выбежал улыбающийся хозяин — он был, по-видимому, предельно счастлив от того, что «угостил» своих знакомых, интересующихся движениями в народе, таким редкостным «блюдом», каким, несомненно, были бунтующие рабочие.

— Нет, каков, а? — возбужденно потирал руки адвокат. — Настоящий русский дух, крепчайшая сельская основа!.. Из него так и брызжет некая былинная энергия в стиле Ильи Муромца!.. Раззудись плечо, размахнись рука... Его вместе с товарищем сейчас поведут еще на одну квартиру, к баронессе де Шатобрен. Очень милая семья, все большие оппозиционеры. Сейчас, знаете ли, везде живейший интерес к этой стачке, и люди хотят приобщиться, принять участие...

Жорж начал одеваться.

— Как, вы уже уходите? — всплеснул руками хозяин. — Но ведь ваш знакомый еще не пришел. Останьтесь, подождите, вся моя квартира к вашим услугам, милости прошу в любую комнату.

— Нет, нет, ждать больше не могу, — отказался Жорж, — я сегодня уезжаю из Петербурга — торговые интересы нашей фирмы требуют моего присутствия в Москве.

— Ах, вы по торговой части! — улыбнулся хозяин квартиры. — Я совершенно запамятовал.

Жорж подошел к двери, неожиданно (даже для самого себя) резко обернулся и, чувствуя, что нервы и вообще сдержанность отказывают ему после всего увиденного

и услышанного, сказал адвокату, твердо зная, что в этот дом он больше не придет:

— Рекомендую вам повесить на дверях своей квартиры объявление следующего содержания: «От двух до шести часов пополудни регулярно производится показ рабочих, принадлежащих к редкой и любопытной породе забастовщиков. За посмотрение нигилисты платят по двадцать копеек, нигилистки смотрят бесплатно».

Хозяин квартиры молча глядел на Жоржа, уронив нижнюю губу. «Для свиданий квартира потеряна навсегда»,— спускаясь по лестнице, подумал Плеханов.

Он вышел на улицу. Мартовское солнце весело искрилось на снежных сугробах. Солнце было яркое, пронзительное. «Если такая погода продержится еще несколько дней,— подумал Жорж,— снега растопятся и сойдут. И тогда по улицам побегут ручьи. Наступит весна — вечное обновление природы. Как все-таки разумно она организована, природа. Каждое время года приносит с собой новые краски и запахи, новые ощущения, новую жизнь. Почему же так неразумно устроено человеческое общество? Перемены в нем происходят нерегулярно и редко, законы этих перемен действуют хаотично и чаще всего не в пользу большинству людей».

Он прошел несколько кварталов. Солнце продолжало светить ярко и сильно. «Почему Иван и Тимофей согласились пойти в этот дом? — вернулся он мыслями к тому, что видел и слышал несколько минут назад.— Наверное, просто из любопытства. Шутка ли, такие образованные господа интересуются простыми фабричными. Тут вряд ли кто-нибудь из рабочих удержался и отказался бы от приглашения. Ведь посещение таких квартир, по всей вероятности, очень возвышает рабочего человека в своих собственных глазах. Вот, мол, забастовали мы, думают они, и нас уже в барские дома зовут — советоваться насчет стачки. Фабричные убеждаются, что они представ-

ляют собой какой-то очень важный элемент общества, если посмотреть на них и поговорить с ними сбегается столько образованных людей... Да, рабочий сейчас, во времена стачки, стал модной фигурой в Петербурге. Интерес к забастовщикам действительно напоминает популярность каких-нибудь громко знаменитых заезжих иностранцев. И либеральные и нигилиствующие кружки стараются поближе сойтись со стачкой. Они завидуют тому, что влияние землевольцев в рабочей среде растет, может быть, даже пытаются идти по нашим следам, но они же совершенно не знают интересов и жизни фабричных, не умеют с ними разговаривать, выставляют перед ними противоречивость своих программ: одни за мирный характер забастовки, другие предлагают проучить как следует хозяина. Нет, нет, побывав на всех этих квартирах, Иван и Тимофей безусловно наберутся ума-разума. Они увидят, какая разноголосица у этих господ, и тем больше будут доверять нам, «Земле и воле», которая крепко держится один раз припятого направления».

И его вдруг неудержимо потянуло на Обводный канал, на фабрику и захотелось увидеть товарищей по кружку, Степана Халтурина, Петра Моисеенко, Васю Андреева. Он почувствовал желание перебить вынесенное им из адвокатской квартиры ощущение приторной словесной шелухи и фальшивой патетики чем-то более простым, конкретным и надежным, чем-то более убедительным.

А что могло быть конкретнее и реальнее, чем огромные корпуса Новой Бумагопрядильни? Что могло быть более убедительным и осязаемым, чем горы угля во дворе фабрики, паровые машины, ременные трансмиссии, ткацкие станки, сотни и тысячи метров тканей и руки, головы, плечи, глаза рабочих, сделавших эти ткани?

Новая Бумагопрядильня существовала во всей своей неопровержимости, она бастовала, сражалась за права

своих ткачей, будоражила умы; и мятежные импульсы стачки, словно круги от брошенного в пруд камня, тревожно расходились по городу.

Жорж свернул за угол и зашагал в сторону Обводного канала.

...Уже за несколько кварталов он понял — на фабрике происходят какие-то не совсем обычные события. Проехал казачий разъезд, куча городовых стояла на перекрестке, два околоточных озабоченно вели в участок незнакомого человека в студенческой фуражке. Повсюду чувствовалось возбуждение, напряжение.

Жорж замедлил шаг. На углу в полуподвале была портерная. Он спустился по ступеням, вошел, заметил около окна Петра Моисеенко, сел напротив, попросил прикурить.

— Вас ждут у сапожника,— тихо сказал Моисеенко, зажигая огонь.

— Что случилось? — одними губами спросил Плеханов.

— Аресты начались...

Выйдя снова на улицу, Плеханов увидел, как по самой середине мостовой городовые (те самые, что на углу топтались) тащат в участок троих рабочих-подростков. Еще несколько малолетних фабричных шли толпой сзади, свистели и улюлюкали.

Около Жоржа па тротуаре стояла группа пожилых ткачей.

— Вишь, как ребятишки-то наши действуют,— одобрительно сказал один из них. — Как бы уши им в участке не оборвали...

— Ничего, пущай привыкают,— невозмутимо ответил второй.

Жорж оглянулся. Внимание всех полностью поглощено детской процессией. Жорж сделал два шага и быстро свернул в подворотню.

Обогнув фабрику, он скрытно, проходными дворами, подошел к черному ходу дома, где жил Гоббст. Хозяин в фартуке сидел за верстаком, а на табуретках, под видом клиентов, разместилось несколько мастеровых. Василий Андреев яростно спорил в углу с членом одного из кружков «Земли и воли», которого на фабрике знали под именем Петра Петровича.

Гоббст, заглушая спор, громко стучал молотком по патянутому на колодку сапогу.

— А вот и Оратор пришел,— обрадовался Андреев,— пущай он теперь наше дело разбирает.

— Что за дело? — спросил Жорж, присаживаясь.

— Вы представляете,— обратился к Плеханову Петр Петрович, кивая на Василия,— он требует, чтобы я устроил смотр...

— Какой смотр? — удивился Жорж.

— Народу смотр надо произвесть! — горячо заговорил Василий Андреев. — Скучает народ-то!

— Ничего не понимаю,— пожал плечами Жорж. — Почему скучает?

— Да чего ж тут понимать? — горячился Андреев. — Наследник-то ничего не ответил. Ну, ребята и говорят: нечего было и ходить, зря только сапоги трепали. Наследник с хозяином в доле, свой пай в фабричном капитале имеет. Какой же ему резонт нас защищать, против своих денег идти?.. Сейчас все около фабрики собрались, на набережной, не расходятся.

— Скучает народ,— подтвердили и остальные мастеровые,— надо бы чего повеселей.

— Я сегодня у господ одних на квартире был,— сказал Андреев,— все разное говорят...

— Как, и ты был? — перебил его Жорж.

— Конечно, был. Их тут много в экипажах с утра понаехало. Под белые руки в кареты подсаживали —

только согласись ехать. А как приехали на квартиру — каждый по-своему наше дело решает. Вот тут и разбирайся! У нас уже голова как решето стала — сколько всяких разностей услыхать пришлось.

— А ты больше по господским квартирам шлялся бы,— заворчал за своим верстаком Гоббст,— не то еще услыхал бы.

— Хорошо, я согласен,— решительно встал с места Петр Петрович. — Если народное требование выражено столь определенно, я согласен!

И он пошел к выходу. Мастеровые вместе с Васей Андреевым толпой повалили за ним. Забыв об осторожности, вышел на улицу и Жорж.

Вся набережная около Новой Бумагопрядильни была заполнена забастовщиками. Рабочие стеной стояли вдоль Обводного канала. Петр Петрович, побледнев и подтянувшись, медленно и торжественно двинулся мимо шеренги фабричных. Вася Андреев шел в метре сзади него, как адъютант за генералом.

Жорж с удивлением смотрел на забастовщиков. Они словно ждали, чтобы к ним вышел кто-то от своих. Многие махали руками, снимали шапки, кланялись.

— Вот они, орлы-то наши, пошевеливаются! — закричал один из рабочих.

Все радостно загудели, заулыбались. Необычная пара (интеллигентный Петр Петрович и свой мастеровой брат Васька Андреев), по-видимому, доставляла фабричным большое удовольствие. «А ведь они действительно хотели увидеть кого-нибудь из «своих»,— подумал Жорж. — Они ждали поддержки. Наследник ничего не ответил им, и они решили «поправляться» сами, как сказал кто-то тогда во дворе фабрики, когда читали письмо наследнику. Вася Андреев фабричным своим инстинктом правильно понял общее настроение — им нужен был «смотр» от «своих», чтобы почувствовать себя бодрее и смелее в при-





сутствии «своих», которых они тоже, по всей вероятности, считают «начальством», но прямо противоположным хозяевам — «начальством» по стачке. Молодец Василий, что все-таки добился своего».

...Радостно возбужденный Жорж снова вошел в портерную на углу и сразу же остановился. Петра Моисеенко возле окна не было. На его месте за столиком сидели двое явно переодетых сыскных.

Жорж подошел к стойке, небрежно спросил папирос. Расплатившись, обернулся к выходу — около дверей, тяжело сопя, стоял квартальный. «Спокойно, только спокойно,— подумал Жорж,— документы у меня надежные. Все остальное — полностью отрицать».

— Пожалуйте паспорт,— подойдя, сказал квартальный.

— А в чем, собственно говоря, дело? — надменно спросил Жорж.

— По какому случаю оказались в этом районе?

— По своей надобности.

— Если не желаете показывать документы,— прогудел квартальный,— соблаговолите пройти в участок.

— В участок? — поднял брови Жорж.— Да ведь это же незаконно, милейший. На каком основании вы изволите задерживать меня? Я буду жаловаться.

Сыскные, поднявшись из-за столика, подошли вплотную.

— Не вздумайте сопротивляться, господин студент,— сказал один из них. — У нас есть распоряжение задерживать всех подозрительных.

— Что же во мне такого подозрительного? — рассмеялся Жорж. — И почему вы решили, что я студент? Никакой я не студент.

— Идите в участок,— кашлянул квартальный.

— С огромным удовольствием. Надеюсь, там это недоразумение будет прекращено.

После Саратова, где его задержали на несколько часов (там все кончилось быстро и благополучно), это был второй арест в его жизни.

5

Благообразного вида околоточный (не иначе, как переодетый чиновник из сыскного отделения) скорбным голосом попросил документы. Он предъявил паспорт на имя потомственного почетного гражданина Алексея Семеновича Максимова-Дружбина и потребовал составить протокол по поводу незаконного задержания.

— Видите ли, уважаемый Алексей Семенович, — вкрадчиво объяснял околоточный,— ничего незаконного в вашем задержании я не нахожу. Начальник города обязал нас проверять всех посторонних в районе Новой Бумагопрядильни... Кстати, а как вы оказались здесь?

— Сначала следовал по своей надобности, по торговому делу,— уверенно откинув в сторону руку с дымящейся папиросой, говорил Жорж,— а потом узнал, что происходит забастовка и решил бросить взгляд. Ведь это же интересно, не так ли?

— О, господи,— вздохнул переодетый сыщик,— что тут может быть интересного? Фабричные куролесят, прибавки требуют. Хозяева, кажется, согласились.

— Напрасно, напрасно,— покачал головой «Алексей Семенович», пуская дым кольцами. — С фабричными, знаете ли, нужна твердость. Никаких прибавок! А кто не хочет работать — марш на улицу! У нас в торговых делах только такой курс позволяет вести дело с прибылью. Иначе нельзя — убытки-с!

Мнимый околоточный с сочувствием посмотрел на потомственного почетного гражданина. Тем не менее он

продержал его в участке почти сутки и, выпуская, взял подписку о невыезде из Петербурга. «Ихнее степенство» господин Максимов-Дружбин подписку охотно дал, так как и в самом деле никуда из города уезжать не собирался.

Забастовка на Новой Бумагопрядильне действительно кончилась многими уступками со стороны хозяев. Акционерное общество, владевшее фабрикой, сменило управляющего и главного мастера. Рабочий день уменьшился до двенадцати часов. Фабричным выдали на руки расчетные книжки. Расценки частью остались на том уровне, который был до забастовки, частью — в связи с сокращением продолжительности смены — повысились, чтобы средний заработок не уменьшался. Копейку за кипяток отменили, на фабрику провели невскую воду, штраф за прогульный день установили в размере не более стоимости одного же дня, штрафы за неуважение — упразднялись. Весь инструмент выдавался теперь на руки каждому ткачу бездежно, но устанавливалась средняя такса за поломку — пятиалтынный. За все дни забастовки хозяева произвели со всеми рабочими полный расчет. (Фабричные, получая деньги, недоумевали по поводу того, что ни одного дня не было зачтено в прогул. Некоторые даже не хотели брать денег, опасаясь подвоха, но сомневались недолго и деньги взяли.)

Венцом всех недоумений был приезд к воротам фабрики местного пристава на пролетке с целым бочонком водки. Пристав бесплатно угощал всех желающих. Фабричные причин щедрости пристава не понимали, но от водки не отказывались.

— С богом, с богом, ребята! — приговаривал пристав, стоя в пролетке и раздавая чарки направо и налево.— Пора на работу вставать, хватит бездельничать... Ну-с, с окончанием беспорядков!

И сам опрокидывал добрую чарку.

Фабричные отвечали, что «безделить» им и самим надоело и что по работе они «соскучили».

В довершение всего из участка выпустили всех арестованных. Дела у акционеров Бумагопрядильни шли неважно, и они, вероятно, не могли позволить себе такой роскоши, чтобы их ткачи сидели в полиции — у ткацких станков требовались рабочие руки.

Это была полная победа. Степан Халтурин, Петр Моисеенко и Георгий Плеханов поздравляли друг друга. Иван Егоров и Тимофей на радостях укатили в деревню, в Архангельскую область,— рассказать землякам о том, как они «обломали» казну и как разгуливали в Петербурге по барским квартирам, уча важных господ уму-разуму. (Барон и баронесса де Шатобрен, те самые, большие оппозиционеры — по словам Ивана и Тимофея, настолько полюбили их, что даже угощали шампанским и оставляли ночевать, но Иван и Тимофей, естественно, отказались.)

А неугомонный Вася Андреев, почувствовав в себе после «смотра» большую силу и вспомнив давнее увлечение женским вопросом, решил оправдать свое прозвище «бабий агитатор» и отправился агитировать работниц на табачную фабрику братьев Шапшал. Результаты его агитации не преминули сказаться в самое ближайшее время: во-первых, Вася вскорости чуть было не женился на одной из шапшальских мастериц, а во-вторых, когда братья в связи с якобы плохим сбытом товара попробовали снизить оплату, работницы тут же дали им дружный отпор.

Дело было так. Однажды на воротах фабрики появилось объявление: «Мастерицам табачной фабрики Шапшал. Сим объявляется, что по случаю остановки сбыта товара с каждой тысячи папирос сбавляется по десять копеек. Братья Шапшал». Весть эта мгновенно облетела всю фабрику. Большая группа работниц (не менее двухсот) собралась около ворот, и объявление тут же было сорвано.

А на его место кто-то из работниц (говорили, что сделала это бывшая Васькина невеста) повесил новое объявление, на котором (рукой якобы Андреева) было написано: «Хозяевам табачной фабрики братьям Шапшал. Мы, мастерицы вашей фабрики, сим объявляем, что не согласны на сбавку, потому что и так от нашего заработка не можем порядочно одеться. Работницы фабрики».

Появившийся мастер непотребно обругал работниц. Разъярившиеся работницы стали бросать в окна конторы скамейки, стулья, табуретки, машинки, на которых делались папиросы... Совсем потерявшийся мастер послал за хозяевами. Братья в страхе немедленно явились и ласковыми голосами клятвенно пообещали, что никакой сбавки не будет. Работницы потребовали уволить оскорбившего их мастера — братья «радостно» согласились выполнить и это. Мастер в тот же день был уволен с фабрики.

Одновременно столкновения рабочих с нанимателями произошли еще на нескольких фабриках Петербурга. На фортепьянной фабрике Беккера, на набережной Большой Невки. «Осадили» хозяина работницы табачной фабрики Мичри. Когда господин Мичри (сговорившись, очевидно, с братьями Шапшал о понижении расценок) тоже попытался было платить за каждую тысячу папирос первого сорта не шестьдесят пять копеек, а только пятьдесят шесть, номер не прошел.

И, наконец, забастовали ткачи на прядильной фабрике Кенига за Нарвской заставой. Здесь никакого революционного кружка не было, пропаганда у Кенига не велась совсем, но рабочие сразу же послали ходоков на Обводный канал за «студентами», которые, по их сведениям, «шибко помогли мастеровому люду и рабочего человека в обиду не давали».

К Кенигу, тщательно проинструктированные Плехановым, отправились несколько землевольцев, которых Жорж попросил узнать все мельчайшие детали возникновения

недовольства рабочих и потом пересказать эти детали ему. И вот что выяснилось.

В цехах у Кенига при каждом взрослом прядильщике работало по два подручных — «передний мальчик», обычно в возрасте семнадцати — девятнадцати лет, и «задний мальчик», от двенадцати до четырнадцати лет. Во время работы в проходах между станками накапливалось много отбросов из оборвавшихся ниток. Убирать отбросы должны были специально для этого нанимаемые женщины. Но хозяин фабрики, купец Кениг, отличавшийся особо жестоким обращением со своими рабочими и совершенно необузданным нравом, неожиданно уволил всех женщин и обязанности по уборке отбросов возложил на «задних мальчиков», которые и так проводили в цехах вместе со взрослыми прядильщиками полные четырнадцать часов, а теперь их рабочий день увеличивался еще минимум на час.

У большинства «мальчиков» здесь же, у Кенига, работали и родители. «Нововведение» хозяина вызвало протест отцов и матерей. Пятнадцатичасовой рабочий день был не под силу даже взрослым ткачам. Для двенадцатилетних мальцов это были смертельные условия — похороны заживо.

Подбадриваемые взрослыми, «задние мальчики» на следующий день после увольнения женщин отправились в обеденный перерыв к хозяину. Кениг в это время как раз выходил из конторы, чтобы сесть в ожидавший его экипаж. Выслушав жалобщиков, купец без долгих разговоров послал их к «шортовой матери» и медведем полез в коляску. Мальчики со всех сторон окружили хозяйский выезд, не давая кучеру возможности выбраться со двора, и вразнобой стали требовать отмены нового правила.

— Свинячьи дети! — заорал Кениг и, выхватив у кучера кнут, хлестанул им по лошади.

Рысак, раскидывая галдящую толпу малолеток, рванул с места.

— О, сволочь! — выругался хозяин фабрики, падая на сиденье коляски.

— Ах, ты так? — кричали маленькие фабричные, отскакивая от выезда в разные стороны.— Жеребцом нас пугать? Ну, погоди, мы тя уважим!

Тут же было решено — после обеда на работу не выходить. Мальцы разошлись по домам.

Лишившись помощи подручных, прядильщики заявили мастерам, что без «задних» им со станками не управиться. Мастера сказали, что к вечеру все уладится, но малолетние бунтари до конца смены в цехах так и не появились.

С утра все взрослые ткачи собрались возле конторы и объявили вышедшему к ним старшему приказчику, что не запустят машины до тех пор, пока требования «задних мальчиков» не будут исполнены.

Администрация не склонна была идти на уступки. Тогда и рабочие решили привести свою угрозу в действие. Гурьбой вышли они со двора и присоединились к толпившимся на улице подручным. Ждали хозяина, но Кениг до полудня на фабрике не появлялся.

После обеда прядильщики отправились в полицейскую часть и высказали приставу свои претензии. Пристав, не долго думая, приказал задержать четырех наиболее активных бунтовщиков, остальных городовые вытолкали из участка. Арестованных доставили в Третье отделение, куда вскоре прикатил и сам Кениг с двумя мастерами. С участием жандармских властей начался разбор взаимных обвинений хозяина и рабочих. Первое слово было предоставлено, конечно, владельцу фабрики. Стуча кулаком по столу, Кениг, как всегда, начал орать на рабочих: они, мол, неблагодарные сукины дети, добра не помнят, а живется им-де у него, у Кенига, очень хорошо, а все

беспорядки на фабрике объясняются посторонними причинами.

Рабочие пытались возражать и объяснить жандармам смысл происшедшего эпизода с «задними мальчиками», но их слушать не стали, сказав, что завтра все должны выйти на работу.

На следующий день с утра фабрика была пуста. Не дымили трубы, не работал ни один ткацкий станок. В конторе собрались полицейские чины, приехал даже сам градоначальник генерал Зуров. Но рабочие, несмотря на все увещевания и угрозы, сидели по домам и на работу не выходили.

Все эти сведения и были сообщены Плеханову побывавшими у Кенига землевольцами. Пока Жорж искал Степана Халтурина и Петра Моисеенко, чтобы обсудить план стачки (на это ушло несколько дней), от забастовщиков пришли новые, неутешительные вести — рассвирепевший Кениг начал увольнения.

Рабочие решили подать прошение наследнику и послали спросить у «студентов», стоит ли это делать? Или ходить к августейшему сыну в Аничков дворец — только «зря сапоги трепать», как это и было уже на Новой Бумагопрядильне?

— Пусть идут,— передал Жорж через курьеров-землевольцев,— пусть еще раз убедятся в том, что все обращения к полиции и наследнику — напрасная трата времени. Пусть на своем опыте поймут, что и царь, и его сын, и их верные слуги, пристав и градоначальник,— кровные враги рабочих. Пусть еще раз проверят эту непреложную истину на себе.

Наследник прошения не принял. И снова были посланы гонцы к «студентам» — как быть?

— Передайте им, что надо держаться,— сказал Жорж.— Убедите их в том, что об их деле думают те, кто старается не давать в обиду рабочего человека. А доказа-

тельством этому пусть будет такой факт: они должны знать, что по российским законам стачка — уголовное преступление. И если хозяин подаст на них в суд для возмещения убытков, мы дадим им лучшего адвоката Петербурга, который, безусловно, выиграет дело. Так что пускай держатся крепко.

И рабочие фабрики Кенига начали «держаться».

— Что будем делать? — спросил Жорж у Халтурина и Моисеенко, когда они наконец встретились.

Халтурин попросил заново рассказать, с чего все началось. Жорж повторил то, что уже знал.

— Как, как? — переспросил Халтурин.— Пропаганда у Кенига не велась совсем?

— Нет, не велась.

— И никакого кружка на фабрике не было?

— Не было.

— Значит, они забастовали сами, без всякого вмешательства с нашей стороны?

— Выходит, что сами.

— Вот это и есть самое главное, самое важное! — оживленно потирал руки Степан Халтурин.— От этой печки нам теперь танцевать и надо!

Это известие (о том, что прядильщики Кенига начали забастовку сами, без участия землевольческих кружков) доставило Степану радость, которую он, казалось бы, не мог получить ни от одного события в своей жизни.

— Сами, сами! — приговаривал Халтурин, возбужденно расхаживая по комнате, поглядывая то на Плеханова, то на Моисеенко.

А когда через несколько дней они увиделись снова и Жорж сообщил последнюю новость — все рабочие Кенига в знак солидарности с уволенными взяли расчет па фабрике,— Халтурин был чуть ли не на вершине счастья.

— Ах, молодцы! — блестел он глазами, теребя рукой свои длинные густые волосы.— Не побоялись фабрикан-

та! В открытую против него пошли... Ведь это, братцы, что же получается? Осознал рабочий человек, наконец, свою общую силу — ни полиции не испугался, ни жандармов. Всем миром против них выступили! Значит, очнулись и они там, у Кенига, от своей покорности, потеряли исконную веру в незыблемость давящих их порядков!.. Поняли, что эти порядки грозят им физическим уничтожением. И, почувствовав необходимость коллективного отпора, все, как один, ушли со своей костоломки!

Глава шестая

1

В те дни, когда события у Кенига (подумать только! — вся фабрика целиком ушла от хозяина) снова на короткое время привлекли к себе внимание всего радикального Петербурга, Жорж особенно часто встречался с Халтуриным и близко сошелся с ним. Что-то неудержимо притягивало Плеханова к Степану — какая-то энергичная и возвышенная одухотворенность, сквозившая во всех его движениях и словах. Жорж и раньше нередко виделся с Халтуриным: не проходило почти ни одной недели, чтобы они, оба нелегальные, не сходились где-нибудь на конспиративной квартире. Но именно осенью семьдесят восьмого года благодаря беспорядкам на фабрике Кенига отношения их вступили в новый этап. В среде землевольцев, где большую часть времени проводил тогда Жорж, никто вроде бы и не придал этому событию (массовому уходу) сколько-нибудь серьезного значения, а вот Халтурин прямо-таки вцепился в него, неоднократно вспоминал о нем, толкуя его на разные лады. И это не могло не заинтересовать Жоржа.

В те времена, не пропуская ни одного случая волнений среди петербургских рабочих, он собирал материалы для статьи «Поземельная община и ее вероятное будущее». Анализ собранных для статьи данных сильно поколебал его народнические воззрения. Вспоминалось собственное хождение в народ — дни, проведенные среди донских казаков, попытки агитировать среди них против властей. Теперь уже приходилось признать (для самого себя — несомненно), что пропаганда в деревне успеха не имела, крестьяне оставались глухи ко всем призывам землевольцев. А вот среди рабочих каждое революционное слово вызывало взрыв протеста против существующих порядков.

Жорж записывал в своих набросках к статье, что можно еще сохранить русскую сельскую общину при поддержке ее самими крестьянами и передовой интеллигенцией страны. Но рядом с этими мыслями все время возникали вопросительные знаки, и на поля черновиков то и дело прорывались сомнения в том, что на нынешнем экономическом этапе развития России общинная эксплуатация крестьянских полей возможна только на принципиально новой основе. В противном же случае всякую современную поземельную общину вообще, и русскую сельскую общину в частности, ждет неизбежное разрушение в борьбе с нарождающимся капитализмом. Такова была альтернатива, и мысли об этом Жорж все чаще и чаще записывал в своих тетрадях.

Придя однажды к Плеханову и застав его обложенным со всех сторон книгами по крестьянским делам, Халтурин поинтересовался, что он сейчас пишет? Жорж, усадив Степана напротив себя, начал рассказывать ему содержание своей будущей статьи.

— Понимаешь,— говорил Плеханов, расшифровывая свои наброски,— вопрос об общинном землевладении имеет сейчас огромный научный интерес. Особенное значе-

ние он приобретает в нашем несчастном отечестве, где община является преобладающей формой отношения к земле громадного большинства крестьянства. От решения этого вопроса зависят теперь судьбы русских крестьян, на благосостояние которых всякие изменения в господствующей системе землевладения окажут самое решительное воздействие. Вопрос о смене отношений к земле важен сейчас не только в применении к поземельной общине, но и относительно ко всем сферам междучеловеческих отношений вообще.

Халтурин слушал вежливо, но явно невнимательно, косил взглядом по сторонам, старался незаметно прочитать названия лежавших на столе книг.

— В данный момент,— продолжал Жорж, — сумма всех исторических влияний в обществе может быть такова, что, как бы хороши ни были сами по себе те или другие общественные формы, они будут обречены на неизбежную гибель в борьбе с враждебными принципами общежития. Сейчас в науке существует взгляд, по которому всякое прогрессивно развивающееся общество неизбежно должно пройти через несколько форм экономических отношений. И поэтому отстаивать те или иные бытовые формы, имея в виду только их безотносительное превосходство, значит (с точки зрения этого учения), задерживать прогресс общества и стремиться повернуть колесо истории назад. Исходя из этого, в странах, где общинное землевладение сохранилось еще в более или менее полном виде, практически важно решить: составляет ли поземельная община такую форму отношения людей к земле, которая самой историей осуждена на вымирание, или, наоборот, повсеместное исчезновение аграрного коллективизма обусловливается причинами, лежащими вне общины, а посему их можно нейтрализовать счастливою для общины комбинацией исторических влияний — вот в чем дело. Наконец, мы, русские, должны сейчас кровно

интересоваться проблемой современного положения именно нашей общины. Вполне вероятно, что принцип русской поземельной общины, что ее разрушение отныне становится делом весьма очевидным и неминуемым, и все меры по ее сохранению не будут достигать цели по своей безусловной несвоевременности. Тогда каждому русскому общественному деятелю остается предоставить мертвым хоронить своих мертвецов и приняться за работу в пользу других, имеющих более падежное будущее, форм поземельного владения. Наша наука только сейчас по-настоящему начинает заниматься судьбой русской аграрной общины в зависимости от общего хода политического и экономического развития России во всей исторической перспективе.

Халтурин внимательно посмотрел на Жоржа и усмехнулся. Плеханов нахмурился.

— Тебя что-либо не устраивает в моих рассуждениях? — спросил он.

— Да нет,— улыбнулся Степан,— в твоих тяжеловесных рассуждениях меня все устраивает. Ведь ты же у нас — оратор, мыслитель, ученый. Из библиотек не вылезаешь, сотни книг обглодал.

— Ну, ну,— примирительно сказал Жорж,— насчет книг не прибедняйся. Когда мы познакомились, ты заведовал, если мне память не изменяет, всей городской рабочей библиотекой, не так ли?

— Было дело,— согласился Степан.

— Так что по «обглоданным» книгам мы с тобой приблизительно в равном положении.

— В том-то и дело, что приблизительно...

— Не цепляйся за слова!

— Не кричи на меня, барин.

— Кто барин? Я барин?

— А кто же ты? Настоящий тамбовский дворянин. Любишь ведь лишний раз щегольнуть своим званием, а?

Жорж вздохнул.

— Вот потому-то вы, дворянские дети, так много и говорите о земельной общине,— продолжал Халтурин,— что происхождение свое никак забыть не можете. Из головы у вас все еще те времена не уходят, когда вы мужичьими душами владели.

— Это обвинение несправедливо: я никогда ничьими душами не владел.

— Ты не владел, зато отец твой владел. И жестоко владел — ты сам об этом и рассказывал.

— Да, отец был крепостником,— угрюмо согласился Жорж. — И это — одна из главных причин моего прихода в революцию. И ты это прекрасно знаешь.

— Поэтому и говорю, что все твои рассуждения о судьбах поземельной общины — плод твоего дворянского происхождения. Все вы, дворянские дети, чувствуете свою вину перед мужиками. Свою вину и вину предков своих. И это четко уловил и сформулировал еще Лавров в своей теории неоплатного долга образованных классов перед простым народом, усилиями которого осуществляется весь общественный прогресс, а пользуется результатами этого прогресса не сам народ, а те же образованные классы, потому что...

— Только не надо учить меня теории Лаврова, я знаю ее.

— А нам-то, рабочим, какое дело до вашей дворянской вины перед мужиком?! — неожиданно загремел голосом Степан Халтурин. — Нам-то какое дело до того, по каким причинам будет разрушаться община — внутренним или внешним, когда она уже и так разрушается под напором капитализма? И напор этот будет расти с каждым годом все сильнее и сильнее, чему самое яркое доказательство существование нас, рабочих!.. Армия наемных рабочих увеличивается с каждым днем, и ты это знаешь не хуже меня. Деревня, или, как вы любите говорить, община, разлагается без всяких внешних причин,

а потому, что в деревне растет пропасть между имущими и неимущими. Деревня все время выбрасывает в город дешевые рабочие руки — поэтому и не уступил Кениг своим фабричным, а набрал новых голодранцев на еще более зверских условиях... А чтобы бороться с кенигами за наши права, нам, рабочим, нужны не ваши вздохи о поземельной общине, а своя рабочая организация, которая будет крепка и едина своим однородным рабочим составом, члены которой будут связаны между собой, как круговой порукой, своим общим классовым сознанием и своими общими классовыми инстинктами.

— Ты прекрасно знаешь мое отношение к рабочему вопросу,— тихо сказал Жорж.— И это отношение я неоднократно доказывал на деле.

— Так какого же дьявола ты копаешься в своей общине? Твоя община — вчерашний день революции!

— А что ее сегодняшний день?

— Рабочий класс,— понизил голос Халтурин и, перейдя на более мягкую, привычную для себя интонацию, добавил: — Когда-то ты учил меня и многих моих товарищей уму-разуму, мы шли вместе с тобой вперед. Но сейчас ты остановился, ты закопался в своей общине, в своей деревенщине, в своем народничестве. У ваших поселений среди мужиков нет никакой исторической перспективы, никакого будущего.

— Я знаю это,— согласился Жорж,— я сам очень много думаю над этим.

— А надо не думать, а действовать! Ежели знаешь, зачем же тогда мусолишь так долго свою общину?

— Не все так просто. От убеждений в один день не отказываются.

— А ты разуй глаза, оглядись вокруг. Ведь каждый день фабричные с хозяевами лоб в лоб сшибаются. Какая же тут может быть деревня, когда все самое главное сейчас в городе происходит? Неужто твоя наука в одну

общину уперлась, а до города ей дела никакого нет?

— Логически иногда очень трудно объяснить то, что поначалу ощущаешь чисто интуитивно,— задумчиво сказал Жорж. — Для меня весь вопрос о русской поземельной общине теснейшим образом переплетен с крестьянской реформой 1861 года. А в истории России в последние два десятилетия — я твердо убежден в этом — не было более важного события для русского освободительного движения вообще, и для русского рабочего дела в частности, чем крестьянская реформа.

— Почему?

— Реформа все обнажила, она все вещи назвала своими именами... Крымская война убедительно показала России, что дальше жить по-старому невозможно. Крымская война родила крестьянскую реформу. А проведение реформы в жизнь еще более убедительно показало России, что никакими реформами старую жизнь изменить нельзя. Новая жизнь приходит только вместе с революцией. Не реформа, а революция может по-настоящему освободить крестьян и улучшить положение рабочего класса. История движется вперед не реформами, а революциями.

2

После этого разговора фигура Степана Халтурина на долгое время заслонила перед Жоржем товарищей по народническому движению и революционным кружкам. Упрек Степана — «когда-то мы шли вместе с тобой вперед, а теперь ты остановился» — ударил в самое сердце. И главное здесь заключалось в том, что многие слова Халтурина о поземельной общине, о народнической программе в деревне, об историческом назначении рабочего класса совпадали с его собственным

ходом мыслей, в которых он не решался иногда признаваться даже самому себе, считая, что мысли эти являются продуктом незрелости его рассуждений, неполноценности его жизненного опыта.

Халтурин высказал эти мысли открыто, наотмашь. (Такая манера разговора — прямая, резкая, без иносказаний и намеков — была свойственна многим знакомым Жоржа из петербургских фабричных: Ивану Егорову, например, Тимофею, Васе Андрееву, Митрофанову, Перфилию Голованову.)

Как странно получается... Митрофанов и Халтурин — оба из крестьян, оба стали рабочими, но у каждого из них свое отношение и к деревне, и к городу. Рабочий человек Митрофанов не любил город и все свои революционные надежды связывал с деревней. Рабочий человек Халтурин наоборот — не любит деревню и все свои революционные надежды связывает с городом.

Кто из них прав?

Бунтарь анархистского толка Митрофанов, долго живший в студенческих коммунах, среди интеллигенции, перенявший у нее бакунистические убеждения? Или Халтурин, отделяющий в революционном движении интеллигенцию и крестьян от рабочих, хорошо знающий и произведения Маркса, и сочинения французских социалистов, и книги по английской политэкономии? (В этой нелегальной городской рабочей библиотеке, которой заведовал Халтурин, было когда-то четырнадцать экземпляров брошюры Маркса о Парижской коммуне — «Гражданская война во Франции». Степан, необыкновенно дороживший этими экземплярами, выдавал их только особо доверенным рабочим, брал страшные клятвы о целости и сохранности каждой брошюры.)

Симпатии склонялись на сторону Халтурина, но давняя традиция анархистского образа мышления все еще цепко держалась бакунинских догм.

Да, старый теоретический подход к насущным вопросам движения в духе хождения в народ и сельских землевольческих поселений все чаще и чаще заслонял собой практические проблемы, рождающиеся на каждом шагу развивающейся российской действительности. Нужно было искать выход из этого противоречия между теорией и практикой. Нужно было срочно находить формулу решения кризиса, который становился все явственнее и определеннее, который разъедал волю и ум многих самых активных участников тайного общества, лишал инициативы, отодвигал в неопределенность историческую перспективу движения. Халтурин был прав — нельзя больше утыкаться носом только в одну общину. Город и события на фабриках настоятельно требовали как можно скорее переключить на себя и практическое и теоретическое внимание.

Все эти мысли, переполнявшие голову Плеханова, невольно заставляли его теперь при каждом удобном случае подробно и обстоятельно разговаривать со Степаном, тщательно расспрашивать о настроениях городских рабочих, о новых случаях столкновений фабричных с хозяевами, о которых он сам, Жорж, еще почти ничего не знал.

Психологическая прозорливость Халтурина, разглядевшего во внутреннем состоянии Жоржа неудовлетворенность делами тайного общества, разгадавшего тайну разрыва между его теоретическими занятиями и практическим интересом к рабочим делам, который он тщательно скрывал даже от самого себя, обострила интерес Плеханова к Халтурину. Жорж, конечно, был отчасти и уязвлен глубиной этой прозорливости. Пристально приглядывался теперь Плеханов к манерам и поведению Степана. Его удивляло то странное несоответствие внешнего облика и внутреннего, духовного состояния, которое вообще было свойственно многим талантливым русским

людям из народа. Молодой, высокий, плечистый, стройный, с хорошим цветом лица и выразительными глазами, Степан производил впечатление очень красивого, но заурядного и скромного парня, этакого провинциала, приехавшего в столицу из глухого российского медвежьего угла. Бросалась в глаза застенчивая и почти женственная мягкость всех его движений и жестов. Разговаривая с кем-нибудь из малознакомых ему, он как будто чего-то конфузился и боялся обидеть собеседника некстати сказанным словом или резко выраженным мнением. С его губ не сходила несколько смущенная улыбка, которою он как бы заранее говорил: «Лично я думаю именно так, но, если вам это не подходит, прошу извинить великодушно». Одним словом, наружность Халтурина не давала даже приблизительно верного понятия о его характере и не внушала никакого представления о том, что имеешь дело с человеком, который обладал решительностью, недюжинным умом, жгучей энергией и революционным энтузиазмом.

В отношениях с незнакомыми людьми Степан был, как правило, сдержан и замкнут. Он терпеть не мог никаких душевных излияний с первого взгляда. Те бесконечные разговоры и собеседования, которыми любила услаждать себя «интеллигентная» публика, были ему органически чужды. Правда, познакомившись с человеком поближе, он становился несколько оживленнее, но тем не менее всегда держал каждого собеседника как бы на расстоянии, делая для него совершенно невозможным такое состояние, которое обозначается словами «душа нараспашку». Вообще к интеллигентам и к студентам в частности он относился слегка иронично и даже насмешливо: «Пока учитесь, все вы «страшные» революционеры, а как закончите курс да получите теплые местечки, — весь ваш бунтарский пыл как рукой снимет». Над студенческим трудолюбием он откровенно посмеивался.

«Знаем мы,— говорил он,— как они работают. Посидит два часа на лекциях, почитает час-другой книжки, и готово дело — идет в гости чай пить и разговоры разговаривать».

Но с рабочими Халтурин держался совершенно поиному. Подшучивать над ними он не позволял ни себе, ни другим — особенно интеллигентам. В рабочих он видел самых надежных, прирожденных революционеров, возился с ними, ухаживал как заботливая нянька, учил, наставлял, доставал книжки, постоянно определял еще не устроенных на заводы и фабрики, мирил ссорившихся, мягко журил виноватых. И фабричные очень любили Халтурина за это, а некоторые готовы были идти за ним в огонь и в воду. При всем этом Степан почти никогда не терял в обращении с товарищами своей обычной сдержанности. На сходках и на занятиях кружков он говорил мало и неохотно. Придет, сядет в угол, молчит, слушает, лишь изредка вставляя два-три слова да поглядывая внимательно, исподлобья, на говорящего. И только тогда, когда разговор долго не клеился, когда ораторы начинали нести что-либо несообразное или уклонялись в сторону от главной темы сходки,— словом, когда дело заходило в тупик, тогда Степана прорывало. Краснобаем он не был, никогда не щеголял красивыми фразами и иностранными словами, но говорил всегда толково, горячо, страстно и убедительно. Его выступлением обычно и заканчивались все обсуждения. Он как бы прояснял суть разговора, и с ним обычно соглашались. И не потому, что он подавлял всех своим выдающимся авторитетом. (Среди петербургских рабочих были люди не менее его способные, повидавшие на своем веку гораздо больше, чем Халтурин, пожившие за границей — Виктор Обнорский, например, с которым Степан познакомил Жоржа.)

Тайна обаяния Халтурина, разгадка его влияния на рабочих (своего рода нравственная диктатура) заключа-

лась в неутомимом внимании Степана ко всякому делу вообще, которым он занимался, и к рабочему делу в особенности. Он был полностью растворен в интересах мастерового человека. И это лучше всего проявлялось в сходках, на которых Жорж, не пропускавший в последнее время ни одного рабочего кружка с участием Халтурина, с удивлением обнаружил, что, несмотря на свое уже довольно продолжительное знакомство со Степаном, знает его еще очень мало.

Обычно задолго до сходки Халтурин обходил всех будущих ее участников, подробно разговаривал с каждым, выяснял все подробности, все нюансы, все «за» и «против», знакомился с будущими ораторами. Поэтому он и оказывался лучше остальных подготовленным к предстоящему занятию кружка и, когда ему давали слово, выражал общее настроение. Как убедился Жорж, наблюдая за Халтуриным на сходках, не было такой, пусть даже ничтожной по своему значению, практической задачи, решение которой Степан беззаботно переложил бы на других. Он приходил на кружок с совершенно установившимся взглядом на подлежащий обсуждению вопрос и всегда высказывал свою точку зрения без малейших сомнений. И поэтому с ним соглашались. Он обладал даром обобщать разрозненные мнения и как бы предвидеть итог сходки, который устраивал всех.

День ото дня, узнавая Халтурина все ближе и ближе, Плеханов не переставал удивляться многогранности и богатству его натуры. В этом скромном и застенчивом двадцатидвухлетнем вятском парне, столяре по профессии, самостоятельно приобщившемся к социалистическим идеям, самостоятельно развившем свой природный ум, в этом молодом мастеровом, ходившем в простых и высоких сапогах, в длинном суконном пальто с оторванной пуговицей, в неуклюжей черной меховой шапке (никакого другого паряда у Степана — даже для воскресений —

не было, все деньги он тратил на книги), в этом обыкновенном и в то же время совершенно необыкновенном петербургском рабочем угадывались масштабы политического деятеля европейских горизонтов.

Степан поражал широтой своей осведомленности во многих областях общественных знаний, своим экономическим кругозором, своей неуемной пытливостью ко всему тому, что так или иначе было связано с развитием революционного и социалистического движения в Западной Европе. (Еще в самом начале их близких отношений Плеханов убедился в том, что Халтурин познакомился с лавристами гораздо раньше, чем с бунтарями-бакунистами, а лавристы умели привить интерес к западноевропейскому рабочему движению и особенно к немецкой социал-демократии. Поэтому в своих политических симпатиях Степан вообще был крайним «западником». Отчасти это объяснялось еще и тем, что он водил большую дружбу с Виктором Обнорским, который во время всех своих заграничных скитаний больше всего прожил в Германии.)

Своей начитанностью Халтурин не уступал многим революционерам из интеллигентов, окончившим университетский курс, а кое в чем даже превосходил их. Читал Степан книги так, как умеют читать очень немногие — с какой-то молодцеватой и смекалистой практичностью. Он всегда точно знал, для чего раскрывает ту или иную книгу. Мысль постоянно шла у него рука об руку с делом. Его, например, очень мало занимали естественные науки, которые сильно интересовали многих рабочих. Какие бы книги он ни читал — об английских рабочих союзах, о французской революции, о немецком социал-демократическом движении, о Парижской коммуне,— этот главный вопрос, коренной — о революционных задачах и нуждах русских городских рабочих — никогда не уходил из его поля зрения. По тому, что читал Степан в данное вре-

мя, можно было судить о том, какие практические планы шевелятся у него в голове. В своих книжных увлечениях, как и во всем остальном, он был силен умением сосредоточиваться на одном предмете, не отвлекаясь ни на что постороннее. Ум его (как вскоре после их тесного сближения понял Плеханов) до такой степени был поглощен рабочими делами, что уж, конечно, едва ли мог вместить в себя еще и деревенские проблемы. Встречаясь на сходках с землевольцами, Халтурин из вежливости поддерживал разговоры о земельной общине, о расколе православной церкви, о «народных идеалах», но в целом народническое учение (и в первую очередь бакунизм) оставалось для него почти совсем чужим — Жорж теперь был твердо убежден в этом.

Однажды они возвращались вместе домой после собрания очередного землевольческого кружка, на котором особенно много спорили о самобытности исторического пути России и о поземельной общине, как главной форме выражения этой самобытности.

— Слушаю я вас иногда, студентов,— сказал Степан,— и смех меня берет. Из пустого в порожнее льете. Мужик, община, подати — да неужели все это так важно для вас? Неужели в этом действительно состоит самобытность России?

— А в чем же, по-твоему? — спросил Жорж.

— В рабочем человеке,— упрямо сел на своего любимого конька Халтурин. — Помнишь Алексеева Петруху? Как он сказал на суде — «подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!»

— Помню, конечно, читал листовку с его речью.

— Вот это слова! Вот это настоящая самобытность! А ваша община — это все темнота, тараканьи хлопоты. Хуже нашей русской деревни вообще ничего на белом свете нету. Было рабство, есть и будет! И никакая

реформа нашего мужика не исправит. Его в город надо выгнать, в фабричном колесе провернуть, через заводскую костоломку протянуть. Тогда он в затылке своем кудлатом, может, и зачешется. А уж если зачешется, тогда готово дело — шапку оземь и начнет бунтовать да бастовать.

Халтурин остановился.

— У меня вообще-то знаешь какая мыслишка есть?— сказал он. — Всех петербургских фабричных одним разом на всеобщую стачку поднять. Чтобы в один день сразу все фабрики и заводы остановились, чтобы все хозяева в одночасье язык прикусили. То-то полицейские генералы тогда побегают, когда узнают нашу настоящую силу!

Жорж внимательно слушал Степана. С удивлением отмечал он в себе этот все более и более возрастающий интерес ко всем его словам, эту свою постоянную готовность все глубже и глубже вникать во все его мысли и рассуждения.

— Нет, ты только представь,— горячо говорил Халтурин,— весь Петербург сразу забастует! Все хозяева сразу свою прибыль терять начнут, а? Все рабочие сразу один общий кукиш им покажут за всю их подлость, за все соки, которые они из нашего брата высосали. Вот это будет самобытность так самобытность!

— А интересно, сколько в Петербурге всего рабочих? — спросил Плеханов.

— А вот этого толком никто и не знает. Я пробовал считать, да везде все неправильно написано.

— Есть статистические данные о численности фабричного населения.

— Врут они, твои статистические данные. Там, где триста человек на фабрике работают, в конторских книгах указано сто, а где сто — там только пятьдесят значатся. Скрывают хозяева численность, чтобы налогов меньше платить, и здесь обманывают да наживаются.

— Было бы все-таки неплохо узнать точную цифру.

— Узнаем, не беспокойся.

— Каким же образом?

— Мы сами лучше всяких статистиков сосчитаем,— доверительно приблизился к Плеханову Степан. — Петруха Моисеенко и Обнорский уже пустили по фабрикам листки — знакомые мастеровые везде имеются,— чтобы, значит, точно вычислить, где и сколько фабричных горб свой на хозяина гнут. А заодно наказали, чтобы прописали ребята в этих листках и про то, какая идет им оплата, сколько берут штрафов да по каким ценам хозяева товар свой сбывают.

— И давно вы эти листки по фабрикам пустили? — внимательно посмотрел на Халтурина Жорж.

— Некоторые уже назад вернулись,— не без гордости сказал Степан,— и все хозяйские дела там до копейки подсчитаны: какой расход произведен и какой доход получен. Не отопрешься — точно могу сказать, сколько хозяева денег в карман себе положили с наших мозолей.

— Да ты понимаешь, какую огромную ценность представляют эти собранные вами материалы?

— Чего ж тут не понимать — дело нехитрое... Эти бы все листки в одну книжечку свести, да чтобы ваши студенты ее в своей типографии напечатали — вот это была бы самобытность!

— Сведем, напечатаем,— уверенно сказал Жорж. — И особая ценность такой книги будет заключаться в том, что ее составили сами рабочие.

— А еще круглее бы дело получилось,— задумчиво произнес Халтурин,— если бы помогли вы нам свою рабочую газету наладить... Ты только представь себе — в каждом номере один такой листок с какой-либо фабрики печатать: оплата рабочих, штрафы, доходы хозяина... Такая газета наповал бы хозяев укладывала — против

цифры-то не попрешь. А сведения были бы самые достоверные — у нас с фабриками связи налажены надежные. Чуешь, какие тут возможности для агитации открываются, как сами рабочие эту газету встречали бы? Она им всю жизнь ихнюю объяснила бы, по всем темным углам с фонарем провела бы... А там, глядишь, и с другими городами дружба образовалась. Я вон летом, считай, по всей средней Волге прогулялся, с одного завода на другой переходил, со многими тамошними фабричными беседы вел. Они на нас, на столичных, как на солнце красное смотрят — у вас-де, говорят, все под рукой... Была бы у нас рабочая газета, так мы ее по городам с надежными людьми отправляли и среди местных мастеровых раздавали. И пускай они тоже нам, в центральный кружок, свои листки отсылали, а мы их через вашу типографию в газете печатали. Не только Петербург — все Поволжье одним общим рабочим делом связали бы, всю Россию.

Жорж молча шагал рядом с Халтуриным. В который уже раз поражался он смелости и широте его планов. Реальными были эти планы? В большинстве своем, конечно, нет. Взять хотя бы всеобщую стачку петербургских рабочих. Могла она произойти на самом деле? Вряд ли. Но Степан горячо мечтал о ней, верил в ее возможность. И от этой мечты возникала какая-то возбуждающая энергия. Что-то немногое из многочисленных проектов Степана казалось уже вполне возможным и осуществимым — рабочая газета, например. А почему бы им, землевольцам, действительно не издавать в своей типографии специальную газету для рабочих? Кто будет ее редактором? Конечно, Степан. Лучшей кандидатуры и не сыскать.

— У меня к тебе есть вопрос,— неожиданно сменил тему разговора Халтурин. — У одного из ваших студентов я как-то видел книгу о европейских конституциях. Нельзя ли мне ее получить на два-три вечера?

— Что, что? — изумленно остановился Плеханов. — Книгу о конституциях? Да зачем она тебе?

— Стало быть, надо, коли спрашиваю.

— Да хоть объяснись, для чего тебе понадобились европейские конституции?

Степан оглянулся по сторонам. Петербургская улица была пустынна и холодна.

— Слыхал что-нибудь о «Южнороссийском союзе рабочих»? — спросил Халтурин. — Который был в Одессе?

— Конечно, слыхал.

— Так вот, здесь в Петербурге мы хотим организовать такой же кружок — «Северный союз русских рабочих».

— Кто «мы»?

— Виктор Обнорский, Алеха Петерсон, Петруха Моисеенко. Ты их всех знаешь по кружкам и сходкам.

Плеханов молчал. Вот, оказывается, что имел в виду Степан, когда говорил о рабочей организации, единой и однородной по своему рабочему составу, члены которой будут связаны между собой, как круговой порукой, своим общим классовым сознанием и своими общими классовыми инстинктами.

— Тебе первому из ваших говорю об этом,— продолжал Халтурин. — Ты хоть и не можешь никак расстаться со своей общиной, но из интеллигентов ближе всех стоишь к нам, к рабочему делу. Надеюсь, язык за зубами держать умеешь.

— А ты еще не убедился в этом?

— Убедился.

— Зачем же предупреждаешь?

— На всякий случай, чтоб еще крепче убедиться.

Плеханов усмехнулся:

— Так для этого тебе понадобились европейские конституции?

— Для этого.

— Не вижу связи.
— Связь прямая. Нам нужна политическая программа русских рабочих.
— Вы что же, политикой собираетесь заниматься?
— Собираемся. Одной из главных целей «Северного союза русских рабочих» будет провозглашение лозунга политической свободы.
— Не слишком ли торопитесь?
— А кого нам ждать? Вас, землевольцев, наших учителей, которые топчутся сейчас на месте, не зная, что им делать дальше?
— Выходит, строптивые ученики хотят обогнать своих неповоротливых учителей?
— Выходит.
— Любопытственно.
— А что же делать ученикам, если учителя упорно не хотят понимать?
— Весьма любопытственно.
— Впрочем, я не прав. Лучшие из учителей уже убедились в бессмысленности своего дальнейшего воздержания от политики и активно включаются в борьбу с правительством.
— Весьма и весьма любопытственно.
— Так ты достанешь мне книжку о европейских конституциях?
— Постараюсь.

3

Действительно, о «Южнороссийском союзе рабочих» Жоржу Плеханову приходилось слышать. И немало. Союз был организован в Одессе, куда лет шесть назад приехал революционер из интеллигентов Евгений Заславский и начал вести пропаганду среди рабочих. Его ближайшими помощниками были народник Виктор Костю-

рин и рабочий-металлист Федор Кравченко. По сути дела, это была первая в истории России революционная организация рабочих.

Заславский быстро собрал вокруг себя единомышленников. Его беседы охотно посещали многие металлисты из ремонтных железнодорожных мастерских и грузчики Одесского порта. Идеи Заславского об активной роли фабрично-заводских рабочих в освободительном движении слушатели его кружка вполне разделяли, а некоторые участники первых сходок под влиянием Заславского вскоре сами сделались активными пропагандистами, избирая полем своей деятельности город, рабочую среду. Именно поэтому кружок Заславского почти на сто процентов состоял из рабочих. Интеллигентов принимали только в тех случаях, когда они подчинялись главному правилу для нерабочих членов: «рабочую блузу носить не для маскарада».

«Южнороссийский союз рабочих» оформился в 1875 году. Ядро организации составили шестьдесят человек, работавших на фабриках, заводах, в типографиях и на железной дороге. Примерно около двухсот человек входило в активную сферу влияния кружка. Опорой союза на предприятиях были собрания выборных рабочих, представители которых составляли «Собрания депутатов» — высший руководящий орган союза. Члены «Собрания депутатов» по предложению Заславского переизбирались один раз в месяц — таким образом круг убежденных деятелей организации постоянно расширялся и этим укреплялось его влияние в рабочей среде. Союз не ограничивался работой только в Одессе — нити его связей протягивались в Таганрог, Керчь, Харьков, Ростов-на-Дону (здесь даже возникло отделение союза), а также в Орел и Петербург.

По этому проложенному в столицу каналу до центрального кружка «Земли и воли» и дошли сведения о

главных программных положениях «Союза» — необходимость революционного переворота, уничтожение привилегий господствующих классов, освобождение рабочих от ига капитала.

«Южнороссийский союз рабочих» как организация просуществовал всего несколько месяцев. В том же семьдесят пятом году полиция напала на след нелегального кружка и союз был разгромлен, а члены его арестованы и брошены в тюрьмы.

И вот теперь, три года спустя, Степан Халтурин, нимало не смущаясь неудачей в Одессе и совершенно не опасаясь возможных последствий, вместе с товарищами решил организовать в Петербурге «Северный союз русских рабочих».

...Найдя нужную книгу о европейских конституциях, Жорж отправился на свидание с Халтуриным. Степан пришел на встречу вместе с Виктором Обнорским. (Слесаря Обнорского Плеханов уже немного знал. Это был широкоскулый, круглоголовый человек с большой бородой, высоким лбом и далеко друг от друга расставленными упрямыми глазами.)

Обменявшись несколькими фразами, Жорж сразу же, не откладывая дела в долгий ящик, перевел разговор на рабочий союз.

— Ага, и тебя зацепило! — засмеялся Халтурин. — Надоело со своей кислой общиной возиться, а? Скажи честно?

Жорж внимательно приглядывался к Обнорскому. Ему казалось, что весь интерес Халтурина к Западной Европе, особенно заметно проявившийся именно в последнее время, объясняется прежде всего влиянием Обнорского. Два-три острых вопроса, и медлительный, тяжеловатый на подъем Виктор вступил в разговор.

— Вы спрашиваете, — наморщив лоб, смотрел на Плеханова Обнорский, — какие цели будет преследовать наш

союз? Цели очень разнообразные, но если говорить кратко, то сведены они могут быть к следующей формуле: всем рабочим надо согласиться и уничтожить царя, правительство и вообще всю старую власть, а потом устроить новый порядок, при котором все будут равны.

— И как вы собираетесь назвать этот новый порядок перед рабочими? — спросил Жорж.

— Республикой,— твердо сказал Обнорский.

— Какой именно?

— Социально-экономической республикой.

— Ну, это слишком неопределенно. Попахивает утопией.

— Никаких утопий! — решительно вмешался в разговор Халтурин. — Никаких монархических республик! Самодержавие подлежит уничтожению. Это один из главных и безоговорочных пунктов нашей программы.

— Неплохой пункт,— согласился Плеханов.— И все-таки вам надо опасаться влияния утопического социализма, если вы оперируете такими неопределенными понятиями, как социально-экономическая республика.

— Нечего нам опасаться утопического социализма! — загремел Степан.— Это вам, землевольцам, надо опасаться утопического социализма, если вы до сих пор с мужиками целуетесь и никак от своих зипунных программ отказаться не можете!.. У нас все реально — двести постоянных членов союза и столько же сочувствующих! Все самые лучшие и развитые рабочие из старых кружков вошли!

— Сколько, сколько постоянных членов? — переспросил Жорж.

— Двести. И везде местные отделения центрального кружка — за Невской, за Нарвской заставой, на Выборгской стороне, на Петербургской стороне, на Васильевском острове, на Обводном канале. И во главе каждого местного отделения — районный комитет. Это, по-твоему, утопия?

— Какова ваша конкретная программа? Только не популярно, а подробно, со всеми деталями.

— Изволь. Городским рабочим отводится решающая роль в революционном переустройстве всей русской жизни, так как именно рабочие составляют главную общественную силу и экономическое значение страны.

— Значит, вы утверждаете,— сосредоточенно выговаривая каждое слово, начал Плеханов,— что главную общественную и революционную силу страны, а тем самым и главную народную силу у нас в России составляет не крестьянство, а рабочие, не так ли?

— Да, мы это утверждаем,— тряхнул головой Халтурин,— а всю вашу народническую ересь о самобытности нашей темной деревенщины — решительно отрицаем.

— Вы, народники,— вмешался в разговор Обнорский,— призываете сбросить с социализма его немецкое платье и предлагаете нарядить социализм в посконную народную сермягу. Но не кажется ли вам, что это и есть худший вид утопического социализма, поворачивающего нас назад, к бакунизму? Вас не обижают мои слова?

— Нисколько. Продолжайте, Виктор, я вас внимательно слушаю.

— Для всех, кто основательно изучает социалистическую литературу, не составляет секрета тот факт,— говорил Обнорский,— что немецкое рабочее движение развилось на «плечах» английского и французского рабочего движения. Так почему же нам, русским рабочим, не взять все лучшее из западноевропейского опыта и не перенять у немецких рабочих их лучшие средства борьбы за освобождение своего класса?

— Я сейчас затрудняюсь исчерпывающе ответить на этот вопрос,— сказал Жорж.— Хотелось бы вначале продолжить знакомство с программой вашей организации.

— Пожалуйста,— снова вступил в разговор Степан.— Самой главной своей целью члены «Северного союза рус-

ских рабочих» будут считать непременное ниспровержение существующего политического и экономического строя нашего государства, как строя крайне несправедливого. Члены «Северного союза» будут широко разъяснять передовому русскому обществу и прежде всего рабочему населению задачи своей политической борьбы. Члены рабочего союза глубоко уверены в том, что только полная политическая свобода обеспечивает за каждым человеком самостоятельность убеждений и действий. И так как только политическая свобода в первую очередь гарантирует решение социального вопроса, мы выступаем за предоставление русскому обществу свободы слова, свободы печати, свободы собраний и сходок. Мы требуем ликвидации сословных прав и преимуществ, мы требуем введения обязательного и бесплатного обучения во всех учебных заведениях страны, мы требуем ограничения рабочего времени на заводах и фабриках, запрещения детского труда, принятия фабричного законодательства, отмены косвенных налогов...

— Наши западные рабочие братья,— перебил Халтурина Обнорский,— уже давно подняли знамя борьбы за освобождение миллионов рабочего люда, и нам остается только присоединиться к ним. По своим задачам наш союз будет тесно примыкать к социально-демократическим партиям Западной Европы. Рука об руку с ними мы пойдем вперед и в братском единении и солидарности сольемся в одну грозную и непобедимую рабочую силу!

— Вы читали когда-нибудь Эйзенахскую программу немецкой социал-демократии,— спросил Плеханов после некоторого молчания,— принятую в 1869 году?

— В общих чертах мы знакомы с Эйзенахской программой,— солидно ответил Обнорский.— А вы находите что-то общее между нами и эйзенахцами?

— Не только общее, но и очень много прямых совпадений.

— А что тут плохого? — нахмурился Степан.— Лишь бы дело не страдало. А программы у всех рабочих партий должны перекликаться. Эйзенахцы, по всему видать, толковые ребята — чего ж им нам не подсобить немного?

— Ничего здесь плохого и я не вижу,— согласился Жорж.— Больше того, вы четко сформулировали тезис о том, что завоевание политической свободы является по существу предварительным и обязательным условием уничтожения социального гнета и победы над эксплуататорскими классами. Вы более определенно связываете требование политической свободы с интересами прежде всего самого рабочего сословия. Но дело не в этом.

— А в чем дело? — в один голос спросили и Халтурин, и Обнорский.

— Сейчас объясню. Какие еще требования выставляете вы в программе?

— Мы требуем еще предоставления государственного кредита рабочим ассоциациям,— сказал Обнорский.

— Ну, это уже чистое лассальянство,— развел руками Жорж.

— Опять нехорошо! — вспыхнул Степан.— А ваши народники разве не говорят о том, что государство должно давать субсидии крестьянским общинам?

— Зачем же повторять слабые стороны народнических положений? — улыбнулся Жорж.— Кроме того, насколько я понял, у вас в программе нет ни одного слова о всеобщем избирательном праве.

— Вот это верное замечание,— согласился Обнорский.

— Говорите, что не хотите возвращаться к бакунизму,— продолжал Жорж,— но ведь в пренебрежении к представительным органам, в которых вы, судя по вашей программе, не собираетесь участвовать, слышится явный отголосок бакунизма. Теперь самое главное,— став очень серьезным, сказал Жорж.— Программа вашего союза слишком откровенно игнорирует аграрный вопрос. А в

такой стране, как Россия, ни одна серьезная революционная организация мимо аграрного вопроса проходить не может.

— Да почему же игнорирует? — усмехнулся Халтурин.— Нам наш российский мужичок с его родными полями и лесами да со всеми остальными навозными заботами очень даже близок и дорог!

— Погоди, Степан, не шути,— остановил Халтурина Обнорский,— человек, может быть, дело говорит.

— Да какое там дело! — махнул Халтурин.— Старая песня — община, деревня, дворянская вина перед народом!

— И последнее,— сдвинул брови Плеханов.— На мой взгляд, вы преувеличиваете роль политической свободы. Это опасная ловушка. В свое время я учил тебя, Степан, презирать буржуазные свободы, а что получилось?

— Никак, курица высидела утенка, а? — захохотал Халтурин.

— Дело гораздо серьезнее, чем ты думаешь,— продолжал все больше и больше хмуриться Жорж.— Требование буржуазных свобод может растворить в себе любую революционную программу, даже самую крепкую.

— Да как же может рабочее дело идти вперед без политической свободы?! — возмущенно закричал Степан, совсем забыв о тайном характере их разговора.— И каким образом может быть для рабочих невыгодно приобретение политических прав?

— Ты обвинил меня в народнической ереси,— возвысил голос и Плеханов,— а я обвиняю тебя в рабочей ереси.

— А в чем же она выражается? — прищурился Халтурин.

— В твоем кичливом, презрительном отношении к крестьянству. Сколько вас, рабочих, в Петербурге и в России? Две сотни тысяч — ну, пускай, три сотни. А кре-

стьян в России несколько десятков миллионов! Разве может серьезный революционер пренебрегать интересами подавляющей массы населения? Ты обвиняешь меня в том, что я не вижу жизни, что я уткнулся в общину. А разве ты видишь ее, эту жизнь, если крестьянства для тебя совершенно не существует? Ты бойко научился рассуждать обо всем на свете, но широта знаний еще никому не заменяла их глубины!

Халтурин сидел, опустив голову. Непонятно было, сражен ли он аргументами Плеханова или обдумывает новые возражения. Обнорский с тревогой поглядывал на спорщиков — не слишком ли далеко зашли друзья? Накал страстей вот-вот мог перекинуться из общественной области в личную, превратиться в оскорбительную перепалку.

Халтурин поднял голову и неожиданно улыбнулся.

— Ты гневаешься, Юпитер,— тихо сказал Степан, глядя на Жоржа,— значит, ты не прав.

— В чем же я не прав? — таким же тихим голосом спросил Жорж, радуясь про себя, что высшая точка спора, на которой оба они могли сорваться, кажется, уже позади.

— Сысойку из «Подлиповцев» Решетникова помнишь?

— Как не помнить.

— Сысойка, пока в деревне своей сидел, совсем диким человеком был, как обезьяна на дереве.

— А к чему ты это говоришь?

— А вот к чему... Тебя лично я ни в чем не обвиняю, тебе я многим обязан — ты мне мозги расшевелил и очень много полезного под черепушку положил. За это низкий поклон.

Халтурин встал и картинно, почти до пола, поклонился Плеханову.

— А вот друзья твои бунтари, социалисты из интеллигенции да из студентов, с которыми ты тесно связан и

голосом которых ты невольно иногда говоришь с нами,— продолжал Степан стоя,— в каждом простом человеке все еще Сысойку видят. Они разве о крестьянстве пекутся? Они заботу свою на миллионы Сысоек хотят распространить, на десятки миллионов простых мужиков, а вернее сказать — на простонародье. А зачем же простонародью, рассуждают такие социалисты, свобода печати, когда оно, простонародье, то есть миллионы Сысоек, совершенно неграмотные люди — темней темного леса? Зачем Сысойкам свобода печати, когда по неграмотности и темноте своей они газет и книг не читают и, следовательно, цензурным уставом интересоваться им нет никакого смысла... Зачем Сысойкам политическая свобода, когда они задавлены бедностью и политической жизнью своей страны не интересуются? Интересы Сысойки затрагиваются только экономическими порядками, политические формы государства для него безразличны. Так говорят иногда некоторые социалисты, предостерегая рабочих от увлечения политикой, заботясь о том, чтобы они не стали в городе обуржуазившимися пролетариями.

Халтурин прошелся по комнате и сел на свое старое место.

— Но как же развитому, думающему рабочему согласиться с такими социалистами?.. Как же так, думает самостоятельно рассуждающий рабочий, почему же все это получается? Простому человеку не нужно свободы печати, потому что он ничего не читает. Простонародью не нужно политических прав, потому что оно борьбой политических партий не интересуется. Что же тогда хорошего в этом простонародье, в этом простом человеке, когда он сплошь состоит из одних отрицательных качеств? Ведь это же дикарь-Сысойка!

Степан снова поднялся, прижал руки к груди, в светлых глазах его засеребрились еще ни разу не виденные Жоржем слезы. Судорога исказила красивое и ясное лицо

Халтурина. (Жорж, почувствовав, как по спине у него пробежал холодный озноб, невольно отодвинулся к стене.)

— Да ведь только мы уже не Сысойки,— почти шепотом, страдальчески сдвинув уголки бровей, тихо сказал Степан.— Мы ушли из деревни, мы уже читаем книги, ходим в кружки, стремимся на политическую арену. Мы уже не Сысойки! И доказательством этому служит наше собственное рабочее движение... Но все это только начало. Если мы хотим идти вперед, мы должны сбить перед собой загораживающие наш путь полицейские рогатки! Но пока простонародье будет состоять из дикарей Сысоек, социализм останется несбыточной мечтой. Простонародье должно читать книги, и поэтому оно должно бороться за свободу печати. Оно должно интересоваться политическими делами своей страны, и поэтому оно должно добиваться политических прав. Простонародье должно иметь свои союзы и собрания, и поэтому оно должно добиваться свободы союзов и собраний.

Халтурин перевел дыхание и посмотрел в глаза Жоржу.

— А ты, Георгий, не мучайся несоответствием своих народнических теорий нашему рабочему делу. Бери нашу сторону, и не ошибешься! Я понимаю тебя — ты страдаешь из-за того, что рабочее дело наперекор вашей старой народнической догме самой жизнью выдвинулось вперед крестьянского вопроса. Тебя мучает то положение, что рожденное самой жизнью требование политической свободы в нашей рабочей программе появилось раньше, чем в народнической программе революционной интеллигенции, к которой ты себя причисляешь. Твоя мысль о том, что главной революционной силой, главной народной силой в стране является крестьянство, не укладывается в действительное состояние жизни, которое ты видишь перед собой, в реальное, сегодняшнее состояние на

заводах и фабриках Петербурга. Ты видишь, что этой главной силой стали рабочие, но это не вмещается в твои традиционные народнические представления. Это не влезает в накатанное русло теперь уже искусственного отношения к жизни социалистов-интеллигентов. Но что поделаешь — надо твердо признаться самому себе в том, что сейчас рабочее движение Петербурга на целую голову переросло учение народников. Поэтому и неудивительно, что большинство старых опытных рабочих, прошедших через первые стачки и столкновения с хозяевами, уходят из ваших землевольческих кружков и вступают в наш союз.

Плеханов напряженно молчал. Он почти уже не слушал Степана. В большинстве своем все эти мысли были и его раздумьями над затухающим процессом народнического движения. Но что-то все-таки еще мешало ему сказать самому себе твердое «да». Что же именно?

— Мы сплачиваемся и организуемся,— донесся до него голос Виктора Обнорского,— мы берем в руки знамя социального переворота и вступаем на путь новой борьбы. Мы знаем, что политическая свобода сможет гарантировать нам независимость от произвола властей...

Жорж по-прежнему напряженно молчал. Собственно говоря, он уже не думал о том, чтобы сейчас сказать «да» самому себе, Степану и Виктору. Мысли его уже двигались дальше. Понимание революционерами-рабочими неразрывной связи между политической борьбой и текущими задачами их движения, наверное, будет составлять сильную сторону северного союза. Но какими конкретными способами будет добывать союз себе политические свободы? Каков практический путь социального освобождения рабочего сословия? Кто должен дать ответы на эти вопросы? Халтурин и Обнорский? Вряд ли можно требовать от них этого. Они и так уже сделали огромный шаг в развитии рабочего дела, создавая свой

союз, осознав разницу между рабочим движением и теорией народничества.

Но они еще не поняли в полной мере всех форм политической борьбы. Не поняли, да и не могли, конечно, понять. В этом смысле показательно хотя бы то, что в их программе просто отсутствует такое понятие, как «капитализм». Впрочем, все это вполне объяснимо: нарождающееся русское рабочее движение еще не может выделиться из общего демократического потока в самостоятельное идейное течение.

О чем еще говорят Обнорский и Халтурин? О том, что они получили адрес от варшавских рабочих? Это интересно. Варшавские рабочие приветствуют петербургских собратьев по революционной борьбе и пишут, что пролетариат должен быть выше национальной вражды и преследовать общечеловеческие цели. А что ответили Халтурин и Обнорский? Русские рабочие не отделяют своего дела от дела освобождения рабочего класса всего мира... Ну, что ж, это едва ли не первый пример интернациональных отношений русских рабочих с польскими пролетариями.

Что еще говорит Степан?

— Наш союз не собирается ограничивать свою деятельность только Петербургом,— доносится голос Халтурина.— Само название организации говорит о том, что мы будем распространять свое влияние, как только появятся возможности для этого, на северные губернии России в надежде, что местные рабочие примкнут к нашей программе. А вообще наш идеал — всероссийская рабочая организация...

Всероссийская рабочая организация? Это уже совсем замечательно!.. Но удастся ли «Северному союзу» вырасти до таких масштабов? Удастся ли преодолеть сопротивление властей, избежать преследования полиции, удастся ли сохранить единство и классовую однородность

своих рядов? Хорошие планы нередко рассыпаются в прах от соприкосновения с действительностью. Пример тому — народническое движение, которое начало разрушаться на его собственных глазах. А ведь сколько было сказано когда-то горячих слов, сколько великолепных и, казалось бы, выполнимых планов было составлено еще совсем недавно...

Жизнь — величайший судья — выносила свой безжалостный приговор народнической догме.

Глава седьмая

1

Небо — ослепительно голубое. Деревья — строгие, сосредоточенные. Трава — зеленая, река — извилистая. Все вроде было таким же, как совсем недавно. И в то же время все было уже совсем другим, все изменилось. В небе несутся рваные серые облака, деревья податливо гнутся на ветру, в зеленой траве виднеются жухлые проплешины, река рвется выпрямить пружину своих петель.

Да, что-то произошло, что-то уже изменилось. Круг завершился, замкнулся. Первый полный круг его жизни. Сколько их еще будет, этих кругов бытия на его веку?

— Я ухожу,— сказал Жорж, пристально глядя на Александра Михайлова.

Михайлов молчал. Молчали все — Желябов, Тихомиров, Квятковский, Ошанина, Перовская, Баранников, Морозов, Вера Фигнер. Молчал даже Попов.

— Я ухожу,— повторил Жорж и медленно двинулся в сторону.

Никто не остановил его. Никто не пошел за ним.

И город был таким же, как и раньше. Дома, улицы, церкви, городовой на перекрестке... Два молодых парня в суконных картузах и косоворотках прошли наискосок через площадь. На кого-то оба они были очень похожи... На кого?

Интересно, кто они? Крестьяне? По-городскому одеты. Приказчики? Не те лица. Городские мещане? Может быть... Парни вошли в низкий деревянный сарай, откуда долетело характерное постукивание железа о железо: динь-динь-дон! динь-динь-дон! Жорж подошел ближе. Это была кузница. Парни скинули рубахи, обнажив мускулистые руки и плечи, надели кожаные фартуки, взяли клещи, кувалду и молоток, выхватили из горна раскаленную докрасна болванку и начали оковывать ее: динь-динь-дон! динь-динь-дон! Вот, оказывается, кто они — кузнецы, мастеровые...

Жорж усмехнулся. Выходит, он совсем не думал о том, что произошло там, за городом, в роще, где под видом участников пикника остались лежать и сидеть на траве, когда он ушел, все съехавшиеся в Воронеж члены тайного общества «Земля и воля». Значит, он совершенно не думал о том, что там, в роще, он ушел от товарищей по обществу, сказав, что ему здесь больше нечего делать? Значит, спустя всего несколько часов он уже не думал о своем уходе, если вдруг ни с того ни с сего заинтересовался какими-то совершенно незнакомыми, случайно встретившимися ему мастеровыми?

Так ли это?

Там, в роще, все началось с того, что Александр Михайлов читал последнее, прощальное письмо Валериана Осинского, написанное из тюрьмы, перед казнью: «Не поминайте лихом, желаю умереть производительнее нас... Ваша деятельность будет направлена в одну сторону, но, чтобы взяться за террор, необходимы люди и средства...»

— Валериан должен быть отомщен,— глухо сказал Желябов, когда Михайлов кончил читать.

— И Соловьев тоже,— тихо добавил Морозов.

Молчаливое и почти общее согласие.

Жорж вопросительно и тревожно посмотрел на Попова. Собственно говоря, вопрос о съезде (после неудачного покушения на Александра II и казни Соловьева) поставили именно они, Плеханов и Попов, чтобы пресечь гибельную, с их точки зрения, для организации тактику террора. А что же получается здесь, на съезде? Большинство за террор?

Он стоял около кузницы уже минут десять. Знакомо, как на фабричном дворе у «Шавы», пахло углем и металлом. Искры сыпались с наковальни. Под ударами ручника и кувалды поковка постепенно принимала вид готового изделия... На кого же все-таки были так похожи эти ребята в кузнечных кожаных фартуках, которых он встретил на площади?

И вдруг он понял... На литейщика Перфилия Голованова — давнего его петербургского знакомого, одного из первых городских рабочих, с которым судьба когда-то свела его еще в студенческие годы. Такие же покатые, сутулые плечи, длинные, сильные руки и не произнесенный, но постоянно и молча задаваемый общим выражением лица вопрос — ну что, барин? долго еще такая жизнь продолжаться будет?

Один из кузнецов поднял голову, и Жорж вздрогнул. Нет, нет, это был не Перфилий, это был Иван Егоров — могучий молотобоец с Патронного завода, устроенный Халтуриным на Бумагопрядильню после похорон на Смоленском кладбище шестерых убитых в пороховой мастерской рабочих. Ваня Егоров, как и Перфилий, был с ним еще на Казанской демонстрации... Зимой Иван умер в

больнице пересыльной тюрьмы... А Вася Андреев — сторонник пропаганды среди женщин-работниц? Следы его затерялись в камерах пересылки... Сидят за решеткой Моисеенко, Обнорский, Лука Иванов... А Степан? Что с ним сейчас? Какие мысли будоражат его голову? Какие новые планы возникают у него?

После прощального письма Осинского начали обсуждать программу «Земли и воли». И здесь Плеханов успокоился. Главное направление было прежним — работа в народе. Правда, тут же слова попросил Николай Морозов и предложил дополнение к программе в виде следующей резолюции: «Так как русская народно-революционная партия с самого возникновения и во все время своего развития встречала ожесточенного врага в русском правительстве, так как в последнее время репрессии правительства дошли до своего апогея...»

— Что, барин, не лошаденку ли надо подковать? — бойко спросил кузнец, подойдя к распахнутым настежь воротам кузни.

— Нет, нет, мне ковать не надо,— поспешил ответить Жорж.

— Али какие другие работы по железу — ножи точить али топоры, серпы отбивать, косы?

— Да нет, не требуется...

«...съезд находит необходимым дать особое развитие дезорганизационной группе в смысле борьбы с правительством...»

— Продолжая в то же время работу в народе! — крикнул Михаил Попов.

— Да, да, продолжая,— вроде бы нехотя согласился Морозов.

— Тише, господа, тише,— сказал, оглядываясь по сторонам, Александр Михайлов.

И тут Плеханов не выдержал: Морозов, который...

— А мы смотрим — давно уже барин около кузни стоит,— подошел к воротам второй кузнец,— а ничего вроде бы не спрашивает.

— Я просто запах металла люблю,— улыбнувшись, объяснил Жорж,— и звук кузнечный, потому что...

...напечатал в «Листке «Земли и воли», одним из редакторов которого он был, воинственную статью под названием «По поводу политических убийств», не сочтя нужным уведомить об этом его, Плеханова, тоже редактора «Земли и воли», и поэтому...

— ...от него на душе иногда веселее становится.

— Это верно,— улыбнулся первый кузнец.— Металл, он другой раз душу хорошо веселит, особливо когда работаешь его правильно, с горна аккуратно сымешь и окалину вовремя собьешь. Тогда он себя скажет по всем статьям и служить будет верно, до полного износа, потому как...

...поднявшись и достав из кармана номер «Листка «Земли и воли», Жорж сказал, обращаясь к Морозову:

— Я прошу автора прочитать вслух свою статью о политических убийствах для всеобщего сведения. Как редактор того же издания, я даже не знал о том, что эта статья должна появиться в редактируемом мной органе. И это говорит не о лучшей подоплеке истории ее опубликования.

Морозов, как бы не расслышав последних слов Плеханова, достал свой экземпляр «Листка «Земли и воли» и начал читать:

— *«Политическое убийство — это прежде всего акт мести. Только отомстив за погубленных товарищей, революционная организация может прямо взглянуть в глаза своим врагам; только тогда она поднимется на ту нравственную высоту, которая необходима деятелю свободы для того, чтобы увлечь за собой массы. Политическое убийство — это единственное средство самозащиты при настоящих условиях и один из лучших агитационных приемов. Нанося удар в самый центр правительственной организации, оно со страшной силой заставляет содрогаться всю систему. Как электрическим током, мгновенно разносится этот удар по всему государству и производит неурядицу во всех функциях...»*

— ...железо тоже свой срок имеет. Оно навроде человека — уважишь его, и оно тебя уважит, а не захотишь его понять — и оно тебя никогда не поймет.

— А еще мы, барин, ружья в ремонт берем — кремневые, нарезные,— сказал второй кузнец,— штуцера, берданы... А ежели пистоль какая-никакая неисправная имеется или, скажем, левольверт — неси и пистоль, и левольверт. Мы все исправим, все починим.

— Да откуда у меня пистоль? — рассмеялся Жорж и на всякий случай добавил:— Разве я похож на человека, который имеет оружие?

— Сказать прямо — не похож,— согласился первый кузнец,— видать, больше по ученой части.

— *«Когда приверженцев свободы бывает мало,— продолжал не без пафоса читать Морозов,— они всегда замыкаются в тайные общества. Эта тайна дает им огромную силу. Она давала горсти смелых людей возможность бороться с миллионами организованных, но явных врагов... Но когда к этой тайне присоединится политическое убийство, как систематический прием борьбы — такие*

люди сделаются действительно страшными для врагов. Последние должны будут каждую минуту дрожать за свою жизнь, не зная, откуда и когда придет к ним месть. Политическое убийство — это осуществление революции в настоящем...»

— Господа! — снова не выдержал Плеханов.— И это наша программа?.. Да очнитесь же вы наконец! Кто же мы такие, позвольте вас спросить? Гимназическое общество юношей-мстителей или серьезная революционная организация?

— Пусть дочитает до конца,— твердо сказал Александр Михайлов.

Коля Морозов, обиженно спрятав «Листок «Земли и воли» за спину, продолжал говорить дальше уже от себя. По-видимому, он знал всю свою «карбонарскую» статью наизусть.

— «Неведомая никому» подпольная сила политических убийств вызывает на свой суд высокопоставленных преступников, выносит им смертные приговоры — и сильные мира сего чувствуют, что почва теряется у них под ногами, и они с высоты своего могущества валятся в мрачную и неведомую пропасть...

— Ну, прощайте, рад был с вами познакомиться,— сказал Жорж, пожимая руки мастеровым и ощущая на своей руке их шершавые, жесткие ладони.

— И ты прощай, барин,— сказал первый кузнец.— Будет какая надобность по нашей части — милости просим.

— Чудно,— покачал головой второй,— из господ, а кузней интересуетесь...

— ...С кем бороться? От кого защищаться? На ком выместить свою бешеную ярость? Миллионы штыков, миллионы рабов ждут одного приказания, одного движения

руки. По одному жесту они готовы задушить, уничтожить целые тысячи своих собратьев. Но на кого направить эту страшную своей дисциплиной, созданную веками силу?.. Кругом никого. Неизвестно откуда явилась карающая рука и, совершив казнь, исчезла туда же, откуда пришла... Политическое убийство — это самое страшное оружие для наших врагов, оружие, против которого не помогают им ни грозные армии, ни легионы шпионов. Вот почему наши враги так боятся его. Вот почему три-четыре удачных политических убийства заставили наше правительство вводить военные законы, увеличить жандармские дивизионы, расставлять казаков по улицам, назначать урядников по деревням,— одним словом, выкидывать такие сальто-мортале, к каким не принудили его ни годы пропаганды, ни века недовольства в России, ни волнения молодежи, ни проклятия тысяч жертв, замученных на каторге и в ссылке. Вот почему мы признаем политическое убийство за одно из главных средств борьбы с деспотизмом!

Наступило молчание. Никто не поднимал головы. Плеханов обвел взглядом лица Попова, Преображенского, Щедрина. Все они держались его ориентации, все были «деревенщиками», выступали против террора, стояли за продолжение работы в народе, в городе и деревне. Но сейчас молчали и «деревенщики».

— Я повторяю свой вопрос, господа,— громко сказал Плеханов,— это ли наша программа?

Молчание.

— Что ж будет результатом этого метода? — спросил Жорж, конкретно ни к кому не обращаясь.

— Конституция! — почти выкрикнул Желябов.

— Для российских буржуа? — усмехнулся Плеханов.

— Для представителей народа! — теперь уже громко крикнул Желябов.— Дезорганизованное нашими действи-

ями правительство вынуждено будет созвать учредительное собрание!

— У меня вопрос к Морозову,— поднял руку Попов.— Считаете ли вы, что мы все должны будем действовать в духе вашей статьи?

— Террор — временный метод, сугубо исключительная мера,— глухо заговорил Морозов,— он допускается только в периоды политических гонений. После свержения деспотизма мы перейдем к методу убеждений.

— Короче говоря,— резко сказал Плеханов,— «Земля и воля» приступает к действиям в интересах наследника престола!

Все удивленно посмотрели на него.

— Если вы собираетесь продолжить дело Соловьева,— в голосе Жоржа зазвучали гневные нотки,— или, как вы говорите, действовать способом Вильгельма Телля и Шарлотты Кордэ, то единственным итогом ваших усилий будет смена на российском троне Александра II Александром III!.. Борьба за конституцию — измена народному делу!.. Это иллюзия борьбы!.. Террор ослабит не правительство, а революционную организацию, потому что ответные удары правительства будут убийственны для нас!.. Политические убийства — это самоубийство «Земли и воли»!

— Что же ты предлагаешь? — вмешался Александр Михайлов.

— Сосредоточить все усилия на революционной деятельности в народе под нашим старым знаменем, забыв о терроре!

— Необходимо новое знамя! — поднялся во весь рост Желябов.— Ваши «деревенщики» не революционеры, а всего лишь «культурники»! При отсутствии политических свобод всякая работа в народе бесплодна!

— Вы подменяете народную революцию энергией одиночек! — шагнул к Желябову Плеханов.— Вы заменяете

исторические действия общественных классов субъективной волей революционеров!

— Убийство царя послужит сигналом для политического переворота! — встал рядом с Желябовым Александр Михайлов.— А переворот освободит не только какой-то один класс, а весь русский народ!

— Кто же совершит этот переворот?

— Народно-революционная партия!

— Бланкистская идея?

— Партия должна уметь создать для себя благоприятный момент для захвата власти,— сказал Желябов.

— Мы переходим в прямое наступление на самодержавие! — сказал Михайлов.

— Знаменосцы без батальонов никогда не выигрывали сражений,— сказал Плеханов.— Вы хотите перепрыгнуть через историю.

— Мы хотим остановить наступление капитализма на Россию,— присоединился к Желябову и Михайлову Николай Морозов.— Если, пренебрегая политической деятельностью, мы допустим существование современного государства еще на несколько поколений, то это затормозит революцию на целые столетия. Царь должен быть убит. Теперь или никогда!

— В таком случае мне здесь делать больше нечего,— твердо сказал Плеханов.

Молчание.

— Я ухожу,— сказал Жорж, пристально глядя на Александра Михайлова.

Молчание.

Он отошел от кузницы. Сделал несколько шагов. Динь-динь-дон! динь-динь-дон! Железо заговорило, запело в руках мастеровых за его спиной. Динь-динь-дон! динь-динь-дон!.. Нет, нет, он ни на минуту не забывал о том, что произошло несколько часов назад там, в роще, за горо-

дом. Разговаривая с кузнецами, он непрерывно думал об этом. Но странное дело, какая-то раздвоенность, разорванность сознания владела им все это время. Он вроде бы видел всех их...

...Михайлова, Желябова, Перовскую, Морозова, Квятковского, Веру Фигнер...

...и в то же время нечто совершенно иное вставало перед ним — набережная Обводного канала, темные корпуса Бумагопрядильни, густая толпа фабричных перед воротами, искаженное судорогой лицо Степана, бородатый Виктор Обнорский что-то кричит в толпе, подняв руку...

...а Желябов, облокотившись на руку, лежит на траве — там, в роще, и Соня Перовская стоит на фоне высокого серого неба...

...динь-динь-дон! динь-динь-дон...

...и где-то пляшет, пляшет, отбрасывая назад свои светлые волосы, Лука Иванов, и синеглазый Петр Моисеенко, пощипывая свою редкую бороденку, грустно сидит около окна в полутемном зале «новоканавинской» портерной, поджидая его, Жоржа...

...а вот уже сидят рядом на жухлой осенней траве там, за городом, в роще Морозов и Александр Михайлов, и ветер гнет податливые деревья, и несутся по низкому небу серые, рваные облака...

...динь-динь-дон! динь-динь-дон...

...и свинцовая река рвется распрямить пружину своих петель, а они закручиваются все сильнее, все туже сжимают свои змеиные изгибы и кольца...

...и уже видны воронежские соборы, церкви, колокола, звонницы, и мимо них по огромному, белому, покрытому снегами полю медленно бредут вереницей Михайлов, Халтурин, Желябов, Перовская, Моисеенко, Фигнер, Обнорский, Морозов, Лука Иванов... И он, Жорж, словно видит их всех в последний раз...

...а на высоком обрыве реки стоит Ваня Егоров — и машет, машет рукой, зовет их к себе...

...чья-то рука, высунувшись из обшитого золотом рукава, ложится ему, Жоржу, на сердце и больно сжимает его...

...но, вырвавшись, он бежит по огромному, белому, пустынному, покрытому снегами полю с ярко пылающим факелом в руке и, добежав до края, останавливается и, обернувшись и вздохнув всей грудью, подносит факел к снегам...

...Дон-динь-дон! Динь-дон!..

...и факел гаснет, а снега загораются, и медленно бегут пока еще тонкие струйки огня по белому полю — вспыхнули, разгорелись, заполыхали, и уже зажглись снега по всему огромному полю, багровым заревом осветив все небо,— и горят, горят, полыхают белые снега...

...Дон! Дон! Дон! Дон! Дон! Дон!

2

Из Воронежа Плеханов уехал в Киев. Ему не хотелось видеть никого, кроме одного человека. Роза была в Киеве. И он ехал к ней. Он искал успокоения, отдыха, заботы, ласки, ему нужна была пауза, перерыв между двумя действиями напряженной и

многолюдной драмы, он должен был восстановить силы после многих испытаний и потерь, заново открыть для себя цвет неба, запах травы, пение птиц.

И все это он нашел в Киеве, рядом с Розой и вместе с Розой.

Они ходили вдвоем по городу, в котором его никто не знал, гуляли в тенистых аллеях парков, подолгу стояли, глядя на Днепр, на Владимирской горке, заходили иногда в маленькие кондитерские лавочки и ресторанчики и разговаривали, разговаривали, разговаривали. Казалось, они переговорили в те дни о всей своей прошлой, настоящей и будущей жизни, рассказали друг другу обо всех своих мыслях, мечтах и желаниях, высказали все свои взгляды и убеждения, объяснили симпатии и антипатии, поняли наклонности и привязанности.

Бывает такое время, единственное и неповторимое в жизни двоих людей, когда она и он испытывают состояние полнейшего доверия друг к другу, распахиваются друг перед другом до конца, проникают в общие чувства до последнего предела, находят друг в друге новые качества и возможности, открывают новые миры, горизонты и созвездия, и улетают вдвоем в эти миры и созвездия, к этим новым горизонтам, и долго-долго парят там, в этом неземном и безвоздушном пространстве, свободные от обыденных правил и норм, счастливые от разгадки великой тайны бытия — тайны любви.

И тогда возникает их нерасторжимый на многие годы союз. И тогда приходит ясность и мудрое понимание сложностей. И тогда снова входит в свои берега потревоженное внезапно налетевшим ураганом житейское море, и река жизни, стиснутая было неожиданным поворотом судьбы, снова продолжает свое естественное и безостановочное течение.

...В Петербург они вернулись вместе. Друзья по подполью изготовили им фальшивые паспорта на имя дворян

Семашко (фамилия сестры Жоржа, Марии Валентиновны, которая жила с мужем в Тамбовской губернии,— это помогло бы при случайном аресте), и они поселились в доме номер шесть по Графскому переулку.

В Петербурге было много новостей. «Земля и воля» организационно уже разделилась на два новых общества — «Народную волю» и «Черный передел». В «Народную волю» вошли почти все участники Воронежского съезда, кроме Попова, Преображенского и Щедрина. Они-то вместе с известными землевольцами Стефановичем, Дейчем, Аксельродом, Игнатовым и еще несколькими «деревенщиками» стали ядром «Черного передела».

И что было самое удивительное — к чернопередельцам присоединилась Вера Засулич, которая своим выстрелом в петербургского градоначальника Трепова открыла страницу индивидуального террора народнического движения еще за полтора года до Воронежского съезда. Вера Засулич, кумир революционной молодежи, осудила террористическое направление и высказалась за продолжение пропагандистской деятельности в народе во имя будущей аграрной революции. Значение этого факта трудно было переоценить.

«Черный передел» своим главным требованием выставил новый передел земли между крестьянами. Необходимо было составить четкую программу, выработать устав, сплотить соратников, организовать типографию. Плеханов с головой ушел в новые дела и заботы.

Как-то в один из семейных вечеров в доме номер шесть по Графскому переулку он усадил за стол Розу и, расхаживая по комнате, начал диктовать ей манифест тайного братства «Черный передел».

— Крестьяне! — с пафосом произнес Жорж и сделал рукой выразительный жест, будто перед ним не жена сидела, а стояла большая толпа мужиков.— Крестьяне, мещане и весь трудящийся люд Земли Русской! Вы слыша-

ли, как недавно по церквям и волостям читали царский указ о том, что никакого общего передела земли и никаких дополнительных нарезок к крестьянским участкам не будет и быть не может. Крестьяне! Восемнадцать лет, со времени объявления вам воли, вы безнадежно ждали от царя раздела земли и льгот от податей, налогов и всякого рода повинностей. Сколько раз вы посылали к нему ходоков, умоляя его облегчить вашу горькую долю, но напрасно: ходоков ваших он никогда не выслушивал, а приказывал ссылать в Сибирь. Теперь вы видите, что царь не за вас, а за помещиков и чиновников. Остается еще надежда на наследника, пока господа не перетянут его на свою сторону. А поэтому, крестьяне, сейчас же собирайте сходы и постановляйте всем миром посылать ходоков к наследнику с таким приговором...

— Ты серьезно насчет наследника? — оторвалась от бумаги Роза.— Разве он может что-нибудь изменить?

— Как ты не понимаешь! — удивился Жорж.— Это же агитационный прием. Если в деревнях соберутся сходы и только будут обсуждать эту листовку — цель уже достигнута. Пиши дальше... Крестьяне, ваш приговор должен быть таким: чтобы все земли, луга и леса, как помещичьи, так и казенные, были переделены между всеми поровну, без всяких платежей за них. Чтобы всякий промысел — соляной, рыбный, горный и иной — производился свободно и беспошлинно. Чтобы всякие подати и повинности были уменьшены, а старые недоимки сложены. Чтобы не было больше исправников, урядников и становых. Чтобы не было больше паспортов. Чтобы в солдатах служить меньше теперешнего срока. Чтобы каждая волость, уезд и губерния свободно управляла своими делами миром через выборных и сменяемых должностных людей... Вот этих-то льгот и вольностей добивалось наше братство много лет для всего трудящегося люда. Но много врагов у нас,

много сил наших угнало начальство на каторгу, погубило в тюрьмах и казнило смертью. Несмотря на все эти гонения, мы порешили до последнего дыхания стоять за крестьянскую Землю и Волю. Присоединяйтесь же к нам и будем вместе добиваться того, что вы постановите в своих приговорах... А до тех пор, пока царь не исполнит приговоров, отказывайтесь от присяги, не признавайте его царем, не платите никаких податей, не давайте рекрутов, не пускайте к себе никакого начальства. Если же начальство будет силою вас принуждать, стойте против него дружно. Не слушайте подкупных попов, учиняйте сговор село с селом, волость с волостью и будем отражать насилие единодушной силой!

...В середине ноября народовольцы взорвали царский поезд, шедший из Ливадии, но Александр II остался жив. Жандармские репрессии вспыхнули с небывалой силой. Было разгромлено несколько конспиративных квартир, арестованы десятки людей. Сбывались, сбывались предсказания Плеханова в Воронеже о том, что террор ослабит не правительство, а прежде всего самих революционеров.

Однажды, случайно встретив на сходке Халтурина, Жорж с удивлением узнал, что Степан примкнул к народовольцам.

— А как же рабочий союз? — спросил Жорж.— Или ты уже разочаровался в нем?

— Нисколько. Просто пришло новое время, и поэтому встали новые задачи.

— Какие?

— Царь должен быть убит. Смерть его принесет политическую свободу.

— Это твои собственные мысли?

— Отчасти и мои.

— А я не верю этому и знаю, откуда, вернее от кого, эти мысли пришли к тебе.

— От кого же?

— От Желябова. От интеллигентов, которых ты раньше так не любил, а теперь, видишь ли, полюбил!

— Желябов-то, насколько я знаю, из мужиков. Дяденька он серьезный — если чего замыслил, исполнит непременно.

Разговор этот сильно огорчил Плеханова. Рабочего союза практически уже не было. С уходом Халтурина в террор не было уже и самого Степана — логика событий, логика избранного способа действий, безусловно, оттеснит теперь на задний план все его заботы о рабочем союзе. Сознавать это было горько.

Почему так изменились взгляды Халтурина? Что повлияло на него? Где былая убежденность их долгих разговоров, которая для него, для Плеханова, была шагом вперед в развитии, а Степан вроде бы даже забыл об этом?

Случайный отрывочный разговор не мог дать ответа на эти вопросы, а увидеть Степана в ближайшие дни не довелось.

Плеханов продолжал активно заниматься делами «Черного передела», написал несколько небольших статей для вновь создаваемого одноименного печатного органа, и ему уже виделась большая, общая, обзорная статья, которая должна была рассказать о том, что слух о предстоящем в скором времени переделе земли облетел уже всю Россию и везде перешел в непоколебимую уверенность относительно приближения «слушного часа» и что русский народ положил ожидание этого передела в основу своего примирения с тяжелым существующим положением. С этой точки зрения народ и оценивает все события внешней и внутренней жизни России. Покушение на жизнь императора, казни политических преступников, война с турками на Балканах за освобождение болгар — все эти факты, несмотря на их очевидную несоизмеримость, взве-

шиваются народом исключительно с точки зрения его заветных ожиданий земельного передела.

Да, он много писал в те дни для «Черного передела», но в душе у него происходило нечто странное — он ощущал необычный наплыв каких-то новых противоречий. События последнего года требовали подведения итогов, какого-то длительного и обстоятельного раздумья. «Земля и воля» раскололась, «Северный союз русских рабочих» распался на глазах. Обнорский и Моисеенко — в тюрьме, Степан втягивается в террор. Почему все это происходит? Только ли из-за ударов властей? Или есть и другие причины, внутри движения?.. Надо думать, думать, размышлять, читать новую революционную литературу, изучать последние книги социалистических писателей.

Но разве возможно было делать это в тех условиях, в которых он жил? Нелегальное положение, постоянное беспокойство за Розу, которая в случае его ареста тоже могла оказаться в тюрьме (а она сказала ему недавно, что у них будет ребенок),— все это взвинчивало нервы до предела, лишало покоя и сна, мешало работать. Новое направление — террор — вовлекало в свои ряды все больше и больше прежних единомышленников, уводило за собой романтически настроенную революционную молодежь.

Нужно было срочно что-то делать, нужно было срочно на что-то решаться, нужно было срочно предпринимать нечто такое, что в корне изменило бы все вокруг.

3

Разговор с Халтуриным и собственные мысли о печальной судьбе «Северного союза русских рабочих» вернули его снова ко всем старым размышлениям о крестьянских делах. В своей большой обзорной ста-

тье ему хотелось бы еще рассказать и о том, что вся внутренняя история России, собственно говоря, была и есть не что иное, как длинное, полное трагизма повествование о борьбе не на жизнь, а на смерть между полярно противоположными принципами народно-общинного и государственно-индивидуалистического общежития.

Кровавая и шумная, как ураган, в минуты крупных массовых движений, вроде бунтов Разина и Пугачева, борьба эта не прекращалась никогда, принимая самые разнообразные формы. Откупаясь от государственного вмешательства в его жизнь во времена Ивана Грозного, разбредаясь и заселяя окраинные степи и леса Сибири, образуя шайки понизовой вольницы, оплакивая «древнее благочестие» в глухих раскольничьих скитах, народ всегда и везде отстаивал одни и те же стремления, боролся за одни и те же идеалы.

Какие же это были идеалы?

Прежде всего, свободное общинное самоустройство и самоуправление. Предоставление всем членам общины сначала права свободного занятия земли — «куда топор, соха и коса ходят», а потом, с ростом народонаселения, предоставление равных земельных участков с единственной обязанностью участвовать в общественных «разметах и разрубах». Труд — как единственный источник права собственности на движимость. Равное для всех право на участие в обсуждении общественных вопросов и свободное, только реальными потребностями народа определяемое соединение общин в более крупные единицы.

Вот те начала и идеалы, те принципы общежития, которые так ревниво оберегал народ и которые, кратко формулируясь в боевом девизе «Земля и Воля», обладали магическим свойством волновать массы от Астрахани до Соловецкого монастыря.

Но государство с самых ранних времен своего существования вступило в противоречие с этими принципами.

Оно начало отдавать свободные общины в «кормление» боярам, которые вмешивались в народную жизнь и постепенно лишили общину ее неоспоримого права на самостоятельное решение возникавших внутри ее вопросов. Государство произвольно обложило общины податями для непонятных и чуждых народу целей. Государство захватило общинные земли и начало раздавать их в виде вотчин и поместий представителям высших классов, предоставив им одновременно и право на присвоение крестьянского труда, окончательно закрепостив этим крестьян.

Насилие, насилие и еще раз насилие — от насильственного «спаивания» народа при тишайшем Алексее Михайловиче до насильственного введения картошки с помощью военных экзекуций при незабвенном Николае Павловиче — вот те «блага», которые принесло народу самодержавное государство, те приемы, которых оно неуклонно держалось на протяжении всей своей истории.

И напрасно наши российские историки стремятся убедить русское общество в том, что народ не только добровольно призывал к себе князей, но и всегда охотно подчинялся государственным порядкам. Это подчинение было настолько же добровольно, насколько добровольно, например, подчинились англичанам индийцы.

Все это было насильственным вторжением в народную жизнь, все это было непониманием и игнорированием ее склада и особенностей, попранием народных прав...

Да, русское государство до сих пор оставалось победителем в его борьбе с народом, но кто возьмется высчитать шансы этой борьбы в будущем? До сих пор государство сдавливало народ железным кольцом своей организации. Пользуясь ее преимуществами, оно с успехом подавляло не только мелкие и крупные народные движения, но и все проявления самостоятельной народной жизни и мысли. Государство наложило свою тяжелую руку на казачество, исказило земельную общину. Оно заставило на-

род заплатить за его исконное достояние — землю — выкуп, превышающий стоимость самой земли.

И тем не менее, когда государство уже нимало не сомневалось в гибели самобытной народной жизни, народ с ничем не разрушаемой уверенностью заявляет (слухи и толки о переделе), что далее так продолжаться не может, что необходимо перестроить общественные отношения в духе исконных народных идеалов.

Влияние этой непоколебимой уверенности простирается даже на сферу коммерческих отношений — во многих местностях крестьяне отказываются от покупки земель и воздерживаются от долгосрочных арендных контрактов. По своему влиянию на народные умы слух о переделе земли можно сравнить только со слухами об уничтожении крепостного права, которые послужили поводом ко множеству мелких волнений, с каждым годом все расширявшихся и возраставших в числе, и которые убедили наконец правительство в том, что лучше освободить народ «сверху», нежели ждать, пока это освобождение будет предпринято им «снизу».

И это, безусловно, говорит о том, что влияние государственности было и остается до сих пор поверхностным, что оно не простирается на умы и воззрения широких народных масс. Вот почему правительство забило тревогу и публично, чтением в церквях и волостях, объявило, что ходящие в крестьянстве толки о переделе земли нужно целиком отнести на счет социалистической пропаганды. Оно приписало социалистам такое громадное влияние на народные умы, о котором они до сих пор не всегда позволяли себе даже мечтать.

Мудрено ли после этого, что наше правительство, не имеющее никаких понятий о правовых воззрениях народа, с удивлением услышавшее о живущих в крестьянстве ожиданиях полного аграрного переворота,— мудрено ли после этого, что такое правительство со страхом узнало,

что народ не признает за высшими классами права собственности на землю, что он требует не только экспроприации земли у высших классов, но и установления совершенно иных форм отношения к земле? Мудрено ли, что правительство обвинило во всем этом социалистов?

В данном случае следствие принято за причину. Народные воззрения на землю не потому противоречат воззрениям высших классов, что в России появилась социально-революционная партия. Напротив, эта партия потеряла бы всякий смысл своего существования и навсегда осталась бы экзотическим растением, пересаженным на русскую почву из других стран, если бы не существовало противоречий между народом и государством, если бы эти противоречия не наложили своего отпечатка на всю историю внутренних отношений в нашей стране, если бы эти противоречия не проникали во все сферы человеческих отношений в нашем благословенном отечестве.

Этими противоречиями между народными чаяниями и существующими государственными законами и вызвана к жизни социально-революционная партия. В этих противоречиях и заключаются все надежды партии, в них мы видим залог своего успеха. Эти противоречия мы считаем исходным пунктом, операционным базисом всей нашей революционной работы в народе.

Задачи нашей партии составляются из общих указаний науки и специальных условий русской истории и современной действительности. Мы признаем социализм последним словом науки о человеческом обществе и в силу этого считаем коллективизм в области труда и владения общественными богатствами альфой и омегой прогресса в экономическом строе общества. Мы твердо убеждены в том, что экономические отношения в обществе являются основанием всех остальных отношений, коренной причиной не только всех явлений политической жизни,

но и умственного, и нравственного склада членов общества.

...Он отложил в сторону исписанные листы бумаги. Если когда-нибудь все эти мысли найдут себе место на страницах какого-либо периодического издания, то, безусловно, можно будет считать, что теоретический фундамент партии «Черный передел» в основном заложен правильно. Вернее сказать, он, Георгий Плеханов, только еще приступил к закладке этого фундамента, уложил первый ряд кирпичей будущего здания, строительство которого он продолжит вместе со своими товарищами по новому обществу — Верой Засулич, Павлом Аксельродом, Львом Дейчем, Василием Игнатовым и другими.

Собственно говоря, все эти записанные сейчас на бумаге мысли применительны к русским условиям. Сознательно или бессознательно следуя или противореча им на практике, с ними считались все революционеры и общественные деятели от Будды до Маркса, от великого Ликурга до ничтожного Тьера. Но для осуществления намеченных задач на русской почве социально-революционной партии в России необходимо в первую очередь сломать существующий в нашем отечестве государственный строй. Только на этом пути нашу революционную интеллигенцию ожидает славное историческое будущее, только на этом пути встретит она мост для перехода той огромной пропасти, которая все еще отделяет интеллигенцию от народа.

Но все это в будущем. А что сейчас? Как работать в нынешних условиях, когда в революционной среде царят хаос и разброд, когда противоречия в его собственных рассуждениях (и в первую очередь противоречие между крестьянскими делами и движением городских рабочих) не дают покоя ни днем ни ночью, когда ежедневно, ежечасно, ежеминутно необходимо пополнять свой багаж новыми достижениями социалистических знаний, а жап-

дармские сети здесь, в Петербурге, окружают со всех сторон все плотнее и гуще. Эх, если бы хоть годик поработать на свободе, без ограничений во времени и пространстве, без постоянной нужды прятаться, оглядываться, остерегаться на каждом шагу!..

Такие мысли одолевали его в те дни, когда новое общество «Черный передел» делало свои первые шаги, а «Народная воля», мобилизовав все силы партии на подготовку цареубийства, рыла подкопы, изготовляла динамит, закладывала мины, с нетерпением ожидая, что сразу же после гибели императора произойдет долгожданная народная революция, соберется учредительное собрание, появится всеобщее избирательное право, возникнут свободы слова, печати, совести, собраний, сходок.

Взрыв царского поезда сгустил все краски времени до предела. Начались повальные аресты в обеих столицах и во всех крупных губернских городах. Полиция неистовствовала. Охота за революционерами достигла своей высшей точки. Провалы следовали за провалами.

4

С каждым днем Жорж чувствовал, что жандармское кольцо стягивается вокруг него все туже и туже. Его искали буквально по всему Петербургу. По полицейским сведениям, он был одним из самых закоренелых социалистов. Во время одной из сходок на студенческую квартиру, где незадолго до этого побывал Жорж, ворвалась вооруженная облава. «Где Плеханов? Где Плеханов?» — потрясая револьвером перед лицами девушек-курсисток, кричал жандармский чин. Потом от какого-то своего человека, внедренного в Третье отделение — это был знаменитый Клеточников,— стало известно и о том, что для поимки организаторов взрыва

поезда готовится поголовная проверка паспортов у всех жителей Петербурга, а также всеобщая перепись.

Теперь Жорж ощущал «дыхание» филеров и сыскных, как говорится, у себя за спиной. Иногда приходилось по нескольку дней не выходить из дома, чтобы случайно не наткнуться где-нибудь у знакомых или на проваленной конспиративной квартире на засаду. Он сидел в четырех стенах, лишенный книг и связей с товарищами, рядом была Роза, тревога за которую росла. Опасно стало появляться даже в читальном зале Публичной библиотеки, которая так долго была для него надежным убежищем от полиции.

Однажды кто-то из чернопередельцев сказал ему, что в это насыщенное арестами и сыском время он, Плеханов, поступил бы правильно, если бы в интересах дальнейшего развития революционного дела временно уехал за границу.

Зерно упало на взрыхленную почву. Роза, несмотря на свое положение, тоже была за то, чтобы он скрылся из Петербурга и вообще из России. Жорж задумался. Некоторое время он был решительно против эмиграции. Но события (аресты, аресты, аресты) неудержимо склоняли чашу весов в сторону отъезда. Несколько раз шпики появлялись уже в самом Графском переулке. Дворник дома, в котором он жил по фальшивому паспорту, стал проявлять подозрительный интерес к дворянину Семашко.

Сыскные в конце концов напали на след типографии «Черного передела». Начались аресты среди ее организаторов. На собрании оставшихся на свободе участников «Черного передела» было твердо решено — наиболее известные полиции чернопередельцы, и прежде всего Жорж, должны немедленно выехать за границу. (Фотография Плеханова, Оратора, была роздана многим агентам Третьего отделения, имелась во всех полицейских частях Петербурга. И это было просто чудо — то, что он

до сих пор еще не арестован. Сказывалась старая конспиративная выучка «Земли и воли», которую он прошел за два с половиной года нелегальной жизни в России.)

Роза была отправлена ночевать к подруге, студентке женских курсов медико-хирургической академии Теофилии Полляк. Плеханов, не вернувшийся в Графский переулок после принятого собранием решения, несколько дней скрывался у друзей, переходя с квартиры на квартиру. Теперь вся его жизнь была сосредоточена только на одной-единственной цели — уйти из рук полиции.

Наконец, все было готово. Ночью он пришел проститься с Розой на ее новую квартиру. Роза плакала. «Временно, временно»,— непрерывно и с каким-то нервическим оттенком то и дело повторял Жорж.

Друзья тайно вывезли его из города. На одной из промежуточных станций Варшавской железной дороги он должен был сесть в поезд.

Прощание было невеселым. Все молчали. «Временно, временно»,— снова нервно повторял Жорж. Он надеялся, что эмиграция его будет недолгой, и рассчитывал вернуться в Россию в самом недалеком будущем.

Увы, надеждам этим не суждено было исполниться. Он вернулся на родину только через тридцать шесть лет, всего за тринадцать месяцев до своей смерти. И эта долгая жизнь вдали от России была причиной многих напряженных и скорбных обстоятельств его дальнейшей судьбы.

...Границу он перешел нелегально. Несколько дней пришлось ждать, живя в пограничном городе, в корчме, пока «откроется» налаженное землевольцами еще несколько лет назад «окно».

Получив условный сигнал, он вышел ночью из городка, прошел несколько километров по лесу, спустился к реке, перешел ее вброд и поднялся на противоположный берег.

Россия оставалась позади, лежала за спиной огромным, покрытым мраком ночи, неразбуженным, сонным пространством.

5

Сначала он оказался в Швейцарии, в Женеве. Здесь было много эмигрантов из России. Вскоре приехала Вера Ивановна Засулич, к которой Жорж после ее решительного отхода от терроризма и присоединения к «Черному переделу» испытывал самые искренние дружеские чувства.

Появился Лев Дейч. Ждали Стефановича и еще нескольких чернопередельцев. Жорж, близко сойдясь с группой польских социал-демократов, издававших журнал «Равенство» (особенно хорошие дружеские отношения сложились у него с одним из первых польских марксистов Людвигом Варыньским), предлагает поселиться коммуной вместе с поляками в маленькой деревушке под Женевой. Так и было сделано.

Часто после напряженных занятий в читальных залах он долго гуляет по городу, выходит на берег Женевского озера, садится на скамейку и, глядя на проходящую мимо публику, вспоминает Петербург — бесконечные разводы войск из Манежа на посты и караулы к дворцам великих князей, зеленые потоки чиновничьих шинелей, наводняющие улицы два раза в день с механической аккуратностью заводного механизма, испуганные лица пригородных крестьян, стоящих возле распряженных саней на Сенном рынке и на Калашниковской набережной.

И сразу же за этими испуганными лицами вставала вся Россия, серые деревни, нескладные маленькие города, тихие безответные слободки, мертвый простор полей, глухие леса, необитаемые степи, продутые безжалостными ветрами.

Надо разбудить эту страну, надо растолкать от сна ее города и деревни, осветить кислые сумерки ее пространств энергией новой жизни. Надо, надо, надо! Но как это сделать, как?

...Наконец приехала из России Роза. Вопреки ожиданиям Жоржа, она была грустна, находилась в крайне подавленном состоянии. Дочь Вера, родившаяся в Петербурге, была оставлена на руках у подруги Теофилии Полляк. Роза долго колебалась перед отъездом. Девочка была ее первым ребенком. Материнские чувства не отпускали молодую женщину от колыбели. Но, глядя на Верочку, угадывая в ее лице черты любимого человека, Роза рвалась в Швейцарию. Видя ее страдания, Теофилия уговорила подругу поручить ребенка на время ей, а самой ехать в Женеву. И Роза, наняв девочке кормилицу, тронулась в путь.

О жизни в коммуне теперь, после приезда Розы, не могло быть и речи. Он снял отдельную комнату, но отношений с друзьями не прерывал ни на один день, проводя в коммуне каждую свободную минуту. Чернопередельцы и поляки-социалисты заключили между собой негласный союз — постоянно объединяли усилия в совместных выступлениях на эмигрантских собраниях, помогали друг другу в перевозке нелегальных изданий, подписывали общие декларации.

Постепенно налаживался новый быт. Жорж продолжал усиленно заниматься, Роза помогала ему во всех делах, вела хозяйство. Они жили надеждами на скорое возвращение на родину, мечтали о том, как увидят свою Верочку.

Страшное известие из России оборвало все планы и надежды. Теофилия прислала письмо — девочка умерла от приступа глотошной болезни.

Роза слегла. Состояние ее было близко к нервному потрясению.

— Я предала ее, понимаешь? — предала! — шептала она по ночам.— Она лежала там, у чужих людей, задыхаясь,— маленькая, беззащитная, и не было рядом родной души, чтобы помочь, чтобы облегчить страдания. Она умерла не от болезни, она умерла от одиночества, от тоски по мне, от отсутствия материнской ласки. Я знаю это... Я предала ее, предала!

Жорж похудел и осунулся.

Возвращение в Петербург отпадало. Роза сказала, что не смогла бы жить в городе, где умер оставленный ею ребенок. (Да оно, это возвращение, было бы невозможно и по многим другим причинам. Социалисту Плеханову ни одна из легальных форм жизни в России была недоступна — его сразу бы отправили в Петропавловскую крепость.)

Но и оставаться в Женеве тоже было нельзя. Розе с каждым днем становилось все хуже. Она плакала по ночам, звала девочку, металась во сне, утром подолгу не хотела вставать, сторонилась людей, отказывалась от еды. Знакомые настойчиво советовали переменить обстановку.

Жорж списался с друзьями, взял несколько авансов в журналах под будущие статьи, и в конце 1880 года они уехали из Швейцарии во Францию.

6

Париж удивил их необычным и всеобщим возбуждением — здесь ожидалась и уже была частично объявлена полная амнистия почти всем участникам Парижской коммуны. Из Новой Каледонии, из Алжира, из далеких заморских колоний в Париж возвращались коммунары, уцелевшие от кровавой майской недели и тропической лихорадки. Город встречал их цветами, улыбками, песнями, флагами. Изменчивость судьбы, легкомыслие фортуны: тех, кого десять лет назад рас-

стреливали во всех переулках от площади Бастилии до площади Республики, тех, кого сбрасывали во рвы у стен Пер-Лашеза, сегодня обнимали и носили на руках.

Везде шли митинги в честь возвращающихся героев Коммуны. После Женевы, где только и веселья было что яростные схватки с украинским националистом Драгомановым на сходках русской и польской эмиграции, Жорж впервые почувствовал, что действительно находится в свободной стране. Политические страсти бушевали здесь почти в общегосударственном масштабе, а в сонной Швейцарии политикой, кроме эмигрантов, никто и не интересовался.

Седые, покрытые шрамами и колониальным загаром коммунары поднимались на сколоченные наспех деревянные трибуны, бросали в толпу пламенные лозунги Коммуны. Слушатели отвечали восторженными криками, взлетали над головами цветы и шапки.

Первое время Жорж почти непрерывно с утра до ночи проводил на улицах. Он был поражен и просто ошеломлен накалом общественных страстей, бурливших на площадях и бульварах. Париж, словно очнувшись от десятилетнего сна, торопился высказать свое отношение к событиям семьдесят первого года.

Особенно были оживленными одиннадцатый и двадцатый округа, где проходили последние баррикадные бои версальцев с коммунарами. Здесь на всех перекрестках толпился народ, вспыхивали митинги, выступали самодеятельные ораторы, делились воспоминаниями очевидцы (иногда среди них были даже те, кто сражался на стороне версальцев,— это было вполне во французском духе). Десятки людей охотно показывали места, где был убит Делеклюз, ранен Верморель, расстрелян Варлен — «а здесь арестовали прокурора Коммуны Рауля Риго, а вот здесь стояли пушки генерала Коммуны Валерия Врублевского, а вон там была баррикада Теофиля

Ферре, он стрелял до последнего патрона, я сам видел, как его уводили жандармы». (Некоторые пылкие энтузиасты пытались даже построить — очевидно для большей наглядности — несколько баррикад и заново показать бои коммунаров с версальцами, но невозмутимые ажаны, зорко наблюдавшие за наиболее возбужденными очевидцами, хладнокровно пресекали эти темпераментные попытки.)

Во всех кафе вокруг площади Пер-Лашез только и разговоров было что о Коммуне.

— Коммуна спасла честь Франции! Этот рыжебородый ублюдок, этот ничтожный Наполеон III, так же похожий на императора, как индюк на орла, сдался в плен под Седаном со стотысячной армией. Он заплевал наше национальное знамя! И только Коммуна подняла его из грязи!

— Ты слишком горячишься, Жак, под Седаном капитулировал не маленький Наполеон — он всегда был только пешкой, павлином, клоуном! — а наши буржуа и чиновники, которые уже успели к тому времени растащить всю Францию до последнего су!

— Они и сейчас продолжают продавать нас направо и налево. Не пора ли снова на баррикады?

— Спокойно, Жак. Всему свое время.

Жорж посмотрел на говоривших. Свободные блузы, кепи с лаковыми козырьками, худощавые лица, крупные, привыкшие к физической работе кисти рук. По виду — ремесленники, мастеровые, а по разговору — политики, парламентарии... И вспомнился почему-то Степан Халтурин. Его бы сейчас сюда — он не ударил бы лицом в грязь ни перед какой аудиторией. Вот уж у кого действительно был врожденный инстинкт политика, настоящего рабочего парламентария.

Через несколько дней Роза и Жорж нанесли визит Петру Лавровичу Лаврову.

— Хотите пойти вместе со мной встречать Луизу Мишель, «Красную деву Монмартра»? — сразу же, в первые минуты встречи спросил Петр Лаврович.— Она возвращается из ссылки из Новой Каледонии. Плывет на корабле через два океана. Ее будет встречать весь Париж.

Это был один из немногих дней, проведенных во Франции и запомнившихся на всю жизнь. Жорж как бы воочию, спустя десять лет, увидел то, что называлось Парижской коммуной. Все разрозненные впечатления первых парижских дней слились в единое целое и выросли до размеров огромного обобщения, объяснившего смысл многих событий последних лет его жизни. (Может быть, он был не так уж и прав, когда уходил с Воронежского съезда? Может быть, они — те, кто остался на съезде,— более отчетливо видели историческую перспективу, выходя на политическую борьбу против царизма? Но ведь он, уходя со съезда, думал прежде всего о судьбах социалистической пропаганды в народе, о судьбах социализма вообще в России, который террором отодвигался на задний план. Социализм и политическая борьба. Что важнее? На чью сторону склонится чаша весов истории? И кто же в конце концов из них прав перед историей — они или он? Кто выбрал правильную для России дорогу?.. Все эти мысли, как ни странно, впервые встали перед ним так резко и отчетливо именно в тот день — день встречи в Париже вернувшейся из ссылки героини Коммуны Луизы Мишель.)

Гигантская площадь. Море человеческих голов. Десятки тысяч людей с красными гвоздиками в руках. Взрыв, гром, горный обвал аплодисментов, когда маленькая женская фигура, как искра, взметнулась на возвышение. Сверкают слезы на глазах людей. Цветы, поднятые над головами, превращают площадь в неправдоподобно сказочный луг, красный луг Коммуны. Он колы-

шется, переливается всеми оттенками — бордовым, розовым, багровым, кумачовым.

— Эта легендарная женщина,— тихо сказал стоявший рядом Лавров,— сама Франция, сама революция, сама Коммуна. Она стреляла на баррикаде на площади Бланш до последнего патрона. В хаосе майской недели ей удалось ускользнуть из рук версальцев, но, когда она узнала, что арестована ее мать, она сама явилась в тюрьму, сама вошла в камеру, и ее мать была освобождена. На суде она требовала для себя только смертной казни и умоляла судей расстрелять ее на том самом поле в Сатори, где были казнены ее товарищи и руководители Коммуны Ферре и Россель. «Я буду мстить вам всю жизнь,— крикнула она судьям,— если вы не убьете меня! Я хочу пасть на Саторийском поле, как пали там мои братья по революции. Я не хочу защищаться и отвергаю всякую защиту. Я всем своим существом принадлежу социальной революции и принимаю полную ответственность за все свои поступки. Социальная революция — самое заветное мое стремление. Мое сердце, бившееся за свободу, заслужило право на кусок свинца. И я требую теперь этого права для себя! Если вы оставите мне жизнь, я не перестану везде и всюду кричать об отмщении вам!»

Роза и Жорж, блестя глазами, восторженно смотрели на Лаврова.

— Но ее не расстреляли,— закончил Петр Лаврович,— а отправили на каторгу в Новую Каледонию, на вулканический остров в шестистах милях от берегов Австралии. И там она провела целых семь лет.

Между тем на возвышении, где стояла Луиза Мишель, один оратор сменял другого. Вспоминали уцелевших, но не сумевших приехать в Париж руководителей Коммуны Лео Франкеля и Валерия Врублевского, делегата Генерального совета I Интернационала в Коммуне Огюста Серрайе. Ораторы были далеко, и до слуха Жоржа с тру-

дом долетали отдельные слова и фразы: «Парижская секция Интернационала», «Маркс приветствовал Коммуну», «слом старой государственной машины», «первое в мире правительство рабочих», «диктатура пролетариата».

В толпе на площади возникло какое-то всеобщее продвижение к тому месту, где Луиза Мишель стояла с группой вернувшихся вместе с ней из ссылки коммунаров. Начали выкрикивать какие-то одинаковые слова, скандируя их.

— Петр Лаврович, о чем они? Не разберу...— спросил Жорж у Лаврова.

— Они просят, чтобы Луиза прочитала стихи, которые она написала в день свержения империи Наполеона III и провозглашения республики,— взволнованно объяснил Лавров.— «Красные гвоздики»... Но слышите? — вся площадь помнит их... Нет, нет, французы — удивительный народ.

Луиза Мишель подняла руку — и площадь мгновенно затихла. Луиза начала читать:

Тогда настал предел народному терпенью.
Сходились по ночам, толкуя меж собой,
И рвались из оков, дрожа от возмущенья,
Как скот, влекомый на убой...

Над площадью серебряной песней птицы («ле шансоп де росиньоль» — песня соловья,— вспомнилось Жоржу), высоко и свободно парящей в голубом небе, звенел голос Луизы Мишель.

И постепенно, один за другим десятки, сотни, тысячи голосов стали вторить ей. И вот уже вся огромная человеческая масса гулко выдыхала вслед за Луизой Мишель строки ее стихотворения:

Империи пришел конец! Напрасно
Тиран безумствовал, воинствен и жесток —
Уже вокруг гремела Марсельеза,
И красным заревом пылал восток!

Жорж проглотил подошедший к горлу комок. Какие-то новые, необыкновенно свежие и энергичные чувства переполняли его сердце. Он ощущал себя высоко поднятым над землей, парящим вместе с голосом Луизы Мишель...

Роза обернулась к нему — в глазах у нее стояли слезы.

— Господи, как хорошо! — прошептала она.

А площадь, уже не дожидаясь Луизы, сама гремела тысячами голосов:

> У каждого из нас алели на груди
> Гвоздики красные. Цветите пышно снова!
> Ведь если мы падем, то дети победят!
> Украсьте грудь потомства молодого!

...Домой возвращались медленно, взволнованные только что пережитым.

И еще была грандиозная манифестация, в которую вылились похороны Огюста Бланки. Лавров, Жорж, Роза и еще несколько десятков русских политических эмигрантов, знакомых и незнакомых, шли в рядах многотысячной процессии, направляющейся к Пер-Лашез. Все округа и предместья Парижа прислали свои делегации ремесленников и рабочих. Бланки, выдающегося французского коммуниста-утописта, хоронил весь социалистический Париж. Нескончаемое шествие текло по бульвару Вольтера. Торжественно и траурно звучала музыка. Повсюду были видны красные знамена, и, глядя на это красное море, вслушиваясь в шелест знамен, Жорж снова испытывал те необычно высокие чувства братства и солидарности со многими незнакомыми, но близкими по духу людьми, которые впервые так сильно ощутил он здесь, в Париже, на митинге в честь возвращения из ссылки Луизы Мишель.

7

Жить в Париже приходилось трудно — не хватало денег. Твердого заработка не было — мешала постоянная занятость в библиотеках, встречи с французскими социалистами, участие в рабочих собраниях, в диспутах марксистов с прудонистами. Случай свел с Жюлем Гедом, руководителем (вместе с Полем Лафаргом) недавно созданной Рабочей партии Франции. Жюль Гед просто влюбился в молодого русского социалиста. Они проводили вместе очень много времени. Жорж мог часами слушать рассказы Геда о встречах с Марксом и Энгельсом, а новый товарищ в свою очередь бесконечно расспрашивал Плеханова о России — о декабристах, петрашевцах, Чернышевском, Добролюбове, Писареве. Они нашли друг в друге и слушателя, и рассказчика одновременно. («У нас одна группа крови»,— шутливо говорил Жорж Розе. И Роза, как медичка, будучи свидетельницей их частых встреч и долгих-долгих разговоров, охотно подтверждала это.)

Роза, кажется, уже начинала отходить душой и сердцем после полученного в Швейцарии страшного известия о смерти дочери. Перемена обстановки, новые впечатления, новые люди — все это делало свое дело. Она постепенно выправлялась: снова стала помогать мужу в его научных занятиях, вела переписку с оставшимися в Женеве членами общества «Черный передел». Молодость брала свое — рождались новые планы, зрели и укрупнялись замыслы. С находившимися во Франции и группировавшимися вокруг Лаврова народовольцами велись переговоры о возможном в будущем объединении в единую заграничную группу. Было достигнуто даже (на чужбине противоречия во взглядах иногда выглядели и не такими уж непримиримыми) соглашение о совместном издании серии брошюр под общим названием «Русская социаль-

но-революционная библиотека». Для этого Жорж скрепя сердце согласился обсудить с чернопередельцами вопрос о внесении в их программу пункта «О важном значении террора для борьбы с русским правительством».

В эти месяцы парижской жизни давние связи с Петром Лавровичем Лавровым переросли в доверительную дружбу. Накал политических страстей в общественной жизни Франции, вызванный образованием Рабочей партии и амнистией коммунаров, общее участие в нескольких собраниях и диспутах по этому поводу тесно сблизили их, хотя Лавров на тридцать три года был старше своего молодого друга. В отношениях с Жоржем и его женой Петр Лаврович, ветеран русской народнической колонии в Париже, добровольно принял на себя обязанности некоего покровителя и опекуна. Видя повышенный интерес Жоржа к работам Гегеля, Фейербаха, Маркса, Энгельса, Лассаля, он предоставил в его распоряжение всю богатейшую свою библиотеку, в которой особенно тщательно были подобраны сочинения именно этих немецких ученых.

И Жорж иногда пропадал в квартире Лаврова целыми днями. Зная, что Петр Лаврович состоит в близких отношениях с организаторами «Международного товарищества рабочих», он при каждом удобном случае задавал ему, как и Жюлю Геду, вопросы о Марксе и Энгельсе. И Лавров (он подчеркнуто выделял Жоржа из всего потока непрерывно поступающей из России политической эмиграции) подолгу и подробно разговаривал с ним об основателях Интернационала.

— Скажите, Петр Лаврович,— спросил однажды Жорж во время одного из таких разговоров,— вы считаете себя последователем идей Энгельса и Маркса?

— Я считаю для себя честью называться последователем Маркса,— ответил Лавров.— Я признаю себя учеником Маркса с тех пор, как познакомился с его эконо-

мической теорией. Нас связывают годы деловых отношений и с ним, и с Фридрихом. И объясняется это многими причинами. Во-первых, мы почти сверстники. Я младше Карла на пять лет, а Энгельса — всего на три года. А во-вторых, они считают меня — очевидно, по возрастному признаку — своеобразным дипломатическим представителем революционной России в Западной Европе, неким старейшиной русской эмиграции в Париже. Не скрою, мне доставляет удовлетворение быть их посредником в делах нашего нелепого и многострадального отечества. Россия, насколько я знаю, занимает в их интересах в последние годы весьма значительное место. Ведь они даже выучили в зрелом возрасте русский язык, чтобы иметь возможность в подлинниках читать нашу легальную и нелегальную литературу.

— Я знаю,— кивнул Жорж.

— И несмотря на все это, у меня есть много расхождений с Карлом и Фридрихом в теоретических построениях. Я ведь, знаете ли, в общем-то не экономист и никогда специальных работ по экономическим вопросам не писал. Но тем не менее воздействие Интернационала на свою деятельность здесь, за рубежом, безусловно, ощущал и ощущаю. И, кроме того, считаю формулу товарного обращения (товар — деньги — товар) и всеобщую формулу капитала (деньги — товар — деньги) одним из величайших открытий нашего века.

— А вот я, Петр Лаврович,— сказал Жорж,— учеником Маркса себя назвать не могу.

— Да почему же? — улыбнулся Лавров.— Это очень легко. Сейчас весьма модно называть себя марксистом. Прочтет какой-нибудь чересчур подвижный юноша две-три брошюрки похожего направления, и готово дело — объявляет себя сторонником диктатуры пролетариата.

— А мне что-то мешает еще называться марксистом. Хотя прочитал я, конечно, не две-три брошюрки...

— Помилуйте, Жорж, да я вовсе не по вашему адресу!

— ... а почти всего изданного Маркса и Энгельса, а вот не могу. Какая-то старая бакунинская закваска внутри бродит и нет-нет да и выскочит наружу, как пузырек от слишком старых дрожжей.

— Бакунизм цепок,— согласился Лавров.— Цепок и навязчив. Там ведь все очень просто — бунт, переворот, разрушение! Михаил был абсолютно уверен в том, что народ уже давно готов к революции — хоть завтра начинай! И народ и демократическая интеллигенция. А ведь дело обстоит далеко не так. Необходимо длительное подготовление социальной революции путем развития научной социалистической мысли в интеллигенции и путем пропаганды социалистических идей в народе.

— Совершенно согласен с вами, Петр Лаврович.

— Для победы революции в России — крестьянской, отсталой стране — нужен большой отряд пропагандистов, которые должны приобрести высокую научную подготовку, прежде чем вступят на арену революционной борьбы.

— Собственно говоря, именно этот пункт отчасти и вызвал мое расхождение с новым террористическим направлением в нашем движении,— сказал Жорж.

— Ваше расхождение с «Народной волей» стоит лично для меня под большим вопросом. Я в последнее время все больше и больше склоняюсь к идее прямой политической борьбы с царизмом. По самодержавию надо наносить непосредственные и сильные удары. Нашему движению необходимо придать боевой дух. Уроки Парижской Коммуны — лучший пример. Да и Маркс с Энгельсом не устают постоянно говорить об этом.

— Вы знаете, Петр Лаврович,— начал Жорж,— когда я впервые прочитал «Манифест Коммунистической партии», меня прямо-таки обожгла беспощадная правда этой суровой книги. Тогда же я подумал о том, что с такой

беспощадностью пишутся, наверное, только самые главные документы эпохи.

— Эта беспощадность, о которой вы говорите, на мой взгляд, ощущается только тогда, когда читаешь «Манифест» в подлиннике, то есть по-немецки.

— Да, я согласен с вами. Для широкой читающей публики в России «Манифест» по-настоящему еще не прозвучал. Может быть, это объясняется тем, что не существует пока настоящей марксистской терминологии в русском языке. Было бы, конечно, в высшей степени полезно создать такую терминологию и познакомить молодую Россию с «Манифестом» в новом, современном переводе.

— Кстати сказать, не взялись бы вы за это полезное дельце? Читающая русская публика была бы весьма благодарна вам за это.

— Мне переводить «Манифест»? — удивился Жорж.

— А почему бы и нет? Нашей социально-революционной библиотеке такое издание весьма пригодилось бы.

— Из всех русских, живущих здесь и пишущих на социалистические темы, такая работа, как мне кажется, по плечу только вам, Петр Лаврович, автору «Исторических писем». Вы с вашим опытом и личным знакомством с Марксом и Энгельсом...

— Э-э, батенька, нет! Я человек уже в преклонных годах, а если уж затеваться с «Манифестом», то нужен молодой ум и абсолютно свежие мозги. Вы совершенно справедливо изволили заметить, что новый перевод должен быть обращен прежде всего к молодой России, к ее будущим поколениям борцов. И поэтому он должен быть исполнен молодой мыслью со всей присущей ей новизной восприятия и во всеоружии современной, принятой у теперешней молодежи социалистической терминологией.

— Я, может быть, и взялся бы когда-нибудь за эту работу,— задумчиво сказал Плеханов,— но только не сейчас. Во-первых, не хватает еще достаточно знаний. У меня

ведь образования систематического нет. Два курса горного института да четыре месяца Константиновского артиллерийского училища...

— Как, вы артиллерист? — необычайно обрадовался Лавров.— А я ведь, батенька мой, тоже некоторым образом к этому роду войск принадлежу! В некие старозаветные времена величался даже профессором Петербургской артиллерийской академии. Да вот, видите ли, после выстрела Каракозова был сослан, благополучно сбежал сюда, в Париж, и уже здесь заделался социалистом...

— Я все это знаю, Петр Лаврович,— улыбался Жорж.

— Выходит, не случайно мы с вами такую тесную компанию здесь завели, а? Были артиллеристами, а стали социалистами. Не плохая присказка, не правда ли?

— Весьма неплохая.

— Так, так... Значит, во-первых, вы ощущаете нехватку образования. Весьма похвальное критическое отношение к себе для человека с такой широкой популярностью в социалистической среде, как у вас. Считаю, что для вашего возраста это дело поправимое... Ну-с, а какая же вторая причина?

— Вторая причина самая банальная. И даже, я бы сказал, тривиальная. Как говорит мой украинский «друг» в Женеве пан Драгоманов — «нема грошей для жизни хорошей». Очень много времени уходит на поденщину, Петр Лаврович. Сейчас я, например, занят составлением биографии историка Мишле. Одновременно пытаюсь переводить роман. А когда становится совсем туго, беру в одной аптеке конверты, надписываю на них адреса ее клиентов.

— Ничего, и это дело тоже поправимое,— бодро сказал Лавров.— Артиллерист должен помогать артиллеристу. Что вы скажете, если я вам предложу написать серию статей экономического характера, но, разумеется, в легальном плане, в журнале «Отечественные записки»?

Кстати, я там вашу статью о новом направлении в политической экономии читал. Неплохая работа, хотя, конечно, есть и возражения, но дело сейчас не в этом.

— Я готов выслушать ваши замечания, Петр Лаврович. Вы же знаете, как я дорожу вашим мнением.

— Потом, когда-нибудь потом... Так что же, беретесь за серию?

— О чем она должна быть?

— Есть такой немецкий экономический писатель Карл Родбертус-Ягецов. Надеюсь, приходилось слышать? Так вот, «Отечественные записки» давно уже просят меня написать о нем. Но вы же знаете, я с экономикой не совсем в ладах. Грешен, но что поделаешь... Теперь я хочу передать этот заказ вам. Публикация гарантирована. По всей вероятности, возможен даже аванс.

— Петр Лаврович, я бесконечно благодарен вам за это предложение, но сразу согласиться не могу. Нужно, наверное, хотя бы немного полистать этого Родбертуса, прежде чем садиться за серию о нем.

— А зачем же сразу соглашаться? Листайте себе на здоровье, а я тем временем напишу в Петербург. А когда придет ответ, вы, смотришь, уже и полюбите нашего Родбертуса.

8

Да, жизнь в Париже была нелегкой. Роза, оплакав в последний раз погибшую в Петербурге без материнской заботы Верочку, решилась на второго ребенка. Этого же хотелось и самому Жоржу, но неожиданно все их семейные планы оказались под угрозой. Внезапно и, как это всегда бывает, одновременно исчезли все источники доходов: потребность в переводном романе отпала, печатать биографию Мишле издатели отказались

и в довершение всего перестал давать конверты для надписи адресов аптекарь, сославшись на неразборчивый почерк русских.

Некоторое время удавалось получать в кредит в ближайшей молочной лавочке сыр и яйца, но не было денег на спиртовку, и яйца приходилось глотать сырыми. Хозяин молочной лавочки навел справки о финансовых возможностях молодой четы и кредит закрыл.

В конце концов они перебрались из гостиницы в более дешевые меблированные комнаты, потом еще в более дешевые, и еще, и еще. Пришлось снимать даже такое помещение, где мебелью служили пустые ящики из-под продуктов.

— Зато теперь не нужно думать о еде,— смеялся Жорж.— Ящики очень вкусно пахнут ветчиной.

Но Розе было уже не до смеха — она ждала второго ребенка. Положение стало угрожающим для ее здоровья.

Было принято решение переехать из Парижа в пригород, в деревню Мольер. Поселились в обыкновенном крестьянском доме, и хозяева, набожные католические крестьяне, памятуя о заповеди христовой — люби ближнего своего, открыли им временный кредит.

В этих условиях, тратя каждый день несколько часов на дорогу в город и обратно, где он продолжал заниматься в библиотеке Святой Женевьевы, Жорж и написал серию статей об экономической теории Карла Родбертуса-Ягецова. Иногда, шагая к зданию библиотеки по бульвару Сен-Жермен от Бурбонского дворца, Жорж явственно ощущал все признаки голодного головокружения. Приходилось садиться на скамейки под могучими старыми платанами и ждать, пока пройдет полуобморочное состояние.

Он похудел и осунулся в эти месяцы. Ежедневные пешие путешествия отнимали силы, но никто не слышал от него никаких жалоб — он писал по ночам статьи о Родбертусе, днем читал у Святой Женевьевы и ухитрялся

даже иногда посещать вольнослушателем некоторые лекции в Сорбонне. Как ему удавалось все это делать — оставалось загадкой, тайной. Он жил в те дни исключительно на волевом напряжении и ни за что не хотел бросать статьи о Родбертусе. Позже врачи определили, что именно в этот период произошла первая скрытая вспышка туберкулеза. Плохая наследственность — и мать, и отец Плеханова умерли от болезни легких — и тяжелейшие житейские условия нанесли тогда впервые сильный удар по его здоровью, от последствий которого он уже не мог освободиться потом всю жизнь.

При таких невеселых обстоятельствах у Плехановых родилась дочь. Ее назвали Лидией.

Наконец пришли долгожданные деньги из России — аванс за статьи в «Отечественных записках». Оставаться во Франции практически было невозможно. В Швейцарии жизнь была в два раза дешевле. Не раздумывая больше ни одной минуты, Жорж на скорую руку собрал жену и дочку и вместе с провожатым отправил их в Кларан.

В течение нескольких дней он оплатил все долги и, простившись с Петром Лавровичем Лавровым и французскими друзьями-социалистами (целый день они провели вместе с Гедом), отправился за Розой и Лидочкой в Швейцарию.

Здесь, в Кларане, он и приступил к переводу «Манифеста Коммунистической партии». Впоследствии он напишет о том, что работа над переводом «Манифеста» составила целую эпоху в его жизни, что теория Маркса, подобно ариадниной нити, вывела его из лабиринта противоречий, в которых долго, слишком долго билась его мысль под влиянием Бакунина, и что в свете этой теории стало совершенно понятным, почему революционная пропаганда встречала у рабочих гораздо более сочувственный прием, чем у крестьян.

В течение многих лет революционная Россия будет знакомиться с «Манифестом Коммунистической партии» по переводу, сделанному Плехановым. Несколько поколений русских революционеров выйдут на путь борьбы с самодержавием, осененные высоким смыслом марксистского мировоззрения, главные формулы которого на русском языке впервые были выведены рукой Георгия Валентиновича Плеханова.

Глава восьмая

1

Итак, маленькая, тоненькая книжка лежала перед ним. На ее желтой обложке черными, строгими буквами было напечатано: «Манифест дер Коммунистишен Партай. Февруар 1848. Лондон. Пролетариер аллер Ляндер верейнигт ойх».

Плеханов перевернул обложку. Первая строчка вступления ударила образной точностью широкой и динамичной мысли: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма».

Вот она, та категорическая, бескомпромиссная и беспощадная интонация, которая произвела на него такое сильное впечатление при первом же чтении. Интонация генерального документа эпохи. Дающая точную картину своего времени. Определяющая тенденцию его развития.

«Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские».

Какая фраза? Залп картечью, а не фраза. Залп по всей реакционной Европе двумя бортами одновременно. От опереточного папы римского до Николая Павловича Романова. Французские радикалы поставлены в затылок

немецким полицейским в один жандармский ранжир. А Меттерних, главный инициатор репрессий против австрийских рабочих, свергнутый революцией 1848 года, навсегда пригвожденный этой фразой к позорному столбу истории? А Гизо, французский премьер, по распоряжению которого когда-то был выслан из Парижа Маркс, тот самый Франсуа Гизо, которого революция 1848 года вышвырнула на задворки истории?

«Манифест» вышел в феврале 1848 года, а революция началась летом. Значит, «Манифест» как бы предугадал падение и Меттерниха, и Гизо? Значит, он был направлен против политического могущества обоих и способствовал их ниспровержению? Вот она, сила предвидения боевого революционного документа. Сила предвидения и сила прямого революционного действия.

И еще одно. Главное в этой фразе — слова «священная травля». Простым соединением двух понятий обозначена общая классовая позиция реакционеров всех видов. Для них травля коммунизма — священна, то есть у них нет другого выхода, кроме как везде и всюду травить коммунизм. Они всегда будут его травить. Это для них — святая святых. Следовательно, у рабочих тоже нет никакого другого выхода, кроме как становиться на общую классовую позицию, объединяться против реакционеров, как реакционеры объединяются против рабочих (папа, царь, Гизо, Меттерних), и выходить на борьбу с реакцией. Это — борьба против реакционеров всех видов — тоже святая святых для рабочих.

Вот как надо писать! Вот у кого надо учиться оружию слова — прямого, беспощадного, емкого. Всего один абзац, а какое огромное, почти необъятное поле для работы мысли, какое мощное излучение исторической энергии, какая неопровержимая классовая правота, фактическая достоверность, эмоциональная насыщенность, точная направленность, перспективная устремленность!

Коммунизм признается уже всеми. Пора коммунистам открыто изложить свои взгляды. Пора сказкам о призраке коммунизма противопоставить «Манифест Коммунистической партии».

Переводить такие фразы хочется без конца. Это не только перевод. Это — школа, академия социалистических знаний. (Не об этом ли он мечтал в Петербурге в последние дни перед отъездом, когда полиция замыкала кольцо вокруг него?)

И не только социалистических знаний. Это еще и школа литературного вкуса, школа революционной стилистики. Тонкая игра на нюансах, на обратном значении понятия «призрак» дает необходимый и убедительный эффект. Не призрак, а крепчайшая реальность! Цепко заземленная реальность. В крови и в плоти. Какой уж там может быть призрак, когда нет такой оппозиционной партии, которую ее противники, стоящие у власти, не назвали бы коммунистической!

Реальность, полная реальность. Вот какой результат достигается изящной иронией в словах «пора сказкам о призраке противопоставить манифест самой партии».

Не призрак-бродяга, а МАНИФЕСТ (обоснование реальности, заявленное во всеуслышание) появляется из туманной перспективы на арену истории.

2

Глава первая. Буржуа и пролетарии. Как следует понимать само это слово — «буржуа»? Что подразумевается под этим словом? Из каких коренных и в то же время самых простых и доходчивых понятий оно складывается?

Очевидно, буржуа — это класс современных капиталистов, собственников средств общественного производства, применяющих наемный труд. Очевидно, буржуа — это...

Да что там долго думать! Буржуа — это Кениг, Мальцев, Максвелл, Шау, братья Шапшал, Беккер, Мичри, акционеры Новой Бумагопрядильни.

И тогда, следовательно, пролетарии — это Степан, Моисеенко, Обнорский, Митрофанов, Лука Иванов, Вася Андреев, Тимофей, Иван Егоров.

И если «история всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов», то все происходившее в Петербурге на «Новой Канаве», и у «Шавы», и у Максвелла, и у Мальцева, и у Кенига — все это было страницами истории, «прошелестевшими» в его собственной жизни, все это было страницами истории, «написанными» ею на его глазах. Значит, он был прямым свидетелем «шагов» истории, которые гулко прозвучали на набережной Обводного канала, на мостовых Нарвской заставы и Невской заставы, около Патронного завода и между крестами Смоленского кладбища.

История гремела пушками Парижской Коммуны на берегах Сены, на бульваре Вольтера, на склонах Монмартра, где сражались батальоны генерала Коммуны Валерия Врублевского, где стреляли на баррикадах до последнего патрона Луиза Мишель и Теофиль Ферре, где упали Варлен, Делеклюз и прокурор Коммуны Рауль Риго.

Значит, историей были и Казанская демонстрация, и «Северный союз русских рабочих», и все кружки «Земли и воли», в которых он вел пропаганду среди рабочих.

А хождение в народ, поселения в деревне, выстрелы Каракозова и Соловьева, взрыв царского поезда, бомбы Рысакова и Гриневицкого, покончившие с Александром II,— это тоже было историей?

Было, безусловно, было. Но гром пушек Коммуны и треск револьверных выстрелов Каракозова и Соловьева, стрелявших в Александра II,— это были разные страницы истории. Как были, наверное, разными страницами прог-

рамма «Северного союза русских рабочих» и программа «Народной воли».

Обо всем этом — писать, писать и еще раз писать! Немедленно взяться за анализ всех этих событий и документов, как только будет закончен перевод «Манифеста». Именно «Манифест» дает теперь ему, русскому социалисту Георгию Плеханову, твердое понимание причин его ухода с Воронежского съезда.

Он, Георгий Плеханов, делает второй перевод «Манифеста» на русский язык. Первый перевод был выполнен Бакуниным. Может быть, в этом тоже есть некий смысл? Бакунин долго влиял на его взгляды. Но сейчас он уже окончательно освободился от бакунинского влияния. И как прямое выражение этого освобождения и преодоления — новый перевод «Манифеста», который делает он, Плеханов. Впрочем, не следует перегружать слишком большим смыслом собственные поступки и действия. Главное, быстрее закончить перевод и взяться за русские дела.

Бакунизм вытеснен из его мировоззрения именно «Манифестом». Но было бы это возможно без петербургских кружков, без знакомства с Халтуриным, Обнорским, Моисеенко, Лукой Ивановым, без стачек на Новой Бумагопрядильне, у Кенига, Мальцева, «Шавы», Максвелла? Без приезда в Париж именно в те дни, когда возвращались из ссылок амнистированные коммунары? Без знакомства и разговоров с Жюлем Гедом? Без долгих-долгих часов, проведенных на бульваре Менильмонтан у стен Пер-Лашеза? И на круглой площади Бастилии с ее колонной и ангелом Свободы? И на крутых монмартрских улицах, откуда всего лишь десять лет назад версальцы хотели увезти пушки национальной гвардии, а рабочие батальоны отбили их, спустились с Монмартра вниз, заняли Вандомскую площадь — и с этого и началась Парижская Коммуна. Всего лишь десять лет назад это было.

...Итак, буржуа и пролетарии. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый всегда находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или общею гибелью борющихся классов... (А детство в Гудаловке? Отец и мужики? Господская усадьба и деревня? Жестокие его предки и безответные, безропотные плехановские крестьяне, покорно сносившие все издевательства дяди Михаила, деда Петра и прадеда Семена? И разве не первым шагом к «Манифесту» было прочитанное когда-то в юности, в военной Воронежской гимназии знаменитое письмо к Гоголю маменькиного родственника неистового Виссариона Белинского?)

В предшествующие исторические эпохи почти повсюду наблюдается расчленение общества на различные сословия — целая лестница общественных положений. В Древнем Риме — патриции, всадники, плебеи, рабы, в средние века — феодальные господа, вассалы, цеховые мастера, подмастерья, крепостные. Да где же еще как не в России можно наблюдать это расчленение общества? Такой крутой лестницы различных общественных положений, как в огромной романовской вотчине, не сыскать, пожалуй, во всем мире. В этом смысле «Манифест» словно для самой многострадальной матушки России и писан-то.

Вышедшее из недр погибшего феодального общества современное буржуазное общество не уничтожило классовых противоречий. Оно только поставило новые классы, новые условия угнетения и новые формы борьбы на место старых. (И после этого могут еще находиться люди, которые утверждают, что учение Маркса неприменимо для России? Вот еще подтверждение правоты Степана Халтурина, когда он полностью перенес свои революци-

онные интересы с крестьянства на рабочий класс. Реформа! — вот потрясающая иллюстрация правильности всех этих положений «Манифеста» для России. Реформа 1861 года словно нарочно проводилась в крепостной России для того, чтобы подтвердить верность всего духа «Коммунистического манифеста», изданного в 1848 году в Лондоне.)

3

Он устало откинулся на спинку кресла. Необходимо сделать перерыв. Надо встать из-за стола и немного пройтись по комнате. Несколько шагов наискосок из угла в угол. Интересно, что поделывает сейчас Вера Ивановна Засулич? Что пишет Павел Аксельрод, чем занимается Дейч? Он, Жорж, как-то устранился от всего, с головой уйдя в перевод «Манифеста».

Впрочем, товарищи по «Черному переделу», кажется, не очень осуждают его, Жоржа, за отрыв от коллективных дел. Все понимают огромную важность взятой им на себя работы. Революционной России нужен новый перевод «Коммунистического манифеста». Старый, бакунинский перевод, как и сам бакунизм,— вчерашний день новой революционной России. (А ведь сколько раз говорил он эти слова — об отказе от бакунизма — самому себе и сколько раз убеждался в том, что нет-нет да и обнаружит где-то на «периферии» своих размышлений последний, маленький и цепкий «репей» бакунистических мыслей. Но теперь, с началом работы над «Манифестом», бакунизм действительно —давно прошедшее время.)

Итак, к столу!

...Эпоха буржуазии упростила все классовые противоречия человеческого общества до предела. Человеческое общество все больше и больше раскалывается на два боль-

ших и предельно враждебных друг другу лагеря, па два больших и стоящих (как два вражеских войска) друг против друга класса — буржуазию и пролетариат. (Взять, например, микроскопически уменьшенную ячейку человеческого общества, в данпом случае петербургского общества — район Обводного канала. Какие главные противоречия жизни можно было наблюдать здесь даже невооруженным глазом, скажем, весной семьдесят восьмого года? Желание новоканавинских ткачей изменить условия своей жизни и труда в лучшую сторону и нежелание акционеров Бумагопрядильни принять требования рабочих. Вот тебе и классический пример тезиса о предельном упрощении классовых противоречий. А через год к забастовавшей Бумагопрядильне присоединились и «шавинские» прядильщики, и мальцевские, и максвелловские. То есть лагерь петербургских пролетариев, предельно враждебных хозяевам фабрик господам Мальцеву, Шау и Максвеллу, за один только год увеличился в несколько раз.)

...Открытие Америки и морского пути вокруг Африки создало для подымающейся буржуазии новое поле деятельности. Обмен с колониями, увеличение количества средств обмена и товаров вообще дали невиданный до тех пор толчок к развитию промышленности, торговле и мореплаванию и тем самым вызвали к жизни в распадавшемся феодальном обществе революционный буржуазный элемент. Прежняя феодальная, или цеховая, организация промышленности не могла больше удовлетворять спрос, возраставший вместе с увеличением новых рынков. Место феодальной, цеховой организации промышленности заняла мануфактура. Цеховые мастера были вытеснены промышленным средним сословием. (Ах, как чешутся руки разобрать все эти положения на российской истории!)

Но рынки все росли, спрос все увеличивался. Удовлетворить его не могла уже и мануфактура. Тогда пар и ма-

шина произвели революцию в промышленности. Место мануфактуры заняла современная крупная промышленность, место промышленного среднего сословия заняли миллионеры-фабриканты, предводители целых промышленных армий, современные буржуа.

Крупная промышленность создала всемирный рынок, подготовленный открытием Америки. Всемирный рынок вызвал новое колоссальное развитие торговли, мореплавания и средств сухопутного сообщения. А это в свою очередь оказало воздействие на расширение промышленности. И в той же мере, в какой росли промышленность, торговля, железные дороги, развивалась и буржуазия. Она непрерывно увеличивала свои капиталы и оттесняла на задний план все классы, унаследованные от средневековья. (Железные дороги... Какое сильное впечатление произвело начало их строительства на Россию! Некрасов написал свое знаменитое стихотворение, которое он, Жорж, читал с товарищами еще в военной Воронежской гимназии, и уже тогда они собирались встать на защиту русского народа... Железные дороги в России начали строить после Крымской войны, которая показала опасность отсутствия их в военном отношении. Кроме того, железные дороги были необходимы для вывоза хлеба из центральных губерний. Дореформенное бездорожье мешало помещикам реализовывать урожай, и поэтому сразу же после освобождения крестьян началось бурное железнодорожное строительство. Появились линии Москва — Нижний Новгород, Царицын — Рига, Самара — Оренбург, Москва — Курск — Харьков, по которой он ехал на Воронежский съезд. Всего до начала русско-турецкой войны было создано, кажется, около двадцати тысяч километров рельсовых путей. Какая колоссальная цифра для России! Какое яркое подтверждение бурного развития капитализма в России после Крымской войны и реформы 1861 года.)

Таким образом, совершенно наглядно видно, что сов-

ременная буржуазия сама является продуктом длительного процесса развития производительных сил в недрах феодального общества (а в России — дореформенной эпохи). Таким образом, нельзя не убедиться в том, что появление современной буржуазии является прямым результатом целого ряда длительных переворотов в способах производства и обмена.

Буржуазия сыграла чрезвычайно революционную роль в истории человечества. Она разрушила все феодальные, патриархальные отношения. Она безжалостно разорвала все феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям», и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого денежного интереса, бессердечного «чистогана». (Как поднял голову когда-то у них в Гудаловке одноглазый староста Тимоха Уханов! Ведь он еще при батюшке чувствовал себя почти независимым — власть уворованных у барина и нажитых от мужиков денег была уже сильнее личной крепостной власти над ним строгого помещика Валентина Петровича Плеханова. А после смерти старого барина Тимоха развернулся уже вовсю — открыл лавку в Гудаловке, наладил производство и торговлю кирпичами в Липецке, арендовал землю и даже хотел «облагодетельствовать» своих бывших господ постройкой для них нового дома вместо сгоревшего в обмен на аренду земли. Не эти ли шустрые шаги экзотического российского первоначального накопителя Одноглаза являются великолепным подтверждением разрушения феодальных патриархальных, идиллических отношений между помещиком и крестьянином? О любви между которыми так приторно и лживо говорилось в Манифесте Александра II? О действительных, реальных, произошедших в жизни изменениях в отношениях между которыми так четко и достоверно повествует «Коммунистический манифест» в словах о бессердечном чистогане, о ледяной воде эгоистического расчета? И уж, конечно,

в словах о том, что буржуазия превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и заменила все пожалованные и благоприобретенные свободы одной бессовестной свободой торговли?)

Каждую из ступеней своего развития буржуазия сопровождала соответствующими политическими успехами. Она была угнетенным сословием при господстве феодалов... (И опять одноглазый гудаловский староста Тимоха Уханов не уходит из памяти. До освобождения, до объявления реформы он был формально угнетаемым феодальным рабом помещика Валентина Петровича Плеханова. Но как рвался Тимоха к должности старосты! Какие унижения терпел он от батюшки, чтобы только удержаться в старостах! Как он боролся за свою «политическую» власть над мужиками! И происходило это потому, что должность старосты при его формальной феодальной зависимости от помещика была уже формой его политической власти в деревне. Внутри феодальных крепостнических отношений, в недрах крепостного права он, Тимоха, уже обладал и денежной, и экономической, и политической властью над мужиками. И эта политическая власть в деревне способствовала его первоначальному накопительству. А после реформы, когда феодальная зависимость была устранена, Тимоха развернулся уже во всю ивановскую — лавка, кирпичи, аренда земли.)

Итак, мы видим, что средства производства и обмена, на основе которых сложилась буржуазия, были созданы еще в феодальном обществе. Но на определенной ступени развития этих средств производства и обмена феодальная организация земледелия и промышленности уже перестала соответствовать развившимся производительным силам. Она уже начала тормозить производство вместо того, чтобы его развивать, и таким образом превратилась в его оковы. Их необходимо было разбить, и они были разбиты. Место их заняла свободная

конкуренция с соответствующим ей общественным и политическим строем, с экономическим и политическим господством класса буржуазии.

Современное буржуазное общество, создавшее столь могущественные средства производства, уже не в состоянии справиться с вызванными ею к жизни производительными силами. Вот уже несколько десятилетий история промышленности и торговли представляет собой лишь историю возмущения современных производительных сил против современных производственных отношений, против тех отношений собственности, которые являются необходимым условием существования буржуазии и ее господства. Во время кризисов разражается общественная эпидемия, которая всем предшествующим эпохам показалась бы нелепостью,— эпидемия перепроизводства... Почему это происходит? Потому что общество располагает слишком большой промышленностью. Производительные силы, находящиеся в распоряжении буржуазного общества, не служат больше развитию буржуазных отношений собственности — они стали непомерно велики для этих отношений. Буржуазные отношения стали слишком узкими, чтобы вместить созданное ими богатство.

Оружие, которым буржуазия ниспровергла феодализм, направлено теперь против самой буржуазии.

Но буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть. Буржуазия породила и людей, которые направят против нее это оружие,— современных рабочих, пролетариев.

4

Может быть, прерваться? Отдохнуть? Переключить внимание? Заглянуть к Засулич, навестить Дейча?.. Нет, нет, делать этого не следует. Все чернопередельцы сидят сейчас над книгами Энгельса,

Фейербаха, Гегеля, «грызут» экономическую теорию Маркса, восполняют пробелы своего российского социалистического образования. Отрывать друзей от занятий не стоит — пусть усваивают «символ» новой веры. Старые народнические воззрения пора сдавать в утиль.

Собственно говоря, «Черный передел» хотя и продолжает формально еще существовать, дни его, по всей вероятности, уже сочтены. Здесь, в Европе, на фоне практической деятельности социал-демократических партий Германии и Франции теоретические концепции «Черного передела» выглядят архаизмами. Для современного уровня развития социализма на Западе «Черный передел» (осколок мощного русского народничества середины семидесятых годов) с его явными анархистскими рудиментами (отказ от политической борьбы) является, очевидно, таким же символом отсталости (в освободительном движении), каким до реформы была сама феодальная Россия на фоне капиталистической Европы, победившей крепостническую державу Николая I в Крымской войне.

Другое дело «Народная воля» с ее высоко поднятым знаменем политической борьбы, с ее прямым нападением на царизм...

Нет, нет, не нужно торопиться. Сначала перевести «Манифест» немецких коммунистов, а уж потом приниматься за наши русские дела. Но как хочется поскорее объяснить тем же западным социал-демократам, что, хотя «Народная воля» и убила царя, хотя она и...

Стоп! Снова за «Манифест»! Эта маленькая книжка с черными готическими буквами на желтой обложке, будучи переведенной на русский язык и дойдя до революционной молодежи в России, произведет на нее не меньшее впечатление, чем бомбы Рысакова и Гриневицкого, чем весь динамит «Народной воли».

Да, это будет наша «взрывчатка» — «динамит» маленькой группы русских социалистов (Вера, Павел,

Дейч — кто еще? — наверное, Игнатов, ближе всех стоящий к нам по убеждениям), разошедшихся с «Народной волей», образовавших «Черный передел», но теперь, оказавшись на Западе и убедившись в несостоятельности «Черного передела», стоящих уже на пороге марксизма, в преддверии русской социал-демократии.

Один безусловный вывод: народничество — это утопический «слепок» с крепостной России, народничество — это философский уровень освободительного движения, соответствующий дореформенной России. После освобождения крестьян, после первых буржуазных реформ, после начала строительства железных дорог, после стачек на Обводном канале, у Кенига, Мальцева, Шау, Максвелла — после всего этого освободительному движению в России нужен новый, более высокий уровень — уровень социал-демократии, уровень марксизма... Ах, как не хватает ему здесь, в Швейцарии, Степана, Обнорского, Моисеенко, Луки Иванова! Вот уж они-то сразу стали бы здесь, в Европе, настоящими марксистами, истинными социал-демократами. И не только по убеждениям, не только «из головы», а по своему реальному положению пролетариев. Ах, как жалко, что Обнорский, Моисеенко, Лука Иванов, Василий Андреев находятся в тюрьме, как жалко, что исчез с горизонта рыжебородый Тимофей, что погиб в тюремной больнице Иван Егоров! Как жалко, что ушел в террор Степан — дорогой, незабываемый человек, так сильно «качнувший» некогда, в Петербурге, его собственные, плехановские, народнические землевольческие убеждения. Не под влиянием ли Степана он ушел летом семьдесят девятого года с Воронежского съезда? Он ушел тогда не к Степану, не в рабочий союз, но он сделал, наверное, тогда уже свой первый шаг навстречу «Манифесту». И, может быть, именно влиянию Степана, его яростным нападкам на него, Жоржа, во время второй стачки на Обводном канале обязан он своим теперешним пово-

ротом к марксизму. Да, это абсолютно правильно — не Петр Лаврович Лавров придвинул его, Плеханова, к «Манифесту». Лавров сделал это чисто внешне, фактически. Внутреннее движение его к «Манифесту» — результат знакомства с Халтуриным, плод его собственного участия в забастовках петербургских пролетариев. Это самая главная мысль. Не Лавров, не Париж, не Жюль Гед, не встреча Луизы Мишель, не похороны Бланки, а сначала — Новая Канава, Смоленское кладбище, Обводный канал, события у Кенига, «Шавы», Максвелла, Патронный завод на Васильевском острове,— вот что привело его к марксизму. А если уж говорить по-марксистски, диалектически, то и Новая Бумагопрядильня, и Степан, и Моисеенко, и Лавров, и Жюль Гед, и Воронежский съезд, и Луиза Мишель, и Коммуна — все это, вместе взятое, взаимодействуя, вело и двигало его к марксизму. Такова была диалектика его собственного пути к марксизму. Но самой главной вехой на этом пути все-таки было знакомство со Степаном. Может быть, это очень личное, чисто эмоциональное и субъективное объяснение, но тем не менее это так. Пока он, Жорж, не может найти точные доводы для этого, но надеется найти. Это самый главный и безусловный сейчас вывод.

5

Итак, на чем он остановился? На фразе — «буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть; она породила и людей, которые направят против нее это оружие,— современных рабочих, пролетариев».

Что же дальше?

В той же самой степени, в какой развивается буржуазия, то есть капитал, развивается и пролетариат, класс

современных рабочих, которые только тогда и могут существовать, когда находят себе работу, а находят они ее лишь до тех пор, пока их труд увеличивает капитал. Эти рабочие, вынужденные продавать себя поштучно, представляют собой такой же товар, как и всякий другой предмет торговли, а потому в равной степени подвержены всем случайностям конкуренции, всем колебаниям рынка.

Вследствие возрастающего применения машин и разделения труда труд пролетариев утратил всякий самостоятельный характер, а вместе с тем и всякую привлекательность для рабочего. Рабочий становится простым придатком машины, от него требуются только самые простые, однообразные, легче всего усваиваемые приемы. Издержки на рабочего сводятся поэтому почти исключительно к средствам, необходимым для его содержания и продолжения его рода.

Пролетариат проходит разные ступени развития. Его борьба против буржуазии начинается вместе с его существованием. Сначала борьбу ведут отдельные рабочие, потом рабочие одной фабрики, затем рабочие одной отрасли труда в одной местности против отдельного буржуа (Кениг, Мальцев, Шау).

На этой ступени рабочие образуют рассеянную и раздробленную массу. Сплочение рабочих масс пока является еще не следствием их собственного объединения, а лишь следствием объединения буржуазии, которая для достижения своих политических целей должна, и пока еще может, приводить в движение весь пролетариат.

Но с развитием промышленности пролетариат возрастает не только численно. Он скопляется в большие массы, сила его растет, и он все более ее ощущает. Интересы и условия жизни пролетариата все более и более уравниваются по мере того, как машины все более стирают различия между отдельными видами труда и почти всюду низводят заработную плату до одинаково низкого уровня.

Кризисы ведут к тому, что заработная плата рабочих становится все неустойчивее. Непрерывное совершенствование машин делает жизненное положение пролетариев все менее обеспеченным. Столкновения между отдельными рабочими и отдельными буржуа все более принимают характер столкновений между двумя классами. Рабочие начинают с того, что образовывают коалиции против буржуа — они выступают сообща для защиты своей заработной платы. Они основывают даже постоянные ассоциации для того, чтобы обеспечить себя средствами на случай столкновений. Местами борьба переходит в открытые восстания. (Вторая стачка на Обводном, а?)

Рабочие время от времени побеждают, но эти победы лишь преходящи. Действительным результатом их борьбы является не непосредственный успех, а все более широкое объединение рабочих. Ему способствуют растущие средства сообщения, создаваемые крупной промышленностью и устанавливающие связь между рабочими различных местностей. Лишь эта связь и требуется для того, чтобы централизовать многие местные очаги борьбы, носящей повсюду одинаковый характер, и слить их воедино, в классовую борьбу. А всякая классовая борьба есть борьба политическая. (Вот это фраза! Та самая неопровержимая формулировка. Математическая формула, а не фраза. Как фарадеевские уравнения электричества. Как ньютоновская формула всемирного тяготения. Эту фразу, пожалуй, следует вывешивать везде, где будут собираться русские социалисты.)

Эта организация пролетариев в класс и тем самым — в политическую партию возникает снова и снова, становясь каждый раз сильнее, крепче, могущественнее. Она заставляет признать отдельные интересы рабочих в законодательном порядке. Например, закон о десятичасовом рабочем дне в Англии. (Будет ли когда-нибудь на святой и нищей Руси такое времечко?)

Столкновения внутри старого общества способствуют процессу развития пролетариата. В битвах за свои интересы буржуазия вынуждена обращаться к пролетариату, призывать его на помощь и вовлекать его таким образом в политическое движение. Она, следовательно, сама передает пролетариату своею собственною рукой политическое образование, то есть оружие против самой себя.

Когда классовая борьба приближается к развязке, процесс разложения внутри всего старого общества принимает такой бурный и резкий характер, что небольшая часть господствующего класса отрекается от него и примыкает к революционному классу, к тому классу, которому принадлежит будущее. Вот почему, как прежде часть дворянства переходила к буржуазии, так теперь часть буржуазии переходит к пролетариату. Именно та часть буржуа-идеологов, которые возвысились до теоретического понимания всего хода исторического процесса.

Из всех классов, которые противостоят буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности, пролетариат же есть ее собственный продукт. (Может быть, в этих словах кроется объяснение роли Халтурина в его собственном, плехановском, движении к марксизму? Степан всегда, везде и во всем был до конца революционен, то есть действительно, реально, естественно, органически революционен, не признавая никаких полумер и компромиссов в борьбе с хозяевами.)

Жизненные условия старого общества уже уничтожены в жизненных условиях пролетариата. У пролетария нет собственности — его отношение к жене и детям не имеет ничего общего с буржуазными семейными отношениями. Закон, мораль, религия — все это для него не более как буржуазные предрассудки, за которыми скрываются буржуазные интересы.

Все прежние классы, завоевав себе господство, стремились упрочить уже приобретенное ими положение в жизни, подчиняя все общество условиям, обеспечивающим господствующим классам их способ присвоения. Пролетарии же могут завоевать общественные производительные силы, лишь уничтожив свой собственный нынешний способ присвоения, а тем самым и весь существовавший до сих пор способ присвоения в целом. У пролетариев нет ничего своего, что надо было бы им охранять, они должны разрушить все, что до сих пор охраняло и обеспечивало частную собственность. (Что нужно было охранять Степану? Кровать, книги, сапоги, шапку, пальто с оторванной пуговицей? А Луке Иванову? Гармонь, чтобы завоевывать сердца новоканавинских молодух?)

Все до сих пор происходившие движения были движениями меньшинства или совершались в интересах меньшинства. Пролетарское же движение есть самостоятельное движение огромного большинства в интересах огромного большинства.

Фазы развития пролетариата — это более или менее прикрытая гражданская война внутри существующего общества вплоть до того пункта, когда она превращается в открытую революцию, и пролетариат основывает свое господство посредством насильственного ниспровержения буржуазии.

Все существовавшие общества основывались на антагонизме между классами угнетающими и угнетенными. Но, чтобы возможно было угнетать какой-либо класс, необходимо обеспечить условия, при которых он мог бы влачить свое рабское существование. Современный рабочий с прогрессом промышленности не поднимается, а все более опускается ниже условий существования собственного класса. И это говорит о том, что буржуазия неспособна далее оставаться господствующим классом общества и навязывать всему обществу условия существования своего

класса в качестве регулирующего закона. Она неспособна господствовать, потому что неспособна обеспечить своему рабу даже рабского уровня существования, потому что вынуждена дать ему опуститься до такого положения, когда она сама должна его кормить, вместо того чтобы кормиться за его счет. Общество не может более жить под властью буржуазии, то есть жизнь буржуазии несовместима более с обществом.

Основным условием существования и господства класса буржуазии является накопление богатства в руках частных лиц, образование и увеличение капитала. Условием существования капитала является наемный труд. Наемный труд держится исключительно на конкуренции рабочих между собой. (Поэтому не побоялся петербургский буржуа Кениг уволить сразу всех своих бастующих ткачей — за воротами стояла голодная толпа «конкурентов», готовая идти на фабрику на любых условиях.) Прогресс промышленности, невольным носителем которого является буржуазия, бессильная ему сопротивляться, ставит на место разъединения рабочих конкуренцией революционное объединение их посредством ассоциаций. Таким образом, из-под ног буржуазии вырывается сама основа, на которой она производит и присваивает продукты. Буржуазия производит прежде всего своих собственных могильщиков. Гибель буржуазии и победа пролетариата одинаково неизбежны.

6

— Доброе утро, Вера Ивановна.
— Доброе утро, Жорж. Как ваш перевод?
— Готов черновик первой главы.
— Когда думаете закончить?
— Трудно сказать. Работа увлекательнейшая. Собственные мысли так и носятся поперек каждой страницы.

— Дадите почитать, когда закончите?

— Обязательно. Кстати, мне хотелось бы посоветоваться с вами, Вера Ивановна, об одном дельце, связанном с изданием перевода. Мелькнула совершенно сумасшедшая мыслишка...

— У вас — сумасшедшая? Вы же стали здесь таким рационалистом...

— Госпожа Засулич, вам ли упрекать кого-либо в рационализме? Быть рационалистом, поддерживая дружбу с вами, все равно, что стараться сделаться святее самого папы римского.

— Господин Плеханов, вы, кажется, забываете, что я женщина. Хотя и социалистка, но все-таки женщина.

— Ну, простите, Верочка. Приношу свои извинения.

— Извинения принимаются. Так какая у вас мелькнула мыслишка? Не стесняйтесь, выкладывайте.

— Попросить Маркса и Энгельса написать предисловие к «Манифесту».

— У Маркса недавно умерла жена...

— Да, я знаю. Это безутешное горе...

— Там была огромная любовь. Женни была идеальной женой революционера. Она всем пожертвовала ради Маркса. Дети, невзгоды, лишения, бытовая неустроенность — и никогда никаких жалоб. Она всю жизнь посвятила великому делу своего великого мужа. Его потеря невосполнима. Наверное, он просто не в состоянии работать именно сейчас.

— Может быть, и не следует сейчас говорить о предисловии. Не то время — неподходящая минута. Может быть, сейчас нужно просто разделить скорбь Маркса, но все-таки главную причину я вижу не в его теперешнем состоянии.

— А в чем же?

— Маркс, как мне кажется, вообще отрицательно относится к «Черному переделу».

— Откуда у вас такие сведения?

— Интуиция. Насколько я теперь знаю и понимаю Маркса, он наверняка осудил наше чернопередельское доктринерство в духе покойного Бакунина.

— Да, Маркс не любил Бакунина. Наш знаменитый землячок попортил Марксу много крови.

— И ведь что обидно? Сейчас, здесь, в Европе, мы все уже бесконечно далеки и от бунтарства, и от анархизма, и даже от своего «Черного передела». Мы все уже вплотную приблизились к социал-демократии. А тень Бакунина все еще витает над нами!

— Естественное и, я бы даже сказала, диалектическое противоречие.

— Я абсолютно уверен в том, что Маркс откажет. Его симпатии определенно на стороне «Народной воли». Он не любит «Черного передела», а заодно и всех нас, чернопередельцев.

— Это заблуждение, Жорж. Вы же знаете, Маркс дал согласие участвовать в «Нигилисте», главным редактором которого (или уже скорее редакторшей) прочили меня, а вас намечали в члены редакции. К сожалению, из этого замысла ничего не вышло.

— И все-таки согласитесь, Вера, что статья Иоганна Моста в «Черном переделе» с нападками на тактику немецкой социал-демократии не могла не вызвать раздражения Маркса. А в сочетании с нашими нудными, старомодными реверансами в сторону бакунизма — сильнейшего раздражения.

— Но почему предполагаемое раздражение Маркса вы относите лично к себе?

— Я же был одним из редакторов «Черного передела».

— И что же вы собираетесь теперь делать?

— Ума не приложу.

— Может быть, вообще отказаться от идеи предисловия?

— Не могу... Вы только представьте себе, Вера, сколько пользы могло бы принести такое предисловие. Как набросилась бы на «Манифест» передовая мыслящая молодежь в России, когда узнала бы, что Маркс и Энгельс специально написали несколько слов именно для этого русского издания.

— Да, польза была бы огромная.

— Может быть, попросить Лаврова быть посредником? Он ведь в переписке с Лондоном, насколько я знаю.

— А что, мысль недурна.

— Я думаю, Петр Лаврович поможет.

— Жорж — золотая голова! — считайте, что дело уже сделано. Участие Лаврова — полная гарантия успеха.

— Верочка, пе хвалите меня раньше времени. Я могу зазнаться и снова начать ухаживать за вами.

— Господи, до чего пылкий молодой человек!

— Какой уж там молодой! Скоро тридцать.

— Тридцать? Вам же совсем недавно исполнилось только двадцать пять.

— Все равно старый хрыч.

— Но я разрешаю вам начать ухаживать за мной.

— Верочка, всегда готов начать.

— Вы сказали это очень невеселым голосом. Впрочем, это и неудивительно. Я на целых семь лет старше вас. Вот уж действительно старуха.

— Вера, вы никогда не будете старухой. Ореол первой русской женщины-террористки, ореол основоположницы русского терроризма всегда будет озарять вас нимбом вечной молодости.

— Слишком красиво.

— Как умею. Но считаю, что даже в этих словах я не сумел передать и сотой части моего восхищения.

— Скажите, Жорж... Только серьезно. Вы часто вспоминаете первомартовцев?

— Каждый день.

— Иногда все они как живые встают передо мною. Особенно Соня и Геся... Пристально смотрят на меня, и в их взглядах я вижу некий упрек. И этот упрек персонально мне. Я слышу в нем безмолвный вопрос: как же могла ты, Вера Засулич, стрелявшая в Трепова, оставить нас накануне убийства царя? Ведь ты же испытала восторг мести палачу, ведь ты же ощущала счастье не принадлежать себе, прошла через суд...

— Кстати сказать, о суде над вами я написал прокламацию.

— Вот как? Какую же? Их было несколько.

— Она называлась «Два заседания комитета министров».

— Так это вы были автором? А я и не знала.

— Это лишний раз говорит о моей неподдельной скромности.

— Ах, Жорж, вы неисправимый насмешник!

— Эта прокламация начиналась действительно с очень смешного эпизода. Когда праздновался двадцатипятилетний юбилей царствования Николая I, один из самых именитых сановников того времени граф Клейнмихель...

— Господи, какая смешная фамилия! Клейнмихель — Мишкин.

— Так вот этот самый граф Мишкин,— кстати, один из самых ловких министров Николая, пересидевший в министерском кресле почти всех своих коллег,— произнес на юбилейном торжестве речь, в которой очень убедительно доказал, что русский народ был бы счастлив, если бы Россию в честь юбилея обожаемого монарха переименовали бы в Николаевку... «В Николаевку? — переспросил царь и задумался.— Нет, нужно обождать»,— сказал он... С этого эпизода я и начал свою листовку.

— Жорж, да ведь это шедевр. Вы нигде, кроме прокламации, не использовали эту историю в своих работах?

— Нет, нигде. Дарю ее вам.

— Спасибо... А что же там было еще, в этой листовке?

— Она была довольно пространна. Кстати, вы знали тогда о том, что ровно через четыре часа после того, как присяжные оправдали вас, собрался комитет министров Российской империи?

— Наверное, знала, но сейчас уже не помню.

— Министр юстиции Пален, величайший из русских негодяев, предложил на этом заседании уничтожить суд присяжных. А министр внутренних дел Тимашев внес на рассмотрение комитета министров проект закона о том, что начиная с этого дня каждое должностное лицо в Российском государстве при отправлении служебных обязанностей по своей неприкосновенности приравнивается к часовому. И, следовательно, всякое нападение на должностное лицо подлежит ведению уже не суда присяжных, а военного трибунала. Кто-то из министров, не выдержав, назвал Тимашева в сердцах подлецом. На этом первое заседание комитета по поводу вашего, Вера Ивановна, оправдания и закончилось. А на втором заседании, кажется, присутствовал уже сам царь-освободитель и со свойственным ему монаршим лаконизмом продиктовал свое решение: «Повелеваю: печать — обуздать. Учащуюся молодежь — обуздать. Пускай Третье отделение само решает — кого судить с присяжными, а кого и без них».

— Какая прелесть!

— На том и разошлись господа министры и во второй раз. Несолоно хлебавши.

— Вы развеселили меня, Жорж. Хотя в те времена мне было, конечно, не до веселья... Помню, сидела на процессе и ждала для себя непременно виселицу.

— Ваше имя, Верочка, тогда было на устах у всей молодежи.

— Да, шуму было много.

— Все газеты писали о вас. Считалось, что выстрел Веры Засулич разбудил русскую общественную совесть,

и это пробуждение впервые конкретно выразилось в оправдательном вердикте присяжных по вашему делу.

— Жорж, смотрите, что получается... Мы давно уже связаны с вами одной, если так можно сказать, сюжетной нитью. Я стреляла в Трепова из-за Боголюбова, который был осужден за участие в Казанской демонстрации.

— Боголюбов не был участником демонстрации. Его арестовали случайно.

— Но он был вооружен.

— На допросе он показал, что шел в тир.

— Однако Боголюбов выстрелил в полицейского. Правда, уже в участке. После ареста.

— Нервная экзальтация. Этот выстрел абсолютно был никому не нужен.

— В те времена, Жорж, всякий выстрел в представителя власти имел общественное значение. Но вам не кажется, что наш разговор приобретает какой-то странный оттенок. Я чувствую, что Боголюбов вам чем-то неприятен.

— Действительно, мы ведем весьма абстрактный спор о давно минувших событиях... А Боголюбов был просто вздорный человек. Впрочем, как вы понимаете, Вера, к вашему выстрелу из-за Боголюбова в Трепова это никакого отношения не имеет.

— Хорошо, не будем больше спорить о прошлом. Перейдем к нашим сегодняшним делам... Что вы думаете о дальнейшей судьбе «Черного передела»? Организация дышит на ладан. Практически никакого централизованного общества уже не существует. Типография в Минске разгромлена, связи с оставшимися в России людьми нет. Нужна какая-то новая идея.

— У меня те же самые мысли, что и у вас. Работая над переводом «Манифеста», я особенно остро ощутил необходимость перемен. Мы до сих пор называем себя чернопередельцами, но это чисто формальная принадлеж-

ность. Многие из нас по своим взглядам давно уже никакого отношения к «Черному переделу» не имеют.

— Вы предлагаете изменить название организации?

— Конечно. Хотя бы из уважения к Марксу. Причем это будет не формальное уважение, а по существу. Если Маркс так не любит Бакунина, то, следовательно, и нам, теперь уже убежденным его последователям, надо решительно освобождаться от всего того, что так или иначе связано с бакунизмом даже чисто внешне. Зачем же раздражать человека, которому мы обязаны переменой своего мировоззрения, уже самим названием нашей группы?

— Необходимо, наверное, собрать вместе всех думающих в новом направлении.

— Двое из них уже собрались.

— Вы и я?

— Безусловно, Вера Ивановна.

— Кто же еще?

— Павел?

— Несомненно.

— Дейч?

— Конечно.

— Игнатов?

— Само собой разумеется.

— А еще?

— Надо думать, думать и думать.

— Вы знаете, Вера, я очень сожалею, что не пришлось побывать на лекции Лаврова о капитализме в России. Собственно говоря, для меня это дело решенное. Благословенное наше отечество уже вступило на естественный путь своего развития. Все остальные дороги для него теперь закрыты.

— Для меня это сейчас тоже вполне очевидно.

— Именно поэтому русскому промышленному пролетариату суждено стать главной силой революционной борьбы в России.

— А политические свободы?
— Завоевание их существенно необходимо.
— Жорж, а ведь совсем еще недавно мы думали совершенно наоборот.
— Время изменило наши убеждения. Время и новая обстановка. Здесь, в эмиграции, мы как бы освежили воздух в легких, вздохнули свободнее, и смысл пережитых событий открылся перед нами в новом свете, более ясном и глубоком.
— Удивительное дело. Уехав из России, мы засели за книги, чтобы доказать народовольцам пагубность их тактики. Мы хотели укрепиться в наших старых народнических взглядах, а на самом деле разуверились в них и пришли к марксизму.
— Диалектика, Вера Ивановна, диалектика.
— А само слово «политика»? Когда-то мы отмахивались от нее, как от чумы, а теперь даже ищем союза с народовольцами на почве общего признания необходимости борьбы за политические свободы.
— Раньше, Вера Ивановна, для нас «политика» была синонимом «буржуазности». А ведь в своем народническом «детстве» мы отрицали капитализм для России. Прудон и Бакунин вели нас за руку как слепых. А ведь еще каких-то три года назад, Вера, я весьма пылко верил в то, что пропаганду среди городских рабочих надо вести только для того, чтобы из их среды выходили пропагандисты для деревни.
— Наша тогдашняя постановка городского вопроса была насквозь ложна. В городских рабочих мы видели не единое целое, не новый общественный класс, единственно способный возглавить общенародную революционную борьбу, а лишь наиболее активную и легко возбудимую прослойку угнетенного народа, только материал для вербовки отдельных личностей. Однако, Жорж, наша прогулка заканчивается. Пора возвращаться восвояси.

— Да, прошлись сегодня весьма недурно. И поговорили о многом.

— Как чувствует себя Роза?

— Относительно хорошо.

— Передавайте от меня привет.

— Спасибо, Верочка, обязательно передам.

— И не забудьте сегодня же написать Лаврову в Париж о предисловии. «Манифест» обязательно должен выйти с напутственным словом Маркса и Энгельса к русской революционной молодежи.

— Верочка, вы мой добрый ангел.

Глава девятая

1

Петр Лаврович Лавров выполнил просьбу Жоржа Плеханова. Он написал из Парижа Марксу в Лондон: «Вам, очевидно, известно, что мы издаем «Русскую социально-революционную библиотеку». Следующий выпуск должен содержать перевод «Манифеста» немецких коммунистов 1848 года с примечаниями некоего молодого человека (Плеханова), одного из самых ревностных Ваших учеников... Перехожу теперь к просьбе, с которой мы, редакторы «Русской социально-революционной библиотеки», обращаемся к авторам «Манифеста», то есть к Вам и Энгельсу. Не будете ли Вы так добры написать несколько строк нового предисловия специально для нашего издания».

Ответ не заставил себя долго ждать. Маркс и Энгельс прислали предисловие.

— Вера Ивановна! Верочка! — размахивал Жорж полученным из Парижа от Лаврова письмом, радостно

врываясь к Вере Засулич.— Получено! Получено! Получено! Вы только послушайте, какие прекрасные слова они написали: «Во время революции 1848—1849 годов не только европейские монархи, но и европейские буржуа видели в русском вмешательстве единственное спасение против пролетариата, который только что начал пробуждаться. Царя провозгласили главой европейской реакции. Теперь он — содержащийся в Гатчине военнопленный революции, и Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе...» Вера, вы понимаете, что означают эти слова Маркса и Энгельса для нашего движения — «Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе»?!

Засулич давно уже не видела Плеханова в таком возбужденном состоянии.

— Успокойтесь, Жорж, успокойтесь, — улыбалась Вера Ивановна, глядя на его сияющее лицо,— возьмите стул и садитесь.

— Нет, нет, Верочка, я решительно не могу быть спокойным в такую минуту! — продолжал быстро ходить по комнате Жорж.— Письмо от Маркса и Энгельса со словами о том, что Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе! Нет, нет, смысл этих слов трудно даже переоценить. В них — целая программа жизни для нескольких поколений русских революционеров. Какая огромная работа предстоит всем нам, Вера! Какой прекрасной рисуется мне наша будущая жизнь — работа, работа, работа! И тогда, значит, все было правильно, все было оправданно — лишения, испытания, сомнения по поводу старых приемов борьбы, разрыв с теми, кто не чувствовал необходимости поиска новых революционных методов... Вы знаете, Верочка, я необыкновенно счастлив сейчас, в эту высшую и лучшую минуту своей жизни!

Вера Ивановна, по-прежнему улыбаясь, слегка при-

щурясь уголками искрящихся глаз, смотрела на порывисто расхаживающего перед ней Плеханова.

— Скажите, Жорж,— спросила она наконец,— а что еще написали Маркс и Энгельс в предисловии к «Манифесту»? Ведь то, что вы прочитали, наверное, еще не все предисловие, а только часть его.

— Конечно! Вот послушайте, что пишут Маркс и Энгельс дальше. «Задачей «Коммунистического манифеста» было провозгласить неизбежно предстоящую гибель современной буржуазной собственности. Но рядом с быстро развивающейся капиталистической горячкой и только теперь образующейся буржуазной земельной собственностью мы находим в России бо́льшую половину земли в общинном владении крестьян. Спрашивается теперь: может ли русская община — эта, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного общего владения землей — непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада?»

— Так, так,— напряженно подалась вперед Засулич.— И каков же ответ на этот вопрос?

— Слушайте, Вера, внимательно,— сказал Жорж.— То, что вы сейчас услышите, возможно, является грандиозным историческим предвидением — вершиной марксистского анализа современной революционной ситуации и одновременно исчерпывающей программой всей нашей работы в будущем. И это делает предисловие великим историческим документом научного социализма вообще и русской революции в частности.

— Читайте же, Жорж, не томите!

— Итак, слушайте: «Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят

друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития».

— Прочтите последнюю фразу еще раз! — почти крикнула Вера Засулич.— Но только медленнее!

— «Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития».

— Жорж, запомните тот день и минуту, когда к вам пришла мысль обратиться к Марксу и Энгельсу за предисловием.

— Запомню, Верочка, запомню.

— И тот день, когда вы решили прибегнуть к помощи Петра Лавровича Лаврова, тоже запомните.

— Запомню, Вера Ивановна, обязательно запомню.

— Запомните и благословите. Кстати, а что происходит сейчас с вашими собственными мыслями?

— Что вы имеете в виду, Вера?

— Помните, вы сказали мне фразу, когда закончили перевод первой главы «Манифеста»: собственные мысли так и носятся поперек каждой переведенной страницы.

— Вы так хорошо запомнили эту фразу?

— Конечно. Я запомнила ее потому, что сейчас, как мне кажется, для вас настало очень благоприятное время для того, чтобы собрать все эти собственные мысли воедино.

2

Собственные мысли... Их действительно нужно было собрать воедино. И прежде всего для того, чтобы до конца выяснить отношения с народничеством. Потребность поставить все точки над «и» остро

начала ощущаться сразу же после окончания работы над переводом «Манифеста».

Собственно говоря, в первую очередь необходимо было показать возможность применения главных положений марксизма к российской действительности, чтобы расчистить в умах русских революционеров путь к социал-демократическому направлению сквозь «заросли» народнических заблуждений, а тем самым и ответить с марксистских позиций на все злободневные вопросы, поставленные развитием революционного движения в России.

Итак, что самое главное? Над чем больше всего билась русская революционная мысль в последние годы? Отношение социализма к политической борьбе — вот главная нить всех рассуждений. Опираясь на опыт борьбы Маркса и Энгельса с анархистами, вскрыть причины политического «воздержания» народников, показать их идейную связь с мелкобуржуазными взглядами Прудона. Обосновать несостоятельность анархистского противопоставления социализма политике. Политическая борьба есть орудие экономических преобразований в обществе. Государство после победы революции трудящихся масс будет играть большую созидательную роль. И поэтому, как говорят Маркс и Энгельс в «Манифесте», всякая классовая борьба есть борьба прежде всего политическая. Отсюда ложность, утопичность и ненаучность всех социалистических идей (и народнических в том числе) по сравнению с марксизмом, который единственный является истинно научным социализмом.

Революционная по своему внутреннему содержанию идея есть своего рода динамит, которого не заменят никакие взрывчатые вещества в мире. Пока русское революционное движение будет находиться во власти догм старой народнической теории, у него не будет никаких перспектив, потому что, как сказал еще Гейне, «новому

времени новый костюм потребен для нового дела». А ведь оно настанет наконец, это действительно новое время и для нашего отечества. И знакомство с литературой марксизма должно показать русским социалистам, какого могучего оружия лишают они себя, отказываясь понять и усвоить теорию Маркса.

Исходя из экономического учения Маркса, противопоставлять Россию Западу ошибочно. Развитие капитализма в России не остановить. И поэтому будущее революционной России связано только с рабочим классом. На рабочий класс должна опираться революционная интеллигенция. С ее помощью рабочий класс может понять свои политические и экономические интересы и подготовиться к авангардной роли в общественной жизни. Политическая самостоятельность пролетариата есть важнейший фактор борьбы за социализм.

Какова, с точки зрения Маркса и Энгельса, должна быть тактика классовой борьбы пролетариата? Социал-демократы, стремясь осуществить ближайшие цели пролетариата, связывают эту борьбу с достижением конечной цели — победой коммунизма. В противоположность народовольческому, бланкистскому положению о захвате власти кучкой заговорщиков марксизм выдвигает теорию о завоевании политической власти пролетариатом как о высшей форме классовой борьбы. Бланкистскому лозунгу «диктатуры меньшинства» марксизм противопоставляет учение о диктатуре пролетариата. Диктатура класса, как небо от земли, далека от диктатуры группы революционеров-разночинцев. Это в особенности можно сказать о диктатуре рабочего класса, задачей которого является в настоящее время не только разрушение политического господства непроизводительных классов общества, но и устранение существующей ныне анархии производства, сознательная организация всех функций социально-экономической жизни. Поэтому первостепенными задачами

рабочего движения с точки зрения марксистских позиций должны стать политическое воспитание и организация пролетариата, подготовка марксистской партии в России.

Какой характер будет носить предстоящая революция в России? Народники считали и по-прежнему считают, что Россия находится накануне крестьянской социалистической революции. Это положение в корне неверно. Марксистский анализ общественных отношений в стране позволяет сделать вывод о неизбежности буржуазно-демократического переворота в России. Народники, будучи утопистами, не допускают мысли о том, что в России стоит на очереди не социалистическая революция, а революция буржуазно-демократическая. Именно поэтому революционная партия, не увлекаясь фантастическими планами немедленного захвата власти, должна важнейшей своей задачей поставить борьбу за политическую свободу и демократическую конституцию, чтобы в ходе этой борьбы пролетариат подготовил бы себя к осуществлению своего политического господства — диктатуре рабочего класса в будущей социалистической революции. Непременным условием для этого является выработка уже сейчас элементов для образования в будущем самостоятельной рабочей партии.

Каковы будут движущие силы русской революции? Самая передовая революционная сила, безусловно, пролетариат. А крестьянство? Пересмотр аграрных отношений в России необходим. Следовательно, упрек народников в том, что марксисты будто бы игнорируют крестьянство и не признают возможностей поддержки крестьянством социалистического движения, лишен всякого основания. А надежды народовольцев на содействие либералов в будущих социалистических преобразованиях действительно кроме улыбки ничего другого вызвать не могут.

Русское революционное движение должно неизбежно прийти к слиянию социализма и политической борьбы, к

соединению стихийного движения рабочих масс с революционным движением, к полному и безоговорочному срастанию классовой борьбы с борьбой политической.

И еще одно соображение... Вся история человеческого общества свидетельствует о том, что всегда и везде столкновение противоречивых интересов разных общественных классов неизбежно приводило их к борьбе за политическое господство. Политическая борьба с оружием ли в руках или путем мирных соглашений с феодалами, поскольку этому способствовало усиление экономических позиций буржуазии, неизменно служила ей средством достижения политической власти, являющейся главным рычагом общественного переворота и окончательного утверждения господства подымающегося класса.

Равным образом и пролетариат, как самый передовой класс современного общества, не сможет осуществить социалистическую революцию, отстраняясь от политической борьбы, от захвата власти. Буржуазное государство — это крепость, служащая оплотом и защитой для господствующего класса. Обойти эту крепость или надеяться на ее нейтралитет — невозможно. Ею можно и должно овладеть. Только диктатура пролетариата, только диктатура рабочего класса является подлинной гарантией торжества дела пролетариата и его окончательной победы над буржуазией. Социалистическая революция есть только последний акт в длинной драме революционной классовой борьбы, которая становится сознательной лишь постольку, поскольку она делается борьбой политической.

...Вот такая группа собственных мыслей, «носившихся и поперек и вдоль» уже переведенных и еще переводимых страниц «Манифеста», набирается для первого раза. Спасибо, дорогая Вера Ивановна, за вовремя поданный совет собрать эти мысли воедино. Но учтите, что это пока еще только прикидка на скорую руку. Это пока

еще только конспект рассуждений. Главный «сбор» собственных мыслей еще впереди. И вам, уважаемая Вера Ивановна, по-видимому, тоже придется принять участие в собирании этих мыслей.

3

— Господин Аксельрод, что такое, по-вашему, научный социализм?

— Жорж, во-первых, здравствуйте, а во-вторых, что случилось? Почему вы прямо с порога кидаетесь на меня с вопросом, ответ на который человечество искало не одно десятилетие, если не сказать не одно столетие?

— Господин Аксельрод, не отвиливайте. Отвечайте немедленно или я лишу вас своего общества и отправлюсь к более сообразительным собеседникам,— например, к господину Дейчу или к господину Игнатову.

— Господи боже мой, до чего же прыток этот молодой человек по фамилии Плеханов! Ему не терпится получить ответы на все вопросы сразу.

— Павел, серьезно, мне очень нужно поговорить с кем-нибудь на эту тему.

— Ну, если серьезно, то, очевидно, под термином «научный социализм» следует подразумевать, строго говоря, то коммунистическое учение, которое начало вырабатываться в тот самый исторический период, когда...

— Скажем, в начале сороковых годов этого века, не так ли? Этот период вас устраивает, господин Аксельрод?

— Вполне. Так вот, под этим термином мы понимаем то коммунистическое учение, которое начало вырабатываться в начале сороковых годов из утопического социализма под сильным влиянием гегелевской философии, с одной стороны...

— ...и английской классической экономии — с другой, да?

— Ты мне дашь, в конце-то концов, договорить до конца хотя бы одну фразу?

— Пожалуйста, Павел, не сердись.

— Так вот, это то самое учение, которое впервые дало реальное объяснение всему ходу развития человеческой культуры, выступило на защиту пролетариата и безжалостно разрушило все софизмы теоретиков буржуазии.

— Абсолютно согласен с вами, господин Аксельрод. Ваши формулировки полностью совпадают с моими мыслями.

— Зачем же тогда ты меня спрашиваешь? Да еще в такой спешке?

— Необходимо обменяться мнениями, Павел. Нужно срочно возбудить воображение, дать работу мозгу. И не спорить, не драть горло с противниками, а проверить кое-какие умозаключения вместе с единомышленником. В некотором роде коллективная, групповая работа над историческим материалом — вот что мне сейчас нужно.

— Хорошо, изволь.

— Мне надо в некотором роде «размять» и «прощупать» мыслью некоторые общеизвестные факты и положения. И найти для них как бы некое «образное», новое звучание, понимаешь?

— Понимаю. Кстати, помнишь, что сказал когда-тс Гайм о философии Гегеля?

— Нет, сейчас не помню.

— По образному выражению Гайма, философия Гегеля привязывала к своей триумфальной колеснице каждое побежденное им мнение. То же самое, на мой взгляд, можно сказать и о научном социализме по отношению ко всем существовавшим до него социалистическим учениям.

— Блестяще! Это как раз именно то, что мне теперь нужно... Павел, да я просто расцелую тебя сейчас за эту триумфальную колесницу! Даришь ее мне?

— Пожалуйста.

— Теперь внимательно послушай меня. Сегодня утром я записал такую фразу: «Как Дарвин обогатил биологию поразительно простой и вместе с тем строго научной теорией происхождения видов, так и основатели научного социализма, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, показали нам в развитии производительных сил и в борьбе этих сил против отсталых общественных условий производства великий принцип изменения видов общественной организации».

— Очень хорошая фраза.

— Нет в ней нарочитости?

— Совершенно никакой.

— Тогда слушай дальше. Учение Маркса и Энгельса — это голова современного революционного движения, а пролетариат — его сердце. Но само собой разумеется, что развитие научного социализма еще не закончено и так же мало может остановиться на трудах Энгельса и Маркса, как теория происхождения видов могла считаться окончательно выработанной с выходом в свет главных сочинений английского биолога. За установлением основных положений нового учения Маркса и Энгельса должна последовать детальная разработка многих относящихся к нему вопросов, разработка, дополняющая и завершающая переворот, совершенный в науке авторами «Коммунистического манифеста».

— Жорж, а теперь я должен сказать, что все твои формулировки полностью совпадают с моими мыслями по этому поводу.

— Спасибо, Павел, огромное тебе спасибо за эти слова. Ты очень помог мне сегодня.

4

Итак, научный социализм предполагает материалистическое понимание истории, то есть он объясняет духовную историю человечества развитием его общественных отношений. Главной же причиной того или иного склада общественных отношений, того или иного направления их развития является состояние производительных сил и соответствующая им экономическая структура общества. Как говорит Маркс, в своей общественной жизни люди наталкиваются на известные, необходимые, не зависящие от их воли отношения производства, соответствующие той или иной ступени развития производительных сил. Вся совокупность этих отношений производства составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют известные формы общественного сознания. Соответствующий материальной жизни способ производства обусловливает собой процессы социальной, политической и духовной жизни вообще. Не понятия определяют общественную жизнь людей, а, наоборот, их общественная жизнь обусловливает собою их понятия. Правовые отношения, равно как и формы государственной жизни, не могут быть объяснены ни сами собою, ни так называемым общим развитием человеческого духа, а коренятся в материальных условиях жизни. Следовательно, анатомию гражданского общества нужно искать в его экономике. И, таким образом, на известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в столкновение с существующими имущественными отношениями. Из форм, способствующих развитию производительных сил, эти имущественные отношения делаются их тормозами. И вот тогда-то и наступает эпоха

социальной революции, утверждает Маркс. С изменением экономического основания изменяется более или менее быстро вся возвышающаяся на нем огромная надстройка. Ни одна общественная формация не исчезает раньше, чем разовьются все производительные силы, которым она предоставляет достаточно простора. И тогда получается, что все новые высшие отношения производства никогда не занимают места старых раньше, чем вырабатываются в недрах старого общества материальные условия их существования. Поэтому можно сказать, что человечество всегда ставит себе только исполнимые задачи, ибо при внимательном рассмотрении всегда оказывается, что самая задача появляется лишь там, где материальные условия ее решения уже существуют или находятся в процессе своего возникновения.

Поэтому учение Маркса и Энгельса представляет собою настоящую «алгебру» революции, как сказал когда-то Герцен о философии Гегеля. Поэтому Маркс и Энгельс сочувствуют всякому революционному движению против существующих общественных и политических отношений. Именно поэтому же они с горячим сочувствием отнеслись к русскому революционному движению, сделавшему Россию, по их словам, передовым отрядом европейской революции.

Но, несмотря на всю ясность и недвусмысленность взглядов Маркса, многие русские революционеры говорили и продолжают говорить, что теория научного социализма выросла на почве западных экономических отношений и поэтому-де к России неприменима. Но ведь история западноевропейских экономических отношений положена Марксом лишь в основу истории капиталистического производства. Общие же философско-исторические взгляды Маркса имеют такое же отношение к современной Западной Европе, как и к Греции, и Риму, и Египту, и Индии. Они объемлют всю культурную историю

человечества. Следовательно, они вполне могут быть применимы и к России — к ее прошлому, настоящему и, что самое главное, к ее будущему. Автор «Капитала» не исключает из своего поля зрения экономических особенностей той или иной страны — он ищет только в этих особенностях объяснение всех ее общественно-политических и умственных движений. (Наиболее характерный пример — решительное предсказание Марксом и Энгельсом судеб и значения русской общины, сделанное в предисловии к переводу «Манифеста».) И поэтому едва ли хоть один человек, понимающий значение международных отношений в экономической жизни современных цивилизованных обществ, будет отрицать тот факт, что развитие русской общины в высшую коммунистическую форму тесно связано с судьбою рабочего движения на Западе.

5

— Разрешите?

— Заходите, Василий Николаевич, очень рад вас видеть.

— И я очень рад вас видеть, Георгий Валентинович.

— Давненько мы с вами не виделись, давненько.

— Болезнь совсем меня замучила, Георгий Валентинович. Легкие — ни к черту. Десять ступенек подъема, и уже задыхаюсь.

— Необходимо лечиться, Василий Николаевич, серьезно лечиться.

— Стараюсь, Георгий Валентинович, но ведь времени совершенно нету.

— Время нужно найти, потом будет поздно.

— Все правильно, но только не приучены мы, русские, за собой следить. Да и когда — аресты, тюрьмы...

— И это верно.

— Георгий Валентинович, я зашел поговорить относительно типографских дел. Вы, конечно, знаете, что деньги, которые мой брат, сестра и я получили после смерти нашего отца, в значительной степени уже истрачены для нужд движения. Но некоторые суммы еще остались. На мой взгляд, их нужно использовать наиболее рационально. Один из местных эмигрантов, некто Трусов, продает печатный станок и шрифт. Я уже почти договорился с ним о покупке. Цена недорогая. Думаю, нужно брать.

— Василий Николаевич, я в таких делах не специалист. К сожалению, абсолютно лишен практической жилки. Теория заела.

— Тогда я оформлю эту сделку на свой страх и риск. Станок, безусловно, пригодится. Да и шрифт не помешает. Тем более, насколько я понимаю, разрыв с народовольцами не за горами. Лев Григорьевич Дейч рассказывал мне, что с «Вестником «Народной воли» у вас дело не ладится.

— Да, все идет к этому. Собственно говоря, стать одним из редакторов «Вестника» я согласился в какой-то степени из-за личных симпатий к Лаврову и Кравчинскому, когда узнал, что они тоже будут редакторами. Кроме того, была сильная надежда при помощи нового журнала склонить остатки «Народной воли» к марксизму или хотя бы приобрести в их среде как можно больше наших сторонников. Но Кравчинский, как вы, очевидно, знаете, уехал, а на его месте оказался Тихомиров — пренеприятнейшая личность, должен вам сказать... Интересно, какого вы о нем мнения, Василий Николаевич?

— Меня всегда удивляла, Георгий Валентинович, та популярность, которой Тихомиров пользуется в революционной среде.

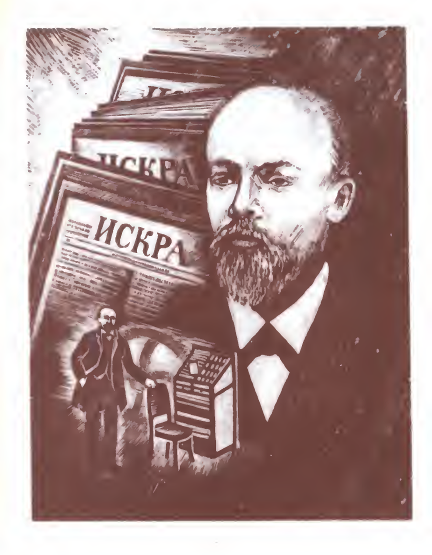
— Когда мы обсуждали мою рецензию на книгу Аристова о профессоре Щапове, которую я специально написал для «Вестника» и которая заканчивалась утвержде-

нием, что революционной России предстоит пережить социал-демократический период, Тихомиров все время зевал. Причем зевота его не только превышала все рамки приличия, принятые в интеллигентном обществе, но и была, так сказать, прямым фигуральным выражением его отношения к предмету обсуждения и главным образом к моему заключительному утверждению. А когда я сказал, что готов сделать из «Капитала» прокрустово ложе для всех сотрудников редакции «Вестника «Народной воли», Тихомиров откровенно рассмеялся. Дальше идти уже некуда.

— Вера Ивановна Засулич рассказывала мне о каком-то смешном случае, связанном с Тихомировым и немецкими социал-демократами.

— Ну это был изумительный перл! Мы с Верой Ивановной посоветовали Тихомирову, как одному из членов Исполнительного Комитета «Народной воли» и его представителю за границей, познакомиться и сблизиться с руководителями немецкой социал-демократии, считая, что такое знакомство пойдет на пользу «Народной воле» в смысле приобщения ее к марксизму. И знаете, что ответил нам Тихомиров? Что с «немцами» он сближаться не намерен. Немец, мол, он и есть «немец». У них-де в партии слишком много народу, несколько сот тысяч человек, и среди них, мол, наверняка много негодных, ненадежных людей. Следовательно, ни в какие деловые отношения с немецкой социал-демократией вступать невозможно. Вот если бы они, «немцы», согласились распустить всю свою партию и взамен набрали несколько сотен боевых, решительных, на все готовых людей, в стиле «Народной воли», тогда он, Тихомиров, еще подумал бы. Каково, а? И смешно, и, главным образом, грустно.

— Тихомиров относится к немецким социал-демократам как охотнорядец к соседу — купцу с немецкой фамилией. А ведь именно они, «немцы», дали мировому


ИСКРА
ИСКРА



революционному движению Маркса, Энгельса, Либкнехта, Бебеля!.. Я сейчас уже полностью считаю себя марксистом, но даже тогда, когда я начинал с «Земли и воли», всякий шовинизм был мне органически чужд и я всегда чувствовал себя интернационалистом. Поведение Тихомирова и смешно, и грустно, и просто противно!

— Вот именно, Василий Николаевич, вот именно! Мне, знаете ли, все эти тихомировские зевки и почесыванья при малейшем упоминании о марксизме так надоели, что я в конце концов взял да и забрал свою рецензию о Щапове из редакции «Вестника «Народной воли».

6

— Господин Дейч, руки вверх!

— Жорж, что за шутки!

— Никаких шуток, господин Дейч. Вы разыскиваетесь русской тайной полицией. Это ведь вы в преступном сговоре с известными бунтовщиками Стефановичем и Бохановским, используя подложную царскую грамоту, устроили беспорядки среди крестьян Чигиринского уезда?

— Жорж, перестаньте дурачиться!

— А будучи арестованным и справедливо посаженным в киевскую тюрьму, совершили дерзкий побег из этого неприступного государственного острога?

— Жорж, что с вами сегодня?

— У меня родилась дочь!

— В самом деле? Так это же прекрасно! Поздравляю, Жорж, от души поздравляю со второй дочкой!

— Спасибо, спасибо, спасибо!

— Как себя чувствует Роза?

— Вроде бы хорошо, но ведь женщины — это же загадка и тайна, особенно для нас, мужчин, и особенно в такое время. Там сейчас около нее Вера, а меня, счастливого отца, видите ли, прогнали, чтобы я не мешал

своей бестолковой суетливостью. И я отправился шутить, петь, бегать, смеяться и радоваться прибавлению своего семейства, которое, откровенно говоря, кормить совершенно нечем, но не беда. Где наша не пропадала!.. Кстати, не хотите ли выпить по случаю рождения еще одной госпожи Плехановой? Достанем у кого-нибудь несколько франков и налижемся от души назло всем нашим врагам, как в былые студенческие времена.

— Эти несколько франков как раз есть у меня.

— Так ведь это, наверное, последние?

— Какие могут быть расчеты, Жорж, в такой день? Идемте скорее!

— Куда направим мы свои будущие пьяные ноги?

— Конечно, в Бразери де ла Террасьер. Куда же еще?

— Отлично, Лева, идемте!

— Пусть все наши эмигранты, а заодно и царские сыщики, которые сейчас, безусловно, уже там сидят, знают, что у грозного русского революционера Жоржа Плеханова родилась еще одна дочь и что он, несмотря на все невзгоды и преследования, чувствует себя необыкновенно хорошо и плюет с самой высокой женевской колокольни на все полицейские заграничные ведомства господина Александра Третьего!

— А вы знаете, Лева, у меня сейчас действительно очень хорошее настроение. Во-первых, родилась дочь. Во-вторых, ту самую статью для «Вестника «Народной воли» о политической борьбе и социализме, конспект которой я вам когда-то читал, я уже почти закончил. А что еще нужно человеку? Деньги? Их никогда ни у кого из нас не будет...

— Жорж, при написании статьи вы строго придерживались того конспекта, который мне читали?

— И да, и нет.

— Получились большие отклонения?

— Не очень большие, но получились.

— Каких же именно сторон они касаются?

— Я вчера как раз разбирал отношения «Народной воли» и либералов. Если вы помните, в народовольческой программе есть такое место, где говорится о том, что при современной постановке партийных задач интересы русского либерализма сходятся с интересами русской социально-революционной партии. Помните? Ну, так вот: как, спрашивается, социально-революционная партия, то есть «Народная воля», вселяет в сознание русских либералов понимание общности их интересов?.. Слушайте внимательно. Во-первых, «Народная воля» заявляет в программе Исполнительного Комитета, что воля русского народа была бы достаточно высказана и проведена в жизнь Учредительным собранием. В известном письме к Александру III Исполнительный Комитет опять же требует созыва представителей всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями.

Д е й ч. Но это действительно совпадает с интересами русских либералов в данный момент, и для их осуществления они, пожалуй, примирились бы со всеобщим избирательным правом.

П л е х а н о в. Вот именно. Что же получается? Исполнительный Комитет требует от Александра III всеобщего избирательного права. Одновременно Исполнительный Комитет требует свободы сходок, слова и печати в виде временной меры. Эта «временность» — уже крупнейший промах «Народной воли». А дальше? Народовольцы спешат убедить читающую публику в том, что большинство депутатов Учредительного собрания будет состоять из сторонников радикального экономического переворота в России. Спрашивается, разве экономический переворот входит в интересы русского либерализма? Разве наше либеральное общество сочувствует аграрной революции,

которой, по словам «Народной воли», будут добиваться крестьянские депутаты Учредительного собрания?

Дейч. Конечно, не сочувствует.

Плеханов. Вся западноевропейская история весьма убедительно говорит нам о том, что там, где «красный призрак» начинал принимать хоть сколько-нибудь реальные и грозные формы, либералы тут же готовы искать защиты в объятиях самой бесцеремонной военной диктатуры. Думал ли Исполнительный Комитет, что наши русские либералы составят исключение из этого общего правила? Думал ли он также о том, что современное «общественное» мнение Европы до такой степени проникнуто социалистическими идеями, что будет сочувствовать созыву революционного российского Учредительного собрания? Или Исполнительный Комитет надеялся, что, трепеща красного призрака у себя дома, европейская буржуазия будет аплодировать появлению его в России?

Дейч. Жорж, я готов подписаться под каждым словом этих рассуждений. Надеюсь, они войдут в вашу статью о политической борьбе и социализме?

Плеханов. Конечно, войдут.

Дейч. Когда вы закончите ее?

Плеханов. В принципе она уже готова. Осталось доделать кое-что по мелочам.

Дейч. Может быть, вам сейчас, учитывая положение дома, нужна какая-нибудь помощь? В смысле проверки материалов или наведения справок в первоисточниках? Можете рассчитывать на меня.

Плеханов. Спасибо, Левушка. Я очень тронут вашим вниманием, но уже ничего не требуется. Практически статья закончена, и со дня на день я отошлю ее Тихомирову.

Дейч. Я думаю, что среди народовольцев она произведет впечатление разорвавшейся бомбы.

Плеханов. Там есть одно место, где я характери-

зую народовольчество как направление, у которого отсутствуют принципы. Лаврову это, естественно, не должно понравиться.

Д е й ч. Но только не соглашайтесь ни на какие существенные исправления.

— Конечно, не соглашусь. Это исключается.

— В крайнем случае мы найдем возможность издать вашу статью отдельной брошюрой.

— Каким же образом?

— Игнатов, кажется, уже сторговал типографию.

— У Трусова?

— Да.

— Насколько я знаю, там есть только шрифт и наборный станок.

— А это уже полдела.

— А кто же будет набирать текст и печатать?

— Мы, ваши единомышленники. Сами и наберем, и напечатаем.

— Лев Григорьевич, по-моему, вы переоцениваете наши возможности.

— Когда заходит речь о том, чтобы нанести по народничеству удар такой силы, который содержит ваша статья, а я помню ее конспект, лучше переоценить свои возможности, чем недооценить их.

— Опасно и то, и другое. Лучше оставаться на реалистической позиции.

— Посмотрим, посмотрим... А вот, кстати, и Бразери де ла Террасьер!

— Мне что-то уже даже и не хочется осуществлять нашу большую студенческую программу.

— Жорж, а юная госпожа Плеханова?

— Ваше участие вдохнуло в меня новую энергию. Захотелось вернуться домой и поработать.

— Как вы назвали дочь?

— Евгенией. В вашу честь.

— По одной рюмке за маленькую Женю, а?
— Ну, если только по одной...
— И по второй за Розу. Она у вас молодец.
— За Розу отказаться не могу. Вообще, если бы не она...
— Вперед, и горе Тихомирову!
— Лева, вы змей-искуситель.
— Вы же сами увлекли меня... Добрый вечер, мсье. У вас есть русская водка?
— В моем кафе, где собирается столько русских социалистов, не может не быть русской водки.
— Тогда две рюмки водки.
— Смирнофф?
— Безусловно.
— Прошу, мсье.
— За здоровье маленькой Жени!
— Спасибо, Левушка...
— Мсье, повторите!
— С удовольствием, мсье. Прошу, мсье.
— Жорж, за здоровье Розы!
— Спасибо, Левушка. Этот день мне запомнится...
— Вперед, и горе Тихомирову!

7

— Павел, я взял статью обратно.
— Какую, Жорж?
— «Социализм и политическая борьба». Из «Вестника «Народной воли».
— Как было дело?
— Ты помнишь историю с заметкой о Щапове?
— Помню.
— Я сказал тогда Тихомирову, что пришла пора резкой критической оценки всех теоретических элементов нашего народничества, что старые формы нашей «на-

родной жизни» и «народного миросозерцания» слишком тесны для того, чтобы воплотить в себе теорию и практику нового русского социалистического движения, что наша социально-революционная партия должна начать новый период освободительной борьбы — социал-демократический.

— Да, я все это помню.

— Так вот, получив статью «Социализм и политическая борьба», Тихомиров тут же переслал ее Лаврову, и оба они обвинили меня в отступничестве и чуть ли не в предательстве идеалов народничества. Особо возмутило их то положение статьи, где я указал на отсутствие у «Народной воли» принципов современного научного социализма. Короче говоря, печатать статью они отказались в самой категорической форме.

— Ну, что ж, пожалуй, пришло время расставаться с ними навсегда.

— К сожалению, из нашей попытки повернуть их к марксизму ничего не получилось.

— Мы сделали все, что смогли, и даже больше того.

Плеханов. Твою статью о социализме и мелкой буржуазии они печатать, по всей вероятности, тоже не будут.

Аксельрод. Это немудрено. Статья насквозь пропитана неприемлемым для них духом марксизма.

Плеханов. Чего же ждать еще? Нужно делать практические выводы. Они созрели у каждого из нас уже давно. Сейчас необходимо придать им наиболее законченное организационное выражение.

Аксельрод. Мы говорим об этом уже давно. Наступила пора действовать.

Плеханов. Решительный разрыв с народовольством?

Аксельрод. Да, решительный.

Плеханов. О Тихомирове я совершенно не сожалею. Он человек вчерашнего дня. Сложнее будет порвать

с Лавровым. Все-таки Петр Лаврович был для меня духовно очень близким человеком. В определенной степени именно он пробудил во мне так называемую «критическую мысль». Не скрою, в свое время я испытал очень сильное влияние взглядов Лаврова на свои убеждения. А если уж говорить совсем откровенно, то именно Лавров, Чернышевский и Маркс были моими самыми любимыми социалистическими авторами. Они развили и воспитали мой ум во всех отношениях.

Аксельрод. Я понимаю тебя, Жорж. Очень тяжело идти на духовный разрыв с людьми, которым ты по-человечески симпатизируешь.

Плеханов. Но ничего не поделаешь. Нельзя стоять на месте даже в личных симпатиях. Тем более, что и общественные наши симпатии разошлись довольно круто. Петр Лаврович человек милый, умный, благородный. Он поддерживает отношения с Марксом и Энгельсом, но по существу марксистом никогда не был. А прославленные критические свойства его ума сейчас как бы окостенели, утратили свою былую эластичность и способность живо воспринимать изменения действительности. Он устарел, наш уважаемый и любимый Петр Лаврович Лавров, и, к сожалению, нам больше с ним не по пути. Он остается в прошлом, а нам нужно идти вперед.

8

— Верочка, час пробил!

— Жорж, вы, как всегда, с неожиданностями.

— На этот раз с приятными.

— Что случилось? Объяснитесь.

— Мы порываем все наши организационные отношения с «Вестником «Народной воли» и со всей группой лиц народовольческого толка, объединяющихся вокруг него.

— И образуем новую группу?

— Да. Пришла пора сказать «последнее прости» во всем печальном смысле этих слов и «Земле и воле», и «Черному переделу», и «Народной воле». Жизнь движется вперед. Выше голову, Вера Ивановна!

— Жорж, как будет называться новая группа?

— Вы, как всегда, очень практичны, Вера Ивановна, но названия группы еще не существует. Вас устроило бы, например, такое: «Русская социал-демократическая группа»?

Засулич. Нет, не устроило бы.

Плеханов. Почему?

Засулич. Неопределенно, расплывчато.

Плеханов. Может быть, может быть...

Засулич. Да и по тактическим соображениям не подходит...

Плеханов. Теперь вы должны объясниться.

Засулич. Вы же не станете отрицать, что русская революционная молодежь до сих пор еще проникнута народническим духом и слова «социал-демократическая группа» могут оттолкнуть от нас эту молодежь на первых порах?

Плеханов. Нет, не стану. Мы, марксисты, должны ориентироваться на реальные факты, а ваше соображение — абсолютно реальный факт.

Засулич. Следовательно, необходимо продолжить поиски названия новой группы, не так ли?

Плеханов. Ну, что ж, будем продолжать поиски. Очевидно, в поисках находится, как в спорах рождается, истина.

9

— Василий Николаевич, вы уже знаете, что мы приступаем к организации русской социал-демократической марксистской группы?

— Да, Георгий Валентинович, я уже об этом знаю. И целиком поддерживаю инициативу создания такой группы.

Плеханов. Какие у вас есть предложения о названии группы?

Игнатов. Откровенно сказать, об этом я еще не думал.

Плеханов. Из названия, по всей вероятности, необходимо исключить слова «социал-демократическая», поскольку, по теперешним понятиям, они звучат в революционной среде как очень обидные и почти бранные слова.

Игнатов. Понял, Георгий Валентинович. Буду думать.

Плеханов. А как обстоят наши типографские дела?

Игнатов. Оборудование куплено. Ждем сигнала к началу работы.

Плеханов. Такой сигнал будет. И, очевидно, в самое ближайшее время.

10

Дейч. Все готово?

Плеханов. Да, все готово.

Дейч. Наборные кассы, шрифты, станок?

Плеханов. Василий Николаевич сказал, что все уже куплено.

Дейч. Игнатов вложил большие деньги в наши будущие издательские дела, а сам практически остается с очень ограниченными средствами. А ведь ему надо усиленно лечиться...

Плеханов. Василий Николаевич святой человек.

Дейч. Эта святость граничит с полным самоотречением. Я разговаривал с его врачом — состояние здоровья Василия Николаевича катастрофически ухудшается.

Жизнь его висит на волоске. Туберкулез в самой последней стадии.

Плеханов. Это ужасно, просто ужасно. Я уговаривал его уехать куда-нибудь на юг. Ведь ездил же он несколько лет назад в Египет. И там ему стало лучше. Но сейчас он даже слышать не хочет об отъезде.

Дейч. Накануне таких событий я бы тоже, будь я в его положении, никуда не уехал.

Плеханов. Я понимаю, но вообще-то говоря, здоровье наших товарищей по группе оставляет желать много лучшего и серьезно волнует меня. Вера и Павел тоже больны.

Дейч. А вы, Жорж? Разве вы чувствуете себя геркулесом?

Плеханов. Я чувствую себя вполне здоровым.

Дейч. Но мне приходилось слышать, что ваш отец умер от туберкулеза легких. Простите, конечно, за неуместное напоминание, но вам тоже надо беречь себя.

Плеханов. Лев Григорьевич, а что же с названием группы? Его пока не существует.

Дейч. Я думаю, что, когда соберемся все вместе, название появится.

11

Их было пятеро.
Вера Засулич.
Василий Игнатов.
Павел Аксельрод.
Лев Дейч.
Георгий Плеханов.

25 сентября 1883 года они собрались в Женеве. После долгого обсуждения было найдено наконец название группы — «Освобождение труда»,— с которым согласились все.

— Друзья,— сказал, поднявшись с места, Георгий Плеханов,— позвольте огласить текст заявления первой русской марксистской социал-демократической группы «Освобождение труда» об издании «Библиотеки современного социализма».

Он сделал паузу. Все смотрели на него с напряженным вниманием.

— «Борьба с абсолютизмом,— начал читать Плеханов,— историческая задача, общая русским социалистам с другими прогрессивными партиями в России — не принесет им возможного влияния в будущем, если падение абсолютной монархии застанет русский рабочий класс в неразвитом состоянии, индифферентным к общественным вопросам или не имеющим понятия о правильном решении этих вопросов в своих интересах.

Поэтому социалистическая пропаганда в среде наиболее восприимчивых к ней слоев трудящегося населения России и организация, по крайней мере, наиболее выдающихся представителей этих слоев составляет одну из серьезнейших обязанностей русской социалистической интеллигенции.

Необходимым условием такой пропаганды является создание рабочей литературы, представляющей собой простое, сжатое и толковое изложение научного социализма, и выяснение важнейших социально-политических задач современной русской жизни, с точки зрения интересов рабочего класса.

Но, прежде чем взяться за создание такой литературы, наша революционная интеллигенция должна сама усвоить современное социалистическое миросозерцание, отказавшись от несогласимых с ним старых традиций. Поэтому критика господствующих в ее среде программ и учений должна занять важное место в нашей социалистической литературе.

Всякий, знакомый с современным состоянием нашей

социалистической литературы, знает, как мало удовлетворяет она обоим вышеуказанным требованиям. Члены группы, впервые приступившие к изданию «Черного передела» (1879—1880 гг.), решились всеми зависящими от них средствами способствовать пополнению этих пробелов и с этой целью приступают теперь к изданию «Библиотеки современного социализма».

Вполне признавая необходимость и важность борьбы с абсолютизмом, они полагают в то же время, что русская революционная интеллигенция слишком игнорировала до сих пор вышеуказанные задачи организации рабочего класса и пропаганды социализма в его среде; они думают, что борьба ее с правительством не сопровождалась в достаточной мере подготовлением русского рабочего класса к сознательному участию в политической жизни страны. Разрушительная работа наших революционеров не дополнялась созданием элементов для будущей рабочей социалистической партии в России.

Изменяя ныне свою программу в смысле борьбы с абсолютизмом и организации русского рабочего класса в особую партию с определенной социально-политической программой, бывшие члены группы «Черного передела» образуют ныне новую группу — «Освобождение труда» и окончательно разрывают со старыми анархическими тенденциями...»

— Господа,— прервал чтение Лев Дейч,— я считаю, что в этом месте из тактических соображений нужно сделать необходимое добавление.

Все повернулись к нему.

А к с е л ь р о д. Какое именно?

Д е й ч. Я полагаю, что ввиду неоднократно повторявшихся слухов о состоявшемся будто бы соединении старой группы «Черного передела» с «Народной волей» мы должны сказать несколько слов по этому поводу.

Засулич. Конкретно. У вас есть текст вашего добавления?

Дейч. Да, конечно.

Он вынул из кармана лист бумаги, развернул его и начал читать:

— «В последние два года между «Черным переделом» и «Народной волей» действительно велись переговоры о соединении. Но хотя некоторые члены «Черного передела» вполне примкнули к «Народной воле»...

Засулич. Фамилии? Называйте фамилии.

Дейч. Я имею в виду Стефановича и Булановых.

Засулич. Надо вставить в текст.

Дейч. «...вполне примкнули к «Народной воле», полного слияния состояться не могло. Оно затрудняется нашими разногласиями с «Народной волей» по вопросу о так называемом «захвате» власти, а также некоторых практических приемах тактики революционной деятельности. Однако обе группы имеют так много общего, что могут действовать в огромном большинстве случаев рядом, пополняя и поддерживая друг друга».

Игнатов. Последнюю фразу я предлагаю снять.

Засулич. А по-моему, можно оставить.

Аксельрод. Добавление выросло до размеров совершенно самостоятельного заявления.

Игнатов. Господа, необходимы ли нам вообще столь изысканные реверансы в адрес «Народной воли»?

Засулич. Это не реверансы.

Дейч. Там осталось много старых товарищей.

Плеханов. И будущих теоретических врагов.

Аксельрод. О чем мы спорим? Я предлагаю поручить Льву Григорьевичу отредактировать его добавление с учетом наших мнений.

Дейч. Прошу принять извинения за то, что вызвал такие страсти.

А к с е л ь р о д. Хотелось бы выслушать Жоржа до конца без перерывов на дебаты. Сначала текст, а потом обсуждение.

Д е й ч. У меня добавлений больше не будет.

И г н а т о в. Георгий Валентинович, пожалуйста, просим вас.

— «Успех первого предприятия группы «Освобождение труда»,— продолжил Плеханов,— зависит, конечно, от сочувствия и поддержки действующих в России революционеров. Поэтому она и обращается ко всем кружкам и лицам в России и за границей, сочувствующим вышеизложенным взглядам, с предложением обмена услуг, организации взаимных сношений и совместной выработки более полной программы для работы на пользу общего дела. Группа «Освобождение труда» смотрит на «Библиотеку современного социализма» как на первый опыт, удача которого дала бы ей возможность расширить свое дело и приступить к изданию социалистических сборников или даже периодического обозрения.

Задача, поставленная себе издателями «Библиотеки современного социализма», едва ли нуждается, после всего сказанного, в более подробном объяснении. Она сводится к двум главным пунктам.

1. Распространению идей научного социализма путем перевода на русский язык важнейших произведений школы Маркса и Энгельса и оригинальных сочинений, имеющих в виду читателей различных степеней подготовки.

2. Критике господствующих в среде наших революционеров учений и разработке важнейших вопросов русской общественной жизни, с точки зрения научного социализма и интересов трудящегося населения России.

Женева, 25 сентября 1883 года».

Все молчали. Слова были вроде бы обыкновенные, но в то же время содержали огромный смысл. За простыми фразами о распространении идей марксизма в России и о

критике народнических взглядов вставали годы борьбы, годы надежд и разочарований, побед и поражений, сбывшихся предчувствий и недостигнутых вершин.

12

Так родилась первая русская марксистская, социал-демократическая группа. В будущем Ленин назовет ее «и основательницей и представительницей и вернейшей хранительницей» идей научного социализма в революционном движении России.

В конце сентября 1883 года заявление об издании «Библиотеки современного социализма», провозгласившее создание первой русской марксистской группы, было напечатано отдельной листовкой.

Первым выпуском «Библиотеки» станет книга Георгия Валентиновича Плеханова «Социализм и политическая борьба».

Эпиграфом к ней Плеханов возьмет слова из «Манифеста Коммунистической партии»: «Всякая классовая борьба есть борьба политическая».

Владимир Ильич Ленин назовет эту книгу первым исповеданием веры русского социализма.

Глава десятая

1

Энгельс написал Вере Засулич: «Вы спрашивали мое мнение о книге Плеханова «Наши разногласия»... И того немногого, что я прочел в этой книге, достаточно, как мне кажется, чтобы более или менее ознакомиться с разногласиями, о которых идет речь. Прежде всего, повторяю, я горжусь тем, что среди русской молодежи существует партия, которая искренне и





без оговорок приняла великие экономические и исторические теории Маркса и решительно порвала со всеми анархистскими и несколько славянофильскими традициями своих предшественников. И сам Маркс был бы также горд этим, если бы прожил немного дольше. Это прогресс, который будет иметь огромное значение для развития революционного движения в России. Для меня историческая теория Маркса — основное условие всякой *выдержанной и последовательной* революционной тактики; чтобы найти эту тактику, нужно только приложить теорию к экономическим и политическим условиям данной страны».

Это были лучшие годы его жизни. «Наши разногласия» будоражили революционную Россию. Книга попала в точку — она объяснила положение вещей, предъявила правду о тупике, в который зашло народничество вообще и «Народная воля» в частности.

Ореол «лавризма» (историю делают критически мыслящие личности, герои-интеллигенты) померк. Марксистская истина — двигателем истории являются народные массы и только они — настойчиво проникала в умы русских революционеров. Концепции лидера народовольчества Тихомирова о самобытных путях развития русского общества, о том, что марксизм якобы «навязывает» России следовать капитализму, были поколеблены до основания. Капитализм в России наступил в силу объективных закономерностей всеобщего общественного процесса, а не по чьей-то субъективной прихоти, и поэтому русские революционеры должны воспользоваться этим совершающимся в стране социально-экономическим переворотом, а не растрачивать свою энергию на постройку воздушных замков в стиле удельно-вечевой эпохи.

В кругу «старых» друзей народнического толка «Разногласия» вызвали смерч возмущения. Жоржа

Плеханова обвиняли в предательстве, ренегатстве, в измене священной памяти героев «Народной воли», погибших на эшафоте.

И по этому накалу страстей он понимал, что направление взято правильно — верность памяти павших героев требовала, отказавшись от их приемов борьбы, от старых методов движения, идти дальше, брать новую, более высокую ступень.

Он испытывал в эти годы необыкновенную удовлетворенность от сделанного им решительного шага — крутого поворота к марксизму и социал-демократии, который теоретически и литературно удалось четко зафиксировать в «Наших разногласиях». Он совершенно отчетливо ощущал, что этим резким, публичным, официальным отказом от народничества он прежде всего ответил себе самому на мучительно терзающий душу вопрос — что делать? как жить и бороться дальше?

Отказ от прежних взглядов, от мировоззрения молодости внутренне произошел в нем давно, но он долго страдал от невозможности сделать это внешне, и вот теперь, когда это выстраданное выплеснулось наружу, случилось открыто, на миру, перед лицом всей революционной России, он почувствовал огромное нравственное облегчение и личное, почти физическое освобождение от давившей душу и сердце тяжести.

Да, теперь, когда «волны», поднятые «Разногласиями», грозно шумели в умах русской социалистической молодежи, повсеместно образуя новые споры и дискуссии (в Петербурге, Москве, Поволжье, в эмиграции), он невольно, иным зрением начал смотреть на свою прежнюю жизнь и увидел ее как бы заново, в другом свете.

Собственно говоря, вся она и раньше, еще с самой

ранней юности, была отмечена крутыми поворотами, резкими переходами из одного состояния в другое, неожиданными превращениями устоявшегося бытия в прямо противоположное качество.

...Юнкер Константиновского артиллерийского училища вдруг подает прошение об отставке, навсегда уходит из армии и поступает в Горный институт, с головой погружается в естественные науки — химию, физику, минералогию.

Почему? Что заставило его тогда столь внезапно изменить свою судьбу? Смерть отца? Протест против отцовской традиции, в которой замашки фанфаронистого николаевского офицера дополнялись жестоким нравом помещика-крепостника?

Наверное, не только это. Вокруг казарм Константиновского училища бурлила жизнь столицы огромного государства, недавно пережившего величайшее событие своей истории — освобождение крестьян. (Подумать только! Всего четверть века назад Россия была еще рабовладельческой страной, а он сам, Жорж Плеханов,— сыном рабовладельца, целых пять первых лет своей жизни имевшим возможность па правах наследника владеть живыми людьми как своей личной собственностью.)

Вокруг казарм Константиновского училища шумела новая жизнь новой России, открывались горизонты широкой общественной деятельности, возникали неизвестные ранее направления бытия, создавались новые экономические, духовные и правовые отношения между людьми, а он, семнадцатилетний юнкер Жорж Плеханов, сидел в своей «мертвой» казарме, под колпаком палочного устава и армейской муштры.

А она, новая жизнь, ежедневно посылала сквозь стены казармы свои сигналы, она накапливала в его душе новые впечатления и знания, и однажды наступил такой день, когда он понял, что больше так продолжаться не

может, что ему обязательно нужно что-то изменить в своем положении — привести внешнее в соответствие внутреннему, иначе он мог взорваться изнутри — такая уж у него была натура. Он не переносил разрыва между внешним и внутренним. Душа требовала крутого поворота, резкого перехода в иное качество, скачка в новое измерение. (Другие могли терпеть, могли жить с «разрывом», а он — органически не мог.)

«Копилка» души — «копилка» наблюдений, ощущений, впечатлений и переживаний — была переполнена, плескалась через край. И тогда он подал прошение об отставке, совершив первый, крутой и резкий поворот своей судьбы.

Спустя некоторое время все повторилось... Студент Горного института Жорж Плеханов поражал профессоров своими блестящими способностями. Ему прочили большое научное будущее. Но одновременно студент Плеханов все глубже и глубже втягивался в работу народнических кружков Петербурга. Непрерывно пополняющийся запас социалистических знаний одного из самых искусных и умелых агитаторов-землевольцев и опыт, полученный в рабочей среде, с каждым днем все больше и больше развивали его сознание. Постепенно он становится человеком уникальнейшей революционной эрудиции, равной которой, по всей вероятности, в то время не было в русской революционной среде.

Он блестяще ориентируется в точных науках — математике, физике, химии; он знаком с высшими достижениями французской социалистической мысли, английской политэкономии, немецкой философии, с сочинениями Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Писарева; он прочитал уже первые книги новой немецкой экономической школы Маркса и Энгельса; он один из лучших знатоков литературы столпов народничества — Бакунина, Лаврова, Ткачева.

И что самое главное — он еще и наиболее осведомленный практик рабочего движения, постоянно печатающий в легальных и нелегальных изданиях статьи и заметки о новых процессах, происходящих в среде фабричного населения Петербурга.

Пожалуй, поставить в те годы рядом с ним в русских революционных кругах действительно некого — равной фигуры нет. Но сам он по молодости лет еще не осознал до конца всей масштабности своей личности. Это даже ощущается в его внешнем облике — ходит в рабочей блузе, в простых сапогах, ночует где придется, спит на вокзалах, у случайных знакомых. Он только еще приближается к тому счастливому мгновению, когда его богато одаренная натура под напором идущей вперед жизни потребует от своего хозяина нового, внешне качественного изменения. Да, жизнь вокруг него непрерывно изменяется, неудержимо движется вперед. И он сам постоянно изменяется и движется вперед вместе с жизнью. Душа требует поступка, практического деяния, метаморфозы, превращения — перехода на более высокую ступень. И (как промежуточный этап в этом восхождении вверх) он соглашается произнести публичную политическую речь против самодержавия на демонстрации возле Казанского собора.

Он знает (вернее — догадывается), что после демонстрации судьба его может совершить поворот, и на этот раз очень резкий. Но молодость дает ему уверенность и силы, чтобы сделать этот решительный и на том этапе его жизни самый значительный шаг в своей судьбе. Молодость и та особая, уникальная теоретическая и «практическая» революционная эрудиция, равной которой в то время нет в русском освободительном движении.

И вот речь произнесена — первая в истории России публичная (на миру) политическая речь против самодержавия. Его разыскивает полиция. Он переходит на неле-

гальное положение и становится профессиональным революционером.

Новое качественное превращение произошло на пути еще неведомого ему самому его будущего жизненного предназначения.

Первая эмиграция (1877 год). Берлин. Париж. Лавров. Европейские социал-демократии.

Возвращение. Саратов, хождение в народ. Поездка на Дон. Попытка реализовать бакунинский тезис — поднять на восстание казаков. Неудача.

Он не приходит от нее в отчаяние, как многие его товарищи-землевольцы. Количество неудач, сколько бы их ни было, обязательно перейдет потом в одну качественно новую удачу. Житейская эта формула прочно входит в его обиход и мироощущение.

В те времена (до окончательного отъезда за границу) накопление однородных обстоятельств внутри очередного периода его жизни идет с ожидаемой и уже знакомой ему последовательностью, и он, как естествоиспытатель-экспериментатор, с интересом ведет наблюдения за самим собой, будучи абсолютно уверенным в том, что переживаемый период должен обязательно закончиться взрывом.

И этот взрыв происходит на Воронежском съезде. (На миру!) Объективная закономерность новой метаморфозы для него бесспорна и очевидна, и поэтому сам он однажды, напав на след и закон естественного и органичного развития своей жизни, субъективно всячески способствует ходу событий, не препятствуя их развертыванию, а, наоборот, сокращая, облегчая и ускоряя «муки родов» каждого своего нового состояния, каждого очередного периода своей судьбы.

В Швейцарии, Франции и снова в Швейцарии, получив наконец возможность заняться своим образованием и

теоретической работой (без учащенного дыхания российского городового в затылок), он настойчиво посещает на правах вольнослушателя университетские лекции по естественным наукам — физике, химии, биологии, зоологии, жадно поглощает одну за другой книги Гегеля, Фейербаха, Маркса, Энгельса, которых не было в России, но о которых он уже знал и немедленное знакомство с которыми стало для него необходимо, как сон, еда и воздух.

И, как всегда, неожиданное и счастливое откровение день ото дня все отчетливее проступает перед ним со страниц прочитанных книг и законспектированных лекций. С непрерывно увеличивающейся верой в свои возможности он медленно начинает осознавать уже наметившееся когда-то понимание всеобщей и неразрывной связи событий своей собственной жизни с процессами, происходящими в общественных отношениях между людьми. Все — история, человеческая личность, природа, социальная действительность,— все взаимно объясняется друг другом. Нет и не может быть ничего отдельно взятого, существующего изолированно. Все имеет свое начало и свой конец. Там, где кончается одно явление, или период, начинается другое — так уже неоднократно случалось в его жизни. Собственно говоря, все эти правила, конечно, не являются его личным открытием здесь, за границей. В самом общем виде они были знакомы ему еще дома, в России. Но тогда он применял их к своей жизни непроизвольно, стихийно, ища в них ответы только на свои личные вопросы. Теперь же, осознав под влиянием чтения социалистической литературы всеобщую связь явлений и жизненных процессов, он видит их как наиболее общее и верное средство объяснения не только этапов собственной судьбы, но и постижения общественных закономерностей.

А если так, то почему бы ему не применить эти правила к анализу всех накопившихся разногласий в его спорах с народниками, к анализу всех вопросов о путях раз-

вития капитализма в России, о задачах и тактике русской революционной партии, о социализме и политической борьбе?

Душа снова требует поступка, деяния, метаморфозы. Впереди вырисовывается новая, более высокая ступень жизненного предназначения. И его человеческая натура, его смелый, острый, самостоятельный характер (это отчасти и черты отцовского нрава — резкого и решительного), закалившийся на крутых поворотах судьбы, испытывает настоятельную потребность в переходе в иное качество. Он просто органически уже не может жить по-другому. (Другие могут, а он не может.)

Ему необходим взрыв, скачок, разрыв с прошлым. Ему обязательно надо освободиться от груза прежних противоречий. И, пройдя через это, испытать нравственное удовлетворение. Именно нравственное. Потому что присутствие в сознании отжившего, ненужного, бесполезного для него безнравственно. Прошлое должно быть сброшено с плеч. Иначе жизнь невозможна.

И опять ему хочется сделать это открыто, публично, на миру. (Может быть, из далекого детства, проведенного в тамбовской деревне, запала в его натуру эта крестьянская русская черта — потребность совершать решительные, главные в жизни поступки на миру.)

Так появляются на свет написанные одна за другой две его знаменитые книги, первенцы научного социализма в России — «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия», взорвавшие идеологию народничества, воздвигшие водораздел русского освободительного движения, по одну сторону которого осталось все прошлое и ненужное для движения, а по другую — начиналась его новая и широкая дорога.

2

С некоторых пор многие знавшие Плеханова по Петербургу русские эмигранты (в Женеве их было хоть пруд пруди) стали замечать во внешнем облике Жоржа — в манерах, жестах, выражении лица — нечто совершенно новое и ранее будто бы незнакомое, какую-то полускрытую, вежливую и немного искусственную ироничность, некую предупредительно изысканную и натянуто утонченную насмешливость.

Казалось, что Жорж, быстро усвоив в эмиграции снисходительно-легкий, европейский стиль поведения в повседневном житейском обиходе, как бы заново возвращается в те времена своей юности, когда он впервые появился в петербургской революционной среде — недавний юнкер, блестяще одаренный студент, слегка надменный, но в общем-то доброжелательный юноша, эдакий быстрокрылый дворянский птенец, стремительно выпорхнувший в жизнь из родительского усадебного гнезда.

Тогда, в первые годы жизни в Петербурге, он заметно отличался от окружавших его длинноволосых, буйно бородатых нигилистов своей военной выправкой, подтянутостью, корректностью. Он был подчеркнуто сдержан и вежлив в обращении с людьми, одевался всегда скромно и чисто, русые волосы аккуратно зачесывал назад, часто стриг небольшую бородку. На его запоминающемся, аскетически выразительном лице особенно выделялись темнокарие глаза, смотревшие из-под густых бровей и длинных ресниц иногда с проницательной, жесткой суровостью, но чаще с веселой и насмешливо-снисходительной иронией. (Это было наиболее характерное для него выражение в те годы.)

Потом, после перехода на нелегальное положение, его внешний облик первых петербургских лет как бы смазался для окружающих, определенность личности раствори-

лась, исчезла в бесконечном конспирировании, переодеваниях и маскировках под заурядного, неприметного столичного обывателя. Он вроде бы затерялся в общей массе землевольческих нелегалов, появляясь то в блузе мастерового, то в крестьянской поддевке, то в потертом пальто городского разночинца. Свои усы и бороду брил, подклеивая чужие, очень коротко стригся — для парика. Кочевая, неопределенная жизнь народнического агитатора помимо конспиративных соображений требовала еще и постоянной «идеологической» смены портретного, представительского обличья для разных аудиторий — рабочей, студенческой, крестьянской, казачьей, старообрядческой. И в этом калейдоскопе внешних масок он нередко ощущал и путаницу своих внутренних позиций, чувствовал, как колеблются, размываются границы его теоретических, идейных построений. Единая система твердых, неопровержимых убеждений сделалась не только духовной, но и психологической потребностью, превратилась в органическую необходимость. И утолить эту естественную жажду можно было только таким же естественным, единственно правильным объяснением современной жизни, а также прошлого и будущего русской истории — марксистским мировоззрением.

И вот теперь, когда жребий был брошен и Рубикон перейден, когда его книги стали «властителями дум» нового поколения русской революционной молодежи, когда имя его привлекло к себе пристальный интерес всей передовой, читающей России, когда к каждому его слову прислушивались сотни и тысячи людей в надежде узнать правду о русской жизни и о возможностях ее изменения,— теперь, когда произошло все это, он снова почувствовал себя необыкновенно молодым (как в первые годы жизни в Петербурге, после ухода из юнкерского училища), вновь

обрел интонации и состояние юности, к нему вернулась ясная убежденность в прозорливой правильности сделанного выбора. В характере обозначились черты некоей душевной упорядоченности, осознанности своего жизненного предназначения.

Многолетняя, напряженнейшая работа мысли распахнула перед ним самую ясную и четкую перспективу: мир может быть не только познан, но и должен быть изменен. И это, как ничто другое, давало возможность осознать в себе предельно густую концентрацию конкретной, человеческой определенности и цельности. Став марксистом, впервые за всю свою жизнь Жорж Плеханов ощутил себя в те годы человеком в том высоком смысле слова, который некогда он поставил перед собой как идеал, как цель, достижение которой он считал оправданием всей своей судьбы.

Устойчивая система неопровержимых взглядов была выработана во всей широте и глубине ее новой, научной масштабности, и человеческая натура Плеханова как бы заново начала наполняться неким новым, значительным содержанием, которое не спешит раскрываться и как бы замкнуто на ощущениях важности происходящих в его глубинах процессов, скрытый смысл которых доступен не каждому и не сразу.

И все это отчетливо запечатлелось и в перемене его внешнего облика, в котором одновременно появилось и это новое омоложение, и новая солидность и уверенность в себе, в котором, как и в первые годы жизни в Петербурге, после разрыва с армейской средой, укрепилась в качестве самоутверждающего и даже защитительного свойства утерянная им было на время утонченно-насмешливая, корректная ироничность и подчеркнуто вежливая, сдержанная снисходительность.

По сути дела, эта ироничность отчасти была невольным проявлением естественно воспринятого им из книг и

сочинений Маркса его, Марксова, стиля сомнения. «Сомневайся!» — это любимое изречение Маркса было хорошо известно Жоржу и стало одним из главных его жизненных правил. Диалектическая формула «отрицание отрицания», как и многие другие рациональные категории, почти материально переходившие у него из сферы разума в эмоциональный строй души, трансформировалась в характере Плеханова именно в виде этой утонченной насмешливости, которая проявлялась каждый раз, когда кто-нибудь пытался представить те или иные события, факты или явления как нечто неподвижное и застывшее, как неизменную данность.

Но дело было не только в этом.

С некоторых пор друзья и близкие начали отмечать, что в рассуждениях, разговорах и даже в дискуссиях и спорах он с какой-то тяжелой тоской и печалью стал часто вспоминать о родине, о далекой России, о тех местах, где прошли его детство и юность. Он теперь нередко называл себя «тамбовским дворянином» — иногда шутливо, а иногда и всерьез. Казалось, что из всего личного российского прошлого в памяти его осталось только это — факт рождения в усадьбе потомственного тамбовского дворянина. Ни петербургские годы, ни скитания агитатора-народника по России, ни что-либо другое, а столбовое тамбовское дворянство по непонятной для многих, но, очевидно, по естественной закономерности жило в памяти этого человека, первым начавшего пропаганду марксизма в России, впервые в русском освободительном движении назвавшего главной силой русской революции противоположный своему происхождению класс — пролетариат.

И вот в такие минуты, когда эти слова — «я, знаете ли, господа, все-таки тамбовский дворянин» — произносились вполне серьезно, на лице у него и возникало выражение хотя и вежливой, сдержанной, но тем не менее

явной снисходительности, а глаза холодили, остужали, отчуждали слишком уж пылкого собеседника, пытавшегося по исконной российской традиции «влезть в душу» уже весьма и весьма европеизировавшегося лидера молодой русской социал-демократии Георгия Валентиновича Плеханова.

Но, в общем-то, это происходило довольно редко, а когда и случалось, то Жорж, побыв в образе «старого» тамбовского барина всего несколько минут (руки величественно скрещены на груди, голова надменно откинута назад, профессорские усы грозно топорщатся), первым начинал посмеиваться над собой.

Собственно говоря, отчасти и отсюда рождалась она, знаменитая плехановская насмешливость,— из привычки иронизировать сначала над самим собой, а потом уже и над другими. В годы поисков нового мировоззрения он всегда сомневался прежде всего в себе самом, он постоянно брал под сомнение свои собственные взгляды и, найдя их устаревшими, быстро и насмешливо, как бы защищаясь тем самым от их цепкой власти, от вообще присущей людям слабости к прошлому, расставался с недавними убеждениями, еще вчера казавшимися абсолютно незыблемыми.

Да, скрытый дух сомнения и снисходительности (все-таки более тайный, чем явный) стал в те годы как бы его второй натурой, он проявлял его, забывая о своей традиционной сдержанности и корректности, порой чересчур резко и бесцеремонно даже в отношениях с друзьями и близкими. Это не всем нравилось, многие упрекали его за острый язык и любовь к язвительной словесной эквилибристике, больно ранившей некоторых мнительных людей, но Жорж, принося извинения и обещая в дальнейшем не шутить так обидно и вообще — изжить свое едкое острословие, конечно, быстро забывал эти скоропалительные клятвы. В отличие от мировоззренческих катего-

рий, необходимость комбинировать которыми в прежнее время зачастую диктовала логика идейной борьбы, он, как правило, почти никогда не менял в те годы однажды приобретенных привычек и житейских манер. Характер и натура его развивались тогда только по восходящей линии, не упрощаясь, а, наоборот, бесконечно усложняясь и разветвляясь. Такой уж он был человек. Естественность почти всегда преобладала в нем над искусственностью и условностями.

3

Одно веселое занятие — розыгрыши приятелей и знакомых — было в те времена его характерной особенностью, проявлением его изобретательного и постоянно активного права.

Встречает, например, Жорж на улице Каруж около кафе Ландольта (постоянного места сборов русских эмигрантов в Женеве) какого-нибудь отчаянного «нигилиста» в прошлом, бывшего петербургского студента, а ныне начинающего социал-демократа, и говорит ему:

— Вы знаете, милейший, я вчера получил письмо от начальства.

— От начальства? — охотно ввязывается в разговор с «самим» Плехановым бывший студент.— От какого же начальства?

— От генерала.

— Позвольте, от какого генерала?

— Ну, разве вы не догадываетесь? — разводит руками Жорж.— От Фридриха Карловича — какое теперь у нас еще может быть начальство.

— Фридрих Карлович... Фридрих Карлович,— жует губами начинающий.— Да кто же это такой?

— Энгельс! — громким шепотом говорит Жорж.

— От самого Энгельса? — искренне изумляется юный социал-демократ.— И что же он вам пишет?

— Между прочим, спрашивает о вас...

— Обо мне?!

Начинающий марксист поражен до глубины души.

— Позвольте, но откуда же Энгельс может знать что-нибудь обо мне?

— Знает,— делает Жорж уверенный жест рукой,— он все знает.

Бывший студент неподдельно озадачен и даже слегка напуган своей популярностью на таком высочайшем уровне.

— Георгий Валентинович,— робко говорит он,— а что же спрашивает обо мне Энгельс?

Плеханов оглядывается по сторонам.

— Что мы тут стоим, на улице? — пожимает он плечами.— Давайте зайдем к Ландольту, возьмем себе кофе или пива...

Студент забегает вперед, открывает дверь в кафе, быстро находит свободный столик, зовет официанта, заказывает пиво... Ему уже не терпится как можно скорее узнать, чем же привлекла его скромная персона внимание самого Энгельса. Он уже необыкновенно возвысился в своих собственных глазах.

А Жорж, сделав большой глоток, вдруг начинает смотреть на своего собеседника с улыбкой, а потом, не выдержав, громко смеется.

Студент недоумевает.

— Вы уж извините меня, дорогой мой,— кладет Жорж ему руку на плечо,— но я пошутил над вами. Никакого письма я от Энгельса не получал.

Начинающий социал-демократ подавленно молчит. Он, конечно, наслышан об этой странной склонности Георгия Валентиновича к розыгрышам. Но чтобы шутить такими именами...

— А я, знаете ли, работал сегодня целый день с утра,— пытается смягчить ситуацию Жорж,— голова стала чугунной — Гельвеций, Гольбах, Фихте, Кант, Ницше, Фейербах... И захотелось чего-то легкого, веселого... Вы уж простите за экспромт с Энгельсом, но это было первое, что пришло на ум... Я сейчас пишу новую большую работу о нем, вернее, об Энгельсе и Марксе, о возникновении их учения в перспективе истории философии... Может быть, это будет вторая часть «Наших разногласий» — с выходом на русскую философскую традицию, на Чернышевского, например... Я, знаете ли, необыкновенно высоко ставлю Чернышевского в разработке проблем научной методологии социального познания. По сути дела, именно Чернышевский впервые дал мне толчок для критической мысли о субъективной социологии народничества...

Студент забыл уже все обиды. С нескрываемым восторгом смотрит он Плеханову прямо в рот. Какие имена! Какой масштаб мысли! Какие слова — «научная методология социального познания, субъективная социология народничества»...

— А насчет Энгельса — извините великодушно,— возвращается Жорж к началу разговора.— Сижу сейчас, весь обложенный его книгами. Только два имени и вертятся все время в мыслях — Маркс и Энгельс, Энгельс и Маркс... Отсюда и возникло это имя и отчество — Фридрих Карлович...

Плеханов встает, расплачивается с официантом.

— Пойду продолжать,— жмет он руку студенту.— Дел, знаете ли, очень много. Спасибо за компанию. И еще раз простите за неуместную, может быть, шутку.

— Дорогой Георгий Валентинович,— преданно смотрит на Жоржа юный социал-демократ.— Я был счастлив провести с вами эти несколько минут. Буду с нетерпением ждать выхода вашей книги. И, конечно, работать, ра-

ботать — читать Энгельса, Маркса, Гегеля. А ваша шутка... Ну что ж, она действительно была веселой и занятной, хотя немного и горькой... Но зато мы лишний раз вспомнили об Энгельсе!

— Жорж,— сказал однажды Лев Григорьевич Дейч,— если мне не изменяет память — вы провели детство в деревне, не так ли?

— До двенадцати лет безвыездно проживал в имении отца своего, потомственного тамбовского дворянина,— с достоинством ответил Плеханов.

— В таком случае,— продолжал Дейч,— вам хорошо должны быть знакомы русские народные пляски.

— Конечно,— кивнул Жорж.

— А если так,— улыбнулся Лев Григорьевич,— то мы, я и Вера Ивановна, попросили бы вас немедленно исполнить русскую народную пляску «барыня».

Засулич, пришедшая к Плехановым вместе с Дейчем, наклонила в знак согласия голову.

— «Барыню»? — удивленно переспросил Георгий Валентинович.— А в чем, собственно говоря, дело?

— У нас для вас феноменальное известие! — почти выкрикнул Дейч.

— Потрясающая новость,— подтвердила Засулич.

— Пляшите! — потребовал Дейч.— И обязательно вприсядку!

— Господа, объясните, наконец, что случилось? — недоумевал Плеханов.

— «Барыня, барыня,— захлопали в ладони и запели Дейч и Засулич,— сударыня-барыня»...

Жорж вышел на середину комнаты, сделал несколько движений руками и ногами.

— А вприсядку? — настаивал Лев Григорьевич.

— Вприсядку не умею, увольте,— отмахнулся Плеханов.— Ну, что у вас за новость?

Дейч сделал шаг вперед.

— Жорж,— громко сказал он,— только не падайте в обморок. Сегодня к нам в Кларан приезжает Карл Маркс!

В комнате повисла тишина. Рука Плеханова, лежавшая на спинке стула, мелко задрожала.

— Ну, что же вы молчите? — нарушил паузу Дейч.— Вы, кажется, совершенно не рады этому сообщению.

Георгий Валентинович долгим, затяжным, пристальным взглядом посмотрел на него и тихо сказал:

— Повторите...

— Сегодня к нам, сюда в Кларан, приезжает Карл Маркс.

— Этого не может быть...

— Да почему же не может?

— Зачем Марксу ехать в Швейцарию?

— Отдыхать и лечиться. Вера Ивановна, подтверждаете?

— Подтверждаю,— сказала Засулич.

Жорж сделал несколько нервных шагов по комнате, судорожно сцепил пальцы рук, откинул назад голову.

— Роза!!! — закричал он вдруг таким страшным голосом, что Засулич и Дейч невольно вздрогнули.

— Роза!! — снова громко крикнул Плеханов, как будто жена находилась не в соседней комнате, а в нескольких километрах от дома.

Розалия Марковна торопливо заглянула в дверь.

— Что такое? — тревожно спросила она.

— Роза, Маркс приезжает сегодня в Кларан!! — радостно обнял жену Георгий Валентинович.— Надо немедленно погладить мой костюм!.. Где ботинки, где вакса?.. У меня есть новая сорочка?

Крутанувшись на каблуках, он впился взглядом в лица Засулич и Дейча.

— Ведь мы же обязательно пойдем его встречать, не правда ли? Мы должны помочь ему нести вещи, устроить-

ся... Да мало ли какие хлопоты бывают у человека в день приезда?

— Да, да, конечно,— ответили Дейч и Засулич.

Он вышел из дома первым, по дороге то и дело торопил своих спутников, непрерывно, не умолкая ни на секунду, говорил, строил планы, размахивал руками, забегал вперед, отставал,— словом, совершенно был не похож на того Жоржа, каким Засулич и Дейч привыкли видеть его каждый день: спокойным, замкнутым, ироничным.

Он был так откровенно счастлив от предстоящего свидания с Марксом, так лихорадочно возбужден, так по-детски не мог сдержать обуревавших его чувств, что на одном из поворотов Вера Ивановна, пропустив Плеханова вперед и задержав Дейча за руку, тихо сказала:

— Я больше не могу. Сердце обливается кровью, глядя на него...

— Да, да,— согласился Лев Григорьевич,— я тоже больше не могу. Надо сказать...

Они догнали Плеханова.

— Жорж, погодите,— тихо начала Вера Ивановна,— не торопитесь...

— Что, что? — не понял Плеханов.— Что вы сказали?

— Сегодня первое апреля, Жорж...

Он несколько секунд молча смотрел на нее, потом лицо его стало почти серым, в глазах мелькнуло что-то жалобное, и они потухли, он сделал слепой шаг в сторону, беспомощно оглянулся и вдруг сел прямо на лежащий на дороге камень, закрыв лицо руками...

— Жорж, извините нас за этот розыгрыш...

Он молчал. Какое-то внутреннее движение тронуло его плечи — они шевельнулись... Волосы на затылке вздрогнули... Чуть помедлив, он опустил руки от лица.

Засулич и Дейч пожалели о своей шутке.

Перед ними на камне посередине дороги сидел какой-то незнакомый Плеханов — осунувшийся, старый, обессилевший, жалкий. В глазах у него стояли слезы.

— Жорж, ради бога...

Голос Веры Ивановны пресекся, она достала платок и отвернулась. Лев Григорьевич Дейч неловко топтался рядом.

— В конце концов, Жорж,— откашлялся Дейч,— вы столько раз разыгрывали нас с Верой... Но, откровенно сказать, я не думал, что это заденет вас так больно.

Георгий Валентинович поднялся. Улыбка тронула его губы. Он улыбался, а в глазах у него по-прежнему светились слезы.

— Не надо никаких слов, Лев Григорьевич,— тихо сказал Жорж.— Все правильно. Это называется бумеранг — оружие австралийских туземцев. Извечная трагедия нападающего первым — он сам становится жертвой своей инициативы. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет... Но я, кажется, еще живой.

Он тряхнул головой и, окончательно овладевая собой, твердо произнес:

— А в общем-то я благодарен вам, друзья...

Засулич и Дейч удивленно переглянулись.

— С той самой секунды, когда я впервые подумал о том, что сегодня увижу Маркса,— продолжал Плеханов,— я пережил, может быть, лучшие минуты своей жизни... Мне трудно объясниться сейчас словами, но со мной произошло нечто вроде озарения... Я уже совершенно отчетливо видел Маркса на улице Кларана. Невысокий такой человек — явно не богатырского сложения, даже щуплый, но огромная и совершенно белая, саваофовская борода и шевелюра... Именно так о нем рассказывают все, кто видел его. Совершенно невзрачный, как говорят у нас в Липецке, на «тулово» господин, но бородища и власы явно божественного происхождения.

Лев Григорьевич Дейч облегченно вздохнул. Незаметно нашел он руку Веры Ивановны Засулич, пожал ее и ощутил ответное пожатие. Да, теперь они могли быть спокойны — это был уже прежний, хорошо знакомый Жорж: ироничный, едкий, насмешливый.

— И что самое интересное,— продолжал Плеханов.— Пока я был под впечатлением вашей выдумки о приезде Маркса, я все время репетировал про себя свой первый разговор с ним... Что, собственно говоря, сказать ему?.. И вот пока мы шли, я, кажется, сочинил в уме проект первой русской социал-демократической программы.

— Значит, наш розыгрыш, наша фантазия,— засмеялся Дейч,— пойдет все-таки на пользу русской социал-демократии?

— В каждом розыгрыше, в каждой фантазии есть некоторая доля истины,— сказал Георгий Валентинович.— Люди, как правило, выдумывают то, чего еще не существует, но что им обязательно хочется увидеть в действительности... Помните у Маркса — человечество ставит перед собой только реальные задачи. Сказано, как отрублено!.. То есть такие задачи, решение которых уже существует в жизни.

— Говоря другими словами,— сказала Вера Ивановна,— новый опыт утверждает себя в недрах старого опыта. Вызревает в нем, и только в нем. Вырастает из него.

— Безусловно!

— А что, мальчики,— взяла Вера Ивановна Плеханова и Дейча под руки,— не кажется ли вам, что сегодняшний день, первое апреля, несмотря на всю его отрицательную репутацию, сложился для нас весьма положительно, а? Вспомнили о Марксе, сочинили первый проект программы русской социал-демократии, да еще и прогулялись недурно, не так ли?

4

В эмиграции у Плехановых родились две дочери — Лида и Женя. Розалия Марковна, воспитывая детей, не оставляла мысли закончить свое медицинское образование, прерванное в Петербурге. Она попробовала сначала учиться в Бернском университете, потом поступила в Женевский. Заветной ее мечтой было получить диплом доктора, найти врачебную практику и освободить наконец мужа от уроков, которые он давал для заработка. Розалии Марковне хотелось, чтобы Плеханов целиком принадлежал только революции, и она не щадила себя, в буквальном смысле этого слова разрываясь между домашними обязанностями, детьми, работой в больнице и занятиями в университете.

Георгий Валентинович, как мог, помогал жене. Каждый день, несмотря на любую занятость, он уходил гулять с Лидой и Женей. Прогулка всегда длилась ровно час. Одной из главных обязанностей отца в эти обязательные ежедневные шестьдесят минут были занятия с дочерьми русским языком. Во франкоязычной Женеве вокруг все говорили, естественно, по-французски, но в доме Плехановых был принят только русский.

Они выходили на берег Женевского озера, Георгий Валентинович усаживал Лиду и Женю рядом с собой на скамейку и начинал рассказывать сказку.

— В некотором царстве, в некотором буржуазном государстве, а точнее сказать — в конституционной монархии, жил-был царь...

— Папочка, а что такое царь? — спрашивала младшая Женя.

— Ох, уж это мне швейцарское республиканское воспитание! — смеялся отец.— Ну, не царь, а король...

— Английский король? — очень серьезно спрашивала старшая Лида.

— Пожалуй, что и английский,— соглашался рассказчик.— Так вот, однажды в этой конституционной монархии что-то очень уж плохо стали жить люди. Собрались они вместе и говорят: братцы, а что же это мы с вами так плохо живем? Не убить ли нам нашего царя-короля...

— А у царя были детки? — спросила маленькая Женя.

— Ха-ха-ха! — засмеялся счастливый отец.— Молодец, Женька! Сразу видно марксистское происхождение и европейский жизненный опыт!.. В том-то и дело, что у царя полным-полно было деток! И как только его убили, они сразу же сели на его место, и ничего не изменилось — люди по-прежнему жили очень плохо...

— Все равно царь нехороший,— нахмурилась Лида,— он мучает лошадок... Правда, папа?

— Вообще-то говоря, хороших царей не бывает. И мучают они не только лошадок... Но из этого вовсе не следует, что лучшая форма борьбы с царем — убить его. Это, знаете ли, милые дамы, только у нас в России некоторые торопливые и романтично настроенные господа могли позволить себе роскошь так думать.

— Папочка, а Россия большая?

— Очень большая. Настолько большая, что иногда ее невозможно даже понять умом, как сказал один очень хороший русский поэт... Тот же самый поэт писал, что в Россию можно только верить... Но в какую Россию, милостивые государи и милостивые государыни, вы прикажете нам верить? В Россию прошлого? В Россию идеализированной сельской общины с ее кондовой патриархальной самобытностью? Нет, милостивые государи и милостивые государыни, в эту выдуманную вашим воспаленно-субъективным мозгом самобытную Россию мы верить не будем. Мы верим только в Россию будущего, в пролетарскую Россию, в Россию победившего рабочего класса!

— Папочка, а мы поедем когда-нибудь туда?

— Обязательно! Собственно говоря, именно для того-то мы здесь и сидим, и, вызывая нарекания старых друзей, пишем против них свои книги, чтобы непременно поехать когда-нибудь в будущую Россию.

— И возьмем с собой все свои куклы?

— Конечно, возьмем... Но позвольте, милые дамы, вы, кажется, слишком увлеклись политикой. Какой урок вам был задан?

— Сказка о царе Сáлтане.

— Во-первых, не Сáлтане, а Салтáне. А во-вторых, что это мы с вами сегодня только о царях и толкуем?

— Папочка, не сердись. Хочешь, я тебе расскажу сказку о попе и его работнике Балде? Будешь слушать?

— С огромным удовольствием. Эта правдивая и поучительная история всегда вызывала у меня положительные ассоциации. Здесь, кажется, впервые в русской литературе упоминается о наемном труде. И, кроме того, дан замечательно верный образец классового поведения господина Балды — с первого щелчка прыгнул поп до потолка, а? Просто великолепно!

Неожиданно возникло предложение преподавать русский язык и литературу в частной школе в Кларапе. Одновременно появилась возможность там же вести занятия с детьми богатого русского промышленника.

Розалия Марковна решительно восстала против этого.

— Ты не имеешь права отрывать себя от теоретической работы,— заявила она.— Для чего же тогда ушла из движения я? Для чего мы уехали из России? Чтобы учить грамоте отпрысков какого-то паршивого фабриканта?

— А что будут есть наши дети? — мрачно спросил Плеханов.— Бульон из моих черновиков?

— Я возьму дополнительное дежурство в больнице,— твердо сказала Розалия Марковна,— а ты должен только писать. В этом твой долг перед революцией. И, если хочешь, мой тоже. Тысячи людей в России ждут от тебя твоих книг, твоего слова о новых путях нашего движения. И ты не имеешь никакого права не оправдать их ожиданий!

(Наверное, это было великое счастье жизни Георгия Валентиновича Плеханова — иметь рядом такую спутницу, единомышленника, любимую женщину, верного друга, бестрепетного товарища в суровых житейских испытаниях, каким была Розалия Марковна Боград.)

— Роза, мой дорогой и единственный человек,— волнуясь, тихо сказал Жорж,— я вечно буду благодарить небо за ту минуту, когда оно подарило мне тебя... Нет таких слов, которыми можно было бы выразить мои чувства... Я... я преклоняюсь перед твоим великим сердцем... Но я должен взять эти уроки, они мне необходимы... для равновесия души, для той же теоретической работы, наконец! Книги пойдут с перекосом, если я буду угрызаться мыслями о том, что у наших детей нет молока!

Розалия Марковна настаивала, убеждала, опровергала все доводы в пользу уроков, но Георгий Валентинович был неумолим. Густые его брови кустились хмуро и грозно, в глазах загорелись упрямые угольки бесповоротно принятого решения, голова часто и резко откидывалась назад — «тамбовский дворянин» все отчетливее проступал из глубин своего потаенного убежища; и Розалия Марковна поняла: спорить бессмысленно — муж уже дал свое согласие на уроки в Кларане, и поколебать его убеждение в правильности сделанного шага не сможет никто и ничто.

Постоянный заработок внес успокоение в семейную обстановку. Беспокойство о материальном положении семьи ушло в прошлое, Роза училась в университете, постигая

премудрости медицинских наук, дети ходили в муниципальный детский сад, удалось даже нанять постоянную прислугу для ведения домашнего хозяйства. И наладившийся, наконец, быт как бы прибавил Георгию Валентиновичу новые силы — время, уходившее на уроки в Кларане, сторицей окупалось страницами новых рукописей, хотя работать приходилось в основном по ночам. Писалось легко и быстро, голова была свободна от вязких мыслей о денежных неурядицах, впервые за много лет он получил возможность спокойно, регулярно и систематически заниматься научной работой.

— Жорж, наверное, я была неправа,— сказала однажды Розалия Марковна,— когда отговаривала тебя от этих уроков. Неожиданно все прекрасно устроилось.

— Жена да убоится своего мужа, аминь! — засмеявшись, назидательно поднял вверх указательный палец Георгий Валентинович.

Но ему самому, привыкшему к постоянным изменениям своей жизни, эта внезапно наступившая стабильность казалась чем-то неправдоподобным. Череда состояний, смена положений, чехарда ситуаций — весь сложный комплекс бесконечных превращений действительности — были для него азбукой понимания всех событий, происходящих в мире и в его собственной судьбе.

Постоянство изменений стало основой основ его мироощущения, в котором и все личные элементы не выходили из зоны притяжения этого незыблемого принципа.

И вот теперь жизнь вступала в твердые берега неменяющихся обстоятельств. Было в этом нечто беспокойное, непривычное, лишенное постоянной борьбы и ежедневного ощущения преодоленных препятствий.

...Необходимость зигзага, рокировки, перемены местами «плюсов» и «минусов», взрыва внутренней тишины

возникает на этот раз почти как биологическая потребность всего организма, для которого покой и равновесие всегда были небытием.

И, может быть, именно потому, что жажда изменений «сушит» в те недели и месяцы не только душу, но и томит тело, рокировка обстоятельств происходит в самой неожиданной форме, бесконтрольно, вне пределов его психических возможностей, за чертой сознания и воли.

Организм перегружен непосильным для одного человека напряжением, резервы плоти исчерпаны до конца — ей нечем защищаться. И «плюсы» меняются местами с «минусами» стихийно, катастрофически. Зигзаг перемен поражает самое ослабленное место — физическое естество.

А дух неприступен. Дух не подвержен больше никаким изменениям. Дух отвердел в неопровержимой системе новых взглядов и убеждений. Время метаморфоз духа прошло. Поиски мировоззрения завершены.

Беззащитна только плоть.

И плоть взрывается...

А внешне все выглядит самым невинным образом. По дороге из Кларана он пересекает на пароходе Женевское озеро. Дует легкий ветер. Стоя на корме, Жорж оживленно разговаривает с политическим эмигрантом из России Матевосом Шахазизяном, которого часто видел на своих лекциях. Матевос яростно ненавидит все нации, ранее угнетавшие и продолжающие угнетать его родину. Георгий Валентинович, смертельно уставший после уроков в Кларане, тем не менее всю дорогу упорно спорит с Шахазизяном, разбивая одну за другой все националистические позиции своего темпераментного собеседника.

Над озером моросит мелкий дождик. Жорж поднимает воротник, но с кормы не уходит.

— Значит, ты считаешь, товарищ Плеханов, что среди турок, зарезавших столько армян, у меня могут быть товарищи по классу?

— Конечно, могут. Армяно-турецкая вражда всегда была делом рук имущих слоев населения с обеих сторон. Твои постоянные враги — это и богачи турки, и богачи армяне. А каждый бедняк турок всегда был и будет твоим братом.

Дождь кончился, но ветер продолжает играть волнами. Пароходик медленно тащится через озеро, уныло шлепая по воде своими допотопными колесами.

— Значит, если человек бедный,— удивленно смотрит на Георгия Валентиновича своими огромными черными глазами Матевос Шахазизян,— то тогда и армянин человек, и турок человек?.. И даже курд?!

— Непременно! Разве ты забыл одно из самых главных положений марксизма — пролетарии всех стран, соединяйтесь?

Матевос озадаченно моргает глазами, морщит лоб, и вдруг широкая, счастливая улыбка озаряет его лицо.

— Значит, чтобы победить капиталистов, пролетарии разных стран должны резать не друг друга, а своих буржуев?

— Молодец! Сразу понял самое главное!

— Товарищ Плеханов, дорогой, дай скорее поцелую!..

Вечером Жорж рассказал домашним в лицах об этом замечательном разговоре на пароходе. Розалия Марковна хохотала до слез, когда муж показал, как, бешено закричав на все Женевское озеро «Змерть капиталу!», Матевос бросился обнимать его, Плеханова.

После двенадцати часов, уложив всех спать, Георгий Валентинович сел за статью о Лассале для польского социал-демократического журнала. Работалось необыкновенно споро, Жорж видел перед собой лохматое, черно-

бородое лицо Матевоса, и ему казалось, что он пишет статью одновременно и для польских читателей, и для армянина Шахазизяна на одном, понятном рабочим всех стран и национальностей языке.

А к утру его начали беспокоить боли в груди. Разбуженная кашлем мужа, Розалия Марковна вышла из комнаты, где спала вместе с детьми.

— Что с тобой? — тревожно спросила она.— Ты простудился?

Жорж бросил на нее мгновенный взгляд. Глаза его лихорадочно блестели.

— Роза, статейка, кажется, удалась!

— Тише, разбудишь девочек...

— Змерть капиталу!!

Розалия Марковна быстро подошла к письменному столу.

— Сколько ты написал страниц?

— Двадцать восемь — каково, а?

— На сегодня хватит, ты не спал уже целые сутки.

— Хорошо, хорошо, вот только прочитаю все еще раз...

— По-моему, надо измерить температуру...

— С превеликим удовольствием! Я просто мечтаю сделать это. Но только если получу градусник, ясновельможная пани, из ваших бесценных ручек...

Температура была 38,6. Розалия Марковна немедленно уложила мужа в кровать. Кашель усиливался. Днем пришел знакомый врач и определил простуду. Георгий Валентинович рвался подняться и снова сесть за статью о Лассале. Но Розалия Марковна понимала — дело обстоит гораздо серьезнее, чем обыкновенная простуда.

Через два дня другой врач, более опытный, нашел у Плеханова сухой плеврит.

Болезнь прогрессировала с какой-то невероятной стремительностью. Кашель сделался почти непрерывным.

Георгий Валентинович задыхался. Температура, несмотря на все принятые меры, твердо держалась в районе сорока градусов.

Плеханов сильно похудел, лицо его осунулось, глаза ушли под лохматые брови глубоко и печально.

Розалия Марковна, встревоженная не на шутку, попросила одного из своих университетских преподавателей, профессора Цапу, собрать консилиум.

Профессор, испытывая либеральные симпатии к русской революционной эмиграции и зная, что материальное положение семьи Плехановых оставляет желать много лучшего, согласился провести консилиум бесплатно.

Консилиум долго не мог собраться. Местные женевские профессора не понимали — почему они должны консультировать русского без всякого вознаграждения?

Наконец, усилиями Цапу доктора все-таки собрались. И прежде всего их поразила сильнейшая степень истощенности организма больного. Почтенные, румяные, седобородые медики с удивлением смотрели на землистое лицо русского эмигранта, утонувшее в подушках.

После первого же знакомства с анализами врачи быстро и многозначительно переглянулись. Зашелестели холодные латинские фразы. Розалия Марковна, услышав их, побледнела.

Анализы повторили.

Диагноз был единодушным — скоротечная чахотка.

Профессор Цапу, не глядя на рыдающую Розалию Марковну, тихо сказал, что мужу ее осталось жить не более шести-семи недель...

Глава одиннадцатая

1

— Роза, пить...

— Жорж, это не Роза, это я, Вера Ивановна... Вот вода.

— Роза, воды...

— Жорж, милый, это я — Засулич. Пейте осторожно, маленькими глотками...

— Роза, пить, скорее!..

— Жоржинька, дорогой, неужели вы не узнаете меня?!. Это же я — Вера, Вера, Вера!..

— Зачем — вера?.. Кому — верить?.. Для чего? Дайте хотя бы воды...

— Жорж, вы уже целый стакан выпили, больше нельзя...

— Кусок льда... очень прошу... пожалуйста...

— Господи, он ничего не слышит!

— Русского льда дайте... снегу... В России много снегу... У нас в Липецке большая зима, длинная... Россия большая... а здесь только слякоть... лужи и дождь... Скверно, плохо... Окно открыть... дышать нечем... где Вера Ивановна?..

— Я здесь! Я здесь!

— Все, конец... Как глупо... Тени, тени... В минерально-химическое царство... ухожу... Прощайте... Надо прощаться... Позовите детей... Нет, оставьте с Розой, вдвоем... Роза, прости... вспоминай... Мама, прости... И вы, папенька...

— Жорж, Жорж! Я Вера Ивановна!..

— Как жалко... Ничего не сделано... Только начато...

— Плеханов, не уходи! Не умирай!! Мне нечего будет делать на земле без тебя!..

— Кто плачет?.. Дождь... соленый... А умирать не

надо, правильно, надо жить... Кто это? Вера Ивановна, вы?

— Господи, наконец-то!! Это я, это я! Жоржинька, милый, вы слышите меня?

— Темно, душно... А где Роза?

— Она рядом, лежит в соседней комнате...

— Ей плохо?

— Сейчас уже лучше.

— Верочка, откройте окно...

— Все окна открыты...

— Вера, как я рад вас видеть... Вы со мной!.. Вера... Надо верить, надо верить...

— Все будет хорошо, Жорж... Вы поправитесь, вы уже выздоравливаете...

— Нет, Вера, я скоро умру... Я все знаю... От этого не выздоравливают...

— Господи, какие глупости вы говорите, Жорж! Просто стыдно слушать...

— Вера, Вера, какое вы все-таки смешное и наивное существо... Смерть рядом стоит, я вижу ее, вот она... не надо обманывать себя...

— Жорж, повторяйте за мной — Вера, Вера, Вера...

— Зачем?

— Повторяйте!!

— Вера... Вера... Вера...

— Надо верить Вере... Я выздоровлю, я поправлюсь...

— Смешно...

— Жорж, повторяйте — умоляю!

— Надо верить Вере... Надо бы, конечно, верить Вере Ивановне Засулич, что я поправлюсь, но увы...

— Никаких «увы»!.. Соберите всю свою волю, Жорж... У вас же огромная воля... Вам предстоит еще многое сделать, мы же действительно только начали...

— Природа не признает субъективных усилий, Вера. Природа всегда берет свое...

— Вера, Вера, Вера... Надо верить Вере...
— Вера, Вера... Надо верить... Сударыня, позвольте, да вы просто смешите меня...
— Жоржинька, дорогой, смейтесь надо мной сколько угодно!.. Я буду специально смешить вас. Ну, повторяйте за мной: ха-ха-ха.
— Ха-ха-ха...
— Прекрасно! Замечательно! Великолепно!.. Жорж, хотите бульону? Отличный куриный бульон. Хотя бы две ложки, а?
— Бульон?.. Мда-а... Ну что ж, две ложки, пожалуй, можно...

— Вера Ивановна...
— Да, Жорж...
— Сколько сейчас времени?
— Половина третьего.
— Дня?
— Нет, ночи...
— А почему вы не спите?
— Я сплю.
— Сидя?
— А я люблю спать сидя.
— Тогда и я встану... У меня, знаете ли, статья о Лассале для польского журнала не окончена. Надо бы поработать...
— Жорж, если вы сейчас же не ляжете, я позову Розу...
— Ложусь, ложусь... Верочка, скажите — Роза была вчера на занятиях в университете?
— Была.
— А кто же сидел с детьми?
— Аксельрод.
— Павел? Он разве был здесь?

— Да, два дня. Уехал вчера вечером.
— Целых два дня? А почему я не видел его?
— Вы... задремали, когда он приехал...
— Задремал на два дня?
— Вам нездоровилось, и мы решили не беспокоить вас...
— То есть я опять потерял сознание, и на этот раз на два дня, не так ли?
— Ну, не совсем на два...
— Вера Ивановна, а сколько дней сидите около моей кровати вы? Только честно.
— Жорж, вам вредно так много разговаривать...
— По моим подсчетам, дней двенадцать, тринадцать... Вы примчались сюда через сутки после консилиума... Значит, прошло уже две недели из шести, отпущенных мне этим ветеринаром профессором Цану...
— О чем вы говорите, Жорж? Какие шесть недель?
— Не надо, Верочка... Я слышал профессорский диагноз в разговоре Цану с Розой. У меня, знаете ли, прекрасный слух. Мне бы на трубе в оркестре Мариинского театра играть, а я в социал-демократы подался...
— Вы ничего не могли слышать.
— Чахотка есть чахотка. Тем более скоротечная. Папенька от чахотки умер. И мамепька тоже. Так что имеются все данные. Наследственное, как говорится, предрасположение.
— Я бы на вашем месте сейчас заснула...
— Нет уж, увольте. Два дня спал не просыпаясь. Аксельрода проспал... На том свете выспимся... А на этом дайте поговорить — только это мне и осталось... Ни на что другое я, видно, уже не способен...
— Уши вянут от ваших слов, Жоржинька...
— А вы знаете, Вера Ивановна, я вам сейчас скажу кое-что очень важное... Я ведь, если как следует разо-

браться, почти ничего полезного для людей в своей жизни сделать так и не успел. Только начал, как вы совершенно справедливо изволили заметить...

— И это говорите мне вы, Плеханов?

— А что Плеханов?.. Ну что такое Плеханов?.. Нигилист, ниспровергатель, изгнанник... Чем он обрадовал человечество, этот Плеханов?.. Изобрел книгопечатанье? Открыл законы электричества? Построил первую паровую машину?

— А группа «Освобождение труда»?

— «Освобождение труда»?.. А, собственно говоря, где она, эта группа? Игнатов умер, Дейч арестован... Из основателей осталось только трое, а скоро... Впрочем, что же она успела сделать, эта так называемая группа?

— Основала «Библиотеку современного социализма» на русском языке...

— Так. Дальше...

— Выпустила две книжки некоего господина Плеханова...

— Весьма сомнительное достижение...

— Издала сочинение Фридриха Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке».

— Энгельса? Вот это уже действительно полезно для человечества.

— Установила связь с социал-демократической группой Благоева в Петербурге...

— Да, да, это тоже — для человечества... Благоевцы, студенты Петербургского университета и Технологического института... Вели пропаганду среди рабочих... Первая социал-демократическая организация в России. Мы здесь, в Женеве, а они в Петербурге. Почти одновременно... Помните, Вера Ивановна, благоевцы прислали нам письмо, в котором писали, что у них уже есть своя социал-демократическая программа, и просили прислать мате-

риалы для своей газеты «Рабочий». Они ведь читали наши издания и даже изучали их...

— А вы им ответили письмом к петербургским рабочим кружкам...

— ...которое они и напечатали во втором номере своего «Рабочего», помните?

— Конечно, помню. Мы же обсуждали все вместе текст письма. Вы писали благоевцам, что социал-демократическая партия должна быть по преимуществу рабочей партией. А я попросила вас уточнить то место, где речь шла о том, что социал-демократия не может отталкивать от себя представителей других классов общества, так как подобная исключительность была бы совершенно несправедливой и создала бы целый ряд неудобств...

— ...которые поставили бы партию почти в безвыходное положение. Я сразу с вами согласился, Верочка... И тут же специально для благоевцев добавил, что революционная интеллигенция должна идти с рабочими, а крестьянство должно идти за ними. Только при такой последовательности социал-демократическая партия может сохранить свой рабочий характер и не впасть во вредную исключительность.

— И это вы не ставите в заслугу «Освобождению труда»? Ведь в группе Благоева читали нашу первую программу — они же прислали нам свои замечания...

— Как жалко, что их так быстро разгромили, а Благоева выслали из России...

— Но уже из Софии он отправил нам еще одно письмо... разве вы не помните, Жорж? По сути дела, это уже твердо установленная интернациональная связь, прямое теоретическое влияние. Мы посеяли добрые семена марксизма в мыслях и чувствах этого молодого болгарина.

— Согласен, согласен... Но сеять их надо еще более широкой и щедрой рукой... А нас мало... Все, что мы сде-

лали,— пока еще только один маленький зеленый росток на огромном невспаханном русском поле. Разве можно равняться нам с европейской социал-демократией? С немецкой, например, или французской?

— Жорж, все еще впереди... Мы стоим у начала дороги... Но у нас уже есть единомышленники и последователи в России...

— А сколько принесено жертв? Вася Игнатов в могиле, Левушка Дейч на каторге...

— Мы сделали только первые... Жорж!.. Жорж!.. Что с вами? Что с вами?

— Вера... окно... воды...

— Роза! Роза! Ему опять плохо!..

— Роза, где ты?..

— Жорж, я здесь...

— А Вера Ивановна?

— И она здесь...

— Разбудите детей... дайте лед... или снегу... очень трудно дышать... воды, пожалуйста...

— Вера Ивановна, он снова бредит...

— В Липецке... деревня... Гудаловка... речка... холодная... дайте воды из Гудаловки... луга заливные... за речкой... зеленые... стога в лугах... сеном пахнет... землей... яблоки моченые... Гудаловка... пчелы летают... лошади в ночном стоя спят... положат головы друг на друга... и спят...

— Вера Ивановна, что же делать? Что делать? Он погибает на глазах. Я этого не выдержу...

— Роза, не плачьте, успокойтесь... Надо вытаскивать его из болезни, надо рассказывать ему, вспоминать... Чтобы интерес к жизни не погас в нем...

2

— Верочка, двадцать третий день сегодня пошел... Три недели осталось...

— Жорж, у вас какая-то странная арифметика...

— Не у меня, а у него, у ветеринара...

— А мне кажется, что этот профессор Цану вообще ни черта не смыслит в медицине! У них тут в Швейцарии по поводу каждого прыщика консилиум созывают. Порезал палец — консилиум! Споткнулся — консилиум! Телячьи нежности.

— А у нас в России даже чуму топором лечат. Или дробью. Полстакана дроби на полстакана водки. И к утру как огурчик!

— Жорж, а не пора ли вам пообедать?

— Аппетита, Верочка, никакого...

— Тем более что Павел Борисович прислал сегодня великолепную сметану и творог... Кроме того, есть земляника, мед и гусиный паштет.

— Откуда у Аксельрода такие деньги?

— Землянику купили студенты...

— Какие еще студенты?

— Русские студенты из Женевского университета.

— Ну, Вера Ивановна, это, знаете ли, черт знает что!.. Я, может быть, действительно болен и беден... И в доме у меня столы стоят без скатертей... И семья моя спит на железных кроватях, укрываясь солдатскими одеялами... Но никаких подачек я принимать не собираюсь!

— Жорж, как не стыдно...

— Я не нищий, чтобы жить на милостыню русских студентов, обучающихся в Женевском университете!

— Люди от души...

— Лев Дейч сидит в кандалах на каторге в России, а Жорж Плеханов в это время в Женеве, видите ли, бу-

дет жрать гусиный паштет!.. Да за кого вы меня принимаете?

— При чем тут Дейч, когда туберкулез-то у вас?.. И вам нужно поправляться и набираться сил, чтобы заменить и Дейча, и Васю Игнатова... Ешьте немедленно землянику!

— Не буду я есть никакой земляники!

— Ешьте!

— Вы цербер, Вера Ивановна!

— А вы глупец!.. Берите сметану, кому говорят?

— Ну, хорошо, ложку сметаны я съем, но ареста Дейча я все равно никогда не прощу ни вам, ни себе — никому!

— Еще одну ложку...

— Какого дьявола, спрашивается, нужно было совать голову Дейча в лапы немецкой полиции?

— Вы рассуждаете, как ребенок... Мы искали связи с Россией... Кому были нужны все наши марксистские издания, если их нельзя было переправить в Россию?

— А в результате и литературу не переправили, и Дейча потеряли...

— Жорж, вы капризничаете...

— Провал Дейча — позор для «Освобождения труда»! Пятно, которое никогда не будет смыто! Дейч заведовал всей конспирацией, всей техникой, всей практикой... Кто добывал деньги на типографские расходы? Дейч!.. Кто организовывал набор и печатание всех рукописей? Дейч!.. Кто брошюровал, переплетал, упаковывал и вел все наши почтовые дела? Опять же Дейч... А где теперь Дейч? В каторге на Каре!.. А мы сидим здесь без него, как без рук — без денег, без связей, без новых изданий...

— Арест Дейча во Фрейбурге — чистая случайность.

— Но как же можно было посылать за границу с двумя сундуками нелегальщины человека, на котором висит

обвинение, с точки зрения российской Фемиды, в покушении на убийство предателя Гориновича?

— Дейч при любых обстоятельствах пошел бы на встречу с Гринфестом, потому что хотел как можно скорее отправить в Россию новый тираж нашей второй программы.

— Мы были обязаны отговорить его переправляться через границу в районе Фрейбурга.

— Теперь уже поздно вспоминать об этом... Кстати, Жорж, о нашей программе... Вам никогда не хотелось бы вернуться к некоторым ее формулировкам?

— С какой целью?

— С очень конкретной... В свое время первый проект нашей программы мы назвали «Программой социал-демократической группы «Освобождение труда».

— Ко времени составления первого проекта это было точное и оправданное название.

— Но после того, как Благоев сделал свои замечания и мы — вернее вы — внесли их в текст, второй вариант получил иное наименование: «Проект программы русских социал-демократов».

— Это вполне естественно. Мы объединили с Благоевым свои программные положения.

— Но жизнь движется вперед, Жорж, не так ли? Не без влияния изданной нами марксистской литературы в России с каждым годом появляются все новые и новые кружки явно выраженного социал-демократического направления. Не пора ли нам еще более расширить название нашей программы?

— Например?

— «Программа русской социал-демократической рабочей партии».

— Нет, нет, Вера Ивановна, это преждевременно. Мы только теоретически основали русскую социал-демократию. Создание партии — дело будущего. Недалекого, я ду-

маю, будущего. А сейчас наименование нашей программы вполне соответствует современному положению вещей, хотя отдельные ее места выглядят несколько расплывчато и по своей абстрактности дальше самого общего марксистского, так сказать, заявления не идут...

— Жорж, а помните то место программы, где говорится, что конечной целью русских социал-демократов является коммунистическая революция и полное освобождение труда от гнета капитала...

— ...которое может быть достигнуто путем перехода в общественную собственность всех средств и предметов производства... Я, Верочка, все это почти наизусть знаю. Каждая строчка «набухла» проклятиями старых друзей... Иногда я закрываю глаза и вижу перед собой Лаврова, этого ослепшего певца, этого унылого Гомера нашей революции...

— Прекрасно сказано, Жорж!

— И какая-то тоскливая досада берет меня за его опрокинутый в прошлое сильный и совестливый русский ум. Хочется просто поднять ему, как гоголевскому вию, набрякшие предрассудками утопического социализма старческие веки... И я начинаю мысленно спорить с ним, начинаю на расстоянии вдалбливать ему в голову нашу программу — слово за словом, слово за словом... Вот и выучил наизусть.

— Это естественно. Тем более что главным автором программы являетесь вы.

— Нет, нет, не согласен. Программа — плод коллективного труда.

— Предположим... Так вот, в этом коллективном труде есть такая формулировка: русские социал-демократы считают первой и главнейшей своей обязанностью образование революционной рабочей партии...

— Да и вы, Вера Ивановна, оказывается, знаете программу наизусть...

— ...а целью борьбы рабочей партии с абсолютизмом является завоевание демократической конституции...

— Цитируете совершенно точно...

— Теперь подойдем к проблеме с другой стороны... В ходе надвигающейся в России буржуазной революции русская социал-демократия, разумеется, не только выдвинет свои программные положения, но и будет способствовать их осуществлению, не так ли?

— Безусловно.

— А практическим исполнителем социал-демократических программных положений на деле, то есть в революционной практике, станет рабочий класс...

— Не только. Тут вы, уважаемая Вера Ивановна, кое-что упускаете из виду... В программе четко и ясно сказано, что решающей силой российской революции должны стать требования рабочего класса. А потом говорится, что эти требования благоприятны не только интересам промышленных рабочих, но и интересам крестьянства. И поэтому, добиваясь их осуществления, рабочая партия проложит себе широкий путь для сближения с земледельческим населением...

— Да я же как раз к этому и веду разговор!

— Одну минуту, Верочка, одну минуточку... У меня, знаете ли, сейчас наши формулировки по крестьянскому делу вдруг начали вызывать какое-то беспокойство... Слов нет, мы самым категорическим образом ставим в программе вопрос о радикальном пересмотре крестьянской реформы. А вот союзником рабочей партии называем только беднейшую часть крестьянства... Тогда как этим союзником в буржуазной демократической революции — подчеркиваю: демократической! — могло бы стать, наверное, все крестьянство, и особенно его средняя, трудовая прослойка.

— Жорж, а не кажется ли вам, что для того, чтобы снять это беспокойство по поводу крестьянских формули-

лировок, нам и надо двинуть нашу программу на новый этап. И, дав ей более широкое наименование, то есть называя ее не только программой русских социал-демократов, но, как я и предлагаю, программой русской социал-демократической рабочей партии, уточнить в этой будущей программе все теоретические положения.

— Нет, Вера Ивановна, я с вами решительно не согласен. Рабочей партии в России еще нету — она находится в зародыше... Нельзя желаемое выдавать за действительное... Поправки в нашу программу будет вносить сама жизнь: развитие социалистической теории, и в частности — развитие русской общественной мысли, а самое главное — рост рабочего движения, как во всем мире, так и в нашей благословенной матушке-России. Нам же до́лжно заниматься сейчас самым важным для России практическим делом — продолжать вносить элементы марксистской мысли в сознание передового русского общества, продолжать переводить, издавать и отправлять в Россию сочинения Маркса и Энгельса... Будем укреплять наши усилия надеждой на то, что в будущем программа группы «Освобождение труда», может быть, и станет основой программы российской социал-демократической рабочей партии, когда время для возникновения такой партии наступит... И оно не за горами... История сломя голову мчится именно в нашу сторону. Я это чувствую. И знаю...

— Жорж, кстати сказать, а как вы себя вообще чувствуете?

— Представьте себе — намного лучше. Мне даже кажется иногда, что наш почтенный ветеринар профессор Цану может блистательно оконфузиться со своими шестью неделями...

— Дай-то бог!..

— Правда, некоторая усталость ощущается...

— Еще бы! У вас постоянно держится температура... Между прочим, сейчас как раз пора принимать лекарство. Да и температуру измерить не мешает.

— Вера Ивановна, разрешите задать вам один нескромный вопрос... Когда вы спите?

— Тогда же, когда и вы. Мы в это время меняемся с Розалией Марковной.

— А если ее нет дома?

— Приходит кто-нибудь из друзей.

— Судя по тому, что я сплю очень мало, вы не спите совсем.

— Жорж, я сплю совершенно достаточно.

— А если и вы заболеете? Что же тогда останется от «Освобождения труда»? Один Павел Аксельрод... А ведь он у нас мелкобуржуазный элемент, у него частная собственность на руках — молочное кафе, ему семью содержать надо...

— Я не заболею, у меня семьи нет... И никакой частной собственности, кроме рукописей...

— Вы бы все-таки пошли, Верочка, отдохнуть. Я вполне могу побыть один... Я, знаете ли, чувствую себя уже эдаким Ильей Муромцем, а может быть, даже Давидом и Голиафом одновременно.

— Хорошо, я пойду прилягу... Но вы должны принять лекарство и смерить температуру.

— Условия принимаются...

3

Вера Ивановна Засулич отбила Плеханова у болезни.

Русские студенты Женевского университета, поочередно сменяя друг друга, круглосуточно дежурили в доме Плехановых, помогали Розалии Марковне ухаживать за детьми и вести хозяйство, приносили продукты, мгновенно доставляли все необходимые лекарства — даже самые

редкие и дорогие. (За несколько месяцев до болезни Георгий Валентинович прочитал для русского студенческого землячества в Женеве цикл лекций по «Капиталу» и некоторым другим работам Маркса. Впечатление было огромное — ничего подобного никому не приходилось слышать в чопорных университетских аудиториях. Землячество почти поголовно заявило о своем переходе на позиции марксистского мировоззрения. Когда известие о болезни Плеханова разнеслось по городу, студенты сделали все, что могли, для спасения человека, открывшего перед ними новые законы познания жизни и человеческого общества.)

Но главный удар в битве с туберкулезом приняла на себя Вера Ивановна Засулич. Ровно шесть недель, пока угроза смертельного исхода витала над кроватью больного, Вера Ивановна не выходила из дома Плехановых. Полтора месяца день в день, провела она около Георгия Валентиновича, разговаривая с ним каждую минуту, когда это было возможно, «заговаривая» болезнь, будоража волю, разжигая в «сумерках» недомогания и слабости искру интереса к жизни, к борьбе, к будущему.

И опасность отступила. Смерть попятилась перед напором жизни.

Спустя два месяца после вынесения своего диагноза профессор Цану, осмотрев «безнадежного» больного, вышел в соседнюю комнату и удивленно сказал Розалии Марковне:

— Это уникальнейший в медицине случай, коллега. Человек должен был умереть, но усилием воли остановил разрушение собственных легких. Потрясающий факт!

— Ему нельзя умирать, профессор,— тихо сказала стоявшая рядом Вера Ивановна.— Ему надо довести до конца революцию в России.

— Весьма уважительная причина,— согласился, улыбнувшись, Цану,— но для этого придется жить только на

горных курортах — Божи, Аннемас, Давос... Климат Женевы, сырой и ветреный, абсолютно противопоказан.

Когда он ушел, на глаза Розалии Марковны навернулись слезы.

— Горные курорты...— горько вздохнула она.— О каких горных курортах может идти речь, когда в доме нет буквально ни одного франка? Только чудо может спасти его.

Вера Ивановна — осунувшаяся, похудевшая, кутаясь в старую потертую шаль, твердо сказала:

— Деньги будут...

Засулич написала письмо Сергею Кравчинскому в Лондон. «Сергей,— писала Вера Ивановна,— жизнь Плеханова висит на волоске. Первый натиск чахотки нам удалось отразить, но она может вернуться каждый день... Я думаю, не надо объяснять, что Жорж — это половина нашего дела, если не больше. Плеханов — мозг революции. Его здоровье для будущего России сейчас важнее, чем жизнь любого из нас. Нужны «суммы», чтобы окончательно вылечиться на горных курортах...»

И чудо произошло: Кравчинский достал деньги.

Вера Ивановна перевезла Плеханова в горную деревушку Морне. Георгий Валентинович постепенно поправлялся — медленно выходил на прогулку, подолгу грелся на альпийском солнце, глядя на зеленеющие внизу яркие луга. Горный воздух делал свое дело — жизнь возвращалась к Плеханову.

Деньги из Лондона приходили регулярно, с точностью часового механизма. Сергей Кравчинский, сам испытывая огромные материальные затруднения, ни разу не задержал перевода ни на один день.

Это дало возможность перебраться сначала в Божи, а потом в Давос — крупнейший туберкулезный курорт Европы. Была снята комната в самом дешевом пансионате. Вера Ивановна — смешная, нелепая, в единственном своем старомодном платье, в стоптанных туфлях — привозила необходимые книги, газеты, рукописи, помогая Жоржу снова «войти в форму». Рукой Засулич под диктовку Георгия Валентиновича были написаны первые его после болезни статьи.

Сама Вера Ивановна жила впроголодь, экономя каждую копейку для оплаты пансионата Плеханова. Нередко с ней случались голодные обмороки, кружилась голова, отнимались ноги. Но она ото всех скрывала свое болезненное состояние. Главным для нее было поставить на ноги Жоржа — вернуть группе «Освобождение труда» боевое перо ее лидера.

Два человека сидели в кафе Ландольта на улице Каруж в Женеве.

— ...и этот блестящий ученый, этот мыслитель европейского уровня — философ, историк, экономист, диалектик,— горячо говорил по-русски первый собеседник,— живет в нищенских унизительных условиях, без всяких средств, без какого-либо твердого обеспечения, зачастую не имея денег на еду для себя и своей семьи!..

— Вы о Плеханове? — поинтересовался второй собеседник. У него была странная манера вести разговор — он сидел почти боком к говорившему, высоко подняв голову. Человек этот был слеп от рождения.

— Конечно о Плеханове! Он только что выкарабкался из туберкулеза... Спасла Вера Засулич... Тоже феномен!.. Быть знаменитой на всю Европу своим выстрелом в петербургского градоначальника — и сорок суток просидеть у постели больного... Какая-то фантастическая жертвенность! Вплоть до полного самоотречения и даже само-

уничтожения во имя идеи!.. Никаким древнегреческим героям и титанам не снилась такая высота духа...

— Так вы говорите, что Плеханов материально очень плох? — задумчиво спросил слепой.

— Хуже не бывает... Духовный вождь нового направления в русской революции, а вынужден зарабатывать на хлеб насущный какими-то жалкими уроками... Да и тех теперь лишился после болезни. Только у нас, в России, могут так пошло, так бездарно бросаться своими великими пророками!

— Не преувеличиваете?

— Нисколько!.. Ему из наших заграничных оракулов никто в подметки не годится! Он же марксист, властитель дум, на него вся здешняя социалистическая молодежь молится, как на святого!.. Его сам Энгельс выше всех в русской революции ставит.

— А ваше личное к нему отношение?

— Преклоняюсь... В полном смысле этого слова.

— Вы, очевидно, уже знаете,— тихо сказал слепой,— что я располагаю некоторыми средствами. Не могли бы вы от своего имени предложить кое-что Плеханову... Я бы хотел, естественно, остаться в стороне.

— Для себя лично не возьмет ни копейки!.. Это уже проверено. Бессребреник, чистейшая душа!.. Все отдаст на марксистские издания.

— Издания? Это любопытно. Меня как раз именно это и интересует. Хотелось бы распорядиться деньгами в пользу какого-нибудь стоящего нелегального журнала... Вы не могли бы коротко свести меня с Плехановым?

— Хоть сегодня!.. Впрочем, лучше завтра. Надо предупредить заранее. Он очень строг к своему времени. Все расписано до получаса, минуты зря не потеряет... Мы иногда здесь просто удивляемся — после болезни еле на ногах держится, а дисциплинирован, как римский легионер.

— Вы что-то очень уж расхваливаете своего Плеханова...
— Да ведь есть за что... Редкого обаяния человек, я таких, признаться, никогда и не встречал. Впрочем, завтра сами убедитесь... Я вам твердо обещаю — получите наслаждение... Но хочу дать совет: говорите с ним кратко, ясно, определенно, без всяких исповедей. Он их терпеть не может.
— Меня это устраивает. Я человек деловой, к излишней чувствительности тоже не привычен.
— И никаких витиеватых речей, никаких заумных разговоров по поводу того, что, мол, счастливы беседовать с самим Плехановым, с ним не затевайте. Можете нарваться на злую шутку. Он собеседника сразу отгадывает, на всю глубину, с первых двух-трех фраз. А ироничен и насмешлив, как бес.
— Вы, милейший, нарисовали такой отталкивающий портрет, что мне теперь с вашим Плехановым и встречаться-то не захочется...
— Я специально взял самую крайнюю степень, чтобы предупредить и подготовить вас... Жорж — человеческий экземпляр противоречивый и сложный, но, повторяю,— великолепный!.. Если сладитесь, он сам перед вами душу раскроет. За тридцать — сорок минут узнаете такое, о чем раньше просто и не догадывались. И совершенно по-другому начнете понимать жизнь. Как будто заново на белый свет появились.

Слепым человеком, ведшим разговор в кафе Ландольта на улице Каруж в Женеве, был приехавший из России известный адвокат Кулябко-Корецкий. После нескольких встреч с Плехановым он предоставил в распоряжение группы «Освобождение труда» значительную сумму денег, которая позволила молодым русским марксистам издать

первый русский социал-демократический периодический сборник. Он так и назывался — «Социал-демократ».

Со страниц сборника голос Плеханова, умолкший было на время болезни, зазвучал с новой силой. И прежде всего в рецензии на вышедшую в Париже книгу Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером».

Едко, неопровержимо, уничтожающе высмеял Георгий Валентинович «покаянную философию» Тихомирова и его реверансы перед российским самодержавием. Плеханов назвал его книгу печатным дополнением к рукописному прошению о помиловании.

Это выступление Плеханова поставило тавро на судьбу ренегата Тихомирова, одного из главных врагов нарождающегося русского марксизма в русском освободительном движении.

Вера Ивановна Засулич два экземпляра «Социал-демократа» послала в Лондон.

Один — Сергею Кравчинскому.

Второй — «по начальству», Энгельсу.

4

— Розалия Марковна, у меня к вам один вопрос...

— Вера Ивановна, случилось что-нибудь?

— Нет, ничего особенного... Просто...

— Слушаю вас, Верочка.

— Может быть, я и не имею права задавать вам сейчас этот вопрос...

— Верочка, наши отношения, по-моему, дают нам право задавать друг другу любые вопросы.

— Роза... вы... беременны?

— Ах, это... Я должна отвечать?

— ...

— Да.
— Кого вы хотите родить от больного туберкулезом человека?
— Вера, Вера...
— И для чего? Чтобы он унаследовал мучения отца?
— Ребенка хотела не я, а он...
— Но вы же женщина! Мне ли вам объяснять, что если бы вы...
— Вера, вы ревнуете?
— Вздор!.. Чем вы будете кормить троих детей? Вы подумали об этом?
— В конце концов...
— В конце концов все заботы снова лягут на его голову!.. И он снова надорвется!..
— Верочка, но ведь и вы тоже женщина. Как вы не понимаете...
— Я женщина? Никакая я не женщина! Я марксист в юбке!
— Не наговаривайте вы на себя...
— Третий ребенок будет заставлять его перенапрягаться, отрываться от главного...
— Как это все непохоже на вас, Вера...
— Да, да, непохоже! Я давно уже непохожа сама на себя со своей одинокой бабьей жизнью... А вы хотите иметь сразу все — семью, мужа, любовь, детей, профессию!
— Ну, вот что...
— А у меня есть только одно — наше дело!.. И он — как самое лучшее, самое благородное, самое прекрасное выражение наших идей!.. Зачем же вы хотите укоротить его век, зачем хотите отнять его у нас?
— Вера Ивановна, есть такие стороны жизни, обсуждать которые мне не хотелось бы даже...
— ...
— Вы вторгаетесь в обстоятельства...

— Простите меня, Роза... Я, кажется, не владею сейчас собой...

— ...

— Роза, не продолжайте, умоляю вас!

— Верочка, милая, извините и мне этот тон... Я тоже... тоже...

— Не плачьте, Роза...

— Если бы вы знали, если бы вы только знали, как мне тяжело...

— Возьмите мой платок...

— Я ужасно чувствую себя — все время на грани острейшего отравления. Питание совсем не то, он болен, денег нету...

— Я достану деньги! Я напишу Аксельроду... Павел обязательно поможет... Он же боготворит Жоржа...

— Вы знаете, Верочка, однажды он очень сильно закашлялся... С кровью... И вот в этот день он сказал мне, что боится рано умереть, что обязан до конца жизни сделать как можно больше, что он хочет сохраниться в памяти людей, продолжиться в своих книгах и детях...

— Я завтра же напишу Аксельроду!

— Вера, дорогая, не казните вы меня своим сердцем... Только ангел...

— Не надо, Роза, не надо...

— Спасибо вам за все, и простите, простите...

— Не плачьте, вам вредно сейчас волноваться...

— Вера Ивановна, вы знаете, что меня высылают из Швейцарии?

— Да, Жорж, знаю.

— Хотелось бы все-таки понять — за что?.. Хотя, с точки зрения любого правительства, субъект моего пошиба — всегда и везде персона весьма нежелательная.

— А вы до сих пор не знаете, за что вас конкретно высылают?

— В полиции что-то говорили, но я, конечно, все пропустил мимо ушей...

— О Гегеле, наверное, думали в это время.

— Верочка, как вы отгадали? Именно о Гегеле.

— Мне ли вас не знать, господин Плеханов...

— Так что же там стряслось? За что гонят из самой свободной республики?

— Два русских террориста под Цюрихом испытывали в горах бомбу...

— Народовольцы?

— Они самые. Бомба взорвалась неудачно, обоих ранило, один потом умер...

— Тысяча чертей! Когда же кончится это затянувшееся детство, эта игра в революцию!

— И вот теперь кантональные власти выпроваживают из своих кантонов всех русских эмигрантов без разбора, подозревая каждого в потенциальном анархизме.

— Бред, нонсенс, фантасмагория! Ну, какой же я анархист, когда я чуть ли не первый противник террора и самый что ни на есть махровый марксист? И кричу об этом уже много лет со всех углов?

— А вы хоть знаете, господин махровый марксист, что Розу с детьми тоже собираются выслать из Швейцарии вместе с вами?

— Розу с детьми? Но это невозможно — ей рожать через два месяца. Так что же делать?

— Роза хочет обратиться к университетским профессорам. Могут помочь.

— В чем конкретно?

— Остаться в Женеве.

— Кому? Мне?

— Да при чем тут вы? Почему вы все время думаете только о себе? Ей самой и детям... Перед родами сниматься с места с двумя детьми — это равносильно смерти третьего ребенка.

— Вера Ивановна, а почему вам о делах моего семейства известно все гораздо лучше, чем мне самому?

— А вы разве замечаете вокруг себя что-нибудь другое, кроме своих книг и рукописей?

— Это обвинение?

— Нет, горькое наблюдение.

— Мда-а... Ну, что ж, принимается к сведению.

— Жорж, не обижайтесь...

— Все справедливо, все правильно, Верочка... Я действительно с головой зарываюсь иногда в свои бумаги и забываю обо всем... Хочется, знаете ли, добраться до самых глубин истины, до первопричины... Но чувствую — не хватает сил, чисто физических... Туберкулезик мой все-таки дает себя знать...

— Я всегда рядом и готова взять на себя всю техническую часть вашей работы. Вы же поручаете мне готовить вам необходимые цитаты...

— Это другое... Понимаете, Вера, хочется открыть нечто неопровержимое... Хочется сделать что-то навсегда — с покушением на вечность. Написать, например, пушкинское: я помню чудное мгновенье... Или: из искры возгорится пламя... Но проза жизни бьет по рукам — семья, дети, хлеб насущный...

— Если Розу оставят в Швейцарии, вам надо будет получить разрешение на однодневные приезды к ней в Женеву после родов.

— Приезды в Женеву? Откуда?

— Но вас же высылают из Швейцарии... Где вы собираетесь жить — в Италии, Франции, Германии?

— Черт возьми, опять эмиграция... Гонят отовсюду... Из России в Швейцарию, из Швейцарии — неизвестно куда... Эмиграция из эмиграции...

— Я думаю, что нам лучше всего поехать во Францию, в Морне. Деревушка стоит на самой границе. Да и место знакомое — мы жили там во время вашей болезни,

помните? Прекрасный горный воздух — заодно и подлечитесь...

— Нам поехать?.. Я не ослышался?.. Вы хотите сказать, что поедете вместе со мной?

— Жорж, я ведь не только сиделка и переписчица ваших рукописей. У меня самостоятельная политическая биография... Меня тоже высылают из Швейцарии.

— Что вы говорите?.. Вера Ивановна, дорогая, извините ради бога... Я болван, глупец, слепец... Это же просто замечательно, просто великолепно, что и вас высылают! Будем снова вместе работать, бороться, бить нового защитника самодержавия, горе-революционера господина Тихомирова!

— Да, великолепно... Кроме того, что Роза больна и после нашего отъезда будет рожать здесь совсем одна...

— Жорж, как вы очутились в Швейцарии?

— Павел, я в отчаянии.

— Вы вернулись нелегально, без разрешения?

— Все вопросы потом... Роза и дети шесть дней ничего не ели... Я получил от нее письмо, они умирают с голоду. В доме нет ни сантима денег, ни крошки хлеба... В кредит дают только молоко... Розе скоро рожать, дети болеют... А меня в это время отрывают от них и выгоняют как бродячую собаку!

— Я немедленно вышлю деньги!..

— Павел, умоляю,— телеграфом!

— Безусловно!

— Это еще не все... Их выселяют из квартиры... Роза пишет, что приходил домохозяин... Если завтра до вечера не будет внесено двести пятьдесят франков, их вышвырнут на улицу... Я не могу этого позволить!.. Если это произойдет, я за себя не ручаюсь...

— Жорж, успокойтесь.

— Павел, я поеду к ним в Женеву, несмотря ни на какие запреты!

— Это глупо. Возьмите себя в руки. Арестуют и продержат в полиции бог знает сколько времени.

— Но ведь ей скоро рожать... Вы понимаете — рожать!.. А она умирает с голоду...

— Деньги будут посланы сегодня, сейчас же, через сорок минут... Вам нельзя появляться в Женеве. Возвращайтесь в Морне, к Засулич... А в Женеву поеду я. Завтра утром я буду у Розы и все улажу с квартирой.

— Обещаете, Павел?

— Даю слово.

— Если все кончится хорошо, я буду обязан вам до последнего своего смертного часа.

— Жорж, нам ли с вами говорить друг другу такие слова? Наши жизни переплетены общей судьбой нерасторжимо. Было бы нелепо, если бы я не сделал сейчас для вас все, что могу...

— Спасибо, Павел...

— В изгнании дружба и помощь — наше единственное оружие против превратностей бытия. Больше нам защищáться нечем.

— Спасибо, Павел, спасибо...

— Жорж, я получила письмо из Лондона от Кравчинского... Вы слышите меня?

— Да, Вера Ивановна, слышу...

— Он пишет, что наш «Социал-демократ» очень понравился Энгельсу.

— Я рад...

— Сергей спрашивает: знаем ли мы о том, что в Париже скоро соберется первый конгресс Второго Интернационала?

— ...

— Вы слышите меня, Жорж?.. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Да, да, понимаю... Это вполне естественно, Второй Интернационал... После роспуска Первого Интернационала и смерти Маркса в Европе давно уже нет центрального органа, который объединял бы вокруг себя социалистов разных стран... А будущая социалистическая революция возможна только как явление международного характера. Это записано во втором проекте нашей программы.

— Жорж, о чем вы сейчас думаете?

— О ней...

— О Розе?

— Да. Может быть, она уже родила, а я ничего еще не знаю об этом...

— Мы бы получили известие...

— Какое печальное занятие, Вера, наша жизнь... Мы вечные изгнанники, у нас все отнято — родина, обеспеченность, устойчивое положение... По сути дела, мы лишены элементарных, естественных человеческих радостей и удобств...

— Не надо грустить... Все еще впереди... Нужно ждать и надеяться...

— Сколько можно ждать?.. Годы проходят, а мы все надеемся, ждем...

— Мы сами взвалили себе на плечи эту ношу. Никто не заставлял нас брать на себя ответственность за будущее нашей родины, за будущее истории...

— Этим можно утешаться?

— В этом нужно видеть надежду.

— Жестокая штука история, Вера, не так ли?

— И, тем не менее, мы вмешались в нее. Назад хода нет.

— Не слишком ли резво бросились мы вносить поправки в историю?

— Не говорите так... Это не лучшие ваши слова.
— Вы правы. Минута слабости... Надо верить Вере?
— Да, надо верить...

— Вера, Верочка!.. Она родила, она родила!
— Ну, слава богу...
— Я счастлив, Верочка!
— Кто же родился? Мальчик?
— Нет, опять девочка... Я поеду в Женеву, я обязан ехать... Там сейчас Аксельрод, он дежурил в больнице... Вы представляете — Павел все бросил и помчался в Женеву...
— Только будьте осторожнее, Жорж, прошу вас...

— Ну, как там, что там?.. Как Роза, как малышка?
— ...
— Жорж, да не молчите же вы ради бога!
— Все очень плохо... Роды были ужасные... Ребенок слаб, Роза в тяжелейшем состоянии... Мне дали пробыть около них всего один день... Полиция ходила по пятам...
— Какие сволочи!
— Роза была почти при смерти... У нее жуткое истощение... Нужны лекарства, продукты и деньги... Деньги, деньги, деньги! Если бы не Аксельрод, я сошел бы с ума. Павел отдал все, что у него было...

— Жорж, Кравчинский пишет, что Лафарг зовет нас на марксистский конгресс в Париже.
— Вера, а кого мы будем представлять на конгрессе?
— Русскую социал-демократию, разумеется.
— Но ни одна организация рабочих в России не уполномочивала нас. Мы не можем быть самозванцами.
— Сергей уверяет, что наша группа соответствует

требованиям конгресса: мы издаем орган научного социализма — «Социал-демократ», находимся в связи с рабочими кружками в России, в которых изучают изданную нами литературу, которые одобряют нашу программу и разделяют наши взгляды.

— Но мы же формально никем не избраны на конгресс.

— Только формально. В силу специфических русских условий...

— Опять специфические русские условия!

— ...но по существу мы являемся такими же представителями русских рабочих, как Лафарг и Жюль Гед французских, а Бебель и Либкнехт — немецких.

— Кто же должен ехать от нас в Париж?

— Естественно, вы и Аксельрод.

— Нет, нет, я никуда не поеду... Роза изнемогает от послеродовой болезни, маленькая слабеет с каждым днем... И нет никаких денег! Даже на дорогу до Парижа!

— Предположим, на билет до Парижа мы наскребем...

— А обратно?

— Отправит Лафарг. Как устроитель конгресса.

— Господи, до чего же все-таки нищенская и воистину люмпенская организация это «Освобождение труда»!

— Вот подлинные слова Кравчинского: если бы здоровье позволило Жоржу приехать в Париж, он произвел бы очень хорошее впечатление и не посрамил русского имени.

— Нет, я все равно не поеду. Это было бы предательством по отношению к Розе и детям, особенно к маленькой... Я могу потерять их...

— А по отношению к русским рабочим?..

— ...

— По отношению к сотням и тысячам русских пролетариев, которые ждут освобождения своего труда от ига капитала?.. Зачем же было тогда затеваться и принимать

название «Освобождение труда»?.. Зачем ушел в могилу Вася Игнатов, отдав свои деньги вместо лечения на нашу типографию, пожертвовав собой?.. Зачем на каторге Дейч?.. Зачем вытряхнул из карманов последние копейки слепой Кулябко-Корецкий на издание нашего сборника?

— ...

— Жорж, в конце концов вы не хуже меня знаете, что главным инициатором конгресса является сам Фридрих Энгельс... И вы понимаете, какое значение придает Энгельс парижской встрече всех европейских марксистов... Так неужели вы думаете, что старику не приятно будет услышать с трибуны конгресса именно русского марксиста?

— Вера, я еду... Хотя моей семье эта поездка может обойтись очень и очень дорого...

5

Париж праздновал столетнюю годовщину со дня взятия Бастилии. С феерической щедростью и фантазией город был украшен цветами и флагами. Повсюду — на Елисейских полях, на Больших бульварах, набережных Сены, в Латинском квартале, Люксембургском саду, Тюильри — ходили, пели, улыбались, смеялись тысячи нарядно и торжественно одетых, ликующих парижан.

Кафе и рестораны были переполнены. Сияющие лица мелькали в окнах кондитерских. На всех углах звучала «Марсельеза». Молоденькие девушки-цветочницы в костюмах Марианны от имени городского муниципалитета бесплатно раздавали на улицах букетики красных гвоздик.

В переулках Монмартра и Монпарнаса, сверкая медью труб, маршировали добровольные духовые оркестры. Музыканты, загримированные знаменитостями минувшего столетия французской истории, начиная от Марата, Дан-

тона, Робеспьера и кончая генералом Галифэ, старательно извлекали из инструментов фальшивые, но страстные звуки.

«Веселые» обитательницы площадей Бланш, Пигаль и Клиши, а также бульваров Бланш, Пигаль и Клиши предлагали свои услуги с половинной скидкой в честь дня четырнадцатого июля.

...Жорж Плеханов и Павел Аксельрод стояли в густой, притихшей толпе народа на Вандомской площади перед зданием министерства юстиции, с балкона которого комиссар Коммуны Феликс Пиа объявил когда-то решение Совета Коммуны о низвержении Вандомской колонны.

— Интересно, чего они ждут? — спросил Аксельрод, оглядываясь по сторонам.

— Очевидно, того же, что и мы,— ответил Плеханов.

— А чего ждем мы?

— Может быть, повторения Коммуны? — усмехнулся Жорж.

Почти молитвенная тишина висела над Вандомской площадью. Люди стояли неподвижно, не шевелясь, храня полное молчание.

— Наверное, это манифестация в честь памяти павших героев Коммуны,— высказал предположение Плеханов.— Особая, стоячая манифестация.

Ветер, подувший со стороны сада Тюильри, принес с собой легкий шелест деревьев.

— Тихий ангел пролетел,— шепотом сказал Аксельрод.— Тихий ангел свободы...

— А может быть, не просто свободы,— быстро повернулся к нему Жорж.— И не тихий, а громкий, а? И не ангел, а громогласный архангел неизбежного торжества рабочего дела!

Он был очень возбужден в этот день — в этот необычный солнечный летний день под ослепительно синим парижским небом, по которому ветер стремительно гнал большие белые облака.

В этот цветистый, праздничный, пестрый и шумный, в этот сине-бело-красный (свобода, равенство, братство!), как флаг французской республики, день в Париже начал свою работу Международный социалистический конгресс — первый конгресс Второго Интернационала, Всемирного товарищества рабочих и пролетариев всех стран.

— ...слово представителю Союза русских социал-демократов гражданину Георгию Плеханову!

Он медленно шел между рядами делегатов конгресса — сухощавый, легкий, чуть сгорбленный еще гнездившейся в нем болезнью.

Поднялся на трибуну. Выпрямился. Расправил плечи. И вдруг усмехнулся, его красивое бледное лицо — огромный лоб, орлиный нос, косматые брови — осветилось полетом мысли.

Он вспомнил свое недавнее нежелание ехать в Париж. Теперь оно показалось ему смешным. Он стоял перед форумом марксистов Европы. Вот они — Бебель, Лафарг, Жюль Гед, Либкнехт, Элеонора Эвелинг. (Жаль только, Энгельса нет — старик не смог приехать по нездоровью.)

И отныне он, Георгий Плеханов, твердо знал, что в его жизни больше не может быть таких преград, которые он не смог бы преодолеть, чтобы вывести русский рабочий класс, русскую социал-демократию на международную арену.

— Граждане! — начал он.— Вам, может быть, странно видеть на этом рабочем конгрессе представителей России — России, где рабочее движение до сих пор, к сожалению, слишком слабо. Но мы думаем, что революционная Россия, во всяком случае, не только не должна держаться в стороне от новейшего социалистического движения Европы, но что, наоборот, теперешнее сближение ее с ним принесет большую пользу делу всемирного пролетариата...

Он нашел взглядом Аксельрода. Павел делал ему ободряющие знаки... Потом увидел лицо Жюля Геда — в знак согласия старый парижский знакомый кивнул своей величественной шевелюрой и черной как смоль бородой, поправил пенсне на шнурке и снова кивнул.

Русоволосый Август Бебель, приложив к уху ладонь, слушал заинтересованно, доброжелательно. Зато строгий, профессорский профиль Либкнехта был очерчен настороженно и недоверчиво.

Но больше всего запомнился Плеханову в ту минуту Лафарг. Лучистой своей улыбкой он вроде бы заранее во всем соглашался с молодым русским марксистом, поддерживал его на расстоянии, одобрял каждое его слово.

А рядом с Лафаргом нестерпимым блеском сияли два огромных черных глаза. (Жорж даже вздрогнул, когда наткнулся взглядом на эти распахнутые напряженные черные глаза.) Это была Элеонора Эвелинг, дочь Маркса... Большой белый кружевной воротник, вороненая с завитушками челка, и очень определенное, четко волевое лицо, с которого смотрели на Плеханова глаза Маркса...

И, как бы зарядившись новой энергией от всех этих бесконечно дорогих сердцу и безгранично близких по духу людей, Георгий Валентинович говорил теперь с еще большей убежденностью, с еще большей уверенностью в необходимости довести до сведения делегатов конгресса свои мысли и наблюдения о первых, наиболее ярких событиях капиталистической «биографии» России, о первых шагах русского рабочего класса, о чудовищной сущности царизма, наложившего свою одряхлевшую лапу на духовные и материальные богатства огромной страны.

...Металлическая дужка очков одного из делегатов давно уже привлекала его внимание. Густые, длинные волосы хозяина очков серебристой волной падали на плечи. Это был Петр Лавров.

И, подводя итог давнему спору с человеком, которого

он когда-то считал одним из своих учителей, Жорж сказал, глядя на металлическую дужку:

— Силы и самоотверженность некоторых русских революционных идеологов могут быть достаточны для борьбы против царей как личностей, но их слишком мало для победы над царизмом как политической системой...

Лавров поднял голову, нахмурился, что-то сказал соседу, а потом улыбнулся рассеянной улыбкой пожилого интеллигента, для которого уже не столько важна суть любого острого разговора, сколько необходимо сохранить при этом воспитанность — в пределах общепринятого этикета, который, как известно, не каждому живущему в Европе русскому человеку был доступен.

А Жорж Плеханов заканчивал свое выступление, стараясь теперь встретиться взглядом только с Элеонорой Эвелинг, в больших черных глазах которой он видел нечто такое, что возможно было увидеть в ту минуту, может быть, лишь ему одному из всех делегатов конгресса:

— Задача российской революционной интеллигенции сводится, по мнению русских социал-демократов, к следующему: она должна усвоить взгляды современного научного социализма, распространить их в рабочей среде и с помощью рабочих приступом взять твердыню самодержавия. Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может!

...Это была высшая точка его жизни в то время. Через пять месяцев ему должно было исполниться тридцать три года. Символический возраст начала дороги в бессмертие.

Итак, молодые русские марксисты, молодая русская социал-демократия во всеуслышание — на всю Европу! — заявили о своем существовании и своих целях.

Все складывалось удачно. Из Морне от Веры Ивановны Засулич пришло письмо: в Женеве Розалия Марковна

и маленькая Машенька Плеханова чувствовали себя лучше.

В эти дни Элеонора Эвелинг и Поль Лафарг предложили Плеханову и Аксельроду устроить их поездку в Лондон, к Энгельсу.

— Едем! — решительно согласился Жорж.— Другой возможности не будет.

...Туманный Ла-Манш был пустынен. Плеханов стоял на палубе, вглядываясь в белесую мглу. Впереди лежала Англия. Сбывалась почти нереальная, почти фантастическая мечта — его ждала встреча с Энгельсом.

Они шли по Лондону, беззаботно хохоча, по-студенчески укрываясь от дождя под одним зонтиком.

— Павел! — кричал другу в самое ухо Плеханов.— Подумать только!.. Идем к Энгельсу, к самому Энгельсу!

— Сказать об этом лет десять назад в Петербурге,— улыбнулся Аксельрод,— засмеяли бы...

— Я сейчас вспомнил, как на Дону подбивал казаков на восстание,— веселился Жорж.— Неужели было такое время, когда я серьезно верил в осуществимость этого бакунинского бреда? Уму непостижимо... Сколько изменилось с тех пор, а? Вся жизнь перевернулась. И какими, в сущности, слепыми щенятами мы были без Маркса!..

— Я до сих пор не верю, что через несколько минут увижу Энгельса,— говорил Аксельрод, обходя лужи.

— И я не верю! — хохотал Плеханов, прыгая через лужи.— Но знаю, что увижу!

Дверь открыла Элеонора Эвелинг. Горячие глаза Маркса снова жарко и пристально взглянули на Жоржа.

— А мы думали,— сказала Элеонора,— что по русскому обычаю вы должны немного опоздать. Все русские, приходившие в этот немецкий дом, непременно опаздывали на несколько минут. Это стало традицией.

— Но мы, кажется, пришли даже на пять минут раньше,— возразил Жорж, показывая на стенные часы.— Я и мой друг Павел Аксельрод объявили беспощадную войну всем специфическим русским «боярским традициям», и прежде всего — неточности и утопическому социализму.

Элеонора рассмеялась.

Она провела их в гостиную, познакомила с присутствующими — по воскресеньям у Энгельса по доброму обычаю всегда собирались жившие в эмиграции в Лондоне соотечественники.

Минут через десять в гостиную вошел из соседней комнаты хозяин дома.

Гости почтительно встали.

Энгельсу шел семидесятый год. Он медленно двигался по комнате, здороваясь за руку с гостями.

— Вы еще более молоды, чем я предполагал,— сказал он Плеханову.— Это похвально.

Сели за стол. Энгельс предложил Жоржу место рядом с собой.

Плеханов боялся, что от волнения у него начнут дрожать руки. Напряженный до предела, почти со страхом ожидал он начала разговора с человеком, чье имя было покрыто всемирной славой, а жизнь стала для него, для Жоржа, путеводной звездой.

— Вы любите пиво? — спросил вдруг Энгельс.

Жорж чуть не упал со стула от неожиданности.

— Люблю,— еле выдохнул он.

— Разрешите налить вам,— предложил Энгельс.

Заметив смущение молодого гостя, он доверительно наклонился к нему:

— По воскресеньям мы не говорим о делах. По воскресеньям мы в основном шутим и смеемся.

К столу подали яблочный пирог и глинтвейн.

— В Англии не умеют варить пиво,— сказал Эн-

гельс.— Настоящее пиво бывает только в Германии, в Кроненбурге.

— Вы скучаете здесь по Германии? — неожиданно спросил Жорж и внутренне ужаснулся своей бестактности: ведь он был слишком молод, наполовину моложе хозяина, чтобы задавать такие серьезные вопросы, тем более в эмигрантском доме.

Но в глазах Энгельса зажглись теплые огоньки. Он положил свою мягкую старческую руку на лежавшую на столе руку Плеханова и слегка сжал ее.

— Конечно, скучаю,— тихо сказал Энгельс.

— Мне каждую неделю снится Россия,— вздохнул Жорж.

Он понимал, что уже совершенно не владеет собой и говорит совсем не то, что надо было бы говорить при такой встрече, но незримые, теплые волны шли на него от сидевшего рядом усталого, пожилого человека, и голова отказывалась участвовать в разговоре — разговор вело сердце.

— Я читал запись вашего выступления на конгрессе в Париже,— сказал Энгельс.— Мне и некоторым товарищам здесь очень понравилось... Впрочем, не будем сейчас об этом. Обязательно приходите завтра. Поговорим о конгрессе и вообще о делах.

Когда они возвращались вечером домой, Плеханов вдруг остановил Аксельрода на одном из перекрестков, засмеялся и, хлопнув себя руками по коленям, сказал:

— Какой великолепный старик, а?.. Я с ним приготовился вести ученые разговоры — о прибавочной стоимости, например, а он мне пиво предлагает... Пивка, говорит, не желаете, а?.. Нет, прекрасный, чудный, замечательный старик!

Целую неделю, почти ежедневно приходил Плеханов в Лондоне к Энгельсу.

— Павел,— спрашивал Жорж у Аксельрода,— у меня не выросли еще крылья? Нет?.. Значит, скоро вырастут. Я летаю — понимаешь, летаю в полном смысле этого слова. Своими разговорами, своим доверительным тоном он поднимает меня над землей, возвышает буквально все мысли и чувства. Какая жалость, что Маркс умер так рано... Общение с Энгельсом стоит десятков тысяч лекций и сотен университетов. Марксизм воистину объединил и вобрал в себя все предшествовавшие ему человеческие знания и создал высочайшую из когда-либо существовавших наук — науку коммунистического преобразования человеческого общества.

Глава двенадцатая

1

Связь с Россией!

Связь с Россией!!

Связь с Россией!!!

Все что угодно за связь с Россией.

Ничего не жалко отдать за связь с Россией.

Любой ценой наладить связь с социал-демократическими кружками в России, оборвавшуюся с разгромом группы Благоева.

Мысли эти двадцать четыре часа в сутки сидели в голове. Они не давали покоя ни днем ни ночью. Он думал о связи с Россией наяву и во сне, во время еды, на прогулках, работая над очередными рукописями, разговаривая с людьми, читая книги, отдыхая, составляя конспекты и планы, отвечая на письма своих многочисленных корреспондентов.

Они жили с Верой Ивановной Засулич все там же, во Франции, в деревушке Морне, на самой швейцарской границе (в Швейцарию, к семье, Плеханова полиция не пускала), в двухэтажном деревенском домике с красной черепичной крышей.

На второй этаж со двора вела деревянная лестница. Это было любимое место Жоржа. Утром, выйдя из дома, он садился с книгой на ступени (то выше, то ниже) и углублялся в чтение.

Во дворе появлялась Засулич. Плеханов тут же закрывал книгу.

— Вера Ивановна, когда же у нас будет связь с Россией?

— Я думаю об этом, Жорж, не меньше, чем вы.

— Но ведь пока еще ничего не сделано практически.

Вера Ивановна молча смотрела на Плеханова. Короткая, почти солдатская, а вернее — арестантская, стрижка бобриком, нездоровый цвет лица, печальные глаза, усы обвисли вниз — орел в клетке... Засулич знала, что Жорж сильно тоскует по семье, по детям, и особенно по маленькой Машеньке, которая росла без отца. (Иногда лишь удавалось вырвать у полиции разрешение поехать в Женеву на день, на два. Больше побыть дома не удавалось — приходил жандарм и требовал покинуть Швейцарию.)

Засулич жалела Плеханова. Но ничего нельзя было сделать — орел вынужден был сидеть в клетке сложа крылья. Могучий интеллект расходовался только на теоретическую работу. Практически же ситуация не поддавалась изменению.

Вздохнув, Вера Ивановна уходила в дом — в тихий, провинциальный дом под красной черепичной крышей в забытой богом глухой французской деревушке Морне на швейцарской границе.

Сказать, что орел сидел в Морне, совсем уж сложив крылья, было бы, конечно, неправильно. Крылья расправлялись. Иногда широко и мощно. И шум их взмахов был слышен многим.

На деньги Кулябко-Корецкого выпустили только один номер «Социал-демократа». Потом появился другой русский меценат — Гурьев. Его помощь оказалась более продолжительной — на гурьевские капиталы удалось издать уже целых четыре сборника. Большинство статей принадлежало перу Плеханова. Обложенный швейцарской полицией в Морне, он копил силы, и звуки его голоса доносились до России.

Прежде всего в новом «Социал-демократе» было опубликовано обширное исследование о Чернышевском. Впервые в мировой социалистической литературе «узник из Морне» (так называл себя теперь Георгий Валентинович) выяснил отношение Чернышевского к учению Маркса и Энгельса и раскрыл для русского читателя преемственную связь между философским наследием великого революционного демократа, одного из предшественников марксизма в России, и социал-демократическим движением русского рабочего класса.

Одновременно с этим в статье с позиции научного социализма было убедительно доказано, что общинный социализм раннего Чернышевского теперь принадлежит уже к той эпохе в истории социализма, которая должна считаться отжившей. (Впоследствии статья была специально переделана в книгу для немецкого социал-демократического издательства Дитца. Немецкий рабочий читатель впервые подробно узнал о философском творчестве Чернышевского. Фридрих Энгельс написал по этому поводу автору: «Заранее благодарю Вас за экземпляр Вашего «Чернышевского», жду его с нетерпением».)

Еще в «Социал-демократе» были напечатаны воспоминания «Русский рабочий в революционном движении», в

которых «узник из Морне» рассказывал о первых русских рабочих-революционерах, своих соратниках по стачкам на петербургских фабриках, рецензии на книги Успенского и Каронина, обзор «Всероссийское разорение».

Но все это — статьи, воспоминания, рецензии — было литературой, теорией. Требовались поступки, действия — активные и решительные.

Требовалась связь с Россией.

— Вера Ивановна, мы с вами в этой французской глуши прохлопаем царствие небесное...

— Что вы имеете в виду?

— Вы слышали, что в России появилась новая социал-демократическая группа?

— А вам откуда это известно?

— Да вот пишут добрые люди из благословенного отечества...

— И что это за группа?

— Называют себя «Социал-демократическим обществом», руководит некто Бруснев.

— Любопытно.

— Кто же пойдет от нас на связь с Брусневым?

— Пока не знаю.

— А я знаю.

— ...?

— Некий господин Плеханов. Бросит все свои осточертевшие бумажки, отмоет руки от чернильных пятен и отправится в Россию.

— Шутите, Жоржинька. Никто вас в Россию не отпустит.

— А я сбегу.

— Чтобы сразу попасть в Петропавловку? Больше месяца вам с вашим туберкулезом там не выдержать. Уж я-то знаю, сиживала и в Петропавловке, и в Литовском замке.

— Вера, а если серьезно?
— Надо думать...

— Жорж, на связь с Брусневым пойдет Райчин.
— Заведующий нашей типографией?
— Он самый.
— Согласен. Парень толковый. Но необходимо все предусмотреть самым тщательным образом, чтобы Райчин ни в коем случае не повторил истории с Левушкой Дейчем. Мы не можем разбрасываться людьми. У нас их совсем нет.
— Хорошо. Я сама буду готовить его к переходу через границу.

Поначалу все складывалось очень удачно. Райчин благополучно достиг Петербурга, установил контакт с Брусневым и передал его группе транспорт нелегальной литературы.

Договорились о том, что группа Бруснева берет на себя прием из Женевы всех новых изданий «Освобождения труда» и распространение их среди петербургских рабочих. А незадолго до этого рабочие, находившиеся под влиянием кружка Бруснева, устроили в Петербурге первую в России пролетарскую маевку, во время которой было произнесено несколько речей с призывом к свержению самодержавия.

Первомайские выступления русских рабочих, перепечатанные на гектографе, были доставлены в Швейцарию. Это была редкая удача. Плеханов срочно, под предлогом посещения семьи, приехал из Франции в Женеву.

Было решено, что группа «Освобождение труда» издаст в своей типографии речи петербургских рабочих на маевке. Георгий Валентинович сам правил и держал корректуру.

— Здесь каждая буква — на вес золота! — возбужден-

но говорил Жорж Вере Засулич и Павлу Аксельроду.— Потому что это уже осуществление нашей программы на деле. Выступают сами пролетарии, мы печатаем их подлинные слова!.. Идеи научного социализма дошли наконец до своего главного адресата — до рабочего человека... Цены нет этому сверхдрагоценному, сверхуникальному изданию!

Но на этом удачи кончились. Хотя участники бруспевского кружка распространили на фабриках и заводах отпечатанные в Женеве первомайские речи рабочих, вскоре группа Бруснева была разгромлена. Связь с Россией снова оборвалась.

Получив это трагическое сообщение, «узник из Морне» не выдержал и слег. Вера Ивановна опасалась, что на нервной почве у Георгия Валентиновича произойдет новая вспышка туберкулеза...

2

После выступления на учредительном конгрессе Второго Интернационала имя Плеханова стало известно в европейских социал-демократических кругах. Теоретический журнал немецкой рабочей партии «Новое время» предложил ему выступить на своих страницах с материалом, тему которого автор сочтет возможным определить сам.

Во время «лондонской недели» Георгий Валентинович обещал Энгельсу, что к шестидесятой годовщине смерти Гегеля обязательно напишет о нем. И вот теперь он отправил статью о Гегеле в «Новое время», и она была напечатана в нескольких номерах.

Получив журналы и прочитав статью, Энгельс послал телеграмму главному редактору «Нового времени» Карлу Каутскому: «Статьи Плеханова превосходны». Каутский сразу же переслал Георгию Валентиновичу отзыв Энгельса.

Растроганный Плеханов ответил «Фридриху Карловичу» большим письмом. «Вы написали несколько благожелательных слов Каутскому,— писал он,— по поводу моей статьи о Гегеле. Если это верно, я не хочу других похвал. Все, чего я желал бы, это быть учеником, не совсем недостойным таких учителей, как Маркс и Вы».

Спустя некоторое время Энгельс скажет в одном частном разговоре, что знает только двух человек, которые поняли марксизм и овладели им. Эти двое — Меринг и Плеханов.

В статье «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля» Георгий Плеханов выступил в европейской социал-демократической печати как глубочайший теоретик марксизма... Он утверждает, что все современные общественные науки — история, право, эстетика, логика, история философии, история религии — испытали на себе могучее, в высшей степени плодотворное влияние гегелевского гения, гегелевской философии и приняли новый вид благодаря толчку, полученному от Гегеля.

Почему?

А потому, что Гегель был диалектиком и на все явления смотрел с точки зрения процесса становления. А в природе и особенно в истории процесс становления всегда является двойным процессом: уничтожается старое и в то же время на его развалинах возникает новое.

И поэтому, если философия познает только отживающее старое, то познание одностороппе. Такая философия не способна выполнить свою задачу познания сущего.

Новейший материализм, говорит Плеханов, материализм диалектический, материализм Маркса, отбрасывает эту крайность. На основании того, что есть и что отживает свой век, он, новейший материализм, умеет судить о том, что становится, нарождается и выходит на арену

истории, являясь самой новой и наиболее прогрессивной общественной силой.

Этой новой общественной силой, говорит Плеханов, является рожденный капиталистическим способом производства класс промышленных пролетариев — современный рабочий класс.

Диалектический метод Гегеля создал, хотя и на идеалистической основе, предпосылки для разрешения противоречия между свободой и необходимостью, и это позволило научной философии указать подлинную роль и место сознательной деятельности людей, продолжает Плеханов. Гегель показал, несмотря на весь свой чистейшей воды идеализм, что люди свободны лишь постольку, поскольку познают законы природы и общественно-исторического развития и поскольку они, подчиняясь этим законам, опираются на них.

Но воспользоваться этим величайшим открытием в области философии и науки о жизни общества в полной мере сумел только диалектический материализм, то есть наука марксизма, делает вывод Плеханов.

Философию Гегеля раздирают противоречия между прогрессивным диалектическим методом и консервативной идеалистической системой.

Диалектический же материализм Маркса возвысил материалистическую философию до уровня цельного, гармонического и последовательного миросозерцания. То, что у Гегеля является случайной, более или менее гениальной догадкой, у Маркса становится строгой наукой, заявляет Плеханов.

Диалектика становится историческим принципом.

И именно поэтому самый новый класс современной эпохи — пролетариат — становится органическим носителем этого исторического принципа, становится символом движения истории вперед и дальнейшего развития жизни общества, так как пролетариат переживает процесс своего

возникновения и становления, так как только пролетариат заинтересован в изменении жизни современного общества — смене капитализма социализмом.

Ибо ему, как известно, терять нечего...

Пролетариат и диалектика — нерасторжимы!

После статьи о Гегеле и отзыва Энгельса редактор «Нового времени» Каутский заказывает Плеханову литературные портреты французских философов-материалистов Гольбаха и Гельвеция.

Георгий Валентинович, выполняя заказ Каутского, расширяет первоначальный замысел и пишет самостоятельную книгу «Очерки по истории материализма. Гольбах. Гельвеций. Маркс». Появление философии Маркса он назовет в этой книге самой великой революцией, которую только знала история человеческой мысли. (Одновременно он переводит на русский язык со своим предисловием, комментариями и примечаниями фундаментальный труд Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии».)

В этом расширении первоначального замысла — еще один ключ к пониманию и разгадке натуры Плеханова, его творческой личности, характера и психологии.

Каутский заказал ему только два очерка — о Гольбахе и Гельвеции. Никто не просил его ничего расширять. Больше того, чем сильнее он расширял, тем на более дальний срок откладывалась публикация. А бюджет Плеханова целиком зависел от литературных гонораров. У него было трое детей и больная жена. И никакого твердого и постоянного материального обеспечения.

Но Плеханов написал не два, а три литературных портрета. И не как очередные, проходящие журнальные статьи, а создал книгу о материализме, как об одном из источников возникновения марксизма.

Он дописал третий раздел книги — о Марксе. Потому,

что, будучи марксистом, уловил преемственность между философией Маркса и французским материализмом. Потому, что почувствовал возможность показать становление диалектического материализма.

У Гельвеция и Гольбаха встречались только материалистические «догадки» об эволюции истории общества. Поэтому они остались на позициях «философии истории».

Исторический же материализм Маркса стал высшим достижением философии, так как связал материалистическую философию с революционной борьбой пролетариата, с коренными интересами рабочего класса — главного «движителя» исторического прогресса.

Так писал в своей книге о материализме первый русский марксист Георгий Плеханов (опрокинув аккуратный журнальный заказ Карла Каутского), прокладывая будущим поколениям русских марксистов одну из дорог к пониманию сложной проблемы источников возникновения марксизма.

Он написал эту книгу еще, быть может, и потому, что никогда не ощутил бы полного удовлетворения, если бы выполнил только журнальный заказ Каутского. Он вообще очень редко чувствовал себя вполне удовлетворенным от сделанного. Вечная неудовлетворенность — вот что было одним из главных свойств его характера и личности. И, возможно, тайное объяснение этому свойству он порой находил в несколько измененной, но безусловной для него мысли Гегеля о том, что удовлетворенность есть первый признак падения духа.

И еще жила в его характере и натуре одна особенность, которую он, пожалуй, затруднился бы сформулировать, но которой он неукоснительно и в основном подсознательно был привержен с первых шагов своего революционного пути. От поколения русской молодежи, вышедшей в семидесятых годах на поединок с царизмом, от своих сверстников и соратников, ходивших в народ,

бросавших бомбы в экипажи губернаторов и царей, навсегда унаследовал он высокую меру ответственности за судьбы истории, которую она, та русская молодежь, на себя приняла.

Эта героическая молодежь, рассеянная мечом самодержавия, сложившая свои головы на эшафотах во имя светлой идеи — разбудить, растолкать столетиями спящую Русь, ушедшая за эту идею на вечную каторгу и в глухие казематы крепостей, не представляла себе своего существования без прямой ответственности за судьбы истории своей Родины. Она сама ощущала себя частью истории, и только собственноручно творимую историю осознавала и признавала как единственно возможную для себя форму бытия.

Отсюда и черпала она силы для величайшего, беспримерного героизма и мужества в борьбе с самодержавием, когда эта борьба в своем высшем акте — убийстве Александра II — остановила на себе «зрачок мира».

Эта сопричастность истории, эта ответственность за судьбы истории, трансформировавшись на новом этапе в иные формы, навсегда сохранилась и в нем, в Георгии Плеханове.

Всеми своими поступками и действиями он должен был принадлежать истории. Все его рукописи, статьи и книги были историей, он творил ими историю, творил будущее. Иначе и быть не могло. И только в этом, только в перенесении всего себя из настоящего в будущее видел он смысл своего бытия.

И поэтому не мог он писать по заказу Каутского только и просто журнальные статьи для настоящего.

Поэтому и расширял он первоначальные замыслы.

Поэтому и писал книгу для будущего — о развитии материализма и его становлении, зафиксировав тем самым в истории развитие и становление своей собственной личности, став частью истории.

3

Большие, серьезные, глубокие, страстные, яркие (какими только не называли их современники!), живые, доходчивые, прекрасно аргументированные, написанные с огромной эрудицией работы Плеханова по философии сделали его имя чрезвычайно популярным в первой половине девяностых годов во многих европейских странах. Все признавали в нем крупнейшего теоретика марксизма и знатока истории общественной мысли. Авторитет Плеханова в социал-демократических кругах необыкновенно вырос. Особенно отмечалось расположение к нему Энгельса. В революционной среде любили повторять слова Энгельса о Плеханове: «Не ниже Лафарга или даже Лассаля».

Это веское мнение «патриарха» марксизма окружило имя Плеханова ореолом настоящей и вполне заслуженной славы.

Выбранный на третьем конгрессе Второго Интернационала, проходившем в Цюрихе, в военную комиссию, Георгий Валентинович произнес на одном из заседаний гневную речь против русского самодержавия.

— Уже давно пора,— сказал Плеханов,— покончить с русским царизмом, позором всего цивилизованного общества, с постоянной опасностью для европейского мира и прогресса культуры. И чем больше наши немецкие друзья нападают на царизм, тем более должны мы быть им благодарны. Браво, мои друзья, бейте его сильнее, сажайте его на скамью подсудимых возможно чаще, нападайте на него всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами! Что же касается русского народа, то он знает, что наши немецкие друзья желают его свободы...

Выступление неоднократно прерывалось аплодисментами. Когда оратор сошел с трибуны, ему устроили шумную овацию. Многие делегаты подходили к Плеханову,

пожимали ему руку, поздравляя с блестящей речью.

Его часто можно было видеть в кулуарах рядом с Энгельсом — тот действительно явно благоволил к русскому марксисту. Вместе с Плехановым он несколько раз побывал в гостях у Аксельрода. И это не осталось незамеченным. С Плехановым теперь искали знакомства, журналисты брали у него интервью.

Вообще, русские делегаты пользовались в Цюрихе определенным успехом. В значительной степени это объяснялось известностью Плеханова как знатока марксизма. Многие прочили ему теоретическое лидерство в руководстве конгрессом. И Георгий Валентинович как-то естественно, без особых на то личных усилий, быстро продвинулся вверх по незримым иерархическим ступеням конгресса и приблизился к его руководящему ядру.

В один из дней работы, в пятницу, после обеденного перерыва, устроители конгресса пригласили Плеханова на загородную прогулку. Это уж было совсем неожиданно. В наемные экипажи грузили свертки с продуктами, вино, цветы, в открытых колясках сидели парядно одетые дамы в разноцветных платьях и пышных шляпах. (Многие делегаты, люди весьма состоятельные, приехали в Цюрих с женами и детьми). Для «узника из Морне», привыкшего к суровой, строгой, аскетической жизни подвижника и отрешенного от земной суеты мыслителя все это выглядело странно и необычно. Он чувствовал себя не в своей тарелке. (На фотографии тех лет Георгий Валентинович запечатлен напряженно и скованно сидящим среди участников загородной прогулки. А рядом вальяжно раскинулись на траве Бернштейн, Каутский и другие лидеры конгресса.)

Пикник прошел по всем правилам: произносились тосты, высказывались комплименты, провозглашались здравицы. Немало лестных слов было сказано и о русском

делегате. Плеханов смущенно и шутливо «опровергал» похвалы в свой адрес.

И, тем не менее, эта непроизвольно сложившаяся на конгрессе обстановка завышения его реальной международной популярности льстила ему и произвела на него впечатление. После глухих месяцев уединенной деревенской жизни в Морне он почувствовал на себе внимание «Европы». И это сослужило ему плохую службу — он переоценил свои «конституционные» возможности, потерял на какое-то время контроль над своей полемической горячностью (что, впрочем, было вполне в его характере и повторялось с ним довольно часто).

На заседании военной комиссии, критикуя позицию французского правительства за поддержку русского царя, Плеханов сказал, обращаясь к французским делегатам:

— Разве вы забыли, что самодержавие соединилось с французской буржуазией, что русский царь является убийцей Польши? Как может Франция настолько забыть свое революционное прошлое?

Когда заседание военной комиссии окончилось, к Плеханову подошли французские журналисты.

— Мсье Жорж,— высокопарно начал один из них,— вы пренебрегли гостеприимством страны, приютившей вас. Вы оскорбили честь Франции. За это вызывают на дуэль.

Плеханов усмехнулся.

— Можете вызвать на дуэль меня,— мрачно сказала стоявшая рядом Вера Ивановна Засулич, присутствовавшая на конгрессе вместе с Аксельродом в качестве гостей.— Я неплохо стреляю в мужчин.

Делегаты конгресса, окружившие их в предчувствии острого разговора, дружно засмеялись.

— Мадам Вера,— выступил вперед другой журналист,— вы, безусловно, лучше всех нас владеете огнестрельным оружием. Но во Франции принято участво-

вать в дуэлях с женщинами, используя совершенно иные формы соперничества... Мы приносим вам и мсье Жоржу свои извинения. Но оставляем за собой право первого выстрела.

И «выстрел» этот грянул уже на следующий день. Парижские газеты потребовали изгнать Плеханова из пределов Франции.

Георгий Валентинович и Вера Ивановна поспешили в Морне. На их квартире полиция уже произвела обыск. Чувствовалось, что Плеханова и Засулич могут выдворить из страны в любой момент.

И в это время на Георгия Валентиновича обрушился такой удар, которого, наверное, не мог бы пожелать ему даже самый злейший враг.

— Жорж, беда...
— Нас высылают, Вера?
— Телеграмма от Розы...
— Что там?.. Ну, говорите же скорее!
— Машенька заболела...
— Что с ней?!
— Менингит.
— Где телеграмма?
— Вот она... Только возьмите себя в руки.
— !!!
— ...
— Вера, я иду через границу...
— А если задержат?
— Но не сидеть же здесь сложа руки!!
— Да, да, конечно...
— Роза пишет, что в таком возрасте это смертельно...

Франко-швейцарскую границу он перешел ночью, нелегально. Опыт «нарушителя» у него уже был немалый. За пять лет жизни в Морне таинственный этот путь

в обход контрольных постов приходилось проделывать неоднократно.

Глядя на вершины гор, на темное небо, на одиночное множество звезд, он думал о том, что вся его жизнь, по сути дела,— одна сплошная гряда трагических препятствий, на механическое преодоление которых ушло гораздо больше времени, сил и энергии, чем на главный, созидательный труд.

Но, может быть, он никогда и не хотел ничего другого, кроме этой напряженной и тяжкой, но единственно возможной судьбы, которая, как горная дорога с ее бесконечными подъемами и спусками, бросала его то вверх, то вниз, принося то высокое счастье находок и открытий, то горькие минуты разочарований и потерь.

Судьба была неразрывно связана со смыслом того дела, с той верой, которую он неостановимо искал, нашел и крепко удерживал.

«Но Машенька, бедная моя девочка! — остановился он вдруг в ночной тишине гор, и холодные, ледяные слезы вины перед дочерью навернулись ему на глаза.— В чем же виновата ее безгрешная четырехлетняя душа? За что жизнь послала ей незаслуженную, страшную кару этой ужасной болезнью?»

Слова — чужие, непривычные, не его — о боге, грехе и душе, пришедшие из далекого детства, из сумерек деревенской гудаловской церкви, из маменькиных молитв и скорбного пламени одинокой свечи перед иконой,— неожиданно и невольно замелькали в его памяти, как спасение от нестерпимой боли разума, который привычно, но тщетно на этот раз пытался прийти ему на помощь.

Он потерянно стоял один среди гор на пустынной дороге под чужими, безразличными звездами, далека была его родина, безутешно горе, некого было звать разделить страдание, некому протянуть для опоры руку, нечему помолиться — весь мир был против него, и альпийское

черное небо осыпалось над его головой звездопадом неизбежно близкого зла.

И надо было идти дальше — вперед, по горной ночной дороге.

Он торопился, как мог, но успел только к постели уже умирающей дочери.

Розалия Марковна, сидевшая с залитым слезами лицом возле Машеньки, долгим невидящим взглядом посмотрела на него, когда он вошел, и молча отвернулась.

Девочка умирала. Дыхание ее прерывалось тяжелыми хрипами, жизнь покидала слабое, хрупкое тельце.

Поняв, что опоздал, он остановился в дверях, прислонившись к стене головой и спиной, потом сделал несколько шагов, опустился перед кроватью на колени и прижался лицом к неподвижной руке дочери.

Она родилась без него, жила на свете почти без него и, так и не увидев его, уходит из жизни.

Он не успел к ней, когда она была жива. Не смог ничего сказать ей на прощание. Не смог ничего услышать от нее в последний раз.

Он успел только к ее уже неживым минутам.

Кто-то всхлипнул в соседней комнате и глухо зарыдал. Розалия Марковна, вздрогнув, тихо заплакала. Она плакала беспомощно и жалко, не вытирая слез, и они, одна за другой, капали на белую простыню, которой была укрыта девочка.

Георгий Валентинович поднялся на ноги, сел рядом с женой. За эти несколько минут, когда он, стоя на коленях перед Машенькой, убедился в том, что уже никогда не увидит ее глаз и не услышит ее голоса, мускулы его лица одеревенели, схватились параличом неподвижности, все заострилось — скулы, нос, подбородок, косматые брови были похожи на потухшие крылья падающей вниз птицы.

В доме что-то происходило. Кто-то появлялся, исчезал, где-то разговаривали шепотом.

Они ничего не слышали, сидя возле кровати умирающей дочери. Розалия Марковна плакала, он гладил ее руку, так и не уронив ни одной слезы.

Смерть делала круги по комнате. Они становились все у́же и у́же. Небытие душило пространство.

Смерть подошла совсем близко, присела на край кровати, помедлила... и взяла девочку на руки...

Гроб был маленький, легкий. Георгий Валентинович сам отнес его на кладбище. Розалия Марковна шла рядом. Кто-то попытался поддержать ее под руку — она отстранилась.

А через несколько дней он снова сел за работу. Правление Германской социал-демократической партии давно просило его написать брошюру против анархизма. Он дал обещание. Его надо было выполнять.

Так, в траурной пелене мыслей и чувств, в ощущениях трагической невосполнимости своей потери, была написана одна из самых ясных, доходчивых и популярных его марксистских работ «Анархизм и социализм».

Он жил то в Морне, то, получая кратковременные разрешения, в Женеве, вместе с семьей. Вопрос о высылке из Франции оставался открытым. Опять нужно было куда-то эмигрировать. Вся жизнь была похожа на одну сплошную, непрерывную эмиграцию. Из России в Швейцарию, из Швейцарии во Францию, из Франции — неизвестно куда.

Со всей Европы он получал письма сочувствия его горю. Особенно часто писали Жюль Гед и Вильгельм Либкнехт.

Его звали жить во многие страны, обещая поддержку и помощь. Очень серьезно обдумывал он приглашение

переселиться в Америку. Американские друзья гарантировали хорошее материальное положение.

Но уехать в Америку означало совсем оторваться от главного — от России.

В конце концов, перебрав множество вариантов, он решился ехать в Англию, к Энгельсу. Ему хотелось обсудить некоторые теоретические проблемы, подарить Энгельсу вышедшую в Берлине брошюру «Анархизм и социализм».

Спустя полгода после смерти дочери Плеханов нелегально прибыл в Лондон.

4

В то время он не случайно не хотел уезжать далеко от России. Русские дела начинали все больше и больше интересовать его. В Петербурге активизировались народники. Эти шумливые, вполне легализовавшиеся господа уже ничего общего не имели с грозным революционным народничеством эпохи Желябова и Перовской, но, загораживаясь авторитетом первомартовцев, на всех углах критиковали марксизм, требовали только реформ и снова пели дифирамбы пресловутой сельской общине. В лице талантливого публициста Николая Михайловского либеральные народники обрели своего оракула, часто и резко выступавшего против русских социал-демократов. Требовалось дать суровую марксистскую отповедь Михайловскому — публично, на миру.

Живя в Лондоне, Георгий Валентинович часто приходил к Энгельсу, который, давно уже активно симпатизируя Плеханову, теперь, на склоне своей жизни, относился к нему по-отечески, разрешив работать в своем кабинете и пользоваться огромной библиотекой.

Они по многу часов проводили вместе в доме Энгельса,

разговаривая о рабочем движении, социал-демократии, марксистской теории.

Встречи с Энгельсом в Лондоне в девяносто четвертом году дали Георгию Валентиновичу сильнейший заряд, он чувствовал себя как бы еще раз проштудировавшим все труды основоположников научного коммунизма, как бы заново окончившим великую академию марксизма.

Лондон вообще очень сильно захватил его на этот раз своей напряженной интеллектуальной и экономической жизнью. Со всех концов света стекались сюда люди, жаждавшие добиться успеха на деловой и общественной арене самого богатого капиталистического государства. Страсти эпохи обнажались здесь до предела. Плеханов жадно впитывал все это. После деревенской жизни в Морне, после тихой и грустной Женевы лондонский водоворот мирового бытия возбуждал в нем новые силы. Он целыми днями просиживал в библиотеке Британского музея, лихорадочно поглощая журнальные и книжные новинки, следил по газетам почти всех стран за событиями, сотрясавшими земной шар в последнее пятилетие девятнадцатого века.

А в голове гвоздем сидела мысль — дать бой либеральным народникам, защитить марксизм, его зарождение в России.

Густая концентрация лондонской жизни — беседы с Энгельсом, работа в Британском музее, встречи с революционерами, учеными, писателями, художниками, учащенный пульс самого большого в мире капиталистического города со всеми его распахнутыми настежь социальными язвами — все это в соединении с необходимостью срочно разобраться в русских делах рождало энергию, требовавшую выхода в наиболее знакомой и доступной форме — теоретической работе.

Необходим был случай, который вместил бы безбрежную стихию ощущений, наблюдений и пережи-

ваний в строгое русло закономерностей и научных обобщений.

И такой случай нашелся.

— Георгий Валентинович, разрешите представиться...

— Да ведь мы, кажется, знакомы...

— И тем не менее... Потресов, Александр Николаевич.

— Очень приятно. По какой надобности в Лондоне?

— Собственно говоря, я приехал непосредственно к вам...

— Ко мне? Вот как? Но моим постоянным местом пребывания числится Женева. А здесь я нахожусь, говоря по-русски, «зайцем», нелегально-с!

— Я был в Женеве и там получил ваш адрес в Лондоне.

— Чем же могу служить?

— Георгий Валентинович, у меня есть возможность легально напечатать в Петербурге марксистскую книгу. Вы не могли бы предложить мне что-нибудь из ваших свежих сочинений?

— В каком смысле — свежих?

— То, что еще не публиковалось на европейских языках.

— Заманчиво. Надо подумать.

— Все расходы по изданию, разумеется, я беру на себя. После вашего согласия сразу же могу выплатить аванс.

— Аванс — это всегда хорошо. Мы тут на чужбине, знаете ли, изрядно пообносились.

— Очень подошло бы, скажем, нечто полемическое. В духе ваших прежних разногласий с народниками.

— Александр Николаевич, есть нечто полемическое... Вы книжонку мою «Наши разногласия», наверное, читали?

— Конечно. Я же социал-демократ.

— Прекрасно!.. Так вот, это продолжение «Наших разногласий». И кое-что о господине Михайловском и компании!.. Они ведь, реформисты несчастные, все еще скулят, что марксизм для России философски необоснован и практически к русской жизни неприменим. И под эту жалкую песенку, под этой ничтожной либеральной вывеской фальсифицируют Маркса! Особенно по вопросам общины и перспективам развития нашего движения.

— Не слишком резки будут нападки на Михайловского? Он сейчас в кумирах ходит, молодежь им зачитывается.

— Господин Потресов, надеюсь, вы наслышаны, что полемики тихой не бывает. Особенно в моем исполнении. И особенно с народниками. Резкость — кислород всякого спора. Именно резкостью интересна полемика для читателей... Что же касается кумиров, так это еще Наполеон Бонапарт говорил, что от великого до смешного только один шаг. Сегодня — кумир, а завтра — огородное чучело!

— Георгий Валентинович, а вы не могли бы несколько подробнее рассказать мне, как издателю, направление вашей книги? В принципе я уже одобряю ее. Но хотелось бы услышать некоторые подробности и детали.

— Беретесь издавать?

— Берусь!

— Тогда извольте подробности и детали...

— Я смотрю, вы уже загорелись моей идеей.

— А как же! Я господин темпераментный. Вы еще наплачетесь со мной... Так вот, самое главное направление — показать русскому читателю, из каких исторических корней вырастал марксизм. Хотелось бы, чтобы эта книга, собственно говоря, вообще стала самой полной историей марксизма на русском языке...

— Блестящий замысел!

— Она должна раскрыть преемственную связь марксизма с предшествующими материалистическими философскими учениями. И вопреки субъективистским излияниям господ Михайловского, Кареева и иже с ними обосновать необходимость социалистического преобразования мира, в том числе и нашего благословенного отечества, на основе научного познания объективных законов природы и человеческого общества.

— Георгий Валентинович, это грандиозно! Я употреблю все свои возможности на то, чтобы русские читатели получили такую книгу.

— Потому что именно русским людям пора сейчас пошире открывать глаза на последние достижения научного социализма. Ведь это же срам и позор, что наша русская молодежь до сих пор зачитывается Михайловским, который как пономарь бубнит, что марксизм-де фаталистически приговаривает весь мир, а вместе с ним и святую Русь, на веки веков терпеть муки капитализма, что он, марксизм, не дает никакого простора для свободной деятельности людей... Да кто же другой, как не марксизм, освобождает современное человеческое сознание от фатализма метафизики, я вас спрашиваю? Кто же другой, как не марксизм, объясняет нам, что окружающая человека природа сама дала ему первую возможность развивать его производительные силы и тем начала постепенно освобождать человека из-под своей власти?.. Кто другой, как не марксизм, показывает, что производственные отношения собственной логикой своего развития приводят человека к пониманию причин его порабощенности экономической необходимостью?.. Кто, как не марксизм, втолковывает нам, что этим самым дается возможность нового и окончательного торжества сознания над необходимостью, разума над слепым законом?

— Браво, Георгий Валентинович, браво!.. Только почему вы все время, употребляя такую неодушевленную

часть речи, какой является слово «марксизм», говорите не «что», а «кто»?

— А потому, господин знаток грамматики, что «марксизм» для меня не только самая одушевленная часть речи, но и самое живое понятие за всю историю существования всех понятий на земле.

— ..!

— Диалектический материализм раскрывает людям глаза на то, что человеческий разум никогда не мог быть творцом истории, так как он сам является ее продуктом. Но раз уж этот продукт, то есть разум, появился на белый свет, он не должен, а уж тем более по самой своей природе не может подчиняться завещанной прежней историей действительности. Он, разум, по необходимости стремится преобразовать эту действительность по своему образу и подобию, то есть сделать действительность разумной...

— ..!

— Именно по всему по этому, дорогой Александр Николаевич, диалектический материализм есть философия действия!

— ..!

— А что же в это время проповедуют русской молодежи пламенные субъективисты, идеалисты и метафизики, господа Михайловский, Воронцов, Кареев, Кривенко и прочие либеральные народники?.. Они в это время весьма ловко дезориентируют и так уж не бог весть как сильно грамотного, а наоборот — весьма темного и забитого умом русского человека, даже если он и считается очень передовым, заставляя его разбивать лоб в молитвах сельской общине... Ведь эти же господа, Воронцов и Кривенко, договорились до того, что Маркс-де якобы пристыдил своих учеников, русских социал-демократов, то есть нас, «Освобождение труда»... Маркс, мол, утверждал, что община в России сохранится при любых усло-

виях и станет источником социалистического развития... Нет, это же надо — куда загнули, а?

— Георгий Валентинович...

— Да Маркс никогда не выводил Россию за рамки общеисторических законов, по которым развивается все человеческое общество!.. Господам Воронцову и Михайловскому, прежде чем начинать рассуждать о том, применимы или неприменимы взгляды Маркса к России, надо было бы дать себе труд понять эти взгляды... Вот почему так необходимо издать полную историю марксизма на русском языке. Если уж петербургские властители дум не понимают, что такое марксизм,— так что уж там говорить о других.

— Георгий Валентинович, вы не устали?.. Может быть, прервемся на некоторое время и пойдем куда-нибудь перекусим?

— Нет, я не устал и совершенно не голоден.

— Значит, мне просто показалось, что у вас сделался утомленный вид... Я прошу извинить мне этот вопрос, но вам не мешает дышать сырой и тяжелый лондонский воздух? Меня, например, здешние туманы просто душат.

— Вы на туберкулез мой намекаете?

— Нет, нет, что вы! Упаси бог... Я в самом широком смысле...

— Вообще-то мешает. Дышать, конечно, тяжело. Но я уже привык.

— Завидное у вас самообладание.

— У меня хороший учитель по этому предмету.

— Кто же именно?

— Вера Ивановна Засулич... Когда дипломированные женевские ветеринары во главе с неким профессором Цану решили, что мне осталось жить шесть недель, Вера Ивановна сорок дней просидела около моей постели и заставила меня остановить болезнь. Вот у кого, батенька мой, самообладание! А ведь женщина...

— Вера Засулич — национальная гордость России. Все передовое русское общество чтит ее имя.

— Так-то оно так, но истинные заслуги Веры Ивановны пока еще полностью не оценены. Когда основательница русского политического террора становится первой русской марксисткой — это, знаете ли, наглядная и сильная агитация в пользу марксизма...

— Совершенно с вами согласен, Георгий Валентинович... Я как-то никогда не думал об этом символическом значении перехода Веры Засулич от террора к марксизму. А вот сейчас вы сказали, и все представилось совершенно в новом освещении...

— Александр Николаевич, вы все еще хотите идти куда-нибудь что-нибудь перекусывать?

— Георгий Валентинович, а что, если я сейчас быстро сбегаю в какую-нибудь ближайшую лавчонку, накуплю всякой провизии и мигом обратно, а?

— Ну, давайте поскорее...

— Вот я и вернулся...

— Будем продолжать?

— Безусловно.

— Вы только не подумайте, что я сейчас просто так, вообще разглагольствую перед вами, для собственного удовольствия... Рукопись книги у меня есть, но в нее надо вносить много поправок и дополнений... Вот я и делаю это пока предварительно, устно...

— А я вас так и понял, Георгий Валентинович.

— Это очень хорошо, что мы сразу начали понимать друг друга... Итак, идем дальше. Наши горе-метафизики, господа либеральные народники, а вместе с ними и метафизики всего мира, безусловно, не могут ни понять, ни оценить великих возможностей активной деятельности человека в окружающем его мире. Марксизм же воору-

жает человека знанием законов действительности и, таким образом, дает ему в руки оружие для воздействия на нее... Надеюсь, это понятно?

— Абсолютно понятно.

— Метафизики, идеалисты и субъективисты всех мастей, а вслед за ними и наши либеральные народнички повторяют изо дня в день, бесконечно увеличивая мозоли на собственных языках, что люди могут только лишь познать законы, по которым они живут, но не в силах подчинить эти законы своей воле... Нет, говорит этим господам Карл Маркс, если уж мы узнали эти законы, от нас зависит свергнуть их иго, от нас зависит сделать необходимость послушной рабой разума... «Я червь!! Я червь!» — вопит идеалист, забившись в угол необходимости. «Да, может быть, я и червь,— спокойно отвечает марксист,— пока я невежествен. Но я — бог, когда я знаю!»

— Георгий Валентинович, я предсказываю невероятный успех вашей книге в России. Вы даже не представляете, насколько все то, о чем вы говорите, необходимо сейчас русскому уму, жаждущему свежего ветра. России необходимо пережить свою национальную эпоху великого Просвещения!

— И этот ураган свежих знаний, эту эпоху Просвещения в Россию может принести только марксизм!

— Я сделаю все возможное и, может быть, даже невозможное, чтобы напечатать вашу книгу...

— И тем самым исполните святой долг образованного человека и истинного интеллигента, который обязан нести «светильник» своих знаний в толпу, к людям, а не держать его под спудом, в своем тесном кабинете... Потому что, пока существуют крикливые и неудержимо прыткие «герои», вроде господина Михайловского, воображающие, что им достаточно просветить свои собственные головы, чтобы повести толпу всюду, куда им угодно, чтобы лепить из нее, как из глины, все, что им вздума-

ется,— царство разума остается красивой фразой, благородной мечтой. Оно начнет приближаться к нам семимильными шагами лишь тогда, когда сама «толпа» станет героем исторического действия и когда в ней, в этой серой «толпе», разовьется самосознание, соответствующее ее решимости действовать в истории. Вот почему марксизм неустанно зовет революционную интеллигенцию подниматься на защиту интересов рабочего класса и постоянно нести в пролетарскую среду социалистические идеалы...

— Георгий Валентинович, надо бы все это записывать...

— Не беспокойтесь, у меня хорошая память... Итак, марксизм называет непосредственного производителя материальных благ, то есть рабочий класс, главным героем ближайшего исторического периода. И поэтому в первый раз с тех пор, как существует наш мир и земля вращается вокруг солнца, происходит сближение науки в лице марксизма с рабочим классом. Наука марксизма, то есть диалектический материализм, спешит на помощь рабочему классу, а рабочий класс, опираясь на выводы науки, своим сознательным, пролетарским социал-демократическим движением должен добиться освобождения своего труда от гнета капитала... Что же касается русских дел, то Маркс еще в семидесятых годах сказал: если Россия будет продолжать идти по тому пути, на который она вступила со времени освобождения крестьян, то она сделается совершенно капиталистической страной, а после этого, попавши под ярмо капиталистического режима, ей придется подчиниться неумолимым законам капитализма наравне с другими народами... Таким образом, марксизм никаких стран ни к чему не приговаривает и не указывает пути, общего и обязательного для всех народов. Марксизм утверждает, что развитие всякого общества всегда зависит от соотношения общественных сил внутри его...

— Георгий Валентинович, но ведь господа Михайловский, Воронцов и иже с ними бесконечно спекулируют еще и на тех вопросах, которые якобы возникают у каждого русского человека, желающего честно трудиться для блага своей родины: будет ли продолжать Россия и дальше идти по капиталистическому пути развития и не существует ли данных, позволяющих надеяться, что этот путь будет ею оставлен?

— Русские ученики Маркса призывают каждого русского человека, которого интересуют объективные, а не субъективные в духе наших либеральных народников ответы на эти вопросы, обратиться прежде всего к изучению фактического положения России и к анализу ее современной внутренней жизни. Со своей же стороны русские ученики Маркса на основании сделанного ими такого анализа утверждают: да, Россия будет и дальше идти по капиталистическому пути развития. И нет никаких данных, позволяющих надеяться, что Россия скоро покинет путь капиталистического развития, на который она вступила после 1861 года. Вот и все!

— !!!

— А закончить книгу мне бы хотелось чем-нибудь легким — например, такой сказкой... Одного доброго молодца привели в каменный острог, посадили за железные запоры, окружили неусыпной стражей. Добрый молодец только усмехается. Берет он заранее припасенный уголек, рисует на стене лодочку, садится в нее и... прощай, тюрьма, прощай, стража неусыпная, добрый молодец опять гуляет по белому свету.

— Хорошая сказка!

— Вот именно. Но... только сказка. В действительности нарисованная на стене лодочка еще никогда, никого и никуда не уносила... Наши господа субъективисты из лагеря либерального народничества прекрасно знают, что уже со времени отмены крепостного права Россия

явно вступила на путь капиталистического развития. Они видят, что старые экономические отношения разлагаются у нас с поразительной, все более и более увеличивающейся скоростью... Но это ничего, говорят они друг другу, мы посадим Россию в лодочку наших идеалов, и она уплывет с капиталистического пути за тридевять земель, в тридесятое царство... Наши либеральные народники хорошие сказочники, но сказки никогда еще не изменяли исторического движения народа по той же самой прозаической причине, по которой ни один еще соловей не был накормлен баснями...

5

В течение нескольких недель Плеханов при помощи Потресова переработал вторую часть «Наших разногласий» для легального издания книги в России.

Долго искали название. Было много вариантов. Наконец, остановились на громоздком, но способном усыпить внимание цензуры (по мнению Потресова) заголовке: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

— Остается придумать псевдоним автора,— сказал Потресов.

— Н. Бельтов,— ответил Георгий Валентинович.

С рукописью книги Потресов в середине октября 1894 года уехал из Лондона. Плеханов страшно волновался: удастся ли перевезти ее через границу? Наконец из Петербурга пришла телеграмма: «Прибыл на место. Все благополучно».

Георгий Валентинович облегченно вздохнул.

В конце октября умер Александр III. В Петербурге началась министерская чехарда. Внимание чиновников многочисленных департаментов, ведомств и комитетов

(в том числе и цензурного) было сосредоточено на предстоящих переменах в правительственном аппарате.

В этой административной сумятице Потресову и удалось обойти все цензурные препятствия и получить разрешение печатать книгу Н. Бельтова под непонятным никому названием.

В эти годы, примыкая к марксизму, Потресов оказывал революции ценные услуги. В дальнейшем он полностью скатился в болото меньшевизма.

— Господа, вчера на Невском я купил потрясающую книгу. Совершенно откровенный призыв к революции...

— Как называется?

— Как-то длинно и бестолково, что-то об истории. Но вы бы только почитали ее, господа!.. Я, например, до самого утра не мог оторваться...

— Да кто же автор?

— Не помню, неизвестный какой-то... Но как пишет, подлец, как пишет!.. Порох, а не книга.

— Сегодня можно еще купить?

— Что вы! Наверняка уже все расхватали.

— Вы не читали книгу Бельтова?

— Нет, к сожалению, но уже много слышал.

— Весь Петербург говорит. Совершеннейший скандал.

— О чем же она?

— Оказывается, мы ничего не знали — ни о прошлом, ни о настоящем, ни о том, что нас ждет...

— А что нас ждет?

— Диалектический материализм, не к ночи будет сказано.

— Нет, это вы серьезно?

— Абсолютно.

— А царь, а бог?

— Все отменяется.
— Позвольте, а что же остается?
— Мастеровые и Маркс.
— Какой ужас... Но ведь это даже как-то скучно, как-то некрасиво, как-то неприлично.
— Кончились приличия, милостивый государь, начинается царство разума.

— А ведь после книги Чернышевского второго такого шума, пожалуй, и не было.
— Вы имеете в виду «Что делать?»?
— Разумеется.
— Но были же Герцен, Лавров, Ткачев, «Народная воля»...
— Это все нелегальщина. А это совершенно открыто.
— Все-таки кто же такой этот Н. Бельтов?
— ...
— Как? Тот самый?
— Вот именно. Представляете? Среди бела дня в столице могущественной империи в книжных магазинах продается сочинение этого заграничного дьявола, злейшего врага государства, призывающего изменить весь мир.
— Да это было бы полбеды, если бы он только призывал. Он же, сукин сын, убедительно доказывает, что по-другому и быть не может.
— Неплохо отметили социалисты начало царствования нового государя.
— Все-таки как же произошло? Куда власти смотрели?
— Все шито-крыто, все концы в воду.
— Ловко, ловко, ничего не скажешь.
— По моему слабому разумению, плохой это признак, господа. Если уж Плеханова открыто издают в России, чего ж дальше ждать?

— Ребята, почему на кружок вчера не зашли?
— А что было-то?
— Хор-рошую книжку один дяденька приносил.
— С картинками?
— Будет тебе дурочку-то ломать...
— Ну, извиняй.
— Мудрено написано, но складно. Про наши фабричные дела... Выходит, наука давно уже все знает.
— Про что знает?
— А про то, что, как ни крути, хозяевам все равно конец будет.
— Кто сказал?
— Дяденька, который книжонку читал.
— Господам оно, конечно, виднее...
— Там и про мастеровщинку есть... Производителям, то есть нам, чумазым, грамотенки надо набираться...
— У кого?
— У тех же господ, которые захаживают.
— И куда же с грамотой — в кабак или в острог?
— Лапоть, дура деревенская! Ты сперва поучись, ума наживи, а потом сам поймешь, куда с грамотой идти. Хуже не будет.
— Да мы уж и учиться учились, и бастовать бастовали... А все о́дно — кругом неладно.
— А не все вдруг. Москва — она и та не сразу строилась.
— Кто ж книжку эту составил?
— Самый главный, который в загранице сидит. У него башка... Все знает, все насквозь видит. Его царь из России прогнал...
— За что?
— За то, что об нас печалился, о фабричных.
— Сам-то он русский будет?
— Натуральный, без подмесу.
— Выходит, опять бунтовать надо?

— Выходит, надо... Вот дождемся, когда штрафами опять прижмут, и на улицу.

— Эх, пропадай, моя телега — все четыре колеса! Люблю за народ пострадать!

— Зачем пострадать! За других заступимся — сами в накладе не останемся.

Энгельс написал Плеханову: «Вера вручила мне Вашу книгу, за которую благодарю, я приступил к чтению, но оно потребует известного времени. Во всяком случае, большим успехом является уже то, что Вам удалось добиться ее издания *в самой стране*».

Предсказание Потресова сбылось — «Монизм» получил необыкновенное распространение в России. Официально его, правда, скоро запретят для продажи и выдачи в библиотеках. Чиновники цензуры спохватятся, но... будет уже поздно — «птичка» вылетела из клетки и пошла «гулять» по белому свету.

Книжку гектографировали, переписывали от руки, цитировали в частных письмах. О ней спорили на студенческих сходках и в профессорских кабинетах. Передовая молодежь зачитывалась ею как небывалым социалистическим откровением своего времени. Она была воспринята как подлинное научное открытие — понятие «диалектический материализм» входило в обиход русской общественной мысли. Появление книги действительно стало выдающимся фактом успеха пропаганды марксизма в России.

Спустя несколько лет Владимир Ильич Ленин напишет, что на этой книге воспитывалось целое поколение русских марксистов.

Неожиданно ему разрешили вернуться в Женеву. Энергичные протесты швейцарских социалистов сделали

свое дело: швейцарская полиция после пятилетних «раздумий» сняла наконец подозрения в анархизме.

Домой из Лондона он возвращался через Францию, поездом. Из вагона выходить запрещалось. В соседнем купе ехал полицейский. На каждой остановке он подходил к двери и, приложив руку к козырьку форменной фуражки, спрашивал:

— Не хочет ли месье что-нибудь заказать из буфета? Чай или кофе?

Сдерживая улыбку, Георгий Валентинович строго говорил:

— Кофе.

Полицейский опускал в окне стекло и кричал станционному буфетчику:

— Кофе для месье!

На следующей остановке все повторялось: чай или кофе?

Для разнообразия заказывался чай.

— Чай для месье! — кричал полицейский в окно.

Так они и ехали через всю Францию под эти два слова «чай — кофе», звучавшие однообразно и глупо — вроде старой российской солдатской команды «сено — солома».

Было очень смешно.

Теперь он снова жил в Женеве — с женой и двумя дочерьми. Прошло чуть больше года после смерти Машеньки. Горе постепенно забывалось. Розалия Марковна имела уже врачебную практику и находила утешение в докторских своих заботах, в устройстве вернувшегося после долгой разлуки мужа.

Лида и Женя были уже взрослыми девочками. Они очень обрадовались, когда узнали, что отец теперь постоянно будет жить вместе с ними.

— Папочка, расскажи нам, пожалуйста, про Англию,— просили они каждый раз, когда вся семья была в сборе.

— Англия, представьте себе, очень английская страна,— улыбаясь, начинал Георгий Валентинович и, переделывая на ходу сказку Андерсена, продолжал: — Все жители там — англичане, и даже сам король — тоже англичанин...

Дочери смеялись.

— А помнишь, как ты рассказывал нам сказку про английского короля,— спрашивала старшая, Лида.— В некотором царстве, в некотором буржуазном государстве...

— А вы мне рассказывали сказку о царе Салтане, помните?

— Конечно, помним.

— Но теперь-то мы уже знаем, что не о Са́лтане, а о царе Салтане,— с важным видом говорила двенадцатилетняя Женя.

— А еще ты заставлял нас учить сказку о попе и его работнике Балде... Тебе всегда очень нравилась эта сказка.

— Да, она мне почему-то всегда очень нравилась,— соглашался Георгий Валентинович,— эта прекрасная сказка о попе, его работнике Балде и о наемном труде.

Так оно потом и закрепилось в семье Плехановых это необычное название пушкинской сказки — название с социал-демократическим, марксистским оттенком.

1895 год. На троне Российской империи восседал новый монарх, Николай II — последний русский царь.

Тремя событиями был отмечен этот год в жизни Георгия Валентиновича Плеханова.

В Петербурге начали распространять его книгу «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», уверенно поднявшую Плеханова на капитанский мостик

русского социал-демократического движения, еще раз подтвердившую его «флагманское» положение в пропаганде марксизма в России.

В Англии, пятого августа, в десять часов тридцать минут утра, скончался Фридрих Энгельс — старший друг, учитель, наставник, так много лично сделавший в его, Плеханова, марксистском возмужании. (Тело покойного было кремировано, а урна с прахом опущена на дно моря возле английского побережья около Истборна — любимом месте отдыха Энгельса.)

Это была огромная, невосполнимая потеря. Целый день молча просидел Плеханов в своем кабинете, глядя на запечатленные на фотографии дорогие черты, никому не разрешая входить в комнату...

А за два с половиной месяца до этого в Женеве, в небезызвестном кафе Ландольта на улице Каруж, навстречу ему поднялся из-за маленького мраморного столика невысокого роста двадцатипятилетний молодой человек со слегка рыжеватыми волосами и большим, планетарно выпуклым лбом и, пожимая протянутую Георгием Валентиновичем для знакомства руку, коротко представился:

— Владимир Ульянов...

Глава тринадцатая

1

«Монизм» распахнул науку марксизма перед Россией.

Распахнул широко, щедро, с европейской изысканностью и обстоятельностью, с русским «хлебосольством» мысли, с почти бескрайностью неопровержимых доказательств и неиссякаемой аргументацией.

В год смерти Энгельса это было похоже на новый взмах знамени научного социализма, подхваченного уверенной и сильной рукой.

Книгу торопились перевести на европейские языки. Казалось, что марксизм наполняется новым звучанием — раскатистым эхом передвигающегося из Европы в Россию гула новой эпохи.

И Россия не замедлила с ответом. Из России откликнулись.

Через несколько месяцев после выхода «Монизма» в Женеву приехал руководитель петербургских рабочих кружков, один из самых молодых и самых заметных русских социал-демократов Владимир Ульянов.

Теперь уже не заграничные теоретики из «Освобождения труда» искали после Благоева и Бруснева контакта с русским рабочим движением. Теоретик и практик рабочего дела из России с присущей ему новой, энергичной и настойчивой деловитостью сам шел навстречу женевским пропагандистам. И деловитость его была оправдана и понятна: за его спиной стояла реальная и крепкая рабочая организация, нуждавшаяся в социалистических знаниях.

Тропа марксистской мысли, которую «освободители труда» когда-то начали торить в Россию из своего швейцарского далека, превращалась в широкую дорогу.

Дорога звала в новый путь и тех, кто начинал ее. Звала в Россию — активно участвовать в русских делах. И если не прямым физическим действием, то новым усилием мысли.

Да, семена, брошенные в зимнее русское поле, поднимались из-под снега. Широкая русская равнина дышала будущей весной. Ее первые зеленые побеги просились в жизнь. Упрямо и молодо тянулись они к свету.

Зеленые ростки были малы, бледноваты и еще робки, но уже неостановимы.

После встреч с Ульяновым в Женеве и Цюрихе Плеханов и Аксельрод обменялись мнениями о молодом петербургском социал-демократе.

— Надежный мужичок,— сказал Георгий Валентинович.— Умен, марксистски чрезвычайно образован и явно одарен словом. Это прекрасно, что в нашей революции появляются такие молодые люди.

— Не слишком ли прямолинеен? — спросил Аксельрод.

— У вас был родной брат, повешенный царем? У меня, например, не было... Но, безусловно, дело совсем не в этом. Он из науки. Убежденность — незыблемая, стопроцентная, почти биологическая. Марксизм для него равноценен дыханию. Такой пойдет до конца, никуда не сворачивая. Именно здесь его главная суть. И это не прямолинейность, а бескомпромиссность. Я люблю такую породу людей.

— А ты заметил, как он иногда поглядывал на тебя?

— Ревнуете, Павел Борисович? Напрасно. Для Ульянова, насколько я его понял, личные симпатии не определяют главного в делах. Несмотря на судьбу брата, а может быть — благодаря ей. Для него главное — само дело... Это у нас, людей старого закала, личные связи играют огромную роль. А они, молодые, живут уже по другой шкале ценностей. Истина, только непреложная истина окончательной победы революции вне всяких ослабляющих идею индивидуальных привязанностей — вот подлинная категория их страстей. Такое можно принимать или не принимать, но оно существует.

— И все-таки, Жорж, влюбленный взгляд Ульянова я заприметил. Не отрицай моей зоркости. В последнее время у нашей здешней социалистической молодежи вообще наблюдается, я бы сказал, нечто вроде обожествления вашей почтенной марксистской персоны...

— Не говори так, Павел. Мне совсем не хочется быть даже косвенным объектом этого языческого мифотворчества... Ужасно, когда люди начинают придумывать себе

кумиров из-за лености собственной мысли. В конце концов, я же не идолище поганое, чтобы вокруг меня устраивали ритуальные пляски огнепоклонники от марксизма!.. Я не хочу больше слушать подобные разговоры, тем более от самых близких друзей.

— Извини, Жорж, я не думал, что задену тебя...

— Это очень опасное явление, когда отдельную личность начинают приравнивать к целому делу и противопоставлять ему. Обоюдно опасное.

Плеханов не ошибся в оценке надежности Владимира Ульянова — между женевским «Освобождением труда» и петербургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса» установилась прочная связь. На четвертый, Лондонский конгресс Второго Интернационала Георгий Валентинович был избран русскими рабочими делегатом от «Союза борьбы». Одновременно с известием об этом были присланы и деньги на дорогу через Ла-Манш и обратно. (Правда, за несколько месяцев до начала конгресса в Женеву пришла из Петербурга печальная новость: Ульянов и большинство руководителей «Союза борьбы» арестованы полицией.)

— Деловит, деловит, ничего не скажешь,— говорил Плеханов Аксельроду, разглядывая свой петербургский мандат с изображением рабочего, символически державшего на руке земной шар.— Сам в тюрьме сидит, а вид на социал-демократическое жительство в Лондоне выправил мне по всей форме. И даже о расходах моих из-за решетки побеспокоился. Ну, спасибо, спасибо... Я как-то сразу уловил в нем некую четкую и безупречную определенность и почувствовал глубоко личное расположение к нему. Недаром же,— улыбнулся Георгий Валентинович,— в названиях нашей группы и его «Союза» есть даже одно общее слово — освобождение.

Под сводами огромного зала, где проходил Лондонский конгресс, Плеханов громил анархистов.

Над головой его вздымался огромный орга́н. Длинные столы, за которыми сидели делегаты, установлены перпендикулярно сцене. По боковым стенам зала в несколько ярусов шли ложи. Нарядная публика расположилась в них.

Плеханову хлопали — к тому времени его книга «Анархизм и социализм», впервые вышедшая на немецком языке, была переведена на английский и французский. Европейской публике русский марксист был широко известен. И поэтому речь его сопровождалась достойными оратора аплодисментами.

Вечера в Лондоне Жорж проводил в обществе Элеоноры Эвелинг, дочери Маркса. «Анархизм и социализм» с немецкого перевела она. Элеонора грустила — большие, черные, прекрасные глаза ее, глаза Маркса, были наполнены печалью. Недавняя смерть Энгельса сильно подействовала на миссис Эвелинг.

— Ваш стиль,— говорила Элеонора Плеханову,— часто напоминает мне стиль моего отца. Очень много похожего. Вы унаследовали от Маркса не только систему взглядов, но и манеру выражения. Я рада этой общности.

Жорж сдержанно молчал.

Дочь Маркса смотрела на красивое, умное, сосредоточенно-волевое лицо русского социалиста, на его высокий и чистый мраморный лоб, от которого веяло мощью интеллекта и благородным изяществом, и ей казалось, что она, наверное, немного даже влюблена в Плеханова.

Вся ее жизнь прошла рядом с двумя титанами мысли — отцом и Энгельсом. И теперь, когда их не было, она испытывала острую потребность в присутствии рядом какого-то особо авторитетного мужского ума, который своим масштабом и силой доминировал бы над ее эмоциями, охлаждал их, выбирал бы для них направление...

И русский марксист (она чувствовала это) мог заменить опустевшее место и отца, и Энгельса.

Элеонора готова была протянуть руку, но Плеханов, как будто все понимая, поднимал голову... Из-под замерших на месте бровей блестели иголки зрачков, клин бородки недоуменно вытягивался, усы топорщились вопросительно и надменно, делались похожими на длинные острые пики...

И все возвращалось на свои места, все снова становилось таким, каким и должно было быть — напряженным и сдержанным.

...Иногда по вечерам Плеханов гулял по Лондону вместе с Верой Ивановной Засулич, все еще жившей в Англии. Под мягкий шелест дождя в размытом туманной пеленой оранжевом свете фонарей вспоминали Энгельса.

— Он меня пивом угощал, когда я первый раз к нему пришел,— говорил Жорж.

Вера Ивановна рассказывала о последних неделях его жизни, кремации тела и суровых похоронах. Плеханов вздыхал, Засулич украдкой вытирала слезы. На душе было тоскливо и одиноко — обоим им не хватало великого старика в Лондоне.

А Ленин в это время сидел в слепой, темной камере петербургского Дома предварительного заключения. Арестованный семь месяцев назад, он не унывал — писал письма на волю, переправлял прокламации, незримо для полиции руководил стачками на столичных фабриках. В наивысший момент стачечной волны в городе бастовало около тридцати тысяч рабочих.

Тридцать тысяч? Гм-м, гм-м... Совсем недурно. Влияние «Союза борьбы», несмотря на арест его главных руководителей, на рабочие организации чувствовалось в этой цифре весьма ощутимо.

В день закрытия Лондонского конгресса в Гайд-парке проводился социалистический митинг. Засулич, Элеонора и Жорж отправились в Гайд-парк. Неожиданно пошел сильный дождь. Плеханов был легко одет и, конечно, простудился.

На следующий день он слег. Испуганная его кашлем, Вера Ивановна не разрешала Жоржу подниматься с постели. Элеонора Эвелинг помогала ей ухаживать за больным.

А Ленин в Петербурге, расхаживая по своей камере в Доме предварительного заключения, озабоченно размышлял. Он начал собирать материалы для книги «Развитие капитализма в России». Требовались новые статистические данные о хозяйственной жизни страны. Много данных. Как заполучить их в тюрьму? И по возможности поскорее? Гм-м, гм-м... Надо было снова писать письма, организовывать передачу к нему за решетку необходимой литературы, изощряться в обмане полиции.

Впереди у Ленина была трехлетняя ссылка в Сибирь — в глухой и морозный Енисейский край. Нужно было использовать вынужденную паузу — отрыв от рабочего движения — с наибольшей выгодой для пополнения своего теоретического багажа, использовать энергично и насыщенно.

А потом снова за черновую, практическую революционную работу.

«Мужичок» не унывал.

2

Последние годы уходящего девятнадцатого века были временем наивысшего расцвета творческой личности Георгия Валентиновича. За какие бы стороны революционного движения в Европе и России ни

брался он в своих теоретических работах, все получалось у него, везде он находил предельно убедительные формулировки, почти каждая его концепция (а иногда и случайно брошенная в разговоре фраза) обретала значение чуть ли не совершенно незыблемого закона, получала известность на уровне популярных афоризмов своего времени.

Им восхищались, его уважали, восхваляли, приглашали читать лекции и рефераты во многие города и страны, он был желанным гостем на всевозможных конференциях и митингах, написанные им статьи и книги узнавали даже под многочисленными псевдонимами по широте эрудиции и страстности защиты марксистских взглядов. Его имя прочно связывали с успехами социал-демократии во всей Европе. Он признанно считался одним из главных стражей диалектического материализма, хранителем чистоты понимания и применения к жизни учения Маркса и Энгельса, непримиримым защитником марксизма от оппортунистов и ревизионистов всех категорий, мастей и направлений.

Его несгибаемая сопротивляемость обстоятельствам была образцом поведения, служила мерилом нравственной стойкости революционера в эмиграции.

Беззаветное, безупречное служение идее с первых же шагов вступления на дорогу борьбы до такой степени растворило его натуру в делах революции, что они уже навсегда были неотделимы друг от друга.

На рубеже двух веков яркий факел революционной судьбы Плеханова слился с бесчисленными языками пламени повсеместно разгорающегося пролетарского пожара.

— Господин Плеханов, читатели нашей социалистической газеты хотели бы узнать...

— Простите, с кем имею честь?

— Чарльз Меример, журналист...

— Так чем могу служить, мистер Чарльз?

— Господин Плеханов, что вы можете сказать об Эдуарде Бернштейне?

— Ничего хорошего.

— Ха-ха! Прекрасный ответ! Разрешите именно эти слова напечатать в самом начале нашего интервью...

— Охотно разрешаю.

— Мистер Плеханов, у вас нет никаких личных счетов с Бернштейном?

— Абсолютно никаких.

— Так в чем же тогда дело? Почему вы так обозлились на него?

— Мистер Чарльз, вам знакомо учение Маркса и Энгельса?

— В самых общих чертах.

— Так вот, Бернштейн решил ревизовать учение Маркса и Энгельса. Он сделал попытку пересмотреть коренные принципы марксизма. Сначала в экономике, потом в философии.

— Он что, сумасшедший?

— В какой-то степени да... Так вот, если бы Бернштейн оказался прав, что же тогда осталось бы от социализма? Решительно ничего!.. Поэтому я и выступил на защиту главных положений учения Маркса... Бернштейн утверждает, что материализм является ошибочной теорией, и призывает социалистов вернуться назад к Канту, к агностицизму, которым пропитана вся философия Канта. А что такое агностицизм?

— Мне кажется, что это какое-то нехорошее слово. Во всяком случае, мне оно совершенно не нравится.

— И вы абсолютно правы, дорогой мистер Чарльз... Агностицизм отрицает возможность верного познания мира человеком. Но мы же имеем возможность с нашей способностью к восприятию знать отношения между предметами? Имеем. Значит, если мы обладаем этим знанием,

мы уже не можем говорить о нашей неспособности познать мир... Что такое вообще — знать? Знать — это предвидеть. И если мы можем предвидеть какое-то явление, следовательно, мы можем предвидеть воздействие этого явления на нас самих. На этом предвидении основана вся практическая и экономическая деятельность человечества, вся промышленность — заводы и фабрики, вся торговля...

— Я вас понял, мистер Джордж... Если у меня, скажем, есть два доллара и если я могу заработать еще два доллара, то я могу предвидеть, что у меня в кармане окажется четыре доллара.

— Совершенно справедливо. Таким образом, следует ли нам поддерживать положение агностицизма, то есть философию Канта, когда она утверждает, что человек не может правильно познавать мир? Следует ли нам соглашаться с Бернштейном, который зовет нас обратно к Канту, требуя ревизии марксизма, опровергая материализм и Маркса, утверждающих возможность человека правильно познавать мир? Ни в коем случае нам нельзя соглашаться с ревизионистом Бернштейном.

— Олл райт, мистер Джордж. Читатели нашей газеты очень хорошо поймут вас. Если нельзя правильно познавать мир, если нельзя предвидеть, то зачем же тогда заниматься бизнесом?

— Теперь идем дальше, мистер Чарльз... Бернштейн назвал диалектику Маркса и Энгельса гегелевской ловушкой, которая якобы привела к возникновению неверной теории катастроф. Ревизионист Бернштейн заявляет во всеуслышание, что новейший ход общественного развития свидетельствует о смягчении противоречий капитализма, и поэтому, мол, революционная борьба не нужна. Ревизионист Бернштейн пытается доказать нам, что многие взгляды Маркса и Энгельса, высказанные в «Коммунистическом манифесте», не нашли подтверждения в дальней-

шем развитии социальной жизни... Скажите, мистер Чарльз, вы можете согласиться с тем, что противоречия современного капитализма смягчились?

— Это было бы смешно и глупо, мистер Джордж. Я же не слепой...

— Вот именно. Но Бернштейн как раз и хочет ослепить рабочее движение, выбрасывая из его теоретического арсенала революционную диалектику Маркса. Он хочет заменить ее эволюционизмом и столкнуть социал-демократию в болото реформизма. Этого же всей душой хотят и наши враги из лагеря буржуазии, которые уже бесчисленное множество раз кричали со всех углов, что «Коммунистический манифест» устарел и его пора списывать в архив.

— С вашей точки зрения, практический вред ревизионизма Бернштейна для социалистических партий не вызывает никаких сомнений?

— Да, опасность не только ревизионизма Бернштейна, но и других оппортунистических элементов для социал-демократических партий очень велика... И эту опасность надо любыми средствами предотвратить!.. В конце концов вопрос стоит так — кто кого похоронит? Бернштейн социал-демократию или социал-демократия Бернштейна?

— А как считаете вы, мистер Джордж?

— А вы, мистер Чарльз?

— Вы знаете, ни Кант, ни Бернштейн лично мне почему-то не нравятся. Что значит, мир не может быть познан? Для чего же тогда жить, учиться, любить, иметь детей, если неизвестно, что нас ожидает впереди? Это както не похоже на человека. Люди хотят знать о своем будущем как можно больше...

— ...чтобы влиять на него и, не доверяясь его слепой стихии, пытаться строить свое будущее на разумных началах, не так ли, мистер Чарльз?

— Олл райт, мистер Джордж!
— Итак, мистер Чарльз?
— Социал-демократия, наверное, все-таки похоронит Бернштейна. Это было бы справедливо.
— Разрешите полностью разделить ваше мнение, мистер Чарльз. И одновременно поздравить вас с присоединением к лагерю революционного материализма и марксизма.
— О, мистер Джордж! Вы неплохой вербовщик в лагерь марксизма.
— Это не я вербую, это вербует само учение марксизма. Оно, знаете ли, обладает одним великолепным качеством — быстро делать хороших людей своими сторонниками.
— Вы считаете меня хорошим человеком?
— Безусловно.
— А почему?
— А потому, что вам не нравится Бернштейн.
— Странная у вас логика, мистер Джордж...
— Революционная. Марксистская.
— Почему же все-таки учение Маркса так быстро делает людей своими сторонниками?
— А потому, что оно верно, мистер Чарльз.

3

— Господин Плеханов, я снова к вам...
— Мистер Чарльз? Какими судьбами?
— После того, как было опубликовано мое интервью с вами, читатели нашей газеты засыпали редакцию письмами. Они хотят именно от вас все узнать о русской революции. А воля подписчиков для нас закон. И вот редакция специально направила меня к вам.
— Рад приветствовать вас еще раз в Европе, мистер Чарльз.

— Я привез вам два письма. От русского социал-демократического общества в Америке и лично от господина Ингермана.

— От Сергея?!. Очень приятная новость. Ну, как он там?

— Дела мистера Ингермана идут отлично. У него вполне процветающий бизнес. Мистер Сергей просил передать вам также чек для вашей издательской деятельности.

— Спасибо.

— Мистер Джордж, а вы никогда не думали о том, чтобы уехать в Америку?

— Думал. Сергей звал меня за океан... Когда-то ведь он был членом нашей группы «Освобождение труда», но потом эмигрировал...

— В Америке перед вами открылись бы неограниченные возможности. Ваша эрудиция и литературный талант позволили бы вам стать одним из самых читаемых авторов.

— Мое сердце, мистер Чарльз, навсегда отдано России и русскому рабочему классу. Поэтому мне нельзя далеко уезжать от России. Особенно сейчас, когда пролетарское движение у нас на родине день ото дня становится все более массовым. Нам необходимо создать свою марксистскую, социал-демократическую рабочую партию. Время для этого наступило, история поставила этот вопрос со всей остротой. Откладывать больше нельзя — Россия ждет.

— Мистер Джордж, насколько я знаю, российская социал-демократическая рабочая партия уже существует.

— Вы имеете в виду событие...

— ...которое произошло в Минске. Я понимаю, что по соображениям конспирации вы, может быть, и не должны обсуждать со мной эту тему. Но до того, как появить-

ся у вас здесь еще раз, я познакомился с некоторыми материалами о прошлом и настоящем русской социал-демократии, и кое-что мне уже известно. Я сделал это потому, что на страницах своей газеты должен как можно более широко рассказать о русских делах, чтобы удовлетворить законный интерес тех наших читателей, которые являются держателями ценных русских бумаг.

— И что же, например, вам уже известно о наших русских делах?

— Мистер Джордж, вы испытываете ко мне недоверие? Вы считаете, что я не тот человек, за которого себя выдаю?

— Да что вы, господь с вами, мистер Чарльз! Просто интересно узнать степень информированности западной прессы о нашей революции.

— Например, мне известно о том, что по вашей инициативе на помощь группе «Освобождение труда» когда-то был создан «Союз русских социал-демократов за границей».

— Кто же вам рассказал об этом?

— Руководители «Союза» — Кускова и Прокопович.

— Ну что ж, если эти русские бернштейнианцы, эти оппортунисты...

— Русские бернштейнианцы? Разве существуют уже и такие?

— Конечно. В том-то и состоит опасность бернштейнианства, что оно выхватывает из рядов социал-демократии наиболее нестойкие в марксистском отношении элементы и мгновенно заключает их в свои объятия.

— Мистер Плеханов, вы не могли бы рассказать обо всем этом несколько подробнее? Разумеется, в пределах допустимого для публикации в легальной прессе. Читателям нашей газеты будет чрезвычайно интересно узнать именно вашу точку зрения.

— Извольте. Поскольку вы собираетесь широко пи-

сать о наших делах, я не могу упустить случая лишний раз высказать свое мнение о наших так называемых «экономистах», с которыми вел, веду и буду вести войну не на жизнь, а на смерть.

— Какое прекрасное русское выражение — не на жизнь, а на смерть!

— Что такое «экономизм»? Это русская разновидность бернштейнианства, которая, естественно, отрицает значение революционной теории Маркса, заменяет ее борьбой за текущие экономические интересы рабочих, а миссию политической борьбы с самодержавием передоверяет либеральной буржуазии.

— У вас удивительный талант, мистер Джордж, очень просто объяснять самые сложные вещи.

— Несколько лет назад по моей инициативе здесь действительно был организован «Союз русских социал-демократов за границей». В Швейцарии тогда находилось очень много русских эмигрантов социал-демократического направления. Для чего я решил не включать их в группу «Освобождение труда», а создать новый союз? Для того, чтобы на новом этапе нашего движения выставить на первый план, подчеркнуть и усилить прежде всего организационную деятельность по объединению всех русских социал-демократов, живущих за границей. И еще для того, чтобы эти новые, молодые могли бы внести свою лепту в широкое социалистическое движение пролетариата на родине... Чисто организационными мерами мне хотелось с первых же дней существования этого союза активизировать его деятельность и сделать его на новом этапе — этапе массового развития русского рабочего движения — тоже принципиально новой, крепко сплоченной и, может быть, даже почти профессиональной русской марксистской организацией за границей. В отличие от группы «Освобождение труда», которая все-таки состояла из узкого круга лиц и возникла как кружок — именно как кру-

жок! — в давно уже миновавший, первоначальный период развития нашей социал-демократии.

— Мистер Джордж, но ведь ваше «Освобождение труда» вошло в состав заграничного союза?

— И не только вошло, но и передало ему свою типографию и все финансы, создав для «молодежи», как говорится, все условия для самостоятельного возмужания.

— Однако вы сохранили за собой право редактировать издания союза, чем значительно ограничили самостоятельность «молодежи».

— Что-то очень уж много подробностей о наших делах вы знаете, мистер Чарльз, а?

— Со слов Кусковой и Прокоповича.

— Так вот, когда все материальные условия новорожденному были подготовлены, младенец открыл свою пасть и впился зубами в заботливую руку, то есть в мою руку.

— И что же было дальше?

— А дальше все было очень просто. Наши молодые заграничные социал-демократы, не вытершие еще с губ молока, кинулись целовать этими самыми молочными губами господина Бернштейна в то место, которое, как известно, находится пониже спины...

— Вы слишком резки, мистер Джордж, я удивлен...

— Знаю. Меня все ругают за резкость — Бебель, Либкнехт, Лафарг, Каутский. Даже свой брат Аксельрод и тот попрекнул. А вот Вера Ивановна Засулич наоборот — одобрила, особенно по поводу этого перевертыша Бернштейна. А она понимает толк в резкостях...

— Засулич и Аксельрод вместе с вами образовали в заграничном союзе партию так называемых «стариков»...

— Ничего мы не образовывали. Это нас на подобный манер выскочки наши окрестили.

— Какие выскочки?

— «Экономисты» российские — Кускова, Прокопович, Гришин, Тахтарев...

— А они стали называть себя «молодыми», не так ли?

— Так-то оно так, но очень уж по-старушечьи решили себя вести эти «молодые». Начали шептаться по углам, шушукаться, развели сплетни, склоки, ссоры, потом вдруг потребовали от меня, Веры и Павла финансовые отчеты за прошлые годы... То есть приступили к систематической травле всей нашей тройки. И в довершение всего выпустили несколько работ под маркой союза, но без нашего редактирования, объясняя это тем, что «старики» — Плеханов, Засулич и Аксельрод — оторвались, мол, от современного русского рабочего движения и, с их точки зрения, не понимают его сегодняшних запросов и нужд...

— Как же дальше развивались события?

— Намерения «молодых» руководителей «Союза русских социал-демократов» по отношению к нам, «старикам», были вполне очевидны: постепенно оттеснить нас от активного участия в работе союза, превратить его целиком в логово «экономистов» и, я бы даже сказал, «ультраэкономистов», и потом уже беспрепятственно начать яростную пропаганду в России своих ревизионистских, своих оппортунистических бернштейнианских взглядов... В то время как мы закрывали дорогу только младенческому лепету этих социал-демократических недорослей, способному до конца запутать и без того запутанные теоретическим хаосом головы их сторонников.

— Мистер Джордж, что, по-вашему, наиболее опасно для рабочего движения во взглядах русских «экономистов»?

— Неверие в успех политической пропаганды среди рабочих. Желание превратить рабочий класс в послушное политическое оружие буржуазии. Несостоятельная претензия на пересмотр основных идей «Коммунистического манифеста». Незнание марксизма и нежелание его изучать.

— В самом начале нашего разговора вы сказали, что русским марксистам предстоит создать социал-демократическую рабочую партию. Я ответил вам, что, насколько я знаю, такая партия уже создана и...

— И мы остановились на событии, которое произошло в Минске.

— Совершенно правильно. Так что же все-таки произошло в Минске?

— В Минске состоялся первый съезд российской социал-демократической рабочей партии.

— Значит, такая партия уже существует?

— Нет, она только провозглашена. В наше время многие социал-демократические организации и группы в самой России уже самостоятельно дозрели до мысли о необходимости объединиться и образовать марксистскую партию рабочего класса. Здесь самое главное состоит в том, что социал-демократы и участники рабочих кружков в России сами, как говорится, собственными мозгами осознали одно из главных положений марксизма и пришли к пониманию жизненно насущной потребности в организации партии.

— Но без вашей пропаганды, то есть без многолетней неутомимой издательской деятельности «Освобождения труда», это было бы невозможно.

— Благодарю за комплимент, мистер Чарльз... Так вот, инициативу объединения взяла на себя в России одна из местных социал-демократических организаций, наиболее сохранившаяся после арестов, но тем не менее слабая и малочисленная. Естественно, сил на создание партии у нее не хватило, но она объявила о ее возникновении. И в этом ее великая историческая заслуга. Эта же местная организация начала выпускать общерусскую нелегальную рабочую газету и прислала мне первый номер. Прочитав его, я ответил товарищам в России, что приветствую их инициативу и одобряю их стремление не

ограничиваться только местными задачами. Особо я подчеркнул в своем ответе опасность «экономизма» и напомнил, что ни в коем случае нельзя забывать чрезвычайно важную мысль Маркса о том, что всякая классовая борьба есть борьба политическая... Этими же словами Маркса, поставив их в эпиграф, я начал почти двадцать лет назад свою первую марксистскую книгу «Социализм и политическая борьба»...

— Да, двадцать лет — большой срок. Вам можно только завидовать, мистер Джордж. Политический деятель, упорно и неизменно проводящий в жизнь свои взгляды на протяжении почти двадцати лет, неизбежно должен увидеть реальное воплощение затраченных усилий.

— Одновременно я написал товарищам в Россию, что сближение местных марксистских групп и слияние их в стройное организационное целое является непременным условием дальнейшего успеха русского рабочего движения. И в этом деле их нелегальная газета и обсуждение на ее страницах общерусских социал-демократических интересов будут иметь первостепенное значение.

— О, мистер Джордж, как журналист я понимаю вашу мысль!

— А сами участники первого съезда, неимоверно обозлив наших доморощенных «экономистов», назвали нашу тройку, то есть Засулич, Аксельрода и меня, основателями русской социал-демократии...

— Поздравляю! Насколько я разбираюсь в русских делах, это справедливая оценка.

— Правда, вместе с этим первый съезд объявил заграничный союз своим заграничным органом, и Прокопович, Кускова и компания тут же вознеслись...

— Ваш поединок с ними еще не закончился?

— И не закончится до полной победы марксизма. Не для того я тут двадцать лет почти висел на кресте, сжег свои легкие, потерял двоих детей, чтобы отдать марк-

сизм каким-то политическим земноводным, бернштейнианским кретинам... Правда, сейчас я остался один против всей своры. Павел Аксельрод, чтобы не слышать кусковского бреда, заткнул уши и отошел в сторону. А милейшая Вера Ивановна Засулич вдруг заявила, что редактирование популярных брошюр для рабочих надо отдать «молодым». Не понимая того, что наши «экономисты», эти лакеи западного ревизионизма из буржуазной прихожей, могут замусорить своими оппортунистическими лохмотьями чью угодно голову до состояния выгребной ямы...

— Воевать одному очень трудно.

— Конечно, трудно. Но мне не привыкать... Когда-то я один ушел с Воронежского съезда русских народников и оказался прав. «Народная воля» разгромлена, а социал-демократия поднялась на ноги и расправляет плечи... Так и сейчас. Пускай своя особая позиция, но я все равно пойду той дорогой, идти по которой требует от меня мой долг революционера, и добьюсь, чтобы «экономизм» сдох под забором истории!

— Мистер Плеханов, в заключение нашей беседы не могли бы вы коротко рассказать мне о ваших ближайших литературных планах?

— План у меня один — добить «экономистов» до конца, нанести им смертельный удар. С этой целью затеяли мы тут один интересный сборничек. Хотим опубликовать под одной крышей, то есть в одной книге, и статьи «экономистов» (показать их взгляды), и документы революционных марксистов (раздеть «экономизм» догола). Чтобы, как говорится в русской пословице, видна была птица по полету, а добрый молодец — по соплям.

— Олл райт, мистер Джордж! Это замечательная идея.

— Кроме того, пятьдесят лет назад был написан «Манифест Коммунистической партии». В свое время мы издали его на русском языке в моем переводе, а теперь хотим переиздать, снабдив специальным предисловием,

в котором будет проанализировано развитие современного революционного движения. В предисловии также я хочу дать обзор всей так называемой «критики» марксизма, которая, наделав в последние годы столько шума во всемирной социалистической литературе, всегда вращалась именно вокруг «Манифеста». И не просто дать обзор, а сделать его через призму одной из центральных формул марксизма, которая гласит: вся история, с тех пор как разложилось первобытное общинное землевладение, была историей борьбы классов. И ткнуть носом в эту формулу всех бернштейнианцев, всех ревизионистов, всех оппортунистов и наших «любимых», посконных отечественных «экономистов», ибо вся эта шайка социал-демократических леших упомянутую гениальную формулу Маркса пытается из азбуки революционной борьбы рабочего класса изъять и проглотить.

— Господин Плеханов, вы очень кровожадный человек...

— Когда речь заходит о защите чистоты марксизма, я становлюсь вампиром, акулой, тигром и носорогом одновременно!

— Ха-ха-ха! Браво, браво!.. Это очень смешно и главное — очень похоже...

— Не откажу я себе, наверное, в удовольствии лишний раз посечь в предисловии к «Манифесту» и своего «любимца», марксиста-расстригу господина Бернштейна. Розги для него будут отобраны особенно тщательно, чтобы остались занозы...

— О, мистер Джордж, мистер Джордж, вы действительно свирепы, как носорог.

— А не трожь диктатуру пролетариата, а то убьешься!.. Не трожь Маркса, не трожь Фридриха Карловича, не трожь Гегеля!.. Ишь ты придумал — гегелевская ловушка!.. Пощады не будет! Диктатура пролетариата есть полное господство рабочего класса над своими врагами,

позволяющее ему распоряжаться организованной силой общества для защиты своих интересов и для подавления всех общественных движений, прямо или косвенно угрожающих этим интересам. Там, где существуют классы, неизбежна классовая борьба. А там, где есть классовая борьба, необходимо и естественно стремление каждого из борющихся классов к полной победе над своим противником и к полному над ним господству!

Глава четырнадцатая

1

— ...и кроме того, Засулич писала мне, что вы после возвращения из ссылки в Петербург называли себя там «плехановцем». Не отрекаетесь, Владимир Ильич?

— Нет, Георгий Валентинович, не отрекаюсь.

— А то ведь здесь, в Женеве, «молодые» совсем заклевали меня. Утверждают, что устарел, покрылся плесенью, не знаю нужд современного русского рабочего. Надеюсь, вы этого мнения не разделяете, если вы «плехановец»?

— Не только не разделяю, но думаю, что дело обстоит как раз наоборот.

— Ну, спасибо, утешили старика.

— Какой же вы старик, Георгий Валентинович?

— Старик, старик... Скоро двадцать пять лет исполнится, как перешел на нелегальное положение.

— Вы имеете в виду вашу речь на Казанской демонстрации?

— А вы разве знаете о ней? Странно, странно... Теперешняя социалистическая молодежь, настроившись на оппортунизм и мирные экономические требования, склонна забывать наше прошлое и личное участие в нем некоторых ветеранов движения. Так что, такие события, как

Первое марта или Казанская демонстрация, сознательно предаются забвению вместе с именами их участников.

— Георгий Валентинович, многие рабочие в Петербурге из нашего «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» называли имена трех человек, которые привели их в революцию: Маркс, Энгельс, Плеханов. О себе я могу сказать то же самое, добавив сюда еще и Чернышевского. Наша первая встреча пять лет назад имела огромное значение для моего формирования, которое начиналось и с чтения «Наших разногласий»... В Сибири я много думал о вас, о предстоящей совместной работе.

— Благодарю. Признаться, я несколько смущен вашим откровением... В моих взаимных симпатиях тоже можете не сомневаться, я их испытал с первых минут нашего знакомства... Когда мы здесь узнали о вашем аресте, я переживал очень болезненно и за вас лично... Все эти годы мы тоже ждали вас сюда, помнили о вас, радовались вашей бодрости в ссылке — мне даже жена однажды написала, что вы просите только одного: книг, книг, книг!.. А ваш «Протест семнадцати», присланный из Сибири, был просто замечательно своевременным марксистским документом и вбил свой, крепкий, очередной гвоздь в крышку гроба «экономизма»...

— Мы, ссыльные русские марксисты, тогда не могли даже из Минусинска не откликнуться на вашу архиважную борьбу против наипошлейшего «экономизма», против всей этой позорнейшей «кусковщины» — стыда и срама нашей социал-демократии...

— Замечательные слова, Владимир Ильич! Вы мне необыкновенно близки своим отношением к мадам Кусковой — этой оппортунистической ведьме на бернштейнианской метле. Она получила вполне по заслугам в вашем «Протесте»...

— Его нелегко было организовать, ссыльные были разбросаны по разным, далеким друг от друга деревням, но

это было делом чести каждого истинно революционного русского марксиста — прийти на помощь вам, со всех сторон окруженному злобно лающей сворой «экономистов». Чернышевский, когда он был в ссылке в Сибири...

— Кстати, о Чернышевском — простите, что перебил вас. В той газете, которую вы собираетесь издавать здесь с Потресовым, мне бы хотелось напечатать несколько статей о Чернышевском. Именно он первый пробудил во мне «критическую мысль» и развил неприятие народнической субъективной социологии. Он первый подготовил почву для научной методологии социального познания — еще в самые ранние годы эмиграции я начал думать об этом...

— Дорогой Георгий Валентинович, о чем разговор? Милости просим!.. Но, может быть, лучше сделать это не в «Искре», а в теоретическом журнале «Заря»? С Верой Ивановной мы уже говорили в Петербурге. Она пришла в полный восторг и по всем пунктам согласилась с нами в том смысле, что издание за границей общерусской социал-демократической газеты и нелегальное распространение ее в России действительно сможет идейно и организационно сплотить вокруг марксистской газеты все подлинно революционные силы российского рабочего движения... Теперь остаетесь вы, и перед тем, как начать наши коллективные переговоры впятером, я хотел бы иметь с вами предварительную беседу...

— Владимир Ильич, скажите откровенно — мириться будете звать?

— Мириться? С кем же?

— Ну, скажем... с «молодыми» или вообще с «экономистами»?

— Ни в коем случае!

— А с «легальными марксистами»? С этим вашим ненаглядным Струве-Бобо?

— Георгий Валентинович, вы, очевидно, знаете мое

истинное отношение к оппортунизму «экономистов» и «легальных»?

— Знаю.

— И, надеюсь, ни в каком расположении к ним меня не подозреваете?

— А почему вообще возник разговор об этих отступниках от марксизма, об этих изменниках, об этих прихвостнях Бернштейна?!

— Вы решили, что я хочу идейно помирить вас с «экономистами» и «легальными»...

— Я, может быть, несколько возбужденно реагирую сейчас на эти два слова, но вы должны понять мою вспышку... Я слишком много крови, сил и здоровья потерял в последние два года из-за подлого предательства здешних молодых социал-демократов, чтобы сохранять спокойствие при любом упоминании о них. Эта проклятая эпидемия критики Маркса, охватившая, как чума, социалистическую молодежь, сведет меня в могилу раньше времени. Все хотят пересмотреть учение Маркса и Энгельса — абсолютно все!

— Далеко не все, Георгий Валентинович. Меня, надеюсь, в этом вы упрекнуть не можете.

— Конечно, я понимаю, что молодежь всегда была склонна к низвержению авторитетов. Я сам когда-то бросил первый камень в народничество и задиристо поднял копье в «Наших разногласиях» против старика Лаврова. Развенчивать идеалы отцов — это вечные заботы молодости. Но прежде, чем развенчивать их идеалы, надо разобраться в них, понять до конца их глубину и историческую необходимость.

— Именно это применительно к марксизму и к русской революции и призваны сделать «Искра» и «Заря». Но издание их ставит перед нами целый ряд чисто практических вопросов, решить которые мы не сможем одни, изолированные от всей остальной нашей социал-демокра-

тии. Надо реально смотреть на собственные возможности. Теперь, когда у нас будут «Искра» и «Заря»...

— «Искра» полностью выполнила бы свою задачу, если бы только одну войну с «экономистами» довела бы до победного конца. Честь ей за это была бы и хвала!

— Нет, Георгий Валентинович, я вижу перед «Искрой» более широкие задачи...

— И для этого зовете меня целоваться с «экономистами» и «легальными»?

— Ваши гневные чувства, откровенно сказать, я целиком понимаю и разделяю. Но мне кажется, что в нашем сложном и напряженном положении давать простор только чувствам нельзя. Нужно подумать о тактическом маневре, нужна гибкость...

— Владимир Ильич, вы на сколько лет младше меня?

— Кажется, па четырнадцать.

— И вы хотите меня учить маневрам и гибкости?.. В свое время, когда шли переговоры о слиянии чернопередельцев с народовольцами, многие мои товарищи хотели объединиться любой ценой и готовы были пойти на серьезные идейные уступки. Но я добился того, чтобы в программные документы нашего «Черного передела» была включена формулировка о заложении основ рабочей социалистической партии в России. И это уже было прямым отказом от народнических догматов.

— Георгий Валентинович, ни для вас, ни для меня, ни для кого угодно не является секретом тот бесспорный факт, что основным действующим практическим звеном наших современных российских социал-демократических организаций являются «экономисты». Они практики, в их руках функционирующий аппарат нашей теперешней социал-демократии. Это первое... Второе. Под влияние «экономистов» временно — подчеркиваю это слово: временно! — попали некоторые рабочие-революционеры в России, считающие, что борьба за улучшение жизни рабочих,

за удовлетворение их экономических нужд будет способствовать объединению рабочего класса вокруг партии. Было бы недопустимо, непозволительно, неверно отстранять этих рабочих от партии — за нами сохраняется много возможностей направить их дальнейшее политическое воспитание в русло революционного марксизма... Исходя из этого мы составили проект предварительного документа, где, всемерно осуждая оппортунистическую сущность «экономизма», показывая ревизионистскую перспективу «экономистов», мы тем не менее не теряем надежды на возможность совместной практической работы, надежды на привлечение к общей социал-демократической деятельности непосредственных практиков рабочего движения, и прежде всего самих рабочих, пока еще находящихся под влиянием идей «экономизма».

— Другими словами, вы допускаете...

— ...возможность мирного исхода спора с «экономистами».

— Никогда!.. Никогда этот ваш так называемый предварительный документ не будет для меня приемлемым. Моя позиция в данном вопросе постоянна и неизменна...

— Георгий Валентинович, по-моему, это единственно правильное решение вопроса, которое диктуется соображениями практической, деловой политики.

— Но ведь вы же с самого начала говорили мне, что новые печатные органы революционной российской социал-демократии, газета «Искра» и научно-политический журнал «Заря», будут твердо поставлены под флаг группы «Освобождение труда», не так ли?

— Да, говорил.

— Так почему же вы, позвольте вас спросить, не уважаете мои взгляды как лидера этой группы? Почему вы, молодой человек, предлагаете мне так беспардонно сменить мои убеждения, как будто это постельное белье или перчатки?

— Георгий Валентинович, да вы меня совершенно неправильно поняли!.. Я предлагаю, ни на секунду не забывая о ваших взглядах и убеждениях и о нашем общем, абсолютно непримиримом идейном отрицании и неприятии «экономизма», совместно выработать публичное заявление об отношении новых печатных органов революционной российской социал-демократии к практическим, массовым работникам местных социал-демократических организаций и звеньев в России. Чтобы эти практические работники, эти местные звенья и организации не препятствовали нашим новым печатным органам, а способствовали распространению их влияния на массы, чтобы с самого начала эти звенья в России не оставались бы в стороне, а включились с «Искрой» в руках в нашу работу по объединению революционных сил рабочего движения, чтобы практические работники этих местных организаций, получая «Искру», шли бы с ней на заводы и фабрики, к рабочим, и тем самым реально осуществляли начатую нами борьбу за пролетарскую партию... Это и есть тот гибкий тактический маневр, о котором я говорил. То есть диалектика в действии, примененная на практике сегодня...

— Владимир Ильич, я инстинктивно чувствую, что за разговорами о диалектике и гибких маневрах вы непроизвольно, в силу своего возраста, а точнее сказать — в силу логики своего возраста, смыкаетесь и сближаетесь с нашими здешними «молодыми» из заграничного союза русских социал-демократов. И это печально, очень печально.

— Дорогой Георгий Валентинович, я еще и еще раз повторяю, что бесконечно уважаю вашу непоколебимую неприязнь к ревизионизму и вашу сокрушительную творческую силу, с которой вы здесь, в архисложных условиях, нанесли смертельный удар европейскому оппортунизму. Но сейчас я прошу вас взглянуть на дело не

суровым взглядом разгневанного Зевса-громовержца, а глазами практика. И не с олимпийских, орлиных высот теории, а с точки зрения потребностей и запросов нашей массовой социал-демократии. Когда мы затевались в России с новой газетой и журналом, ни у кого из нас не возникало даже подобия мысли о том, что мы хоть на один шаг позволим себе идейно отдалиться от «Освобождения труда» в чью-либо другую сторону или хотя бы на один сантиметр отделить вас от задуманного предприятия. Когда Потресов печатал ваш «Монизм» в Петербурге, книга была выпущена в предельно короткий срок — в три месяца — благодаря помощи «легальных марксистов», то есть благодаря соглашению, которое мы заключили с ними о совместной издательской деятельности при условии полной свободы критики воззрений друг друга. Заключая такое издательское соглашение исключительно в интересах революции, мы принципиально и последовательно критиковали буржуазно-либеральную идеологию и открыто выступили против «легального марксизма» Струве. И тут же снова в собственных интересах, то есть в интересах революции, использовали широкие связи и средства «легальных марксистов», издав с их помощью революционно-марксистский сборник о хозяйственном развитии России, а потом и вашу, Георгий Валентинович, книгу «Обоснование народничества в трудах господина Воронцова». Разве это сближение с оппортунизмом «молодых» или «легальных марксистов»? Разве все это нельзя назвать гибкой практической тактикой с применением диалектического маневра?

— Из немецкого языка, Владимир Ильич, в русский перешло такое слово, как гешефтмахерство, то есть делячество...

— Но благодаря этому «делячеству», а вернее — благодаря нашему соглашению с «легальными марксистами» достигнута поразительно быстрая победа над народниче-

ством и произошло громадное распространение марксизма вширь по всей России... Русская читающая публика из тех же легальных изданий, финансированных «легальными марксистами», получила возможность узнать правильное толкование учения Маркса в изложении революционных марксистов — например, в вашем изложении, Георгий Валентинович. И разве «легальный марксизм» не привлек интерес десятков прогрессивно настроенных деятелей либеральной интеллигенции вообще к марксизму и не вызвал с их стороны не только открытый протест против самодержавия и требования буржуазно-демократических свобод, но и прямую критику народничества?

— Но ведь никакой либерал выше дилетантского, крайне узкого понимания марксизма подняться не может, отбрасывая при этом всю революционную суть марксизма, подменяя его материалистическую диалектику антидиалектическими реформистскими иллюзиями о возможности улучшения капитализма. А России хватит реформ! Россию уже пытались улучшить с помощью реформы шестьдесят первого года. Но России нужна революция, а не реформа, нужна ампутация и резекция, а не фармакология, нужен нож пролетарского хирурга, а не слабительные порошки и пилюли либералов, «экономистов» и «легальных марксистов»!

— Все правильно, Георгий Валентинович, все верно. Для этого и хотим мы собрать все подлинно революционные элементы России вокруг «Искры», энергия издания которой в конце концов преобразуется в создание подлинно марксистской рабочей партии. И эта партия поведет российский пролетариат к социалистической революции.

2

— Господа, вы попросили меня прочитать вам реферат о роли личности в истории. Я не стану делать этого. Мне просто хотелось сказать вам несколько неофициальных слов о том, что думаю об этом я, Георгий Плеханов, частное лицо, человек, привыкший всегда иметь индивидуальное мнение о многих сторонах нашей жизни... Вопрос о месте человеческой личности в истории должен привлекать сейчас наше внимание прежде всего потому, что в последнее время у нас в Европе вновь наблюдается оживление интереса к тем социалистическим теориям, согласно которым личность является главным двигателем истории и действия каждой выдающейся личности не зависят якобы ни от законов самой истории, ни от интересов социальных классов и человеческого общества. Антинаучность этих теорий, я думаю, для всех вас представляется со всей безусловностью. По сути дела их квинтэссенция восходит своим происхождением к субъективно-идеалистическому учению небезызвестного Михаила Бакунина. Его нынешние последователи в Европе и в России, вытаскивая анархизм на свет божий, преследуют только одну цель — усилить борьбу против современной революционной социал-демократии, против ее твердой направленности на достижение диктатуры пролетариата. Эти утопически настроенные господа тешат себя ветхозаветной иллюзией: масса — ничто, личность — все. По их доморощенному субъективистскому мнению, критически мыслящая личность может якобы по своей воле изменить ход истории и одной лишь силой своего ума направить историю в нужном для себя направлении, не опускаясь до уровня неразвитого сознания широких народных масс... В этой связи мне хотелось бы процитировать здесь высказывание человека, которого

трудно заподозрить в общности взглядов с революционными марксистами. Граф Отто Бисмарк, «железный канцлер» — одно из главных действующих лиц недавней европейской истории — сказал однажды в рейхстаге, обращаясь к его депутатам: «Обыкновенно очень преувеличивают мое влияние на те события, на которые я опирался в своей деятельности, но все-таки никому, очевидно, не придет в голову требовать от меня, чтобы я делал историю. Это было бы невозможно для меня даже в соединении с вами... Мы не можем делать историю, мы должны ожидать, пока она сделается»... Во время франко-прусской войны Бисмарк говорил также, что «мы не можем делать великие исторические события, а должны сообразоваться с естественным ходом вещей и ограничиваться обеспечением себе того, что уже созрело»... Общий смысл этих высказываний, по всей вероятности, можно свести к следующей мысли: исторические условия сильнее даже самых сильных личностей, характер эпохи является для великого человека эмпирически данной ему необходимостью... Конечно, нетрудно заметить слабые стороны этих обобщений, но слова Бисмарка интересны как психологический документ. Этот человек, проявлявший зачастую воистину железную энергию, считал себя бессильным перед естественным ходом вещей... Разумеется, его мнение не может служить ответом на вопросы о роли личности в истории и о возможностях влияния отдельной личности на исторические события,— по словам Бисмарка, события делаются сами собой, а мы можем только обеспечивать себе то, что подготовляется ими. Но каждый акт «обеспечения» тоже представляет собой историческое событие. Чем же отличаются такие события от тех, которые делаются сами собой? В действительности почти каждое историческое событие является одновременно и «обеспечением» кому-нибудь уже созревших плодов предшествовавшего развития и одним из звеньев той цепи событий,

которая подготавливает плоды будущего. И поэтому нам хочется знать, в каких случаях возможности личности обеспечивать будущее увеличиваются, а в каких — уменьшаются... Перейдем теперь от немецких примеров к французским. Моно, один из самых видных современных историков Франции, говорил о том, что историки слишком привыкли обращать исключительное внимание на блестящие и громкие проявления человеческой деятельности, на великие события и на великих людей, вместо того чтобы изображать великие и медленные движения экономических условий и социальных учреждений, составляющих действительно непреходящую часть человеческого развития. С точки зрения Моно, важные события и личности имеют значение как знаки и символы различных моментов указанного развития. Большинство же событий, называемых историческими, так относятся, по его мнению, к настоящей истории, как относятся к глубокому и постоянному движению приливов и отливов волны, которые возникают на морской поверхности, на минуту блещут ярким огнем света, а потом разбиваются о берег, ничего не оставляя после себя... Действительно, после потрясающих событий во Франции в конце восемнадцатого века, то есть после Великой французской буржуазной революции, уже решительно невозможно было думать, что история есть дело более или менее выдающихся, благородных и просвещенных личностей, по своему произволу внушающих непросвещенной, но послушной массе те или иные чувства и понятия. Политические бури, пережитые Францией, ясно показали — ход исторических событий определяется далеко не одними только сознательными поступками людей. И подобное обстоятельство должно было навести на мысли о том, что события революции совершались под влиянием какой-то скрытой необходимости, действовавшей, подобно стихийным силам природы, слепо, но сообразно известным непреложным

законам... И в то же время другой французский мыслитель, Огюст Сент-Бёв, выдвинувший биографический метод исследования, утверждал, что в каждую минуту истории выдающаяся личность может внезапным решением своей воли ввести в ход событий новую, неожиданную и изменчивую силу, которая способна придать ходу событий совершенно иное направление. Естественно, Сент-Бёв не был настолько наивен, чтобы полагать, будто «внезапные решения» человеческой воли возникают без всякой причины. Он только хотел подчеркнуть, что умственные и нравственные свойства человека, играющего значительную роль в общественной жизни (то есть таланты и знания такого человека, его решительность или нерешительность, храбрость или трусость), не могут оставить без своего заметного влияния ход и исход событий. И тут приходится заметить, что эти умственные и нравственные свойства выдающихся людей объясняются не одними только общими законами народного развития, но в значительной степени всегда складываются под действием того, что можно назвать случайностями частной жизни. Например, в середине восемнадцатого века, когда Франция вела войну за австрийское наследство, ее войска одержали несколько блестящих побед, и Франция могла бы добиться от Австрии целого ряда территориальных уступок. Но французский король Людовик XV не потребовал этих уступок, потому что он, по его же словам, воевал не как безродный купец, стремящийся к скорейшему обогащению, а как наследственный монарх. И поэтому французы ничего не получили за свои победы. А был бы у Людовика XV другой характер, то, может быть, и увеличилась бы территория Франции, вследствие чего изменился бы ход ее экономического и политического развития... Спустя некоторое время Франция вела свою знаменитую Семилетнюю войну против Пруссии уже в союзе с Австрией, который образовался благодаря силь-

нейшему влиянию на Людовика XV его фаворитки маркизы де Помпадур. Австрийская императрица Мария-Терезия в своем письме к ней назвала госпожу Помпадур своей дорогой подругой (бьен бон ами), и вследствие этого маркиза де Помпадур склонила Людовика к союзу с Австрией. Исходя из этих фактов, очевидно, можно сделать вывод: если бы Людовик XV имел более строгие нравы и если бы он меньше поддавался влиянию своих фавориток, то госпожа Помпадур не приобрела бы такого влияния на ход событий, и они приняли бы совершенно иной оборот... Как известно, Семилетняя война сложилась весьма неудачно для Франции — ее генералы потерпели несколько постыднейших поражений. Особенно бездарно действовал крайне неспособный генерал Субиз, которому активно покровительствовала все та же маркиза де Помпадур. И опять напрашивается вывод: если бы Людовик XV был менее сластолюбив, если бы его фаворитка не вмешивалась в политику, то события не сложились бы так неблагоприятно для Франции... По свидетельствам очевидцев того времени, Франции вовсе не нужно было воевать на европейском континенте, а следовало бы сосредоточить все силы на море, чтобы отстоять от посягательств Англии свои колонии. Но госпожа Помпадур хотела «угодить» своей дорогой подруге австрийской императрице Марии-Терезии, и... Людовик воевал на суше, в союзе с Австрией против Пруссии, а не против Англии на море. После Семилетней войны Франция потеряла лучшие свои колонии, что, безусловно, сильно повлияло на развитие ее экономических отношений. Таким образом, здесь отчетливо просматривается, казалось бы, нелепейшая историческая конструкция: женское тщеславие выступает перед нами в роли влиятельного «фактора» экономического развития одной из ведущих европейских держав восемнадцатого столетия... Вдумайтесь в этот пример, господа... И, очевидно, вдумываясь в него, мы не

можем не вспомнить оставленных нам современниками Семилетней войны ярких свидетельств и воспоминаний о повсеместной картине всеобщего упадка военного дела во Франции в эпоху Людовика XV. Французские войска того времени на три четверти состояли из обозов, переполненных офицерскими слугами и любовницами, на десять боевых кавалерийских лошадей приходилось восемь вьючных, назначенные в караул офицеры зачастую совершенно свободно покидали свои посты, отправляясь потанцевать на бал в какой-нибудь соседний замок. Приказы начальников исполнялись подчиненными только тогда, когда подчиненные находили это удобным и нужным для себя. Такое жалкое положение военного дела обусловливалось упадком дворянства (которое, однако, продолжало занимать в армии все высшие должности) и общим расстройством всего «старого порядка», быстро шедшего накануне французской буржуазной революции к своему разрушению... Одних этих общих причин было вполне достаточно для того, чтобы придать Семилетней войне невыгодный для Франции оборот. Но несомненно, что неспособность и бездарность генералов, подобных Субизу, еще более умножала для французской армии неудачи, обусловленные общими причинами. А так как Субиз держался благодаря госпоже Помпадур, то необходимо признать, что тщеславная маркиза была одним из «факторов», значительно усиливших неблагоприятное для Франции влияние общих причин на положение дел во время Семилетней войны... Маркиза де Помпадур была сильна не своей собственной силой, а властью короля, подчинившегося ее воле. Можно ли сказать, что характер Людовика XV был именно таков, каким он непременно должен был быть по общему ходу развития общественных отношений во Франции в середине восемнадцатого века? Нет, при том же самом ходе этого развития, на его месте мог оказаться король, иначе относившийся

к женщинам. Таким образом, личная особенность характера Людовика XV — его сластолюбие,— повлияв на ход и исход Семилетней войны, тем самым повлияла и на дальнейшее развитие Франции, которое пошло бы иначе, если бы Семилетняя война не лишила ее большей части колоний... Итак, господа, теперь, после всех наших пространных и пикантных рассуждений, мы можем сделать с вами весьма убедительный и обоснованный вывод: как ни несомненно в указанном случае с Францией действие личных особенностей Людовика XV, не менее несомненно и то, что оно могло совершиться лишь при данных общественных условиях. После одного из сражений Семилетней войны, сокрушительно проигранного французами исключительно из-за военной беспомощности генерала Субиза, все французское общество, как порох, вспыхнуло единодушным негодованием на могущественную покровительницу бездарного «полководца». Маркизу де Помпадур засыпали анонимными посланиями, полными угроз. Каждый день она получала со всех концов страны сотни оскорбительных писем. Всесильная маркиза была не на шутку взволнована, она потеряла сон... Но тем не менее послала Субизу «весточку» — не бойся, я сумею защитить тебя перед королем. И защитила... Как видите, госпожа де Помпадур не уступила общественному мнению. Почему же не уступила? А потому, что тогдашнее французское общество не имело возможности принудить ее к уступкам. А почему тогдашнее французское общество не могло сделать этого? А потому, что ему препятствовала в этом его организация, которая в свою очередь зависела от соотношения тогдашних общественных сил во Франции. Следовательно, соотношением именно этих сил и объясняется в конечном счете то обстоятельство, что характер Людовика XV и прихоти его фаворитки могли иметь такое печальное влияние на судьбу Франции. Ведь если бы слабостью по отношению к женскому полу

отличался не король, а какой-нибудь королевский повар или конюх, то эта слабость не имела бы никакого исторического значения, так как дело здесь, разумеется, не в самой слабости, а в общественном положении лица, страдающего ею... Итак, господа, мы нарисовали перед собой, как мне кажется, весьма выразительную и красочную картину, из созерцания которой становится ясным, что отдельные личности благодаря особенностям своего характера могут влиять на судьбу общества. Иногда это влияние бывает даже значительно, но как сама возможность подобного влияния, так и размеры его определяются организацией общества, соотношением его социальных сил. И поэтому можно считать вполне установленным, что характер личности является «фактором» общественного развития лишь там, и лишь тогда, и лишь постольку, где, когда и поскольку ей позволяют это общественные отношения... Нам могут сказать, что размеры личного влияния зависят также и от талантов личности. И мы согласимся с этим. Но личность может проявить свои таланты только тогда, когда она займет необходимое для этого положение в обществе. Почему судьба Франции могла оказаться в руках человека, лишенного всякой способности и охоты к общественному служению? Потому, что такова была ее общественная организация. Этой организацией и определяются в каждое данное время те роли, а следовательно, и то общественное значение, которые могут выпасть на долю даровитых или бездарных личностей... И тут надо заметить следующее. Обусловленная организацией общества возможность общественного влияния личностей открывает дверь влиянию на исторические судьбы народов так называемых случайностей. Сластолюбие Людовика XV было необходимым следствием состояния его организма. По отношению к общему ходу развития Франции это состояние было случайностью. А между тем, как мы уже разобрали, эта случайность

не осталась без влияния на дальнейшую судьбу Франции и сама вошла в число причин, обусловивших собою эту судьбу. Выходит, что судьба государства зависит иногда от случайностей. Не исключает ли это возможности научного познания явлений? Нет, не исключает. Ибо случайность есть нечто относительное. Она появляется лишь в точке пересечения необходимых процессов. Появление европейцев в Америке было для жителей Мексики и Перу случайностью в том смысле, что не вытекало из общественного развития этих стран. Но не случайностью была страсть к мореплаванию, овладевшая западными европейцами в конце средних веков. Не случайностью было то обстоятельство, что сила европейцев легко преодолела сопротивление туземцев. Не случайны были и последствия завоевания Мексики и Перу европейцами. Эти последствия определились в конце концов равнодействующей двух сил: экономического положения завоеванных стран, с одной стороны, и экономического положения завоевателей — с другой. А эти силы (как и их равнодействующая) вполне могут быть предметом строгого научного исследования... Случайности Семилетней войны имели большое влияние на дальнейшую судьбу не только Франции, но и на дальнейшую судьбу ее противника — Пруссии. Но влияние этих случайностей на Пруссию было бы совсем не таково, если бы они, эти случайности, застали Пруссию на другой стадии ее развития. Последствия случайностей и здесь были определены равнодействующей двух сил: социально-политического состояния Пруссии, с одной стороны, и социально-политического состояния влиявших на нее европейских государств — с другой. Следовательно, и здесь случайность нисколько не мешает научному изучению явлений. И таким образом, зная теперь, что личности часто имеют большое влияние на судьбы общества, мы одновременно можем умозаключить, что это влияние определяется не только внут-

ренним строем данного общества, но и его отношением к другим обществам... Господа, позвольте здесь мне прерваться, чтобы дать отдохнуть и вам, и себе и после небольшого перерыва продолжить нашу импровизированную лекцию...

3

— Итак, господа, я продолжаю наш экспромтом завязавшийся разговор о роли личности в истории... Мне бы только хотелось сказать вначале несколько слов о характере полученных в перерыве записок. Их авторы обращаются ко мне чересчур торжественно — что-то вроде «их высокоблагородию господину первому русскому марксисту товарищу Плеханову...» Это, конечно, звучит смешно, но в то же время лично меня даже отчасти удручает, так как, по сути дела, сводит на нет затраченные мной в первой половине нашей встречи усилия на определение истинного значения роли личности в истории... Говоря другими словами, не следует, господа, преувеличивать значение роли моей личности в русской истории вообще, и в истории возникновения марксистской мысли в России, в частности. Как о первом, так и о втором предмете я имею достаточно трезвое собственное суждение, весьма четко представляя себе место своей персоны в истории, и, конечно, не надо заносить мое имя в святцы... Не хватало еще, чтобы вы называли меня социал-демократическим папой римским — архиерейским наместником Маркса и Энгельса па земле... Да, да, господа, я понимаю ваш смех — это действительно очень смешно... Поэтому в дальнейшем пишите на записках просто «товарищу Плеханову». В этом предельно кратком обращении я и буду находить удовлетворение от проделанной нами сегодня общей работы... Итак, продолжаем... Я уже упоминал здесь имя французского мыс-

лителя, поэта и критика Огюста Сент-Бёва. Высказываясь однажды о Великой французской буржуазной революции, Сент-Бёв заявил, что ход и исход революции во Франции были обусловлены не только теми общими причинами, которые ее вызвали, не только теми страстями, которые она возбудила в свою очередь, но также и множеством мелких событий, ускользнувших от внимания исследователей и даже совсем не входивших в число собственно общественных явлений в прямом смысле этого слова. Сент-Бёв полагал, что во времена революции, пока бушевали вызванные общественными явлениями страсти, обыкновенные физические и физиологические силы природы тоже не бездействовали. Камень, например, продолжал подчиняться силе тяжести, кровь не переставала обращаться в жилах людей, как это и происходило до революции... Неужели не изменился бы ход событий, говорил Сент-Бёв, если бы, положим, Мирабо не умер от горячки? Если бы случайно упавший кирпич или апоплексический удар убил раньше времени Робеспьера? Если бы пуля сразила Наполеона Бонапарта в самом начале его карьеры? Неужели исход событий был бы тот же самый?.. При достаточном, мол, количестве случайностей, подобных перечисленным, исход событий революции могде быть совершенно противоположным тому, который, как считается, был неизбежен. А ведь мы имеем право, считал Сент-Бёв, предполагать именно такие случайности, потому что их не исключают ни общие причины революции, ни страсти, порожденные этими общими причинами. Короче говоря, он утверждал, что ходу событий революции способствовали не только общие причины, но и множество других, мелких, темных и неуловимых причин... Господа, со всей присущей нашему образу мышления решительностью мы должны отбросить эти взгляды Сент-Бёва, который наивно думал, что при достаточном количестве названных им мелких и темных причин, фран-

цузская революция могла бы дать результаты, противоположные тем, которые мы знаем. Было бы огромной ошибкой разделять подобные исторические воззрения Сент-Бёва. В какие бы замысловатые сплетения ни соединялись мелкие психологические и физиологические причины, они ни в каком случае не устранили бы великих общественных нужд, вызвавших французскую революцию. Пока эти нужды оставались бы неудовлетворенными, во Франции не прекратилось бы революционное движение. Но чтобы исход этого движения мог быть противоположным тому, который имел место в действительности, нужно было бы заменить эти нужды противоположными, а этого, разумеется, никогда не в силах были бы сделать никакие сочетания мелких причин... Истоки французской революции заключались в свойствах общественных отношений, а предполагаемые Сент-Бёвом мелкие причины могли корениться только в индивидуальных особенностях отдельных лиц. Главная причина общественных отношений заключается в состоянии производительных сил. Это состояние зависит от индивидуальных особенностей отдельных лиц разве лишь в смысле большей или меньшей способности таких лиц к техническим усовершенствованиям, открытиям и изобретениям. (Сент-Бёв, конечно, подразумевал не такие способности.) А все возможные другие особенности не обеспечивают отдельным лицам непосредственного влияния на состояние производительных сил, а следовательно, и на те общественные отношения, которые этим состоянием обусловливаются, то есть на экономические отношения... Какие бы ни были особенности той или иной личности, она не может устранить данные экономические отношения, раз они соответствуют данному состоянию производительных сил. Но индивидуальные особенности личности делают ее более или менее годной для удовлетворения тех общественных нужд, которые вырастают на основе данных экономических отношений,

или для противодействия такому удовлетворению. Насущнейшей общественной нуждой Франции конца восемнадцатого века была необходимость замены устаревших политических учреждений другими, более соответствующими ее новому экономическому строю. Наиболее видными и полезными общественными деятелями того времени во французском обществе были именно те люди, которые лучше всех других способны были содействовать удовлетворению этой насущнейшей нужды... Если бы Наполеон был убит в самом начале своего поприща, его место, конечно, не осталось бы незанятым. Нашлись бы другие генералы во Франции, которые более медленно и с меньшим военным блеском сделали бы французскую республику победительницей во всех ее тогдашних войнах, потому что французские солдаты, которых вели в сражения идеалы революции, были в те времена самыми лучшими в Европе. Индивидуальные способности и действия Наполеона, этого «Робеспьера на коне», ставшего хорошей «шпагой» в руках победившей французской буржуазии, безусловно, оказали огромное воздействие на развитие политических и экономических событий в Европе. Но если бы даже Наполеон и был бы убит в своем первом бою, окончательный итог событий, то есть окончательный исход революционного движения, ни в коем случае не был бы противоположным действительному ходу истории. Великие, влиятельные личности благодаря особенностям своего ума и характера могут изменять лишь индивидуальную физиономию событий и некоторые частные их последствия, но они не могут изменить их общего направления, которое определяется совершенно другими силами... Тут, на мой взгляд, господа, уместно упомянуть об одном весьма любопытном аспекте обсуждаемой нами проблемы. Рассуждая о роли великих личностей в истории, мы почти всегда делаемся жертвой некоторого оптического обмана... Выступив в роли хорошей «шпаги»,

Наполеон тем самым устранил от этой роли всех других генералов, из которых иные сыграли бы ее так же или почти так же, как и он... Но коль скоро потребность французского общества в энергичном военном правителе была удовлетворена, общественная организация загородила дорогу к месту военного правителя для всех других военных талантов. Сила этой общественной организации стала неблагоприятной силой для проявления других талантов этого рода. Отсюда и возникает оптический обман... Личная сила Наполеона является нам в крайне преувеличенном виде, так как мы относим на ее счет всю ту общественную силу, которая выдвинула и поддерживала ее. Эта личная сила кажется нам чем-то совершенно исключительным, потому что другие, подобные ей, силы не перешли из возможности в действительность. И когда нам говорят: а что было бы, если бы не было Наполеона, то наше воображение начинает путаться, и нам кажется, что без него действительно не могло бы совершиться все то общественное движение, на котором основывались влияние и сила Наполеона... Таланты являются всюду и всегда, где и когда существуют общественные условия, благоприятные для их развития. Это значит, что всякий талант, проявившийся в действительности, то есть всякий талант, ставший общественной силой, есть плод общественных отношений. Но если это так, то понятно, почему талантливые люди могут изменить лишь индивидуальную физиономию, а не общее направление событий. Они сами существуют только благодаря такому направлению. Если бы не оно, то они никогда не перешагнули бы порога, отделяющего возможность от действительности... Само собой разумеется, что талант таланту рознь. Когда, например, новый шаг в развитии цивилизации вызывает к жизни новый род искусства,— говорит Тэн,— вокруг одного или двух гениев, выражающих новую общественную мысль в совершенстве, появляются десятки талан-

тов, выражающих ее только наполовину. Такая «школа» вокруг гения в лице его учеников старается во всем подражать основоположнику, усваивая в мельчайших подробностях все приемы и детали, выработанные первоначально гением. Если бы какие-нибудь механические или физиологические причины, не связанные с общим ходом социально-политического и духовного развития Италии, еще в детстве убили бы Рафаэля, Микельанджело и Леонардо, то итальянское искусство было бы менее совершенно, но общее направление его развития в эпоху Возрождения осталось бы тем же самым. Ни Рафаэль, ни Леонардо, ни Микельанджело не создали этого направления — они были только лучшими его выразителями. Но всякое новое течение в искусстве может вообще остаться без сколько-нибудь замечательного выражения, если оно недостаточно глубоко, чтобы выдвинуть соответствующие таланты для своего выражения. А так как глубина каждого направления в искусстве определяется его значением для того класса, вкусы которого оно выражает, и общественной ролью этого класса, то и здесь все зависит в конечном счете от хода общественного развития и от соотношения общественных сил... Таким образом, господа, мы можем сделать еще один вывод. Личные особенности выдающихся людей определяют собой индивидуальную физиономию исторических событий, и элемент случайности всегда играет некоторую роль в ходе этих событий, направление которого определяется общими причинами, то есть развитием производительных сил и взаимными отношениями людей в общественно-экономическом процессе производства. А развитие производительных сил, которым обусловливаются последовательные изменения в общественных отношениях людей, в настоящее время надо признать самой общей причиной исторического движения человечества. Рядом с этой общей причиной действуют особенные причины, то есть та исто-

рическая обстановка, при которой совершается развитие производительных сил у данного народа и которая сама создана в последней инстанции развитием тех же сил у других народов, то есть той же общей причиной... Наконец, влияние особенных причин дополняется действием причин единичных, то есть личных особенностей общественных деятелей и других «случайностей», благодаря которым события получают, наконец, свою индивидуальную физиономию. Единичные причины не могут произвести коренных изменений в действии общих и особенных, которыми к тому же обусловливаются направление и пределы влияния единичных причин. Но все-таки, несомненно, что история имела бы другую физиономию, если бы влиявшие на нее единичные причины были заменены другими причинами того же порядка... Великий человек велик не тем, что его личные особенности придают индивидуальную физиономию великим историческим событиям, а тем, что у него есть особенности, делающие его наиболее способным для служения великим общественным нуждам своего времени, возникшим под влиянием общих и особенных причин. Великих людей часто называют начинателями. Это очень удачное название. Выдающаяся личность всегда является именно начинателем, потому что великий человек видит дальше других и хочет сильнее других. Он решает научные задачи, поставленные на очередь предыдущим ходом умственного развития общества. Он указывает новые общественные нужды, созданные предыдущим развитием общественных отношений. Он берет на себя почин удовлетворения этих нужд. Он — герой. Не в том смысле герой, что будто бы может остановить или изменить естественный ход вещей, а в том, что его деятельность является сознательным и свободным выражением этого необходимого и бессознательного хода. В этом — все его значение, в этом же и вся его сила... Господа, я не хотел читать вам никакой

лекции, но она как-то незаметно прочиталась сама по себе. В самом начале нашего разговора я цитировал Отто Бисмарка, который утверждал, что люди не могут делать историю, а должны ожидать, пока она сделается. Но кем же делается история? Она делается общественным человеком. Общественный человек сам создает свои (то есть общественные) отношения. И если он создает в данное время именно такие, а не другие отношения, то это происходит, разумеется, не без причины — это обусловливается состоянием его производительных сил. Никакой великий человек не может навязать обществу такие отношения, которые уже не соответствуют состоянию этих сил или еще не соответствуют ему... В общественных отношениях есть своя логика. Пока люди находятся в данных взаимных отношениях, они непременно будут чувствовать, думать и поступать именно так, а не иначе. Против этой логики напрасно стал бороться бы любой общественный деятель — естественный ход вещей (то есть эта же логика общественных отношений) обратил бы в ничто все его усилия. Но если я знаю, в какую сторону изменяются общественные отношения (благодаря данным переменам в общественно-экономическом процессе производства), то я знаю, в каком направлении будут меняться и исторические события. А следовательно, я имею возможность влиять на них. Стало быть, в известном смысле я все-таки могу делать историю, и мне нет надобности ждать, пока она «сделается» сама... Не для одних только «начинателей», не для одних «великих» людей открыто широкое поле деятельности в истории. Оно открыто для всех, имеющих очи, чтобы видеть. Уши, чтобы слышать. Сердце, чтобы любить ближних своих. Понятие «великий» есть понятие относительное. В нравственном смысле велик каждый, кто «полагает душу свою за други своя»... Широкое поле активной деятельности в истории для освобождения своего класса от гнета капи-

тала закономерно и научно обосновано, настежь распахнуто марксистской мыслью перед людьми труда, перед рабочим классом, перед пролетариатом. Бесстрастное созерцание событий лежит вне классовой природы пролетариата. Объединение всех угнетенных личностей для сознательной революционной деятельности в истории — вот, господа, тот единственно правильный ответ на вопрос о роли личности в истории, которым мне и хотелось бы закончить нашу сегодняшнюю встречу...

Глава пятнадцатая

1

— Георгий Валентинович, а все-таки, если положить руку на сердце...

— Вы опять о «легальных марксистах», Владимир Ильич?

— Да, о них. Сейчас нам просто жизненно необходимо использовать наше временное соглашение о совместной издательской деятельности.

— Бред, бред и еще раз бред. Извините, но другого слова я не нахожу.

— Георгий Валентинович, это не бред, это насущнейшая практическая нужда для первых шагов «Искры» и «Зари».

— Не пытайтесь доказать мне недоказуемое...

— В апреле я встречался в Пскове с «легальными». От них были Струве и Туган-Барановский, которые обещали помочь деньгами и материалами именно для заграничной газеты и журнала. Их представители уже выехали в Швейцарию...

— Вы ставите меня перед свершившимся фактом?

— Здесь гвоздь момента, Георгий Валентинович...

— Нет, нет и еще раз — нет. Тысячу раз — нет! Никакие насущнейшие нужды не заставят меня целоваться с вашим Бобо-Струве. Не для того я двадцать лет, как прикованный, сижу здесь на чужбине и подставляю свою исклеванную печень «стервятникам» из лагеря местных «молодых» социал-демократов, чтобы при первой же перемене погоды отдавать чистоту революционного марксизма вашему пресловутому Бобо. Я повторял это, повторяю и буду повторять бесконечно.

— Георгий Валентинович, и я бесконечно повторяю вместе с вами, что чистоту революционного марксизма мы не отдадим никому и никогда. Но если припомнить фактическую сторону событий, то мы обязаны быть елико возможно снисходительны к Струве, ибо сами не без вины в его эволюции.

— Что это означает — сами не без вины? Потрудитесь объясниться.

— Объяснюсь, и весьма охотно... Пять лет назад здесь, в Женеве, вы, Георгий Валентинович, прочитали мою статью «Экономическое содержание народничества и критика его в книге господина Струве». Так вот мы высказали тогда свое непримиримое идейное отношение к сочинениям Бобо. А вы промолчали.

— Мне было приказано тогда не «стрелять» в Струве.

— Приказано вам?! Как-то не верится...

— Вы что же, Владимир Ильич, позволяете себе сомневаться в истинности моих слов?

— Я сомневаюсь в том, что вам мог кто-то что-то приказывать...

— Это сделал Потресов в Лондоне, в девяносто пятом году. Он заказал мне несколько статей, но сочинения господина Бобо не были названы в них как объект предполагаемой критики.

— Очевидно, Потресов просто опасался излишней резкости с вашей стороны в адрес Струве.

— Не знаю, не знаю...

— Георгий Валентинович, а действительно — почему в девяносто седьмом году, когда Бобо тиснул свою убогую ревизионистскую статейку с критикой Энгельса, пытаясь опровергнуть одно из основных положений марксизма,— почему вы не дали ему отповеди и оставили без ответа этот болотный всплеск доморощенной «струвистской» мысли о свободе и необходимости?.. Я много думал об этом в ссылке и даже писал из Сибири Потресову, что решительно не понимаю, почему молчит Плеханов? И не может ли он, Потресов, объяснить мне причину этого странного молчания?

— Все объяснялось очень просто: статья Струве была опубликована в журнале «Новое слово», в котором печатался и я сам... А я абсолютно не представляю себе такого положения, когда на страницах одного и того же издания возникает полемика между его сотрудниками. Не представляю и никогда, очевидно, не буду представлять.

— Выходит, что в «Новом слове» вы могли печататься рядом со Струве, а в «Заре» находите это невозможным?

— Я шел рядом со Струве не потому, что не замечал в его статьях и книгах антимарксистского «струвизма». Я видел его всегда. Но до поры до времени я полагал, что малопочтенный господин Бобо сам освободится от убожества своих мыслей, перестанет быть «струвистом» и разовьется в революционного марксиста... Когда же в девяносто девятом году он напечатал у немцев статью, извращавшую Марксову теорию социального развития, я, поняв, что надежды мои были неосновательны и дальше идти вместе со Струве нельзя, взялся за перо. В предисловии ко второму изданию своего перевода «Коммунистического манифеста» я пообещал отстегать вместе с бернштейнианцами и этого легального прохвоста Бобо... Естественно, после такой публикации ни о каком сотруд-

ничестве Струве в «Заре», я думаю, и речи быть не может... И я заявляю: вам придется выбирать между мной и Бобо. Или он, или я!.. Никакой середины, никаких компромиссов, никакого примиренчества я не потерплю. Только беспощадная война со Струве до полной победы!.. Если же вопреки всему сказанному мной сейчас господин Бобо — этот потенциальный шпион российской буржуазии, этот марксист-пройдоха, этот вульгарный торгаш идеями, этот неуемный политический нахал и ревизионистский попугай — окажется все-таки на страницах «Зари», мое участие в журнале исключается навсегда!

— Георгий Валентинович, да успокойтесь вы ради бога!.. Никто не собирается противопоставлять вас и Струве в форме такой апокалипсической катастрофы, ужасную картину которой вы нарисовали...

— Мне сейчас не до шуток, Владимир Ильич!

— А я и не собираюсь шутить. Нам предстоит обсудить еще...

— Мое требование относительно Струве принимается?

— Принимается условно.

— В каком смысле условно?

— В таком смысле, что и вопрос о приглашении в «Зарю» Бобо и Михаила Ивановича Туган-Барановского ставился пока только условно.

— Когда же он будет поставлен безусловно?

— Тогда, когда мы будем решать его все вместе,— вы, Аксельрод, Засулич, Потресов, я...

— Значит, пока мы ничего не решаем — так, что ли, прикажете вас понимать? Чем же мы сейчас с вами занимаемся?

— Предварительным обсуждением.

— Но когда, черт побери, начнется окончательное обсуждение?!

— Как только приедет Аксельрод.

— Так где же он? Почему он заставляет нас ждать себя так долго? Я уже просто устал от всей этой предварительной болтовни и пустопорожнего суесловия, во время которого, оказывается, ничего не решается, а только бесконечно обсуждается!

— Георгий Валентинович, я бы не стал называть болтовней и суесловием наши беседы. Предстоит слишком ответственная работа, чтобы обойтись без обстоятельного предварительного обсуждения всех ее подробностей и деталей.

— Вы, кажется, хотели обсудить со мной еще что-то, Владимир Ильич?

— Самое главное. Потресов передал вам наше заявление от будущей редакции «Искры» и «Зари»...

— Да, я прочитал его.

— И что же?

— Общий ход мысли, пожалуй, можно оставить, но слог, разумеется, надо поправить, приподнять...

— И вы уже сделали это?

— Пока еще нет, но это недолго сделать. Можно и потом, сейчас, я думаю, не стоит.

— Когда же будет готово?

— Если быть откровенным до конца, ваше заявление, Владимир Ильич, написано, мягко говоря, довольно скромно и, я бы даже сказал, слишком робко...

— А если говорить не мягко, а жестко?

— Ну, зачем же говорить жестко? Мы с вами не враги...

— Георгий Валентинович, я настоятельно прошу вас разъяснить свою позицию, а не отстраняться от вопроса, который...

— А разве я отстраняюсь?

— Именно отстраняетесь! И не в первый уже раз!

— Ульянов, вы опять обостряете отношения...

— Если вы не желаете участвовать в исправлении

важнейшего редакционного заявления, то скажите об этом прямо. А если хотите помочь, возьмите и поправьте так, как считаете необходимым с вашим опытом составления документов подобного уровня.

— Хорошо, я скажу прямо... Я полагаю, что мой опыт в данном конкретном случае совершенно не требуется. Ваше заявление от редакции вполне может поправить и Вера Ивановна.

— Засулич?!

— Конечно. А вы разве сомневаетесь в ее литературных возможностях? Она самого Энгельса переводила и заслужила его одобрение.

— Нет, я нисколько не сомневаюсь в талантах Веры Ивановны, но мне показалось, что вы, говоря о необходимости приподнять тон нашего заявления, собирались своею собственной рукой придать ему характер... ну, вроде бы определенного манифеста.

— Манифеста? У нас уже есть «Манифест Российской социал-демократической рабочей партии», принятый на первом съезде в Минске. Вы же разделяете его положения?

— Безусловно.

— Зачем же еще один манифест?.. Но дело не только в этом... Видите ли, я действительно, как вы правильно заметили, имею некоторый опыт в составлении документов высокого теоретического уровня. Но уровень вашего с Потресовым редакционного заявления оставляет желать много лучшего.

— А именно?

— Я бы лично написал совсем не такое заявление. Во всяком случае, оно было бы свободно от тех элементов оппортунизма, которые...

— Оппортунизма? Я не ослышался?

— Нет, не ослышались. Я бы...

— Да в чем же вы усмотрели оппортунизм, Георгий

Валентинович? В том, что мы написали, что современная русская социал-демократия находится на критической стадии своего развития?.. А разве это не правда? Разве главной особенностью нашего движения сейчас не является его раздробленность и кустарный характер?.. Местные кружки возникают почти совершенно независимо от кружков в других местах и даже от кружков, одновременно действующих в тех же центрах. Между ними не устанавливается традиции и преемственности, и местная литература всецело отражает эту раздробленность, отражает отсутствие связи с тем, что уже создано русской социал-демократией — вами создано, Георгий Валентинович, группой «Освобождения труда». В этих словах вы увидели оппортунизм?

— ...

— Или в том, что мы отмечаем на современном этапе необычайно широкое распространение по всей России социал-демократического движения, которое пустило в самых различных углах России так много здоровых ростков, что теперь с неудержимой силой сказывается его естественное стремление упрочиться, принять высшую форму, выработать определенную физиономию и организацию?.. Кружки рабочих и социал-демократической интеллигенции возникают повсюду, появляются местные агитационные листки, растет спрос на социал-демократическую литературу, неизмеримо опережая предложения ее. Я это увидел и понял, когда прокатился после ссылки по всей России от Красноярска до Пскова. Я это почувствовал и буквально физически ощутил, когда перед самым приездом сюда, к вам в Женеву, побывал в Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Сызрани, Подольске, Москве, Петербурге, Смоленске, Риге... Везде и повсюду, на всех уровнях развития движения люди просят новую социалистическую литературу — с протянутой рукой просят, как милостыню... Вот откуда, Георгий Валентинович,

возникла неопровержимая убежденность, первоначально рожденная еще в Сибири,— в необходимости издания за границей «Искры» и «Зари» с помощью любых комбинаций, используя в том числе возможности и средства «легальных марксистов», в необходимости распространения «Зари» и «Искры» в России с помощью даже тех социал-демократических организаций, которые пока еще временно — временно, черт побери! — заражены «экономизмом»... И разве можно все это квалифицировать как оппортунизм?

— ...

— В самом начале нашего сегодняшнего разговора вы сказали, что никому не хотите отдавать чистоту революционного марксизма при первой перемене погоды. Нет, Георгий Валентинович, это не просто перемена погоды. Вместе с новым, холодным и железным двадцатым веком Россия грозно вступает в новую полосу своего развития. В России начинает выпускать когти новый зверь — уже не просто капиталистический, а империалистический хищник, для постижения которого требуется новое зрение... Зверь вырос, усилился — должны усилить свое оружие для борьбы с ним и мы. И поэтому мы не можем больше стоять на месте, мы обязаны двинуть революционный марксизм дальше, на новую, более высокую ступень — в этом живая природа и философская сущность марксизма. Мы обязаны быть по-новому боеспособно и надежно защищенными от когтей и зубов нового зверя — именно поэтому нам нужна пролетарская сплоченная партия. Именно такая, беспощадно революционная к современному общественному строю пролетарская партия, построенная на решительно новых принципах, будет сильнейшим оружием для победы над империалистическим хищником... И нам нужно торопиться, потому что он набирается новых сил и, защищая свои завтрашние аппетиты, оберегая будущие лакомые куски, уже сегодня дей-

ствует свирепо и кровожадно — в России битком набиты тюрьмы, переполнены места ссылки, чуть ли не каждый месяц слышишь о провалах социалистов во всех концах России, о поимке транспортов, о взятии агитаторов, о конфискации литературы и типографий... Зверь топчет своих противников и врагов, давит их, душит, расстреливает, вешает — и давно вешает!.. Но процесс не останавливается, а захватывает все более широкие районы России, проникает все глубже и глубже в рабочий класс, все больше и больше привлекает к себе общественное внимание всей страны. И все экономическое развитие России, вся история русской общественной мысли и русского революционного движения гарантируют и ручаются за то, что социал-демократизм в России тоже будет расти, несмотря на все препятствия, и преодолеет их... Вот о чем говорится в нашем проекте заявления от редакции, Георгий Валентинович, и разве есть здесь хоть малейший, хоть какой-нибудь оппортунизм?

— ...

— Далее, мы говорим о том, что современный период кажется нам критическим именно потому, что движение в силу органически заложенных в нем здоровых начал перерастает свою раздробленность и кустарничество, настойчиво требуя перехода к высшей, более объединенной и лучше организованной форме... Само собой разумеется, что в известный период эта раздробленность совершенно неизбежна, отсутствие преемственности естественно после долгого периода революционного затишья. Несомненно также и то, что разнообразие местных условий, различие положения рабочего класса в тех или иных районах и, наконец, особенности во взглядах местных деятелей будут существовать всегда и что именно это разнообразие свидетельствует о жизненности движения и о здоровом его росте... Но ведь раздробленность и неорганизованность вовсе не являются необходимым следствием этого разно-

образия. Сохранение преемственности и объединение отнюдь не исключают разнообразия — напротив, они создают даже более широкую арену и свободное поприще... Где же тут оппортунизм, Георгий Валентинович?

— Узкий практицизм, Владимир Ильич, оторванный от теоретического освещения социал-демократии в ее целом, способен разрушить связь между социализмом и революционным движением в России, с одной стороны, и между стихийным рабочим движением — с другой. Это не вымышленная опасность. Ею насквозь пропитаны все сочинения «экономистов». И она уже начала рельефно проявляться в особом направлении русской социал-демократии, которое наносит прямой вред и с которым необходима бескомпромиссная борьба!

— Правильно, все абсолютно правильно, Георгий Валентинович.

— А та пародия на марксизм, которая существует в русской легальной литературе о марксизме? Ведь она же способна только развращать общественное сознание и еще более усиливает раздробленность, шатания, разброд и анархию в среде русской социал-демократии. И благодаря такому положению вещей всемирно известный с-сукин сын Бернштейн, этот ничтожный банкрот и пламенный оппортунист, печатно орет на весь белый свет, потеряв последние остатки совести, о том, что большинство действующих в России социал-демократов стоит на его стороне. А наши местные «молодые» повторяют эту ложь в своих туалетных изданиях.

— Георгий Валентинович, а может быть, все-таки преждевременно судить о вероятности образования в русской социал-демократии этого особого направления? Я, например, отнюдь не склонен решать этот вопрос в утвердительном смысле уже теперь и не теряю надежды на возможность совместной работы с представителями ожидаемого вами особого направления...

— Вот это, Ульянов, я и называю началом оппортунизма!

— Георгий Валентинович, да ей-богу же нет тут никакого оппортунизма! Мы же не закрываем вообще глаза на серьезность положения и отлично понимаем, что делать это было бы еще вреднее, чем преувеличивать возможность возникновения особого направления.

— ...

— Одним словом, Георгий Валентинович, какой же практический вывод напрашивается из проекта нашего редакционного заявления? Очень простой и ясный и отнюдь не оппортунистический: русским социал-демократам необходимо направить все усилия на образование партии, ведущей борьбу под знаменем ярко выраженной, современной революционной социал-демократической программы, охраняющей преемственность нашего движения и систематически поддерживающей его организованность.

— В этом практическом выводе, Ульянов, нет ничего нового. Его сделали еще два года назад русские социал-демократы, когда собрались в Минске на свой первый съезд, образовали Российскую социал-демократическую рабочую партию, приняли «Манифест» партии и объявили киевскую «Рабочую газету» официальным органом партии.

— Георгий Валентинович, но согласитесь с тем, что создать и упрочить партию — это значит создать и упрочить объединение всех русских социал-демократов, а такое объединение нельзя просто объявить и декретировать, его нельзя ввести по одному только решению какого-либо собрания представителей, его необходимо выработать, именно — вы-ра-бо-тать... Необходимо выработать, во-первых, общую литературу партии, чтобы она объединяла все наличные литературные силы, чтобы она выражала все оттенки мнений и взглядов среди русских социал-демократов не как изолированных работников, а как това-

рищей, связанных общей программой и общей борьбой в рядах одной организации. Необходимо выработать, во-вторых, организацию, специально посвященную сношениям между всеми центрами движения, доставке полных и своевременных сведений о движении и правильному снабжению периодической, социал-демократической прессой всех концов России. Только тогда, когда будет выработана такая организация, когда будет создана русская социалистическая почта, партия получит прочное существование, только тогда партия станет реальным фактом... Поэтому мы и написали в нашем редакционном заявлении, что исходя из такого характера наших перспектив мы и собираемся вести наши новые печатные органы. И обсуждение теории и практики на их страницах нам, естественно, хотелось бы неразрывно связать с выработкой программы партии, которую, я надеюсь, мы опубликуем в самом недалеком будущем. А всестороннее ее обсуждение в газете и журнале должно дать достаточный материал для съезда партии, перед которым встанет непосредственная задача принятия программы...

— Владимир Ильич, а как вы представляете себе распределение тематики между газетой и журналом?

— Распределение тематики, я думаю, будет определяться исключительно различиями в объеме и характере этих изданий.

— То есть?

— Наверное, журнал должен преимущественно служить делу пропаганды, а газета — агитации.

— Другими словами, газета предназначается вами для материалов о рабочем движении, а журналу вы отдаете все относящееся к области теории социализма, науки и политики, не так ли?

— Боюсь, что вы неправильно меня поняли, Георгий Валентинович.

— Почему же неправильно? Газета — для рабочих,

журнал — для интеллигенции. Такое распределение тематики вы имели в виду?

— Нет, не такое.

— А какое же?

— Мы хотим соединения и в газете, и в журнале всех сторон, всех проявлений и всех конкретных фактов рабочего движения с теорией социализма, с наукой и политикой. Мы хотим освещать лучом теории каждый частный случай стихийного рабочего движения. Мы считаем необходимым вносить все вопросы политики, все вопросы организационного устройства партии в пропаганду и агитацию среди самых широких масс рабочего класса, чтобы каждый сознательный пролетарий усвоил научное, правильное, революционное отношение ко всем проблемам, выдвигаемым жизнью и нашим движением, ко всем аспектам внутреннего и международного положения — без этих условий сейчас невозможна широкая, планомерная агитация и пропаганда... Нам нужно попытаться создать более высокую форму агитации — посредством газеты, периодически регистрирующей и рабочие жалобы, и стачки, и все другие формы пролетарской борьбы, и все проявления политического гнета во всей России. Из каждого такого единичного факта газета должна делать определенные выводы применительно и к политическим задачам русского пролетариата, и к самым конечным целям социализма...

— Слушая вас сейчас и пытаясь проникнуть скудным своим умишком в глубину ваших намерений, зашифрованных этим премудрым заявлением от редакции, я невольно задался следующим вопросом. Если предполагаемые вами печатные органы должны служить целям объединения всех русских социал-демократов и сплочения их в одну партию, а следовательно, должны, по вашему мнению, отражать все оттенки их взглядов, все местные особенности, все разнообразие практических приемов, то как же тогда

совместить это соединение разнородных точек зрения с редакционной цельностью новых печатных органов? Должны ли быть эти органы просто сводом разнообразных воззрений или они будут иметь совершенно самостоятельное и абсолютно четко определенное направление?

— Георгий Валентинович, мы, безусловно, считаем, что орган определенного направления вполне может быть пригодным и для отражения различных точек зрения, и для товарищеской полемики между его сотрудниками... Но, предполагая вести свою будущую литературную работу с точки зрения определенного направления, мы отнюдь не намерены выдавать всех частностей своих взглядов за взгляды всех русских социал-демократов, отнюдь не намерены отрицать существующих разногласий или затушевывать их. Напротив, мы хотим сделать наши новые издания органами обсуждения всех вопросов всеми русскими социал-демократами со взглядами самых различных оттенков. Полемику между товарищами на страницах наших новых изданий, Георгий Валентинович, мы не только не отвергаем, а, напротив, заранее готовы уделить ей очень много места.

Обращаясь прежде всего к русским социалистам и сознательным рабочим, мы не станем ограничиваться только ими. Мы будем призывать всех, кого давит и гнетет современный политический строй России, кто стремится к освобождению русского народа от его политического рабства, к поддержке наших изданий. Мы предоставим им страницы наших органов для разоблачения всех гнусностей и преступлений русского абсолютизма. И мы уверены в том, что после такого призыва знамя политической борьбы, которое поднимает русская социал-демократия, может и должно стать общенародным знаменем... Русской социал-демократии стало тесно в том подполье, в котором ведут свою работу отдельные группы и разрозненные кружки... Русской социал-демократии пора уже

выйти на широкую дорогу открытой проповеди социализма, на широкую дорогу открытой политической борьбы. И создание нового общерусского социал-демократического печатного органа должно стать первым решающим шагом на этом пути... Вот к чему, собственно говоря, и сводится весь проект заявления будущей редакции «Искры» и «Зари». И я, Георгий Валентинович, пожалуй, не смог бы обнаружить в нем ни грамма оппортунизма, обвинение в котором прозвучало сегодня в наш адрес...

— Владимир Ильич, хотелось бы спросить у вас, где вы собираетесь издавать «Искру»?

— В Германии.

— Что, что? В Германии?.. Я не ослышался?

— Нет, не ослышались.

— Да почему же, черт побери, в Германии, когда мы-то живем здесь, в Швейцарии? Что за ересь?

— Это объясняется, Георгий Валентинович, многими причинами...

— Чепуха какая-то несусветная!

— В том числе и тем, что так будет удобнее и выгоднее для дела.

— Нет, это решительно невозможно... В Германии! Для чего в Германии? Зачем в Германии?

— Место издания «Искры» выбрано окончательно. Никаких изменений быть не может.

— Вы опять начинаете разговаривать со мной в вашей излюбленной прокурорской манере, Ульянов?

— Георгий Валентинович, наш разговор зашел чересчур далеко...

— Возможно, возможно... Итак, все-таки Германия?

— Да, Германия.

— Когда приезжает Аксельрод?

— Сегодня вечером.

— Переговоры начинаем завтра утром!..

— Согласен.

Глава шестнадцатая

1

Ленин. Ну-с, вот и окончились ничем наши переговоры об «Искре», вот мы и получили пинок от своего кумира. Увесистый и заслуженный пинок... И поделом, поделом! Потому что вели себя как дети, как мальчишки!

Потресов. Все, все! Плеханов больше не существует для меня. Деловые отношения, может быть, и останутся, а личные прерываются навсегда. В личном плане я с ним покончил.

Ленин. И виноваты во всем мы сами — больше винить некого!.. Почему мы согласились, когда Засулич предложила дать ему два голоса при голосовании?

Потресов. Да потому, что он отказался быть вместе с нами соредактором и заявил, что лучше будет простым сотрудником.

Ленин. А вы помните, что он еще сказал при этом? Я-де понимаю и уважаю вашу (то есть нашу с вами) партийную точку зрения, но встать на нее не могу, у меня отдельная, своя позиция...

Потресов. Я просто опешил от этих слов!

Ленин. И я опешил... И вот пока мы с вами сидели опешенные, Засулич и сказала: я предлагаю дать Жоржу два голоса по вопросам тактики, а то он всегда будет в одиночестве... И мы соглашаемся,— соглашаемся, как дети, как мальчишки!

Потресов. Нет, вы помните, как он, получив два голоса, сразу почувствовал себя хозяином положения, взял в руки бразды правления и тоном главного редактора, не допускающим никаких возражений, начал распределять каждому из нас статьи и отделы... И мы сидели

молча, соглашаясь со всем, мы сидели как в воду опущенные, не в состоянии понять произошедшее...

Ленин. А понимать-то было нечего. Нас обманули, нам пригрозили, нас припугнули, как детей: взрослые, мол, уйдут и оставят вас одних... Отказ Плеханова от соредакторства и его заявление, что он-де будет обыкновенным сотрудником — все это с самого начала было хорошо рассчитанным ходом, ловушкой, западней. Ведь если бы он на самом деле не хотел быть соредактором, боясь затормозить дело нашими разногласиями и породить лишние трения между нами, он бы никогда не смог, получив два голоса, уже минуту спустя обнаружить (и грубо обнаружить!), что его соредакторство совершенно равносильно его единоредакторству. То есть мотивы мелкого самолюбия и личного тщеславия вышли наружу... И если человек, с которым хотят близко вести общее дело и становятся в интимнейшие отношения, применяет к товарищам шахматный ход, значит, это человек неискренний, именно неискренний! Неискренний и нехороший... Признаюсь, Александр Николаевич, это открытие — настоящее открытие! — поразило меня как гром...

Потресов. Это было ужасно, Владимир Ильич, просто ужасно...

Ленин. Мы прощали ему все, закрывали глаза на все недостатки, уверяли себя всеми силами, что этих недостатков нет, что это — мелочи, что обращают внимание на такие мелочи только люди, недостаточно ценящие принципы... И вот пришлось наглядно убедиться, что «мелочные» недостатки способны оттолкнуть самых преданных друзей...

Ведь это же драма — понимаете? — настоящая драма! — полный разрыв с тем, с чем связывал всю свою работу...

Потресов. Если бы мы относились к нему хладнокровнее, ровнее, смотрели бы на него немного более со

стороны, мы бы, наверное, не испытали такого краха, такой «нравственной бани».

Ленин. Обидный, резко-обидный и грубый жизненный урок. Самый резкий и до невероятной степени горький в моей жизни... Младшие товарищи «ухаживают» за старшим, а он вдруг вносит в эту любовь атмосферу интриги и заставляет их почувствовать себя не младшими братьями, а дурачками, которых водят за нос, пешками, которые можно произвольно передвигать в любую сторону.

Потресов. А помните, Владимир Ильич, как однажды, еще до приезда Аксельрода, мы гуляли в лесу вчетвером (вы, он, я и Вера Ивановна), и он, положив вам руку на плечо, сказал: господа, я ведь не ставлю никаких условий, вот приедет Аксельрод — все обсудим и коллективно решим...

Ленин. Тогда это меня, признаться, очень тронуло...

Потресов. А вышло все паоборот. С первого же дня переговоров начал ставить условия. Сразу же отстранился от всякого товарищеского обсуждения, сердито молчал. И этим своим молчанием совершенно явно ставил условия.

Ленин. Вообще, «атмосфера ультиматумов» с его легкой, а точнее, с его тяжелой руки возникла как-то сразу, мгновенно. И это очень неприятно отражалось на настроении. Я все время держал себя в напряжении, старался соблюдать осторожность, обходил, как мог, «больные» места. Но он на любое замечание с нашей стороны, способное хоть немного охладить прежние страсти, тут же буквально взрывался в ответ очередной «пылкой» репликой... А потом вдруг замолчал, ушел в себя, погрузился в какие-то свои озлобленные глубины...

Потресов. Вы помните, каким он был во второй день?

Л е н и н. Конечно, помню. До самого обеда сидел молча, чернее тучи.

П о т р е с о в. Сначала была раздражительность, возбужденность, мгновенная реакция почти на каждое слово, и тут же — какая-то угрюмая замкнутость, какая-то странная сверхмнительность...

Л е н и н. И сверхподозрительность ко всему белому свету.

П о т р е с о в. Удивительно, просто удивительно.

Л е н и н. И ничего тут удивительного нет. Он привык в своем «Освобождении труда» слишком долго неограниченно властвовать и высказываться обо всем на свете как угодно... А Засулич и Аксельрод ему непрерывно поддакивают, каждой его сомнительной реплике аплодируют.

П о т р е с о в. Владимир Ильич, вы тоже... что-то уж очень наотмашь...

Л е н и н. А, надоело!.. Он мне еще до приезда Аксельрода всю душу вымотал своей невероятной резкостью, своей абсолютной нетерпимостью, своим нежеланием входить в чужие аргументы... Одним словом, Александр Николаевич, мы с вами предварительно уже договорились о том, что так дальше дело вести нельзя. Он товарищеских отношений не допускает и не понимает. И поэтому мы все бросаем, обрываем переговоры и уезжаем в Россию!..

П о т р е с о в. Что же все-таки с ним произошло, что стряслось с ним, почему его так сильно перевернуло в эти последние годы? В чем причина его именно такого поведения на переговорах?

Л е н и н. Причина ясна. Во-первых, под влиянием своего конфликта с «молодыми» из местных социал-демократов, то есть с «экономистами», он вообще перестал доверять молодежи. Это свое новое отношение ко всяким молодым он ошибочно перенес и на нас, хотя никаких поводов и оснований для опасений мы не давали. Ему

прекрасно известны, например, мои активные выступления против оппортунизма «экономистов» и «легальных марксистов»... Во-вторых, он хотел, чтобы редакция была не в Германии, а здесь, в Женеве, рядом с ним, чтобы все было под рукой, по-профессорски удобно и комфортабельно, чтобы можно было контролировать, влиять, давить, не упускать из виду, а то, не дай бог, уведут все дело из-под носа, как увели в свое время типографию «экономисты»...

Потресов. Вы уверены, что именно по-профессорски?

Ленин. Не уверен, я знаю точно. Я же разговаривал здесь с его ближайшими сторонниками. И они прямо, без обиняков сказали, что редакция желательна в Германии, ибо это сделает вас (то есть нас) независимее от Плеханова, а если «старики» возьмут в руки фактическую, черновую редакторскую работу, то это будет равносильно страшным проволочкам, а то и провалу всего дела... Да ведь и мы с вами, Александр Николаевич, еще в России так решили, что редакторами будем именно мы — вы, Мартов и я, а они — Плеханов, Аксельрод и Засулич — ближайшими сотрудниками. Мы же всегда знали, что они не смогут аккуратно вести черную и тяжелую редакторскую работу. Только эти соображения и решали для нас суть дела. Идейное же их руководство мы вполне охотно признавали... И разве, в конце-то концов, не разрушение именно этой идеи вызвало у нас такой взрыв негодования против неожиданно возникшей и совершенно неоправданной интересами дела тирании Плеханова.

Потресов. Владимир Ильич, вы знаете, о чем я сейчас думаю? Меня неотступно преследует одна и та же мысль: ну, а он сам, наш бывший кумир, он-то хоть понимает — что случилось? Почему переговоры зашли в тупик?

Ленин. Я думаю, понимает.

Потресов. Ведь он сейчас, наверное, тоже волнуется,

переживает, мучается... Ведь не может же он не тревожиться нашим общим печальным результатом?

Ленин. Безусловно, не может.

Потресов. Так в чем же секрет? Где разгадка этого, еще одного несостоявшегося прекрасного замысла?

Ленин. Мы уезжаем завтра в Петербург?

Потресов. Непременно! Никаких других вариантов быть не может. Надо проучить его хотя бы один раз. И показать Засулич и Аксельроду, что есть еще в русской революционной социал-демократии люди, которые не стоят по стойке «смирно» перед тенью авторитетов прошлого!

Ленин. Тень авторитетов прошлого — это, пожалуй, слишком красиво сказано. И по существу неверно сказано. У Плеханова — дай бог всем! — какой авторитет в настоящем... Что это вы его хороните раньше времени? Человеку еще пятидесяти лет нет, он в полном расцвете сил, его вся революционная Европа знает и почитает, а вы его в мусорный ящик...

Потресов. Я что-то вас не понимаю...

Ленин. Сейчас поймете. Плеханов — один из лидеров Второго Интернационала...

Потресов. А вы не забыли, как этот почтенный лидер хотел «лягнуть» на страницах «Зари» другого лидера Второго Интернационала Карла Каутского только за то, что тот не хотел когда-то печатать в своем «Новом времени» его, плехановские, статьи?

Ленин. Вот! Отсюда и надо начинать весь разговор... Несмотря на всю нашу правоту в деле с «Зарей» и «Искрой», все-таки на широком объективном фоне русской социал-демократии Плеханов — это кит...

Потресов. Вот именно! Чудо-юдо-рыба-кит российской социал-демократии!

Ленин. Почти двадцать лет это чудо-юдо теоретически доминирует в русском социализме. Почти два десятилетия эта рыба-кит плывет по волнам впереди всех, почти

безошибочно прокладывая среди подводных рифов и скал свой путь первопроходца благодаря тому, что пользуется новейшим и лучшим «навигационным» прибором — марксистским компасом. Марксизм сделал его неопровержимым оракулом в оценках общественных событий. За все это время никто не мог опровергнуть его мнений по всем вопросам, по которым он высказывался. И благодаря правильности марксизма он уверовал в свою непогрешимость. Абсолютная непогрешимость стала его плотью и кровью. Двадцать лет он дышал непогрешимостью, как воздухом... Но житейское море не может быть неподвижным. Волны революции становятся все сильнее и круче, и даже такая громадина, как чудо-юдо-рыба-кит, ощущает на себе возрастающую силу их ударов. Сильный ум Плеханова, безусловно, отметил новые ветры в русской революции. Но откуда они дуют? Здесь, в Швейцарии, этого не учуешь. Да еще обоняние подпорчено непогрешимостью. И вот он задумался, понимая, что происходит что-то новое, но не видя — где оно? И отсюда — вся нетерпимость, вся резкость, вся озлобленность, все неприятие всего «молодого», потому что оно — незнакомо. Оторванный двадцать лет от России, он проспал здесь, в уютной Женеве, рождение массового русского рабочего движения. То есть умом он признает, что оно появилось, но не ощущает его кожей, потому что нет опыта, нет привычки. И отсюда — отсутствие органического интереса к нему. И здесь — главный промах, так как это — гвоздь момента. Вы вспомните, Александр Николаевич,— ведь он же не задал нам ни одного вопроса относительно практической стороны сегодняшнего рабочего движения в России. Ему чужды детали и мелочи пролетарского дела, и это, конечно, беда его, а не только вина, в этом вообще — трагедия эмиграции... А сознание своей полной непогрешимости осталось. Сознание непогрешимости осталось, а живых впечатлений нет, пища для ума — отсутствует. И непогрешимость на-

чинает мертветь, превращаться в свою противоположность. Плеханов, один забежав когда-то далеко вперед, потерял ориентировку на русской местности, ему не с кем было «аукаться», чтобы не заблудиться. И он остановился... Россия девяностых годов с ее бешеным галопом капитализма, оборвавшего вожжи крепостничества, ударившего железным копытом по азиатским степям, пронеслась мимо Плеханова. Пока державшиеся в его памяти живые факты русской действительности укладывались в рамках его марксистских мыслей, он был на уровне капитанского мостика, на высоте своей задачи пролетарского «учителя жизни». Но теперь все изменилось. Он оказался на мели — в смысле своих представлений о русском рабочем движении... И тут появляемся мы... Паркет европейской, профессорской социал-демократии трещит у нас под ногами, а от нас пахнет ссылкой, тюрьмой, шинелью урядника, окалиной и сажей петербургских заводов, за нами встает каторга, виселицы, завьюженные сибирские этапы, суды, трибуналы.

Потресов. Владимир Ильич, а может быть, он всетаки поймет когда-нибудь?.. Наверняка он сейчас тяжело переживает все случившееся. Может быть, ему надо помочь? Ведь это же Плеханов...

Ленин. Вы завтра в Петербург возвращаться собираетесь? Не раздумали?

Потресов. Нет, не раздумал, это твердо.

Ленин. Когда-нибудь, может быть, и поймет.

Потресов. Да. Грустно, печально, невесело... Ехали с большими надеждами, а возвращаемся с пустыми руками.

Ленин. Почему же с пустыми? Накоплен опыт, изжита еще одна иллюзия.

Потресов. Жалко, очень жалко.

Ленин. И мне жалко... Об успехе нашего предприятия и его огромном значении для революции в России я

думал все эти годы в сибирской ссылке. Долгими зимними вечерами думал, под завывание метелей в сельце Шушенском. Надеялся и мечтал...

Потресов. Владимир Ильич, неужели мы окончательно сдаемся?

Ленин. Сдаемся? Никогда! Вот приедем в Россию, оглядимся и начнем все заново.

Потресов. Значит, едем...

Ленин. Безусловно. И выложим Плеханову завтра весь этот разговор без утайки, до конца.

Потресов. Представляю себе его лицо, когда он это услышит.

Ленин. А я, откровенно сказать, не представляю...

Вот так чуть было не потухла «Искра».

На следующее утро в дом, где жили Ленин и Потресов в Женеве, явился гонец от Плеханова.

Это был Павел Борисович Аксельрод.

Было еще совсем раннее утро.

В комнату Потресова, где сидит Аксельрод, входит Ленин. Аксельрод расстроен, растерян, смущен, что-то шепчет самому себе, нервно дергается, пожимает плечами, делает руками неопределенные жесты.

— Я уже все рассказал,— твердо говорит Потресов,— все, о чем мы говорили вчера.

Аксельрод успокаивается, сидит неподвижно, потом горько и сочувственно качает головой.

— Я вас понимаю, очень понимаю,— тихо говорит он,— Жорж был весьма несправедлив к вам вчера.

Ленин и Потресов молчат.

— Но и вы несправедливы к нему,— продолжает Павел Борисович,— если думаете, что у него могут быть какие-то нехорошие мысли о вас. Он вас любит и уважает. Во всем виноват его дурацкий характер, который мог бы

достаться кому угодно, только не Плеханову с его головой.

Ленин и Потресов молчат.

— Надо только очень осторожно сообщить о вашем отъезде Вере Ивановне,— просит Аксельрод,— очень осторожно. Она может покончить с собой.

— Что, что?! — изумленно переспрашивает Ленин.

— Да, это реальная опасность,— бледнея, говорит Потресов.— Реальная и серьезная.

— Пойдемте сейчас к ней,— тихо говорит Аксельрод.— И убедительно прошу вас, господа,— осторожно, предельно осторожно...

Они выходят из дома и молча идут к Засулич. Молча и скорбно. Словно траурная процессия. Будто несут покойника.

Идут, не глядя друг на друга, не разговаривая, не подпимая глаз, подавленно и угрюмо, похожие на людей, охваченных горечью утраты, потерявших совсем недавно очень близкого и дорогого человека.

Засулич долго молчит, не проявляя сразу, вопреки опасениям Аксельрода, особенно резкого возбуждения. Но видно, что все у нее внутри сдвинулось с места, перекосилось, поехало в сторону и вот-вот закружится в неуправляемом, безумном хороводе чувств.

Она сидит неподвижно, уронив руки, опустив голову.

Потом поднимает глаза, и в жалком ее взгляде появляется выражение смертельной тоски, униженности, раболепия. Она упрашивает, умоляет не уезжать... Нельзя ли повременить, подождать, нельзя ли отменить это ужасное решение — ехать... Может быть, стоит попробовать? Может быть, на деле не все будет так уж плохо, за работой наладятся отношения и не так открыто будут видны отталкивающие черты характера Жоржа?

Лицо Засулич как бы теряет определенные очертания, становится бесформенным, на глаза падают волосы, она все время поправляет их, ломает пальцы, губы ее дрожат, судорога душевной боли искажает лицо...

Ленин потрясен. Ему тяжело смотреть на Веру Ивановну, тяжело видеть ее — гордую, независимую, мужественную, никогда не жившую для себя, страстно преданную только революции — до такой крайней степени униженной, раздавленной искренними страданиями за Плеханова, рвущей свое сердце на части из-за Плеханова, с отчаянным героизмом («героизмом раба» — так скажет потом Потресов) несущей тяжкий крест своей преданности Плеханову, свою непосильную ношу ярма плехановщины...

Тридцатилетнему Ленину невыносимо трудно видеть и слышать седую, пятидесятилетнюю женщину, почти стоящую перед ним на коленях, просящую за другого, умоляющую быть к нему снисходительным.

На глаза Ленина наворачиваются слезы. Он вот-вот расплачется... «Когда идешь за покойником,— думает Ленин,— расплакаться легче всего именно в том случае, если начинают говорить слова жалости и отчаяния».

Потресов и Ленин уходят от Засулич, попросив ее и Аксельрода передать Плеханову содержание их разговоров и уведомить его о своем твердом намерении вернуться в Россию.

В назначенный час Ленин и Потресов возвращаются к Вере Ивановне. Плеханов уже здесь. Чувствуется, что ему уже все рассказали — в деталях.

Здоровается молча — кивком головы. Очень спокоен, сдержан, вполне владеет собой. Ничего похожего на взволнованность Аксельрода и Засулич. (Бывали и не в таких переделках, и, как видите,— ничего, выжили, выплыли.)

Ленин отмечает: широколобая голова Плеханова с запавшими висками чуть больше, чем обычно, чуть удивленнее, надменнее — откинута назад. Взгляд — как бы широко обозревающий окрестность, как бы со второго этажа. Мохнатые «зверьки»-брови, изогнувшись и слегка шевелясь, тайно «караулят» друг друга. Обвисшие длинные усы — два вопросительных знака у рта. Клин бороды — знак восклицательный. Все значительно, надежно, уверенно, все на своих местах, готовое к продолжению драки.

Только в глазах, на самом дне зрачков, иногда вспыхнет и сразу гаснет некий пристальный огонек — будто покажется и тут же исчезает длинная тонкая иголка.

«Нет, нет, он все-таки напряжен,— удовлетворенно думает Ленин,— не так уж все ему безразлично, как он пытается представить. Внутренне он, безусловно, задет нашим решением уехать. Но как великолепно держится, черт возьми! Какой замечательный актер — все мускулы лица под контролем. И этим он невольно тащит внимание на себя, вовлекает в свою сферу, притягивает... Нет, что там ни говори, а какой-то гипноз в этом лице все-таки есть. Оно влияет, формирует состояние окружающих, диктует настроение».

Плеханов что-то постороннее говорит Вере Ивановне, бросает шутливую реплику Аксельроду, улыбается.

«Хорош дядя! — невольно усмехается Ленин.— Решается вопрос многих лет работы и жизни, а ему хоть бы что. Непринужден, обаятелен, респектабелен...»

— Итак, господа? — неожиданно раздается голос Плеханова.

Он обводит всех внимательным взглядом. Нечто искренне заинтересованное, строгое есть в нем, в этом озадаченном общим молчанием взгляде. Нечто заботливое и как бы даже материнское. В самом деле — я же вас всех «породил», господа, мой мозг, мои мысли и книги вызва-

ли вас к жизни, мои сочинения «вскормили» вас, сделали такими, какие вы есть, и привели сюда. Так что же вы все молчите, заставляя меня переживать и беспокоиться за вас — вас, сотворенных из моего ребра, глядящих на мир моим зрением, состоящих из моей плоти и крови, только благодаря мне и существующих на белом свете...

«Адам, Зевс, царь и бог и земский начальник,— с иронией думает Ленин.— Вот он посмотрел в окно этим своим мудрым взором и лишний раз убедился в том, что все увиденное там — озеро, город, небо, горы — тоже, несомненно, создано им... Каким маленьким делается человек, когда он переоценивает свои возможности, каким слабым становится он, сосредоточиваясь только на личном, индивидуальном, погружаясь в пучину своих тайных страстей. Это эмиграция сделала его таким. Эмиграция и отрыв от России, от русских людей, среди которых он вырос, исказили его характер, превратили этот характер в темную противоположность его светлого ума философа и материалиста... Как относиться к этому? Ведь даже если мы разойдемся сейчас, все равно придется встречаться, сталкиваться... С ним надо бороться за него же самого. Не пресмыкаться перед ним, как Аксельрод и Засулич, а бороться с Плехановым за Плеханова. Вытаскивать из женевского одиночки, из европеизировавшегося социалистического барина мсье Жоржа того двадцатилетнего юношу, который четверть века назад произнес возле колоннады Казанского собора в Петербурге первую в России публичную политическую речь против самодержавия... Русским рабочим нужен не самодовольный лидер Второго Интернационала, а тот Плеханов, который двадцать лет держал в своей вытянутой руке факел русского марксизма. Вот за такого Плеханова мы и поборемся с этим женевским интриганом мсье Жоржем, по уши провалившимся в болото своего профессорского эгоизма и тщеславия».

Потресов, наконец, начинает говорить с нервной сухостью и плохо скрываемым раздражением. Он кратко излагает суть дела: мы не считаем больше возможным вести переговоры, отношения сложились совершенно нетерпимые, мы ставим точку и уезжаем в Россию.

Плеханов, уловив слабость в интонации Потресова — нервы и раздражение,— снисходительно поглядывает на него.

— И это все? — с наигранным простодушием спрашивает он, когда Потресов умолкает.

— Да, все! — вызывающе повышает голос Потресов.

— А в чем же тогда, собственно, дело, господа? — искренне недоумевает Плеханов.— Я ожидал более серьезного и глубокого разговора.

— Наша совместная работа не может проходить в атмосфере сплошных ультиматумов с вашей стороны,— говорит Потресов.

— Уль-ти-ма-ту-мов?! — резко подается вперед Плеханов.— Да в чем же вы увидели ультиматумы?

— А вчерашний день? — напоминает Потресов.— Ваш мнимый отказ от соредакторства?.. А многозначительное молчание в первые дни, которым вы непрерывно ставили условия?

— Так, так,— откидывается назад Плеханов.

Он скрещивает руки на груди. Мохнатые брови взметнулись вверх и опустились. Вопросительные «знаки» усов распрямились, агрессивно торчат острыми пиками в разные стороны. Клин бороды гвоздем вбит в пол.

— Так, так,— повторяет Плеханов, закидывая назад голову.

Взгляд — со второго этажа. С высоты. С вершины холма. Обозревая окрестность... Иглы зрачков кольнули Аксельрода,— тот кисло улыбнулся. Вера Ивановна смотрит вниз, не чувствуя, что «сам» ищет ее внимания.

— Значит, вы решили,— торжественно начинает Плеханов,— что после выхода первого номера «Искры» я могу устроить вам забастовку, начну стачку и тем самым остановлю вашу «фабрику» — сорву выход второго номера. Этого вы испугались?

Засулич поднимает голову, натянуто улыбается. Она оценила шутку. Аксельрод пожимает плечами, делает рукой неопределенный жест. Потресов хмуро молчит, не решаясь играть словом «стачка».

— Конечно, именно этого мы и опасались,— холодно и спокойно звучит в тишине громкий голос Ленина.— Именно об этом и говорил Александр Николаевич. А в том, что вы умеете хорошо бастовать, мы убедились вчера. Ваш уход в рядовые сотрудники с мгновенным возвращением в качестве главного редактора — отличный пример того, как надо проводить стачку, чтобы вырвать уступки.

Появление в комнате государя-императора Николая Второго в полной парадной форме не смогло бы произвести более сильного впечатления, чем эти слова Ленина.

Засулич испуганно смотрит на Ленина. Аксельрод закрылся рукой. Из глаз Плеханова летят в сторону Ленина тысячи тонких иголок. Мохнатые брови-«зверьки», изогнувшись, прыгают вверх-вниз каждая сама по себе. Лицо вышло из-под контроля.

— Что вы этим хотите сказать, Ульянов? — нервно спрашивает Плеханов.— На что намекаете? Неужели вчерашний день произвел на вас такое сильное и тяжелое впечатление?

— Да, это было сильное впечатление,— невозмутимо отвечает Ленин,— одно из сильнейших в моей жизни.

— Какая-то чепуха! — резко поднимается с места Плеханов.— У вас все впечатления и впечатления. Ничего конкретного, одни чувства.

Он делает несколько быстрых шагов по комнате, садится. Уже нет того взгляда — с высоты, со второго эта-

жа, обозревая окрестность. Запавшие виски широкого лба покрылись испариной.

Ленин и Потресов молчат.

Долгая, тяжкая пауза.

— Значит, решили все-таки ехать? — нетерпеливо спрашивает наконец Плеханов.

— Да, решили.

— Тогда, что уж толковать...

Руки снова скрещены на груди, голова надменно закинута назад. Взгляд не со второго этажа — с колокольни, с вершины неведомого и никому не доступного холма.

— Если вы уезжаете,— отчетливо выговаривая каждое слово, медленно произносит Плеханов,— то считаю необходимым предупредить вас о следующем... Я здесь сидеть сложа руки не стану и до того, пока вы одумаетесь, могу вступить в иное предприятие...

«Пугает! — мгновенно отмечает про себя Ленин.— Опять интрига, опять шахматный ход!.. Он ничего не понял, ни в чем не разобрался... Ах, Георгий Валентинович, Георгий Валентинович! Ничто не могло вас так уронить, как именно эти слова...»

— Так что же? — спрашивает Плеханов.

«Он еще не теряет надежды сломать нас,— думает Ленин.— Не поддаваться! Нам не нужен женевский интриган мсье Жорж, нам нужен совсем другой Плеханов. Твердость на твердость».

— Так что же?

«На войне как на войне. Не обращать никакого внимания на эту угрозу. Я чувствую — она последняя. Ни в какое другое предприятие он не вступит. Это не настоящее. Он все это придумал только что. Он будет наш — последние минуты проклятый упрямый характер удерживает его на старых позициях. Он сопротивляется, не понимая, что интересы дела на нашей стороне... Нет, мсье Жорж, мы не уступим твоей фанаберии, твоей вздорной натуре,

мешающей, как камень на шее, прежде всего тебе же самому. Ты тверд, но и мы не мягче. Мы не сдадимся, потому что мы кругом правы, на нашей стороне польза для многих людей — для движения, для партии, для революции! А на твоей — только личное, только индивидуальное, только честолюбие и тщеславие!»

И Плеханов не выдержал...

В страшном возбуждении начал ходить он по комнате, размахивал руками, суетился, нервничал, бросал отрывистые слова, не заканчивал фраз. Засулич и Аксельрод с изумлением наблюдали за ним. Таким они не видели Жоржа никогда.

А он говорил, говорил, говорил, вспоминал все обиды, когда-то причиненные ему местными «молодыми» социалдемократами, жаловался на усталость, несправедливость, равнодушие, грозился все бросить, все оставить, на все махнуть рукой, уйти в чисто научную литературу.

Находившись, наговорившись и, по-видимому, даже устав, он подошел вплотную к Ленину и, глядя прямо в глаза, спросил, едва сдерживая дрожь в голосе:

— Вы понимаете, что разрыв с вами равносилен для меня полному отказу от политической деятельности? Равносилен моей политической смерти?!

Ленин, не отводя взгляда, молчит.

— Если я не могу договориться даже с вами, я не смогу уже больше разговаривать ни с кем!!

Ленин, не отводя взгляда, молчит.

— Если я не буду работать в революции вместе с вами, то я не буду работать для нее уже никогда!!!

«Искренен он хоть сейчас-то или неискренен? — волнуясь, напряженно думает Ленин.— Или снова маневр? Не помогло запугивание — надо попробовать лесть, а? Но ведь слова, которые он произносит, слишком значительны,

слишком серьезны, чтобы оставлять их без внимания, без ответа... Верить или не верить? Надо попробовать поверить... Но не хотелось бы ошибиться. На этот раз нельзя уже ошибаться. Момент ответственнейший... Искренен или неискренен? Маневр или правда?..»

На следующий день (день отъезда) Потресов будит Ленина необычно рано.

— Спал очень плохо,— говорит Потресов,— всю ночь продолжал ругаться во сне с дядей Жоржем.

Ленин смеется.

— Надо кое-что обдумать,— продолжает Потресов.— Хотелось бы все-таки хоть как-то наладить и начать дело. Нельзя же бросать все на полдороге...

— Наверное,— соглашается Ленин.— Наверное, нельзя оставлять все это в таком положении, когда из-за личных отношений может погибнуть серьезное партийное предприятие.

— Идем к «старикам»? По дороге все расскажу подробно.

— Идем.

Они шли вниз по улице почти бегом, то и дело обгоняя друг друга.

И вдруг остановились...

Навстречу им поднимались Засулич и Аксельрод.

— Мы к вам,— устало сказал Павел Борисович, останавливаясь.

— Жорж совершенно убит,— вздохнула Вера Ивановна.— Всю ночь не спал — ходил по кабинету и кашлял.

— Возьмете грех на душу,— добавил Аксельрод,— если уедете, не зайдя к нему.

— Идемте, идемте! — заторопил Ленин.— Есть варианты для примирения.

Плеханов ждал...

Скрывая радость, сам открывает дверь, протягивает руку. Спрашивает у Потресова о здоровье.

— Благодарю,— сухо отвечает Потресов.

Плеханов делает странный жест рукой — будто хочет обнять Потресова. Тот отшатывается.

— Нервы, нервы,— смущенно бормочет Плеханов,— у всех нервы ни к черту. Из-за этого и недоразумения. Печальные недоразумения.

Все проходят в кабинет, рассаживаются.

— Последний разговор,— начинает Ленин.— Имеется три варианта по вопросу организации редакторских принципов. Первая: мы редакторы, вы,— кивок в сторону хозяина,— сотрудник... Вторая: мы все соредакторы... Третья: вы, Георгий Валентинович,— редактор, мы — сотрудники.

— Третий вариант решительно исключается,— быстро говорит Плеханов.— Я категорически настаиваю на этом.

— А первые два?

— Согласен на любой.

— Владимир Ильич,— спрашивает Засулич,— а вы за какой пункт?

— Я за второй. Все — соредакторы.

— Александр Николаевич?

— Второй.

З а с у л и ч. Пожалуй, и я за второй.

А к с е л ь р о д. Я тоже.

— Прекрасно,— подводит итог Ленин.— Таким образом, можно считать, что второй вариант организации редакторского дела прошел единогласно. Отныне все мы — соредакторы. Поздравляю вас, господа.

— Как быстро все решилось! — смеется Засулич.

— И совершенно бескровно,— добавляет Плеханов.

Улыбка не сходит с его лица. Усы, борода, брови,

счастливый блеск глаз — все смешивается в нечто веселое и добродушное.

— Владимир Ильич,— спрашивает Плеханов,— ну а теперь когда же ехать?

— Теперь все равно сегодня,— отвечает Ленин.— В Германии ждет типография.

2

В декабре 1900 года в Лейпциге вышел первый номер «Искры». Первая общерусская нелегальная марксистская газета начала жить.

Плеханов написал Ленину по поводу второго номера «Искры», что ему он очень понравился — живая и умная газета.

Но когда Ленин поблагодарил его за этот отзыв, «мсье Жорж» ворчливо ответил: «Напрасно вы благодарите меня; на Ваше дело я смотрю как на свое собственное».

В пятидесяти номерах ленинской «Искры», заложивших фундамент революционной рабочей партии России, Георгий Валентинович Плеханов выступал тридцать семь раз.

Однажды из-за нехватки денег возникла реальная угроза прекращения газеты. «Искру» надо спасти во что бы то ни стало,— ударил в набат Плеханов,— и если для спасения ее нужно обратиться к самому черту, то мы и к нему обратимся».

Весной 1901 года группа эмигрантов-анархистов, возбужденная на своем очередном митинге слишком горячим оратором, сорвала двуглавого орла со здания русского посольства в Швейцарии. Газеты пустили слух, что во главе демонстрации анархистов шел Плеханов.

Это было смешное обвинение, вызвавшее улыбку у всех серьезных людей, но тем не менее Георгия Валенти-

новича вызвали на допрос в федеральный департамент юстиции.

Плеханов, сумевший доказать свою непричастность к беспорядкам, сообщил в очередном письме Ленину в Мюнхен об этом инциденте. «Дорогой Георгий Валентинович! — тут же откликнулся Ленин.— Мы очень и очень рады, что Ваше приключение окончилось благополучно. Ждем Вас: поговорить надо бы о многом и на литературные, и на организационные темы...»

И вот он в Мюнхепе. Встречается и работает с Лениным, бывает в редакции «Искры», которая переехала сюда из Лейпцига, участвует во всех редакционных делах, читает статьи, гранки, верстку, письма из России, обсуждает вышедшие и будущие номера, готовит в печать свои материалы.

И вдруг...

Седой, сгорбленный старик сидит перед ним, и по лицу старика текут слезы. Текут слезы и по лицу Плеханова.

Это Лев Дейч, бежавший с каторги из Сибири и семнадцать долгих лет не видевший друзей.

— Женька, Женька,— шепчет сквозь слезы Георгий Валентинович, называя Дейча его старой подпольной кличкой,— что же они, подлецы, сделали с тобой?

Он чувствует себя смущенно и неловко: все эти годы он (в общем-то удобно, спокойно и мирно) писал свои статьи и книги, а его старый товарищ ходил в цепях, возил тачку в сибирских рудниках...

Но Дейчу чужды какие-либо упреки.

— Ничего, ничего,— шепчет Лев Григорьевич, вытирая слезы,— мы еще поработаем...

Плеханов приводит Дейча в типографию «Искры», и

стосковавшийся по революционной работе седобородый «Женька», будто и не было семнадцати каторжных лет, с головой окунается в «искровские» дела.

В конце 1901 года Ленин берет на себя инициативу организовать празднование юбилея Плеханова — двадцатипятилетия его революционной деятельности. (Ленин не забыл того разговора, который был у него с Плехановым в один из первых дней после его приезда в Швейцарию из России, из ссылки.)

Шестого декабря исполнилось четверть века со дня демонстрации у Казанского собора.

И в этот день Георгий Валентинович получил в Женеве от Ленина письмо: «Редакция «Искры» всей душой присоединяется к празднованию 25-летнего юбилея революционной деятельности Г. В. Плеханова. Пусть послужит это празднование к укреплению революционного марксизма, который один только способен руководить всемирной освободительной борьбой пролетариата и противостоять натиску так шумно выступающего под новыми кличками вечно старого оппортунизма. Пусть послужит это празднование к укреплению связи между тысячами молодых русских социал-демократов, отдающих все свои силы тяжелой практической работе, и группой «Освобождение труда», дающей движению столь необходимые для него: громадный запас теоретических знаний, широкий политический кругозор, богатый революционный опыт.

Да здравствует революционная русская, да здравствует международная социал-демократия!»

Прочитав письмо Ленина дважды, Плеханов долго сидел один в своем кабинете... Вспоминался Петербург семьдесят шестого года, паперть Казанского собора, рабочие и студенты, пришедшие на демонстрацию, свистки городовых, шинели полицейских и как его уводили с

Невского проспекта в чужой шапке... Какая была фамилия этого человека, прятавшего его в первые дни после «Казанки», первого русского рабочего, с которым он познакомился в Петербурге?

Забылась фамилия, выскользнула из памяти — теперь уже и не вспомнить. Слишком многое случилось за эти двадцать пять лет, слишком много людей и лиц прошло перед ним за эти годы...

Юбилей отмечали широко и шумно — в Париже, Берне, Цюрихе, Женеве. На собрании, где присутствовал юбиляр (оно проходило в огромном женевском зале Гандверка, вмещавшем более тысячи человек), сам виновник торжества, к удивлению присутствовавших, сидел печальный и грустный. Сотни людей, русские революционеры-эмигранты, русские студенты, представители иностранных социалистических партий, приветствовали его долгими и громкими аплодисментами, а он лишь рассеянно кивал головой в ответ, глядя куда-то в сторону.

В конце собрания он сказал:

— Меня часто ругали в жизни, однако я привык к этому и теперь уже спокойно отношусь к нападкам. Но сегодня меня здесь так преувеличенно расхваливали, что я не знаю, куда и деваться... Сочувствие ближних необходимо каждому общественному деятелю, особенно сочувствие молодежи, потому что всякому общественному деятелю приятно знать, что на его место встанут молодые товарищи, которые будут продолжать его дело. И поэтому мне так приятно видеть сейчас перед собой столько прекрасных молодых лиц. Спасибо, друзья, за выражение ваших чувств ко мне!.. Двадцать пять лет назад на Казанской площади было много людей, и многих из них постигло очень тяжкое наказание, совсем несообразное с теми элементарными гражданскими действиями, которые

они совершили... Но у нас есть высшее счастье, друзья! Оно состоит в чувстве гордости и презрения к врагам, в сознании того, что мы отдаем свою жизнь на благо будущего. Понимание этого доставляет каждому революционеру ни с чем не сравнимое удовлетворение своей деятельностью и превращает порой обыкновенного человека, вставшего на путь противоборства с силами зла, в никем и ничем не победимого титана... Большинство русских революционеров, несмотря на лишения, выпавшие на их долю, никогда не жалеют о своем поприще. Я тоже всецело принадлежу к этой категории людей, и, если бы мне была предоставлена сказочная возможность начать свою жизнь сначала, я бы прожил ту свою вторую жизнь совершенно так же, как и эту, первую.

В этот вечер, произнося свою юбилейную речь, он несколько раз пытался вспомнить хотя бы некоторые слова из той далекой речи своей молодости, которую он сказал когда-то возле колоннады Казанского собора. Но время, неумолимое время стерло слова в памяти. И, поняв, что вспомнить ничего не удастся, он после очередной неудачной попытки почему-то вдруг впервые в своей жизни с грустью подумал о том, что главным предназначением его судьбы была все-таки только работа по разрушению старого мира. Строить новый мир ему, наверное, не суждено. Новый мир будут строить они — те, кто сидел в зале. Добив и окончательно разрушив вместе с ним старый мир, подлый мир насилия и угнетения, они начнут возводить мир будущего, мир новых человеческих отношений.

По всей вероятности, уже без него.

«Искра» продолжала набирать силу. Контуры будущей партии все отчетливее и зримее проступали с ее страниц. Выполняя намеченный план, Ленин готовил к публикации в газете программу партии, которую должен был принять предстоящий партийный съезд.

Написанную Плехановым теоретическую часть программы Ленин подверг критике. Вопрос был поставлен четко и определенно: в программе требуется дать конкретный научный анализ развития капитализма и социальной структуры общества в России, развить положение о диктатуре пролетариата как руководстве трудящимися в борьбе за социализм.

После многочисленных дискуссий, споров и переделок был принят окончательный текст проекта программы, который был опубликован в «Искре» для обсуждения всеми русскими социал-демократами.

Программные разногласия снова сгустили тучи на горизонте отношений Ленина и Плеханова. И как во времена рождения «Искры», причиной нового напряжения опять во многом оказался несносный характер «мсье Жоржа».

Критические замечания Ленина по поводу теоретической части программы, автором которой был Плеханов, Георгий Валентинович расценил... как личную обиду. Ему нетерпелось «свести счеты». И под горячую руку, забыв обо всем, что уже возникло и прочно укрепилось между ними, «мсье Жорж» разразился потоком грубейших и совершенно несправедливых упреков и обвинений по поводу аграрной части программы партии, которая была написана Лениным.

Он тут же начал жалеть о сделанном, страдал и мучился сам, изводил и тиранил Веру Ивановну и Аксельрода, но было уже поздно.

Плеханов крепился месяц. Потом не выдержал и написал Ленину письмо. Были в нем, между прочим, и такие строчки: «Пользуюсь случаем сказать Вам, дорогой Владимир Ильич, что Вы напрасно на меня обижаетесь. Обидеть Вас я не хотел. Мы оба несколько зарвались в споре о программе, вот и все».

Ленин тут же ответил: «Дорогой Георгий Валентино-

вич! Большой камень свалился у меня с плеч, когда я получил Ваше письмо... Я буду очень рад поговорить с Вами при свидании... чтобы выяснить себе, что́ было обидно для Вас тогда. Что я не имел и в мыслях обидеть Вас, это Вы, конечно, знаете...»

Мир был восстановлен.

Приближался Второй съезд РСДРП. Для подготовки его и редакционной работы Плеханов выехал из Женевы к Ленину, в Лондон. В течение целого месяца, встречаясь каждый день, они вместе готовили документы будущего съезда.

«Искра» выполнила свою задачу. Вокруг газеты объединились революционные социал-демократические организации России, образовавшиеся на основе идей ленинского организационного плана.

В апреле 1903 года редакция переехала из Лондона в Женеву. Сюда начали съезжаться делегаты Второго съезда.

Георгий Валентинович принимал активное участие в приеме и размещении делегатов. Вместе с женой он встречал гостей из России, устраивал их на квартиры, показывал город и его окрестности, знакомил с достопримечательностями. Розалия Марковна заботилась о питании и быте участников съезда.

Оба они, как в годы петербургской молодости, жили в те дни прямыми делами многих близких по духу людей. Сонный эмигрантский покой провинциальной Женевы был нарушен. Весенние настроения соединялись с радостными ощущениями ожидания и близости большого революционного события.

Плеханову очень хотелось, чтобы съезд состоялся в Женеве — городе, где прошла большая часть его жизни за границей. Но съезд пришлось перенести в Брюссель.

Георгий Валентинович быстро связался с одним из живших там русских эмигрантов, который примыкал к группе «Освобождение труда». Старый знакомый пообещал договориться с бельгийскими социалистами о помещении для заседаний.

В июле делегаты начали покидать Женеву. Готовился к поездке в Брюссель и Плеханов.

В июле 1903 года он откроет в Брюсселе Второй съезд РСДРП, который изберет его ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА Российской социал-демократической рабочей партии.

Эпилог

Прошло пятнадцать лет...

Весной 1918 года в Финляндии, в маленьком местечке Питкеярви под городом Териоки (неподалеку от Петрограда), умирал Георгий Валентинович Плеханов.

Всего год назад вернулся Плеханов на родину. Тридцать семь лет прошло в эмиграции. После мягкого, умеренного климата итальянского курорта Сан-Ремо, на котором он подолгу жил в последнее время, Россия встретила резкими перепадами погоды, суровыми балтийскими ветрами. Давний недуг легких сразу дал себя знать. Через несколько дней после возвращения Плеханов простудился и слег. В сентябре болезнь окончательно сломила его — больше он уже не поднимался.

— В общем-то я чувствовал,— грустно говорил Георгий Валентинович неотлучно находившейся возле его постели Розалии Марковне,— что приехал в Россию умирать.

Зимой его перевезли из Петрограда в санаторий Питкеярви. В середине марта случилось непоправимое —

кровь хлынула горлом. Ее долго не могли остановить. Началась затяжная агония.

Плеханов теперь часто и надолго забывался. Реальные картины прошлого, которые он последними усилиями воли пытался вызвать в памяти, сменялись галлюцинациями. В причудливом, фантасмагорическом сочетании проносились в его потухающем сознании клочки прожитой жизни. Он видел себя то деревенским мальчиком, выступающим на конгрессе Интернационала, то студентом Горного института, открывающим Пятый съезд РСДРП... Федор Шаляпин, стоя на коленях, пел «Боже, царя храни»... Энгельс и Маркс медленно шли между колоннами Казанского собора... Лохматый Эдуард Бернштейн бежал по Невскому проспекту за телегой, на которой, свесив ноги, сидели Каутский и Бебель... По крутому склону Везувия тяжело поднимался в белом пекарском фартуке Максим Горький...

— Роза,— очнувшись, слабым голосом звал Георгий Валентинович,— помнишь Неаполь, залив... И как солнце медленно опускалось в море... Теперь уже не увижу никогда...

Розалия Марковна украдкой вытирала слезы.

— Все время мерещится какая-то чепуха, что-то неестественное,— тихо говорил Плеханов.

Он закрывал глаза. Воспоминания наползали друг на друга, их невозможно было остановить, они мелькали, струились, сливались в одно большое многоцветное пятно... Композитор Скрябин, балансируя руками, шел по перилам Литейного моста... Крейсер «Варяг» с капитаном Рудневым на мостике траурно погружался в Женевское озеро... Броненосец «Потемкин» плыл по Неве под флагом Парижской Коммуны... Священник Гапон и провокатор Азеф вприкуску пили чай с Николаем II на балконе Зимнего дворца...

— Роза, почему я не поехал на Третий съезд?

— Потому что ты был против него...

Сознание возвращалось, крепла память, он выходил из забытья осторожно, постепенно, на ощупь...

— А на Четвертый съезд я поехал... Там снова была война с Ульяновым. Хотели объединиться, но ничего не вышло. Он выступал за национализацию земли, а я за муниципализацию...

Розалия Марковна поправила мужу одеяло.

— Ты очень много разговариваешь сегодня, Жорж...

— Недавно мне приснился сон: мы сидим с Ульяновым за одним столом и вместе пишем программу партии для Второго съезда... Невероятно, да? А ведь когда-то мы сошлись с ним почти во всем... Как давно это было! Сколько бурной воды утекло с тех пор, какие водопады полемики были обрушены друг на друга!

— Жорж, ради бога...

— Ульянов сейчас глава нового правительства... Какую огромную ошибку они совершили, взяв власть! Октябрьская революция была преждевременна...

— Жорж, успокойся...

— Диктатура пролетариата может быть установлена в стране, где рабочий класс составляет большинство населения. В России этого нет! Россия еще не доросла до социалистической революции...

— Успокойся, Жорж, прошу тебя — успокойся...

Неожиданно в комнату вошел и встал в углу Гучков.

— Вы получили мою телеграмму? — мрачно спросил Гучков.— Вам необходимо срочно выехать в Россию.

— Но я приехал в Россию год назад...

— Нет, вы пока еще в Италии. А ваше скорейшее возвращение в Россию было бы очень полезно для спасения отечества. Как военный министр Временного правительства я могу немедленно организовать ваш выезд

через наших союзников — Францию и Англию, а дальше морем — в Швецию...

— От кого я должен спасать отечество?

— От черни!

— ....??

— От вышедшей из повиновения солдатни и мастеровщины, от бунтующих по всей России мужиков!

Он пристально вглядывался в лицо Гучкова. Октябрист. Лидер буржуазно-монархической партии. Сторонник Столыпина. Председатель III Государственной думы. Банкир. Капиталист. Яростный враг рабочего класса и революции. Как он оказался здесь, в этой комнате?

— Вы не ошиблись адресом, господин Гучков?

— Нет, не ошибся. Я читал ваши последние статьи. Вы призываете к войне до победного конца. Нам необходим ваш авторитет, вы нужны нам...

— Кому — вам?

— Истинно русским патриотам...

— Роза, Роза!..

Гучков исчез.

Он открыл глаза. Фигура жены возле кровати колебалась в туманной пелене. Трудно было дышать.

— Роза, мы вернулись в Россию по приглашению Гучкова?

— Нет, мы приехали сами.

— Но мы получали в Италии телеграмму от Гучкова?

— Она пришла в Сан-Ремо после нашего отъезда, когда мы были уже во Франции.

— Неужели она действительно была, эта телеграмма?

— Была...

— Я видел сейчас Гучкова... Вот здесь, в этой комнате... Разве он приходил к нам... тогда, весной, когда мы вернулись?

— Нет, приходили другие...

— Я рад познакомиться с вами,— сказал генерал Алексеев.

— Я тоже,— сказал адмирал Колчак,— очень рад.

— Примите уверения в моем совершеннейшем к вам почтении,— сказал генерал Алексеев.

— Присоединяюсь,— сказал адмирал Колчак,— присоединяюсь целиком и полностью.

— Оставим в стороне наши политические убеждения,— сказал генерал Алексеев,— сейчас не время говорить о них...

— Мы люди военные,— сказал адмирал Колчак,— и наша встреча с вами продиктована логикой событий, положением на фронтах...

— В свое время я прочитал вашу брошюру «О войне»,— сказал Алексеев.— Вы совершенно справедливо утверждаете, что военное поражение России замедлит ее экономическое развитие и будет вредно для дела русской народной свободы...

— Тогда вся Россия рукоплескала вам,— сказал Колчак,— за вашу истинно русскую патриотическую позицию...

— Но я утверждал тогда не только это,— забеспокоился Плеханов,— я говорил еще и о том, что военное поражение России будет полезно для ее государственного строя, то есть для царизма, к низвержению которого я призывал всю жизнь.

— Это не имеет значения,— сказал Колчак.

— Безусловно,— поддержал генерал Алексеев,— главное заключается в том, что вы осудили немецких социалистов, голосовавших в рейхстаге за военные кредиты, и поддержали французских социалистов, тоже голосовавших за военные кредиты.

— Германия напала на Францию,— сказал Плеханов,— для Франции война была справедливой — она защищалась...

— А не кажется ли вам, Георгий Валентинович,— вдруг сказал чей-то очень знакомый голос,— что война была несправедливой и для Франции, и для Германии одновременно?

— Нет,— сказал Плеханов,— не кажется. Предательство вождями немецкой социал-демократии интересов и революционных традиций немецкого пролетариата объясняется ревизионизмом в теории, которым эти вожди были давно уже заражены и с которым я лично всегда боролся. Немецкие социалисты голосовали в рейхстаге за войну с Францией из-за того, что боялись потерять голоса своих шовинистически настроенных избирателей. И поэтому немецкие социалисты стали надежной опорой империалистической политики немецкого юнкерства и немецкой буржуазии.

— Позвольте, позвольте,— сказал знакомый голос,— а разве французские социалисты не предали интересы французского рабочего класса, когда голосовали за военные кредиты? Разве французские социалисты, поддерживая свое правительство, не стали опорой французских капиталистов? Кстати, в это правительство вошел ваш старый друг Жюль Гед...

— Мой друг Жюль Гед не может стать предателем интересов французского рабочего класса! — запальчиво крикнул Плеханов.

— Почему же не может, когда он стал им,— не унимался знакомый голос.

— А потому, что Жюль Гед основал партию французского рабочего класса!

— Сначала основал, а потом предал. И так бывает. Не только с ним одним это случилось.

— Я не позволю в моем присутствии оскорблять моих старых друзей!

— Вы что-то, Георгий Валентинович, очень уже сильно доверяетесь такой ненадежной в политике категории,

как «старые друзья»,— заметил знакомый голос.— Впрочем, когда-то вы, наверное, и к меньшевикам перешли потому, что там были ваши старые друзья — Засулич, Дейч, Аксельрод... Помните, как вы сказали тогда в Женеве — «я не могу стрелять по своим»? А через полтора года эти «свои» стали для вас чужими...

— Вы упрекаете меня в перемене моих взглядов? Но живой человек не может не изменяться...

— Хотите еще один пример изменения ваших взглядов? За два года до начала войны вы писали, что для вас высший закон — это интересы международного пролетариата. Войну же вы находили полным противоречием этим интересам. И призывали международный пролетариат решительно восстать против шовинистов всех стран. Писали вы так или нет?

— Ну, предположим, писал.

— Тогда же вы утверждали, что знаете только одну силу, способную поддержать мир,— силу организованного международного пролетариата, что только война между классами сможет с успехом противостоять войне между народами. Вы автор этих слов?

— Я.

— Так почему же через два года вы стали звать французских и русских рабочих идти убивать немецких рабочих? Почему всего лишь два года потребовалось вам, чтобы самому стать социал-шовинистом и призывать русский и французский народы к уничтожению немецкого народа?

— Господа, господа, не увлекайтесь,— вмешался генерал Алексеев,— свобода слова не должна мешать подготовке к наступлению...

— Вы считаете меня шовинистом? — спросил Плеханов.

— Нет, не считаю,— чистосердечно признался верховный главнокомандующий.

— Помилуйте, какой же здесь может быть шовинизм? — развел руками Колчак.— Вы же любите свою родину?

— Люблю,— сказал Плеханов.

— Так как же можно не желать своей родине победы в войне.

— Победа над Германией приблизит революцию в России,— сказал Плеханов.— Царизм не сможет справиться с теми общественными силами, которые война выдвинет на русскую историческую сцену.

— Ах, оставьте вы царизм, Георгий Валентинович! — махнул рукой Алексеев.— Царя уже нет, теперь надо думать о том, как жить без царя дальше.

— Наступать,— твердо сказал Колчак.— Только наступление даст революции возможность укрепить себя. Помните, Георгий Валентинович, как вы прекрасно говорили об этом в Таврическом дворце сразу же после возвращения в Россию? Я, например, помню вашу речь почти слово в слово...

— Неужели?

— Конечно! У меня очень хорошая память... Вы сказали тогда о том, что раньше защищать Россию означало защищать царя. И это было ошибочно, так как царь и его приспешники на каждом шагу изменяли России... Ну, а теперь, когда мы сделали революцию, мы должны помнить, что если немцы победят, то это будет означать для нас не только иго немецких эксплуататоров, но и большую вероятность восстановления старого режима. Вот почему надо всемерно бороться как против врага внутреннего, так и против врага внешнего. Прекрасно сказано!

— Вот именно — против врага внутреннего! — нахмурился генерал Алексеев.— А кто есть враг внутренний?

— Враг внутренний есть студент! — засмеялся Колчак.— Помните, господа, как фельдфебель учил в юности в кадетском корпусе этой науке? Мы, кажется, все тут прошли в молодости через кадетский корпус?

— Враг внутренний есть большевик,— с грустью сказал генерал Алексеев и вздохнул.— И это очень печально, господа, а может быть, даже и весьма прискорбно для всех нас...

Плеханов заметался по кровати.

— Роза, Роза,— шептал он с закрытыми глазами,— я умер, я умер...

«Опять бред,— подумала Розалия Марковна,— он снова бредит, но впервые... так реально и так страшно, все может оборваться в одну секунду...»

— Я умер, Роза, я умер...

Она смотрела на бескровное лицо мужа — запавшие глаза, заострившиеся скулы, запекшиеся губы — и думала о том, что этот изможденный, истерзанный болезнью человек, с которым она прожила ровно сорок лет, по сути дела, все эти сорок лет был мучеником — своего огромного, гигантского ума, своей противоречивой и сложной натуры, своего резкого и неуживчивого характера, своей суровой судьбы, которая всегда была дерзким вызовом его болезненной плоти. И только могучий дух борца позволяет ему сражаться со своим недугом так упорно и так долго.

И еще ей подумалось о том, что близкая и очевидная смерть, которая своим медленным приближением так изломала его (да и ее тоже), выпила из него все силы, выжала все соки, теперь уже, наверное, будет для него избавлением от невыносимых физических страданий, успокоением источившего его и действительно до конца избывшего себя духа, который так цепко держится за свою физическую оболочку.

Избавлением для него и для нее...

И, подумав так, позволив в секунду внутренней слабости возникнуть этой мысли, она неожиданно горько и неутешно заплакала, проникнувшись почти презрением к самой себе за то, что, усталая и беспомощная, невольно пожелала ему смерти — ему, на которого молилась всю жизнь, который был единственным светом в ее окне, с которым она прошла рука об руку по крутой и каменистой дороге бытия от начала до конца и который все эти сорок лет заменял ей собой весь мир.

— Я умер, Роза, я умер...

— Нет, Жорж, дорогой, любимый, родной, единственный, ты не умер, ты жив! Тебе станет лучше, ты обязательно поправишься, ты будешь жить, и мы снова будем вместе!

— Нет, Роза, я умер,— вдруг совершенно отчетливо и ясно сказал он. — Я умер давно, много лет назад, когда остался один...

«По сути дела, я давно стал одиночкой,— пронеслась в его сознании крутая и беспощадная мысль. — И вокруг меня тоже преимущественно были беспомощные одиночки, не способные услышать истинный голос истории. Засулич, Аксельрод — гордые и независимые одиночки, лишенные вкуса к широкому массовому действию... Единство лишь в словах, но не в поступках... Одиночкам, даже самым талантливым и ярким, нечего делать в политике, особенно в революции... Одиночки обречены на безвестную гражданскую смерть еще до своего физического исчезновения... Умирают при жизни... политические покойники...»

— Может быть, наша беда заключалась в том,— медленно и тихо заговорил он вслух,— что мы были очень ранними, самыми первыми... И Дейч, и Засулич, и Аксельрод, и я... И поэтому мы слушали только самих себя, только свои голоса...

— Вы сделали свое дело. Вы начали...

— Это было очень давно... С тех пор прошла целая вечность... За эти годы Россия много раз звала нас самыми разными голосами. Но мы, привыкшие жить своим маленьким кружком, были плохими капельмейстерами... Мы не сумели ни стать дирижерами, ни занять место в общем хоре. Мы оказались солистами, переоценившими свои вокальные данные...

— То, что сделали вы, никогда не будет забыто...

— Не знаю, не уверен... Теперь в России все идет к тому, чтобы о нас забыли надолго... Ты знаешь, Роза, о чем я подумал сейчас? Может быть, единственным средством победить болезнь было бы для меня здесь...

— Что, что? Что именно? Говори!

— Как это ни парадоксально звучит — быть с Ульяновым. Увы, это всегда было невозможно... Иногда мне кажется, что я остался один тогда, когда мы разошлись с ним, именно тогда... Я слышал его голос. Ему сейчас неимоверно, чудовищно трудно, во многом он ошибается, но он живет и работает на самой вершине. Он остановил на себе зрачок мира, а я умираю внизу, у подножия горы, которую мы начали возводить вместе с Ульяновым, а потом эта гора взяла и сбросила меня вниз... Когда я умру, проси его, чтобы помог уехать во Францию, к детям. Я думаю, он поможет.

— Не говори об этом — ты будешь жить!..

— Нет, я умер, моя жизнь больше не нужна ни мне, ни тебе, ни России, ни революции... Разве я не умер в тот самый день, когда к нам — помнишь? — пришел Савинков и предложил мне возглавить правительство после того, как его люди разгромят большевиков...

Это случилось через несколько дней после свержения Временного правительства. В квартиру Плехановых тихо и осторожно постучали.

— Кто там? — спросила Розалия Марковна, выходя в коридор.
— Откройте,— послышался глухой голос,— здесь друзья...
Розалия Марковна открыла дверь. На пороге стоял Борис Савинков — в низко, на самые глаза надвинутой кепке, в потертом пальто с поднятым воротником.
— Мне срочно нужно увидеть Георгия Валентиновича...
— Он болен, ему нельзя волноваться...
— И тем не менее я прошу о свидании. Дело, по которому я пришел, выше личной судьбы каждого из нас. Речь идет о спасении России...
И вот он сидит перед Плехановым — бывший товарищ военного министра только что низложенного Временного правительства.
Когда-то, в эмиграции, в Швейцарии, он весьма часто появлялся в доме Плехановых. Называл себя чуть ли не учеником и последователем (несмотря на участие в покушениях на Плеве и великого князя Сергея Романова). Уверял, что разделяет взгляды, дарил книжонки собственного сочинения...
— Чем обязан? — сухо спрашивает хозяин дома.
Ему известно, что в своей недавней и недолгой министерской деятельности Савинков вел себя как прожженный авантюрист.
— Георгий Валентинович, вы любите Россию?
— Мне нужно отвечать на этот вопрос?
— Наверное, нет. Это общеизвестно... Так вот, Георгий Валентинович, во имя вашей любви к России могли бы вы стать знаменем ее спасения?
— В каком смысле — знаменем?
— Через несколько дней Совет Народных Комиссаров физически перестанет существовать...
— Что, что?!

— Будет создано новое правительство, в которое войдут лучшие люди России — ее мозг, ее совесть, ее промышленная мощь...

— Для чего вы говорите все это мне?

— От имени тех, кто взял на себя ответственность немедленно ликвидировать преступные последствия Октябрьского переворота, я предлагаю вам возглавить это новое правительство.

— Кто эти люди?

— Вы знаете их. Они были среди тех, кто слушал вас на Государственном совещании в Москве.

...Это было два месяца назад, в августе. В Москву на Государственное совещание съехались представители помещиков и буржуазии, высшее командование армии, бывшие депутаты Государственной думы, руководители кадетов, меньшевиков, эсеров, народных социалистов. Он, Плеханов, получил персональное приглашение... И, выступая перед участниками совещания, он сказал о том, что в этот торжественный и грозный час, который переживает сейчас Россия, на каждом, кто сидит в этом зале, лежит обязанность предлагать не то, что их разделяет, а то, что объединяет. Он призывал представителей промышленно-торговых кругов признать тот неизбежный факт, что в подготовке и совершении Февральской революции заслуги русской революционной демократии велики и неоспоримы, что теперь настало такое время, когда буржуазия, помещики, генералитет и вся русская интеллигенция в своих собственных интересах и в интересах многострадальной России должны искать пути и формы сближения с русским рабочим классом и русским пролетариатом. Он говорил о том, что отныне русская промышленность может развиваться только в том случае, если торгово-промышленный класс поставит перед собой задачу развития производительных сил с одновременным осуществлением самых широких социальных реформ.

И если буржуазия будет способствовать проведению этих реформ, облегчающих положение рабочего класса, то он, Плеханов, почти гарантирует ей, буржуазии, всемерную поддержку со стороны пролетариата, а также свою личную помощь... Он обратился к руководителям меньшевиков, эсеров, кадетов и народных социалистов с предостережением об опасности захвата политической власти, так как Россия переживает в настоящее время буржуазную революцию и ей, России, предстоит теперь очень и очень долгий период капиталистического развития. А это процесс двусторонний: на одной стороне будет действовать и развиваться русская буржуазия, а на другой стороне будет действовать и развиваться русский рабочий класс. И если пролетариат не захочет повредить своим интересам, а буржуазия — своим, то и тот и другой классы должны, не враждуя друг с другом, как прежде, а исходя из взаимно добровольных побуждений, искать новые пути для экономического и политического соглашения, союза и сотрудничества.

— ...Итак, Георгий Валентинович?

— Итак, вы предлагаете мне во имя моей любви к России возглавить правительство после того, как будут ликвидированы «преступные последствия» Октябрьского переворота?

— Почтительно предлагаю, предварительно согласовав нашу встречу со своими единомышленниками.

— А не кажется ли вам и вашим единомышленникам, что способ, которым вы собираетесь устранить большевиков, тоже преступен?

— Помилуйте, Георгий Валентинович, с большевиками все средства хороши — это не люди!

— Почему же не люди? Я и сам когда-то был большевиком. Недолго, правда...

— Это было очень давно. Почти пятнадцать лет назад. За это время вы оборвали с большевиками все связи.

— Неточно излагаете, милостивый государь. В эти годы я и печатался неоднократно в большевистских изданиях, и вместе с большевиками выступал против ликвидаторов, богостроителей и философских ревизионистов. Так что позвольте сделать вам замечание: зовете в премьеры, а политическую биографию мою знаете весьма слабо. С точки зрения парламентской этики, совсем негоже будет мне, сотрудничавшему с большевиками, возглавлять следующее после них правительство, когда вы устроите большевикам Варфоломеевскую ночь.

— Георгий Валентинович, разрешите отвечать по порядку. Во-первых, я полностью отвергаю вопрос о парламентской этике. Он уместен на Западе, в Европе, в тех странах, где существуют и соблюдаются законы... В России же законов не было, нет и не будет от сотворения мира и до конца света!.. О ком ваша печаль, когда вы говорите о парламентской этике? О людях, совершивших Октябрьский переворот и вышвырнувших из Зимнего дворца законное правительство страны?..

— А во-вторых?

— А во-вторых, я прекрасно знаю вашу политическую биографию последних пятнадцати лет. Да, вы сотрудничали с большевиками и печатались в их изданиях в эти годы. Но вспомните, сколько раз нападал на вас Ленин в эти же годы, сколько крови попортил он вам, какими словами называл он вас в своих статьях и брошюрах — забыли?

— Отнюдь нет. Я и сам немало крови попортил Ленину за последние пятнадцать лет.

— А вспомните проклятия в свой адрес со страниц большевистской «Правды» уже здесь, в Петрограде, после вашего возвращения на родину?

— После возвращения в Россию недостатка в проклятиях, которые я посылал со страниц моей газеты «Един-

ство» в адрес «Правды» и политической линии большевиков, тоже не было.

— Вспомните, Георгий Валентинович, улюлюканье ленинцев по поводу вашего участия в патриотическом митинге возле редакции «Единства», когда наши войска восемнадцатого июня этого года перешли в наступление на германском фронте? Вспомните, какие оскорбления со стороны большевиков посыпались на вас за то, что вы шли в тот день среди демонстрантов по Невскому проспекту? Ваш Ленин во всеуслышание назвал вас лжецом! Вспомните его статейку «Союз лжи»... Вспомните его сочинение «Социализм и война», в котором он обвиняет вас в политической бесхарактерности и позволяет себе заявить о том, что вы, Плеханов, о-пу-сти-лись до признания справедливости войны с немцами со стороны России. Да разве может человек, повторяю, «о-пу-стить-ся» до патриотизма, до желания своей родине победы в войне?.. Вздор какой-то, нелепость... Этими словами он оскорбил вас перед всем миром, и такого ни забывать, ни прощать нельзя!

— Мне кажется, что вопрос о моем предполагаемом участии в вашем будущем правительстве вы искусственно сводите к проблеме наших отношений с Ульяновым. Причем делаете это весьма неумело, стремясь разжечь во мне именно личную неприязнь к Ленину, которой на самом деле не существует, и подменить этим самым действительную сумму противоречий между нами. И после этого вы хотите, чтобы я одобрил и благословил ваше намерение стрелять в большевиков, в русских рабочих, которые, несомненно, с оружием в руках встанут на защиту большевиков и Ленина?

— Георгий Валентинович, поэтому...

— Поэтому, Савинков, вы и пришли с предложением, которое, по вашему расчету, должно было бы польстить мне: сделать мое имя знаменем спасения России. Но от

кого нужно спасать Россию? От нее же самой?.. Это глупо. Россию от России не спасешь!.. И поэтому ваша игра шита белыми нитками... В действительности вы просто хотели защититься моим именем от возможных осложнений при осуществлении вашего замысла и выставить меня перед русским рабочим классом как прикрытие и оправдание разгрома большевиков.

— Георгий Валентинович...

— Да, Савинков, вы неплохо прикинули свою шахматную партию, но и я еще могу оценить позицию... Вы изволили заметить, что моя революционная деятельность началась сорок лет назад. Совершенно справедливо. Четыре десятилетия жизни отданы делу русского рабочего класса. И какие десятилетия!.. Полные невзгод и лишений, поражений и побед, борьбы и счастья!.. Нет, Савинков, я не позволю позорить свое имя никакими сомнительными, а тем более — кровавыми псевдореволюционными авантюрами. Русский пролетариат, захватив политическую власть, встал на ошибочный исторический путь, русская революция, распахнув ворота стихийному первородному бунту, вступила в трагическую фазу своего развития. Но тем не менее я, Георгий Плеханов, никогда не буду стрелять в русских рабочих и в русских крестьян, одетых в солдатские шинели. Я вообще не стреляю по своим!

— Георгий Валентинович, разойдясь с Лениным, вы совершили великий исторический подвиг, обозначив для русской революции опасность большевизма. Только ваше имя может сейчас помочь начавшейся в феврале революции сохранить свои результаты. Только ваш авторитет мыслителя европейского масштаба может, как плотина, остановить мутную волну кондовой плебейской инициативы, поднимающуюся в эти дни во всех медвежьих углах России... Георгий Валентинович, в вашей уникальной исторической карьере, на вашем долгом, неповторимом

и благородном пути революционера, в вашем святом поединке с большевизмом осталось сделать один шаг, самый последний шаг... Заклинаю вас ангелом свободы и всеми богами революции — ради великого дела своей героической жизни, которое вы предпочли всем остальным земным благам, радостям и утешениям, решитесь на этот шаг, сделайте его!.. И вы навсегда останетесь в благодарной памяти человечества символом мудрого исцелителя русской революции от гибельного разгула низов...

— Эх, Савинков, Савинков... Хотя вы и написали свои романы о революции, вы всегда были плохим литератором, потому что у вас нет чувства стыда перед изреченным словом... Но вы не только плохой писатель, вы еще и посредственный политик. Собственно говоря, как террорист вы всегда были в политике истериком, а в революции — авантюристом, так как стремление к насилию и жестокости, желание отнять жизнь у другого человека — явление скорее психическое, чем социальное...

— Вы совсем не поняли меня, Георгий Валентинович...

— Когда-то в молодости мне однажды пришлось столкнуться с массовой вспышкой увлечения терроризмом. Это было на Воронежском съезде партии «Земля и воля»... И вот спустя сорок лет мне снова предлагают террор... Впрочем, с Воронежского съезда я ушел сам, но тогда я был молод. Теперь же я стар и нахожусь в своем доме. Так что уходить придется вам, Борис Викторович...

— Это ваше последнее слово?

— Да, последнее.

— Очень сожалею... В случае нашей победы — не обессудьте...

Когда Савинков ушел, Плеханов долго смотрел на пустой стул, на котором только что сидел неожиданный и необычный посетитель.

...долго смотрел на пустой стул...

На секунду показалось, что у него ни с кем и никакого разговора сейчас не было, что все это игра какого-то чужого воображения, внезапно сорвавшийся с древа реальности зеленый плод чьей-то ядовитой фантазии.

Он потер пальцами виски, провел рукой по лицу и еще раз посмотрел на пустой стул... Никакого «подвига» разрыва с Лениным не было. Не было и полного разрыва. Это фактически неверно. Мы и после третьего года обменивались письмами, встречались... Савинков всегда был и остается аферистом, фальсификатором, интриганом. Ни на что другое он не способен. Ишь ты, придумал юбилей — пятнадцать лет борьбы с большевиками, а?

Расхождение с Лениным началось гораздо раньше — в девятисотом году, в самом начале «Искры». Правда, потом отношения наладились и были хорошими и до второго съезда, и на самом съезде, но после съезда...

После съезда Ленин в ответ на его, плехановское, требование пойти на уступки мартовцам — ради мира в партии — написал заявление о выходе из редакции «Искры».

Тогда он, Плеханов, как председатель Совета партии, единолично ввел в редакцию «старых друзей» — Аксельрода, Засулич и Потресова, которых на съезде в редакцию «Искры» не избрали. (Нарушил он тем самым партийную дисциплину? Сделал «Искру» органом борьбы против решений второго съезда? Пожалуй, что да... Но ведь он стремился к единству рядов партии, призывал к уступчивости по отношению к тем, кто мог бы стать товарищами, а не врагами.)

Ленин тогда обвинил его в трусости, в боязни раскола. Ленин утверждал, что единство партии — в твердой позиции, в верности решениям съезда, в войне с мартовцами, а не в уступках им.

Он выступил против Ленина в пятьдесят втором номере «Искры», упрекнув его в резкости. С этого и начал-

ся поворот... Раздосадованный нападками большевиков, он подверг критике ленинскую книгу «Что делать?», которую защищал еще совсем недавно, на втором съезде.

Для многих такое изменение позиции явилось неожиданностью. Опять посыпались предостережения и насмешки. Но он уже закусил удила. Новая линия вела, тащила его за собой, втягивала в завлекающую глубину новых аргументов. «Метаморфоза» произошла. И, как всегда в таких случаях, невольно следуя логике уже много раз происходившего с ним скачкообразного превращения, закручиваясь в стремительном вихре полемики, он мгновенно преодолел расстояние между двумя полярными точками зрения почти во всех разногласиях между большевиками и меньшевиками и вплотную приблизился к позиции меньшевиков.

Но он никогда, даже в те напряженные и сложные времена, наполненные самыми неожиданными и резкими поворотами, не был на все сто процентов вместе с ортодоксальными апостолами меньшевизма. Уже весной четвертого года, вскоре после ухода от большевиков, он хотел порвать и с лидерами новой «Искры». Однако летом он протестует (особая позиция?) против включения большевиков в делегацию русских социал-демократов на Амстердамский конгресс Интернационала.

Он осуждает на конгрессе начавшуюся русско-японскую войну; призывает рабочих всех стран содействовать поражению русского царизма, на глазах всего конгресса целует в президиуме японского социалиста Сен Катаяму. А ровно через десять лет назовет русско-германскую войну справедливой для России, будет звать царских генералов к победе над кайзеровскими, а русских рабочих — убивать немецких: в этом, что ли, заключалась особая позиция — в том, чтобы колебаться, сомневаться, качаться из стороны в сторону?

Кровавое воскресенье. Начало первой русской револю-

ции. Выступая в Швейцарии на митингах и собраниях, он, Плеханов, говорит о том, что в революционной борьбе рабочие не одержат победу мирными средствами — народ должен быть вооружен не хоругвями и крестами, а чем-нибудь более серьезным. И тут же «почтеннейший диалектик» Георгий Валентинович Плеханов «шаркает ножкой» перед Мартовым, поддерживая меньшевистскую тактику выжидания в процессе революции, хотя эта тактика загодя уже опровергнута им же самим. (Опять особая позиция? Непрерывно путаясь в противоречиях, постоянно выбираться из них и, выбираясь, запутываться в новых противоречиях?)

Большевики готовят третий съезд партии. Он, Плеханов, естественно, против его созыва. Он объявляет его незаконным. Грозит исключением из партии будущим участникам съезда.

Меньшевики зовут его на свою конференцию, которую они противопоставляют съезду. Плеханов, естественно, поворачивается к ним спиной, но... спустя некоторое время позволяет уговорить себя и заседает несколько раз с меньшевиками в Женеве.

Он покидает конференцию, не дождавшись окончания, и, получив ее письменные решения, приходит в ярость. Он обвиняет участников меньшевистской конференции в том, что своими решениями они разгромили центральные учреждения партии, созданные вторым съездом. (Но он опять же забывает — как бы забывает? — что он сам уже нанес смертельный удар по одному из главных центральных учреждений партии, редакции «Искры», кооптировав в нее вопреки решениям съезда «старых друзей» — Аксельрода, Засулич, Потресова).

Да, за собой он не замечает, зато зорко следит за другими и скрупулезно фиксирует чужие действия.

Гнев по поводу решений меньшевистской конференции не имеет границ. Он предает анафеме своих недавних

единомышленников. (Еще одна «метаморфоза», еще одно — на этот раз почти болезненное, как считают меньшевики,— превращение). Он жалуется, что ему душно в атмосфере меньшевизма. И в начале июня пятого года меньшевистская «Искра» публикует его заявление о выходе из редакции.

Плеханов больше не меньшевик.

Значит, теперь, спустя полтора года, он снова большевик? Нет, «почтеннейший диалектик» продолжает нападать и на большевиков. Кто же он? Он вне фракций. Он вроде бы сам по себе.

Он прежде всего социалистический писатель, литератор, сторонящийся практической суеты.

Он русский изгнанник, навсегда покинувший родину, чтобы, став на чужбине оракулом, непререкаемо вещать из центра Европы во все стороны света неопровержимые марксистские истины, до глубокого смысла которых нужно еще долго добираться всем остальным участникам социал-демократического движения.

Он над схваткой... Над схваткой ли?

Объявив себя олимпийцем-небожителем от марксизма, он тем не менее бешено рвется из Европы на родину, когда узнает о новом революционном подъеме пролетариата в России. Встав в позу нейтрального теоретика, чуждого организационной возне, он одновременно сгорает от нетерпения скорее вернуться домой, в охваченный стачками Петербург. Он говорит, что чувствует себя дезертиром здесь, в Швейцарии, когда там, в России, идет революция. Надо ехать, а то он сойдет с ума. Ему больше невмоготу, ему все опротивело, он больше не может жить и работать за границей. Разве это — над схваткой?

Разве над схваткой его собственные слова о том, что необходимо делать все, чтобы ненависть к самодержавию все шире и шире разливалась в народной массе и подготовляла ее для вооруженного восстания против него.

Но и его же слова (едва ли не самые знаменитые его слова, печально знаменитые), сказанные после поражения декабрьского вооруженного восстания в Москве,— не нужно было браться за оружие...

Особая позиция, доведенная до абсурда.

А за несколько месяцев до этого он писал, что для победы революции нужен переход хотя бы части войска па сторону народа...

А когда произошло восстание на броненосце «Потемкин», он считал, что потемкинцы должны были высадиться в Одессе и возглавить выступление рабочих, что матросы должны были снабдить восставших оружием...

А когда Ленин перед отъездом из Женевы в Россию предложил ему сотрудничать в легальной социал-демократической газете «Новая жизнь», он отнесся отрицательно к этому предложению...

Ленин писал ему, что в эти революционные дни большевики страстно хотят работать вместе с ним, что все большевики всегда рассматривали расхождение с ним как нечто временное, что большевики находят крайне ненормальным такое положение, когда он, Плеханов, лучшая сила русских социал-демократов, стоит в стороне от работы, что большевики считают сейчас крайне необходимым для всего социал-демократического движения его, Плеханова, непосредственное, близкое, руководящее участие в общей работе.

Ленин верил, что если не сегодня, так завтра, если не завтра, так послезавтра они будут вместе, несмотря на все трудности и препятствия, потому что всем известно его, Плеханова, сочувствие взглядам большевиков, а тактические их разногласия революция сведет на нет очень быстро.

Ленин перед отъездом в Россию обращался к Плеханову с просьбой о встрече...

— Роза, я еще жив...
— Да, Жорж, ты жив, ты будешь жить...

Да, он не стал сотрудничать тогда с Лениным и большевиками в «Новой жизни». Он не поехал в революционную Россию, хотя были уже получены заграничные паспорта, уложены вещи, упакованы рукописи. (А Ленин поехал в Россию.) Опять вмешалась болезнь — возникло подозрение на туберкулез горла.

Потом был четвертый съезд партии и новая вспышка полемики с Лениным. Большевики были ослаблены в то время — многие из них находились в тюрьмах, меньшевики брали на съезде верх. И он, Плеханов, способствовал этому, направляя умы делегатов своими выступлениями в противоположную от большевиков сторону. За это и упрекал его Ленин — за дезориентацию партии в один из наиболее ответственных и напряженных периодов развития первой русской революции.

Но ведь уже с середины шестого года он, Плеханов, начал отходить от меньшевиков, а на пятом съезде в Лондоне одним из первых ощутил ликвидаторские тенденции в меньшевистской среде. Правда, тогда они еще были завуалированы левой фразеологией, но важно было распознать опасность в зародыше.

Через год он вступил в открытый бой с меньшевиками-ликвидаторами, которые считали, что при давлении оппозиции на правительство и Государственную думу можно решить задачи революции, а поэтому необходимо сохранить, мол, только легальные формы партийной деятельности, а нелегальную работу следует ликвидировать. Опровергая эти ошибочные положения, он, Плеханов, убедительно доказывал, что в условиях царизма истинно революционная марксистская партия рабочего класса может существовать только как подпольная организация.

«Старые друзья» — Потресов, Мартов, Дан, Аксель-

род — волчьей стаей набросились на недавнего соратника. Передергивая цитаты, искажая факты, они наперебой начали обвинять его в беспринципности и предательстве, взывали к прежней дружбе, ссылались на несносный плехановский характер.

В эти дни он окончательно понял, что ему, очевидно, не судьба идти одной дорогой с лидерами меньшевизма. Не только в своих статьях, но и прямыми практическими действиями, сворачивая работу нелегальных организаций, они ставили под угрозу само физическое существование партии. А этого допустить было нельзя. И он, возглавив группу меньшевиков-партийцев, которые были солидарны с большевиками во взглядах на сохранение нелегальных форм работы, повел решительное наступление на главные догмы ликвидаторства. Теперь уже не было ни друзей, ни приятелей. Всех выступавших против подполья он осыпал густой «картечью» своих теоретических залпов. Особенно доставалось тем, кто, разрушая партию, обнаруживал при этом еще и философско-идейные шатания. За измену философии марксизма он карал беспощадно.

Статьи против ликвидаторов он печатал в большевистских газетах «Социал-демократ» и «Правда». И снова возникала старая и хорошо знакомая ситуация — он был против меньшевиков, но он был и не за большевиков. Он выдвинул тезис, смысл которого сводился к тому, что меньшевики не переходят на точку зрения большевиков, а большевики не переходят на точку зрения меньшевиков — возможно лишь взаимное сближение.

Обстоятельства постепенно создавали благоприятную атмосферу для изменений отношений с Лениным. Спустя пять лет после «женевского» письма Ленин снова предлагает ему встретиться и обсудить возможности совместной борьбы с ликвидаторами.

На этот раз он отвечает, и очень быстро. Он согласен на встречу и надеется, что общими усилиями меньшеви-

ков-марксистов и большевиков-марксистов переживаемый партией кризис может быть разрешен.

В Париже и Копенгагене, в котором проходит очередной конгресс Интернационала, возобновляются их непосредственные контакты. Разумеется, Ленин понимает, с кем имеет дело. Непоследовательность, колебания, внезапная смена настроений и точек зрения, виляние из стороны в сторону чуть ли не по каждому вопросу. («Генерал от виляния» — так в будущем назовет «почтенного диалектика» Ленин.) И тем не менее в интересах революции Ленин считает необходимым воспользоваться плехановской поддержкой в борьбе с ликвидаторами. Ленин уверен, что углубление и улучшение отношений между большевиками и Плехановым реальны и перспективны.

Но злой ангел «метаморфозы», сложивший на время крылья за спиной почтенного, но крайне импульсивного диалектика, опять дает себя знать. Притихший было, он взмывает в небо в самый неподходящий момент. Большевики приглашают Плеханова принять участие в Пражской партийной конференции. Он отвечает демонстративным отказом. Надежды на совместную практическую работу похоронены.

Не жалует он, правда, и меньшевиков. Его ждут на совещании в Вене («Августовский антипартийный блок»), но он, конечно, туда не едет, окрестив впоследствии это мероприятие раскольничьим и невероятным по своему составу и по жалкому ничтожеству полученных результатов.

Итак, он снова почти один. Его влияние в русском революционном движении, усилившееся в период временного союза с большевиками, ослабевает. Меньшевики, в том числе «старые друзья», отрицательно относятся к его поступкам и действиям. «Жорж безобразничает в «Правде»,— пишет Засулич Дейчу. «Он вредит»,— отвечает ей Дейч.

А он сам, стихийно ведомый своей неверной «звездой» сомнений и колебаний, все так же качается из стороны в сторону, по-прежнему противоречит самому себе на каждом шагу. В одном случае он заявляет, что не является сторонником сближения с ленинцами. Оценивая другое событие, говорит, что ленинцы берут верный тон.

В обстановке безусловного падения интереса к его теоретической и практической деятельности, которая раньше, на протяжении многих лет всегда была в центре внимания европейской и русской партийной общественности, он должен был бы оценить письмо Ленина, пригласившего его в Закопане читать лекции по вопросам марксизма для ожидаемых из России социал-демократов.

Ленин все еще верит в прежнего революционера Плеханова, все еще надеется вернуть его в ряды сторонников большевистской ориентации, все еще ждет, что в одряхлевшем льве распрямится молодая марксистская пружина.

В отличие от «старых друзей» и недавних единомышленников, уже списавших своего, некогда обожаемого вождя в архив, Ленин все еще борется за Плеханова — за Плеханова — просветителя и воспитателя сотен и тысяч русских рабочих, за Плеханова — первого русского марксиста.

Но Плеханов не отвечает.

Он весь во власти новой идеи, на подступах к новому повороту, к новой «метаморфозе». Стряхнув с себя овладевшее им на какое-то время практическое бездействие, он энергично пытается в наикратчайший срок объединить все разрозненные партийные силы. Лозунг «единство партии» постоянно звучит в его устных и письменных выступлениях. Он посылает свои «формулы объединения» всем виднейшим русским социал-демократам.

Но с кем он хочет единства? С ликвидаторами, которых клеймил не далее как вчера? С отзовистами, с которыми порвал все отношения и «расплевался» до конца? С фи-

лософскими ревизионистами, на уничижительных эпитетах в адрес которых еще не высохли чернила в его рукописях?

Он просто не знает, с кем конкретно хочет единства. Он желает единства партии «вообще». Сидя в центре Европы на своем, как он считает, марксистском Олимпе (теперь уже «лже-Олимпе»), он пребывает в полнейшей туманной неосведомленности о положении дел в русской социал-демократии.

И еще одну попытку опустить его на землю предпринимает Ленин. Он просит его написать статью для рабочих в большевистский журнал «Просвещение».

И снова Плеханов не отвечает.

Гвоздем сидит у него в голове идея о «единстве партии». Для реализации ее он приводит в действие свои европейские связи. Международное Социалистическое Бюро обсуждает в Брюсселе возможности объединения всех течений РСДРП. Плеханов выставляет требование единства любой ценой. Но когда оглашаются условия большевиков, он называет их статьями нового уголовного уложения.

Выходят в свет в последний мирный год перед войной его последние книги: «Французский утопический социализм девятнадцатого века», первый том «Истории русской общественной мысли», «Утопический социализм девятнадцатого века»...

— Розочка, Роза, теперь уже, наверное, скоро конец... Удивительная ясность... Вижу отца, мать... Всю свою жизнь вижу... Она была странной...

— . . .

— Не плачь, Роза... Все равно мы прожили с тобой хорошо на земле... Были тяжелые минуты... Прости меня за них... Ты подарила мне много-много светлых лет. Спа-

сибо тебе... Я не жалею ни о чем... Жил, как умел... Стремился к высшему... Что-нибудь и от меня останется...

— ...

— Не плачь, Роза... Помнишь Париж, нашу молодость?.. Ты всегда была для меня счастьем как женщина!.. И верной помощницей в делах, надежным другом... Спасибо тебе... Жалею об одном... Мало успел сделать для новой России. Разрушение старой взяло слишком много сил... Впрочем, это и было для новой... Роза, душно...

Неожиданно кто-то деловито и быстро сел на кровать, прищурился:

— Георгий Валентинович, мне сказали, что вы... Зашел попрощаться.

— Благодарю...

— Зимой в Петрограде у вас был обыск... Это ошибка. Приношу извинения.

— Я напрасно вернулся в Россию... Мне нечего здесь было делать...

— Нет, не напрасно. На вашем примере для многих колеблющихся была изжита еще одна иллюзия, опаснейшая иллюзия о классовом мире. Зато теперь здесь полная ясность абсолютно для всех... Правда, цена за этот пример заплачена слишком высокая — ваша судьба, ваша политическая судьба... вы сами назначили эту цену.

— Возвращение ускорило болезнь... Нужно было оставаться в Европе...

— Уверен, что не выдержали и все равно не усидели бы в Европе. Я ведь знаю вас...

— Вам трудно сейчас?

— Ничего, справимся...

Встал. Наклонил голову. Вышел из комнаты.

— Роза, здесь был сейчас кто-нибудь?

— Нет, никого не было.

— Разве никто не приезжал из Петрограда?
— Финляндия закрыла границу... Мы снова в эмиграции...
— Роза, это символично...
— Что именно?
— Граница... Я не нужен новой России...
— Границу закрыли финны. Здесь идет гражданская война...
— Все равно... Я снова вне России... Вот и решение проблемы... Мы вернулись из эмиграции и опять оказались в эмиграции... Россия отбросила нас от себя... Всего год прошел на родине...
Внезапно он сел на кровати.
— Опять все вижу очень ясно! — взволнованным голосом сказал он.— Всю свою жизнь! Казанскую демонстрацию вижу, стачки на Бумагопрядильне... Нет, я не напрасно вернулся в Россию, мое место — здесь, в любом случае... Пусть все запуталось сейчас, потом разберутся...
— Жорж, тебе нужно лечь...
Он лег, лицо его было спокойным и светлым.
— Дело сделано,— шепотом произнес он,— дело жизни... Может быть, мне не хватило совсем немного времени, чтобы разобраться во всем...

Он вздрогнул, потянулся на кровати и затих. Розалия Марковна с холодеющим сердцем несколько секунд вглядывалась в его уходящее, исчезающее лицо и, наконец, поняла. Все.
Было 30 мая 1918 года.
За окном пели птицы, качались на ветру ветки деревьев, зеленела сочной травой весенняя земля.

Лев Григорьевич Дейч приехал только через пять дней.
В бумагах, которые он привез с собой, говорилось, что Народный комиссариат по иностранным делам РСФСР

поручает ему сопровождать тело покойного Г. В. Плеханова через границу в Петроград.

На следующий день Розалия Марковна получила телеграмму от Петроградского Городского головы Михаила Ивановича Калинина. Он выражал ей сочувствие по поводу смерти мужа — «основоположника русского рабочего движения, предсказавшего осуществляемые ныне пролетариатом России пути революционного движения в России».

В Москве, четвертого июня, на объединенном заседании ВЦИК и Моссовета, на котором присутствовал В. И. Ленин, председатель собрания Свердлов объявил о кончине Плеханова и предложил почтить его память вставанием.

Хоронили Плеханова в Петрограде меньшевики и правые эсеры, пытавшиеся даже из похорон устроить очередную антибольшевистскую демонстрацию.

Но на траурном заседании большевиков в петроградском Народном собрании Анатолий Луначарский сказал:

— Он создал оружие, которым мы теперь сражаемся против него же самого и против тех, кто примкнул к нему в последние годы, когда пророк был уже стар. Но великое пророчество, сделанное им на заре его революционной деятельности, никогда не будет забыто — в России революция победит только как рабочая революция...

В последний раз подошла Розалия Марковна к его гробу, прощаясь навсегда. Слез уже не было.

Она медленно подняла руку и положила рядом с его головой букетик засохших цветов.

Это были подснежники.

Она собрала их ранней весной, еще в Питкеярви, около санатория, когда однажды, среди галлюцинаций и бреда, он вдруг совершенно отчетливо и ясно вспомнил

тот самый день, в который познакомился с ней сорок лет назад.

Тогда, в Питкеярви, она вышла из его комнаты на улицу и заплакала. Потом сделала несколько шагов и неожиданно увидела, как удивительно ярко и почти волшебно блестит на солнце мартовский снег... Зелеными, синими, белыми огоньками. Бордовыми, красными искрами. Оранжевыми, желтыми, голубыми, фиолетовыми, сиреневыми вспышками...

Снег таял на солнце, снег умирал, исчезал, уходил.

Струящиеся с неба лучи зажигали в его холодной глубине еще скрытые до поры, но уже щедрые, теплые краски завтрашнего цветения земли.

И тогда она увидела его — маленький, озябший, но смелый цветок на снегу. А рядом пробивался из-под снега еще один, и еще, и еще...

И она, вытерев слезы, собрала небольшой букетик этих первых лесных цветов как память о том, что он вспомнил тот самый далекий день их молодости...

Собрала, еще не зная, что положит их рядом с его головой, когда будет смотреть на него в последний раз.

Подснежник.

«Галантус нивалис».

Травянистое растение из семейства нарциссовых с поникшим колокольчиком.

Ранний весенний лесной цветок, фиолетовый или белый...

1972—1979 гг.

Осипов В. Д.

О-74 Подснежник: Повесть о Георгии Плеханове.— М.: Политиздат, 1982.— 527 с., ил.— (Пламенные революционеры).

О $\frac{0202000000—006}{079(02)—82}$ 232—82

84Р7+87.3(2)
Р2+1ФС

Валерий Дмитриевич
Осипов

ПОДСНЕЖНИК

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *Л. Б. Родкина*
Младший редактор *А. А. Степанова*
Художники *Е. А. Борщаговская, В. У. Интойо*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 118

Сдано в набор 17.11.81. Подписано в печать 05.04.82. А 00067. Формат $70\times108^1/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 23,71. Условн. кр.-отт. 26,02. Учетно-изд. л 24,01. Тираж 300 тыс. экз. Заказ 387. Цена 1 р. 70 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий», г. Свердловск, пр. Ленина, 49.







